

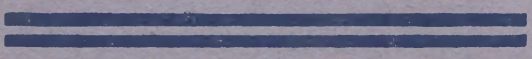
И  
И

Н О В Ы Й  
М И Р

Д  
И  
М  
И  
Л  
И  
В  
О  
Д  
И

И  
И  
И  
И  
И

10



1959

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXV

№ 10

Октябрь, 1959 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
В. ЛИПАТОВ — Капитан «Смелого», повесть	3
МАКСИМ ТАНК — Восток зарей пылает. Из книги стихов о Китае. Перевел с белорусского Я. Хелемский	57
ВЛАДИМИР ЖУКОВ — Валя. Из лирической поэмы	59
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Из стихов о Севере	65
Л. ПЕРВОМАЙСКИЙ — Катерина и ее новый дом, рассказ. Перевела с украинского А. Громова	69
НИКОЛАЙ НОВОКШЕНОВ — Бывает, сил не соразмерив... Стихи	99
БЕРДЫ КЕРБАБАЕВ — В горах Большого Балхана, стихи. Перевел с туркменского Ю. Гордиенко	100
ДЖОН УЭЙН — Спешите вниз, роман. Окончание. Перевел с английского Иван Кашкин.— Послесловие В. Ивашевой	102
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
<b>В. БОНДАРЕЦ</b> — Записки из плена. Окончание	151
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
АЛЕКСАНДР СМЕРДОВ — Волость поэтов и философов	186
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Профессор П. МАСЛОВ — Давайте разберемся	206
В. РОЖИН — Каждому по труду	215
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Ю. КОНСТАНТИНОВ — Беды описательства	227
Г. ЛЕНОБЛЬ — У истоков «Полтавы»	235
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	251
О. Михайлов. Мастерство молодого прозаика.— Ю. Капусто. Талант и жизнь.— А. Турков. Во вкусе Трифона Камчадала.— Л. Эйдли. Мао Цзэ-дун о литературе и искусстве.— Г. Бялый. А. Дементьев. Архипов полемизирует.— В. Шкловский. О пользе личных библиотек и о пользе собирания книг в первых изданиях в частности.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	268
А. Серeda. Навеки вместе.— В. Пирогов. На пороге нашего завтра.— Кандидат исторических наук Л. Зак. Герои одесского подполья.— Д. Владимирский, Н. Финкельштейн. Книга могла быть лучше.	
КОРОТКО О КНИГАХ	278
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	282
ОТ РЕДАКЦИИ. «Новый мир» в 1960 году	284

---

---

---

В. ЛИПАТОВ

★

## КАПИТАН „СМЕЛОГО“

Повесть

Начало последней главы

**В** конце мая звездной ночью к обской пристани Луговое швартуется пассажирский пароход «Козьма Минин». Ярко освещенный огнями, гремящий музыкой, приваливает он к мокрому берегу. Народу на дебаркадерной площадке мало, позади ожидающих стоят двое в форменной одежде речников. Глядят, как вьются в воздухе причальные концы, как на швартовочном мостике расхаживает вахтенный, покрикивая в переговорную трубку. Тепло, краской пахнет от парохода.

Двое молчат; у одного — невысокого, худощавого — большие темные глаза; второй — раскосый, в морщинах. Незаметно для темноглазого он вздыхает. У ног их стоят чемоданы, стопки книг, перевязанные бечевками, и в пестром пледе постель. Черноглазый, заложив руки в карманы, сутулится.

— Прими трап! — кричат с мостика.

Толпа течет на пароход, расползается по каютам, по отсекам. Мимо двоих, по-прежнему неподвижных, кривоного ступая, идут вереницей грузчики: на берег — с пустыми плечеушками, обратно — с грузом, напряженно глядя под ноги.

Двое, видимо, кого-то ждут. Раскосый курит папиросу за папиросой. Подумав, говорит:

— Пойдем! Задержался Красиков, не придет!

Темноглазый медленно поворачивается, думает, неопределенно покачивая головой.

Матрос-контролер покрикивает:

— Заходи, товарищи! Третий гудок даем!

Сверху, с яра, подпрыгивая на шатком трапе, быстро спускается мужчина — начальник Луговской пристани Красиков. Увидев двоих, он подбегает к ним, длинными руками трясет за плечо темноглазого, заглядывает ему в лицо, потом подхватывает чемодан, стопку книг и идет к трапу.

Перед ним вырастает матрос.

— Ваш билет!

— Ты что, не узнаешь? — ошетинивается начальник пристани.

Матрос спокойно объясняет:

— Вас знаю! Пусть товарищи предъявят!

Худое губастое лицо начальника пристани вздрагивает от гнева.

— Ты!.. Ополумел!.. Пропусти сейчас же! Немедленно!

— Ввва-аш билет! — повторяет матрос.

Из пролета выглядывают любопытные, толпятся, а сверху, с капитанской палубы, свешивается речник — борода клинышком, очки, — начальственным басом спрашивает:

— Что случилось?

Матрос поясняет:

— Без билетов, товарищ капитан! Мало что они в форме! По закону — не могу!

— Правильно! — одобряет капитан. — Кто ж там?

Наверху наступает молчание; капитан, видимо, приглядывается к неизвестным и вдруг восклицает громко, с надрывом:

— Борис! Ты?

Темноглазый не отвечает. Сверху доносится топот ног по железу — идущий запинается, торопится. Матрос-контролер задумчиво пожевывает губами, Красиков смотрит на него сердито. Через несколько секунд из пролета выскакивает капитан «Козьмы Минина», спешит к темноглазому. Точно настежь на стену, останавливается.

— Здравствуй, Борис Зиновеевич! — Он протягивает руку.

— Здравствуй!

Капитан «Козьмы Минина» оглядывается на вахтенного матроса, вздергивает бородку.

— Вещи Бориса Зиновеевича Валова в мою каюту!

Темноглазый с товарищем проходят на пароход. Начальник Луговской пристани, придвинувшись вплотную к матросу, шипит зло: «Дура! Это же капитан «Смелого». Любопытные пассажиры гадают, что произошло, кого это капитан «Козьмы Минина» встречает так, как не встречал ни одного человека на пристанях от Томска до Кургаска. Кто этот человек? Почему матрос, услышав нашептывание Красикова, обмер и, подхватив чемоданы, пулей взлетел на трап?

...Громко, на всю Обь, дает третий гудок пассажирский пароход «Козьма Минин». Отвалив от берега, он несет в темень гирлянды сигнальных огней, осветительных лампочек. На капитанском мостике, положив подбородок на руки, сидит темноглазый. Он неподвижен, и так же неподвижен капитан «Козьмы Минина». На притоке Оби, Чулыме, помаргивают далекие огоньки бакенов. Тают, скрываются в дегтярной мгле. Пароход яростно колотит плицами, шипит паром, гудит на поворотах.

— Как же случилось это, Борис? — доносится голос из темноты.

— Обыкновенно, Сергей... Вот и еду впервые в жизни пассажиром.

## Глава первая

### 1

Его имя — «Смелый».

От носа до кормы — тридцать пять метров, от борта до борта — четырнадцать; два колеса, два цилиндра и одна труба. Он буксирный пароход на Чулыме, большом и буйном притоке Оби. Он стар. Если взять тряпку, кусок мела и протереть медную табличку, что приварена на корме, проступят неясные зеленоватые цифры — 1902. Это его год рождения. А если спуститься в машинное отделение, присмотреться внимательно к большому цилиндру, то на темном металле можно увидеть неглубокую впадину. Это его шрам, полученный в гражданскую войну.

Каждую весну пароход молодеет: желтый, красный, голубой; сидит он в обской воде торжествующим именинником, переговаривается с берегами уверенным сипловатым баском. После зимней спячки он выглядит здоровым и бодрым.

День именин объявляет Обь.

В последних числах апреля в Моряковском затоне начинает потрескивать лед, ноздреватый, как сыр. Спервоначально потрескивает мягко, осторожно. Грязные сороки тревожно косятся на лед, стрекочут, ветер ерошит их перья. Ночью проступают неяркие звезды и тоже боязливо, настороженно прислушиваются к грозному пощелкиванию. Подо льдом ходят пилоспинные осетры, жадными ртами тычутся в трещины — хва-

тают воздух. Река чешется волнами о лед. Тучи спускаются низко, плывут торопливо — тоже ноздреватые и серые.

Берег в желтоватых огнях, неясно, тревожно шевелятся темные фигуры. В затоне — лихтеры, пузатые баржи, высоконосые паузки; на них тоже шевелятся фигуры, дремлют вахтенные; доносится неясный говорок. Вспыхивают светлячками самокрутки, светятся из-за ладоней зажженные спички. На горушке мигает прожектор — готовится облить молочным светом тронувшуюся на север реку.

Текут медленно минуты, часы. Наконец раздается тяжелый и мокрый удар.

Эхо перекатывается в заиндеветых тальниках, бежит по гривам, по Заобью, медленно глохнет в зарослях. Стоит немая тишина. Огоньки самокруток полукругом летят с барж на подавшийся лед.

По глянцевитому снежному насту вяжет петли ошалевший заяц, клубком бросается по черноталу, дрожа от страха, вылизывает из ноющих лап острые и холодные льдинки. В кедраче ныряет змейкой под взопревший иглопад белка, выронив из защечип теплые орешки. На секунду из войлочных туч выглядывает месяц.

«Смелый» вздрагивает, покачивается с борта на борт, скрипит переборками, шпангоутами. В носовых иллюминаторах вспыхивают розовые огоньки. Темные фигуры двигаются по палубе.

Именины приближаются.

Ранним утром приходят званые гости.

Поднимается на палубу маленький человек с темными и немного грустными глазами; широко и цепко расставляя ноги в валенках, идет по пароходу, зябко кутается в меховое пальто. Несколько минут неподвижно стоит на палубе, потом садится на скамейку и застывает — нахохленный, замерзший.

Этот человек — ровесник «Смелого» и его капитан, Борис Зиновеевич Валов.

Внизу, в каютах, раздается сонное покашливание, стук, удивленный голос:

— Пятый час, будь ты неладно!

Берег оживает. Группами идут речники, их жены, ребятишки, несут теплые одеяла, матрацы, шубы для ночных вахт, валенки, посуду, деревянные сундучки, кипы белья, книги, продукты. Вся Моряковка спешит на берег, и он становится таким ярким, точно на него высыпали разорванное на дольки цветное одеяло.

Небо опрокидывается в реку, опрокидывается со всем, что на нем есть, — солнцем, молочными облаками, струями теплого марева. В антеннах «Смелого» поет ветер.

Капитан прислушивается, вынув руку из кармана, проводит по лицу сухими пальцами; когда он убирает руку, полосы долго не сходят с лица.

— Здесь он, здесь! — раздается тот же голос, что давеча слышался снизу. На палубу через узкий люк выныривает первый штурман и помощник капитана Валентин Чирков, на секунду застывает и — бросается к капитану с радостным криком: — Пришел... Борис Зиновеевич пришел!

Штурман сжимает ручищей тонкие пальцы капитана, обнимает за плечи, привлекает к себе. Капитан смотрит на высокого штурмана снизу вверх, улыбается немного печальной улыбкой.

— Здравствуй, Валентин! — помолчав, говорит он.

Чирков кричит:

— Уткин, Уткин, беги сюда! Вчера говорили... не побежит Валов... Говорили... — Останавливается, удивленный, и опять кричит: — Уткин, да Уткин же!

— Спусти пар!— говорит капитан.

Из палубного люка просовывается широкое безбровое лицо. Спокойно, мягко переступая кривыми короткими ногами по металлическим ступеням, затем по палубе, к капитану подходит механик Уткин.

— Здравствуй, Борис Зиновеевич!

— Здравствуй, Спиридон!

Механик задумывается и, видимо решив что-то, говорит:

— Оно так... «Смелый» сам покажет, остопует машина или нет...—

И склоняет голову к плечу, точно проверяет прислоненным к замасленной спечовке ухом свои слова.

Капитан тоже раздумывает над словами механика, пошевеливает губами и вдруг широко улыбается.

— Правильно, Спиридон! «Смелый» покажет! — И тихо смеется.

Валька Чирков весело крутится в плясе, бухает сапожищами в палубу.

— Охолопись, Валька! — советует Уткин, когда штурман, подхватив его, валит на скамейку.

— Спиридон! — шумит штурман.— Держись, Спиридон!

Высокий, в распахнутом бушлате, розовощекий, он сияет силой, молодостью, радостью, словно стригунок-жеребенок, впервые выпущенный на весенний луг.

День разгорается. В голубые проемы редких облаков струятся солнечные лучи, с берега несется музыка, крики, звон металла. Сплошным потоком движется к берегу Моряковка, заполняет пароходы, баржи, катера. «Смелый» покачивается, волны ласково похлопывают в борта, журчат в колесах.

— Ну, товарищи! — говорит капитан и легонько хлопает рукой по медному поручню «Смелого». — Побежим!

— Побежим! — Штурман срывается с места.

## 2

Веселые, в распахнутых бушлатах, в сдвинутых на затылок фуражках, сходятся гости на борт именинника. Нашупав ногами палубу, чувствуют родное, полузабытое, зыбкое покачивание крашеного дерева. Гость становится на палубу и отрешенно оглядывается на берег: вот, кажется, здесь, рядом, была Моряковка, а теперь мгновенно, скачком, отдалилась, словно в перевернутый бинокль глядишь на свое зимнее пристанище. И совсем маленькой — пятнышком — станет Моряковка, когда человек войдет в кубрик, бросит бушлат на койку и, заглянув в иллюминатор, вдохнет влажный запах обской волны. Вдохнет и — зимней одури как не бывало!

«Смелый» узнаёт своих — приветливо открывает люки, двери. Рад он. Добродушно ворчит, когда в машинное отделение спускается широкий в кости человек, погромыхивая железным полом, проходит в кочегарку и, нагнувшись, открывает дверь топки.

— Прихиялял, друже! — сипловатым, невнятным баском говорит кочегар Иван Захарович Зорин и привычно берет широкую лопату. Двухметровая, широкая, в руках кочегара она кажется детской. Длинными пальцами проводит Иван Захарович по губам, подмигивает сам себе — в кочегарке раздаются звуки тромбона, баса и альта; затем кочегар выхватывает из кармана губную гармошку, подносит к губам. Мелодично, весело поет гармошка.— Клево дело! — радуется Иван Захарович...

...Если сердце «Смелого» — машина, то голова — рубка.

Прижав локти, задрвав подбородок, идет по палубе штурвальный Костя Хохлов. Возле ходового мостика он останавливается, сдвигает

фуражку на лоб. Рассеянно и безразлично смотрит Костя на берег, вытянув губы трубочкой, смачно плюет за борт, следит, как плевок шелкает о воду. Плюет еще раз и уж тогда снова глядит на берег, прищурившись.

— Прощай, Маруся, бог с тобой! — немного погодя кричит Костя разноцветной дивчине, сражающейся с подолом шелковой юбки — надувает ее обский ветер. Уняв наконец шелк, из-под горбушечки руки заглядывается Маруся на «Смелого», зовет Костю взглядом. А он ухмыляется, боченится. — Что ты жадно глядишь на дорогу, в стороне от веселых подруг?.. Улетишь, голуба!

А ей бы и вправду улететь за Костей — вспорхнуть на «Смелый», встать рядом со штурвальным, плыть далеко-далеко, за синие обводья реки, где вольно поет ветер, ерошащий Костин зуб.

Она уходит, оглядываясь, а Костя и бровью не ведет — заходит в рубку, ударом ноги перекачивает штурвал, говорит: «Ну ты, который... Мы с тобой напрасно в жизни встретились, потому так скоро разошлись...»

Уши и голос «Смелого» — радиорубка.

Скользкой походкой, опустив подведенные синим глаза, пробирается узким бортом радистка Нонна Иванкова. Нос у радистки курносый, точно перетянутый на кончике ниточкой, губы полные и яркие, а зубы белые и ровные, волосы каштановые, с белым седым островком на лбу. Нонна Иванкова — единственный гость в юбке на борту «Смелого», но он гостеприимно открывает и перед ней дверь. Нонна обводит глазами каюту. «Здравствуйте, пожалуйста! — говорят глаза. — Была нужда — опять в плавание! Скука-то какая!»

Руки «Смелого» — крепкие кнехты. На кормовом сидит востроглазый подросток, терпеливо ждет, когда придут к пароходу моряковские мальчишки, чтобы полюбоваться на Петькину хозяйскую хватку, на суровый и безразличный его вид. Для ребятишек у матроса Петьки Передряги заранее приготовлена поза — руки в боки, голова вверх, нога в сторону. Точно так стоит на палубе штурвальный Костя Хохлов.

«Смелый» сразу чувствует чужого или забытого. Ревнивый и подозрительный, он прячет кормовой — широкий и удобный — трап, протягивает лишь шаткую полоску носового трапа. Человек не из боязливых — взглянув на подачку «Смелого», прицеливается, примеривается и махом поднимается по деревянной полоске, зыбко повисшей над водой. Секунда — и человек на «Смелом»; оглянувшись по сторонам, проверяет ребром ладони, так ли сидит фуражка, пробегает пальцами по ремню, по пуговицам и — прямо к капитану.

— Отслужив срок в армии, прибыл бывший штурвальный «Смелого» Лука Рыжий...

— Здравствуй, Лука! — отвечает капитан. — Занимай прежнюю каюту.

Приходят к «Смелому» и незваные гости, но, увидев воздушную ниточку трапа, кричат из отдаления:

— Валов! Эт-то что такое! Где дефектная ведомость?

— У вас! — вежливо отвечают со «Смелого».

А Костя Хохлов добавляет:

— У вас этих бумаг много, как у дурака махорки!

Собравшись на палубе, званые гости ждут.

Над наклонной трубой «Смелого» поднимаются прозрачные струйки дыма; он дышит редко, слабо, как человек после глубокого обморока. Первым, сильным дыханием «Смелый» выбрасывает из трубы густой, коричневый шматок дыма; выдыхает и опять затаивается, ждет, пока не займется по всему поду топки ровное белое пламя, не вопьется жадно в отверстия огневых труб. Медленно взлизывается огонь в трубы. Долго



еще ждать речникам, пока вернется к жизни пароход: тонны угля сбросит в топку кочегар Зорин, три пота пробьют механика Уткина, и только тогда «Смелый» откроет электрические глаза, нальет силой штоки поршней, прочистит паром трубы-артерии. Но и сейчас на «Смелом» начинается жизнь...

Девятнадцать гостей пришли на именины; поклонившись пароходу, минуту постояв перед капитаном, разошлись по отсекам, каютам, рабочим местам. Большинство из них молоды. Валентин Чирков, Иван Захарович Зорин, Костя Хохлов, кочегар Ведерников, Лука Рыжий, машинист Поярков — правофланговые, крупные, могучие люди. В Вальке Чиркове сто восемьдесят девять сантиметров роста, почти столько же — в Зорине, а в самом низком — Пояркове — сто семьдесят девять. Зато он коренаст, шея почти нет. Лука Рыжий в армии оброс витками мускулов, раздался; прислонившись к ростомеру, достает макушкой отметку «сто восемьдесят».

«Дрын на дрыне»,— говорят в Моряковке о команде «Смелого». Невысокий ростом и слабый телом капитан любит сильных и крупных людей.

Таковы они, званые гости «Смелого»...

Радистка Нонна Иванкова обживаетеся в каюте. Огорченно вздыхая, прикалывает к переборкам фотографии артистов.

Один бог знает, кто делает их, как и откуда попадают они на столики продавцов мыльного порошка, одеколona «Ландыш», конвертов, подтяжек и носков и прилипают над кроватями девчат на выданье, хранятся в альбомах, где возле писаного красавца киноартиста Самойлова с маленькой немудреной фотографии улыбается простое лицо какого-нибудь Вани, приславшего из армии карточку на память дивчине. Бедный Ваня! Далеко тебе до отретегированной, нарисованной красоты артиста! Одним только можешь похвастаться ты — здоровым румянцем, гладкой кожей да тугими мускулами.

Нонна бережет открытки. Прежде чем повесить, проводит по глянцу рукавом кителя, кнопки втыкает в то же место, где были раньше. Улыбается, а на Лолиту Торрес смотрит долго и задумчиво. Нездешней, залетной птицей парит над узенькой кроватью радистки заморская актриса. «Нужно же! — думает Нонна.— Опять в плавании!»

Каждый обживаетеся на «Смелом» по-своему. Штурвальный Лука Рыжий, мельком заглянув в каюту, выходит на палубу полюбопытствовать, как лениво тянется из трубы коричневый дымок, как шумит и переливается лоскутное одеяло — берег... Моряковка разделилась. Невидимая, но железная стена встала между людьми, одни из которых уходят в плавание, другие остаются на берегу.

На краешке берега, возле старой ветлы, стоят двое — отец и сын,— тихонько переговариваются. Отец взглядывает на сына и дивится: еще вчера Гошка опасался широкого отцовского ремня, вывезенного из Германии, а сегодня беседует с расстановкой, с разбором.

Зинка Пряхина в прошлую субботу гордо прошла мимо Изосима Гулева на танцах в моряковском клубе, а сегодня прилипла к Изосимовой руке и шмыгает конопатым носом — того и гляди расплачется. А Изосим рад отплатить — куражится, попыхивая казбечным дымком, цедит сквозь зубы:

— Письма, конечно, писать можно! Да вот времени у нашего брата машиниста мало! Н-да!.. На судне это тебе не на танцах лакированной туфлей вертеть!

Петька выламывается; длинным плевком, стремительным, как торпеда, выбрасывает он слюну в воду. И зря — сверху раздается насмешливый голос Кости Хохлова:

— Это кто тебя научил плевать в воду, салажонок? А ну, подбери! А как подберешь?

Петька косится на береговых ребятишек, делает вид, что вовсе не к нему обращен голос Кости, но штурвальный перегибается через леер и, блеснув белыми зубами, кричит:

— Матрос Передряга!

— Я, товарищ штурман! — отвечает Петька.

В два прыжка поднимается Передряга на палубу, улыбается Косте, который играет серьезностью сдвинутых бровей, прищуренными щелочками глаз.

— Вольно! Стоять вольно! — говорит добро настроенный Хохлов. — Закурю-ка, что ли, папиросу я!..

И действительно закуривает.

## 3

«Смелый» пробуждается.

Густой, темно-фиолетовый дым валит из трубы, а когда Валька Чирков нажимает на рычаг, из медного горла парохода лохмотьями вырывается пар. Валька отпускает рычаг и нажимает резко, до отказа, — Моряковка слышит мощный, трубный рев «Смелого». Сила и радость в этом крике. «Смелый» кричит о том, что здоров и силен, что рвется на Обский плес. Рев несется над рекой, над поселком, над застывшими тальниками.

«Пой-ду-у-у!» — кричит буксир.

Вызов «Смелого» принимают. Над соседним пароходом вспыхивает аккуратный султанчик дыма, на мгновение гаснет — это уже кричит на всю землю «Адмирал Нахимов»; прислушавшись к нему, отвечает глубокой октавой «Софья Ковалевская», хриловато — «Пролетарий», басом, сразу несколькими голосами, — «Карл Либкнехт».

Пять минут — по обычаю — режут медные горла пароходов.

Холодная гулкая тишина наступает потом. Капитан «Смелого» медленно опускается на высокое, с подлокотниками, кресло, стоящее посредине палубы. Смотрит на бурлящий вокруг него затон, на берег. И приказывает Вальке Чиркову:

— Сними чехлы!

Валька спускается на нижнюю палубу, вскарабкивается на флагшток. Из-под пыльного чехла выскальзывает бело-голубой шелк. Трепыхнувшись на ветру, змейкой вытягивается флаг «Смелого».

— Ура! — кричит Валька, размахивая фуражкой.

— Индикаторщики идут! — разносится слух по затону.

Пароходы затаивают дыхание.

«Смелый» настораживается блестящими иллюминаторами, подозрительно шурит око прожектора, сдерживает биение машины. Механик Уткин, машинисты и кочегары мечутся, переговариваются свистящим шепотом.

Пароход ждет решения своей участи. Механик Уткин испуганно сообщает: «Поднимаются на борт!» На цыпочках идет он навстречу людям в синих комбинезонах, сосредоточенным и суровым. В руках вошедших маленькие чемоданчики, в которых и заключено их могущество. Уткин косится на чемоданчики и хочет сказать весело, а выходит хрипло:

— Милости просим!

— Здравствуйте, здравствуйте! — недовольно бурчит старший индикаторщик и вынимает из чемоданчика блеснувший сталью прибор. — Пр-р-рошу отойти!

Небрежными движениями индикаторщики соединяют прибор с цилиндрами паровой машины, протягивают веревочку и привязы-

вают ее к шатуну. Вот и все. Маленький злодейский прибор готов пробраться в грудь «Смелого», прощупать холодными пальцами его сердце. Стоит машине сделать несколько оборотов, как все расскажет прибор надменным индикаторщикам.

В просвете люка появляется капитан. Не спускаясь ниже, смотрит на индикаторщиков, на Спиридона Уткина.

— Пускай! — командует главный из пришедших.

Точно соской, чмокает «Смелый». Машина делает медленный, плавный оборот. Солнечный зайчик от шатуна пробегает по стенам и вдруг падает на лицо механика. Уткин отмахивается и забирается в мазутную темноту отсека, чтобы оттуда следить за обидной небрежностью синих комбинезонов. Он скрывается в темноте до тех пор, пока индикаторщик не снимет бумажку — график. Тесный круг людей смыкается вокруг него, только капитан и механик стоят в стороне.

— В порядке! — после долгого молчания говорит главный индикаторщик, и синекомбинезонники становятся обыкновенными людьми. У старшего проглядывает улыбка; те, что помоложе, не скрывают радости.

— Чего там? — Уткин почти вырывает бумажку из рук, рассматривает ее долго, прищелкивая языком. Он что-то бормочет, этот механик Уткин.

— Поздравляю, Спиридон! — говорит старший индикаторщик и делает такое движение, точно хочет пожать руку механика, но Уткин, ворча, уходит за машину, нагибается и начинает протирать теплые бока цилиндра.

Индикаторщики, понимающе пересмеиваясь, укладывают приборы в чемоданчики. Повертывается и уходит капитан. Кочегар Иван Захарович Зорин проводит пальцами по оттопыренным губам, и в машинном раздаются звуки саксофона.

— Живем! Клево! — кричит кочегар. — Кочумай, ребята! Наша пляшет!

Индикаторщики пожимают плечами. Не понимают они Зорина, а он припрыгивает, приплясывает, снова кричит никому не понятное. Виноват в этом дирижер моряковского самодеятельного оркестра Модест Сидорович Горюнов, который за длинную зиму научил кочегара диковинным словам, на которых объясняются «лабухи», то бишь музыканты. На языке Модеста Сидоровича человек — чувак, играть — лабать, молчать — кочумать, хорошо — клево, холодно — зусман, есть — бирлять, идти — хилить... Много-много заманчивых слов услышал Иван Захарович и ухватил их памятью, жадной до необычного, звонкого.

— Хиляй, ребята! — Иван Захарович наливаются радостью и бросается в кочегарку, на полный штык вонзает лопату в уголь и забрасывает в топку здоровую глыбу антрацита.

«Смелый» глубоко вздыхает. Пламя гудит. Пароход подрагивает корпусом.

— Живем, чуваки! — кричит кочегар, наяривая на губах что-то неслуховое.

## 4

За полдень появляются начальники.

Сверкают в солнечных лучах «крабы» на их фуражках. Кажется, что сияние лучится от берега, и, ослепленный им, «Смелый» услужливо протягивает широкий и удобный трап. Неторопливо, важно идут сановные гости «Смелого», полунамеками обмениваются на ходу; глаза их точно и придирчиво запечатлевают голубизну надстроек, яичный лоск палубы, разноцветные спасательные круги. И швабру, второпях брошенную Петькой Передрагой на палубе, и рахитично покосившиеся стойки в машинном отделении — все видят глаза начальника районного управления пароходства, главного диспетчера управления, капитана-наставника и других не менее важных, не менее ответственных гостей «Смелого».

Сунув торопливо руки ребятам из команды «Смелого», начальники распоряжаются:

— Давай, Борис Зиновеевич!

— Есть! — отвечает капитан «Смелого» и оценивающим взглядом еще раз окидывает молчаливых, настороженных ребят, палубу, весь пароход.

Капитан делает шаг к переговорной трубе и вдруг замирает, пораженный мыслью, — вспомнил, как в прошлом году отличилась радистка Нонна Иванкова. В торжественный момент, на выходе парохода, заревели громкоговорители: «Бродяга я, бродяга я... Никто нигде не ждет меня!» Проглотили тогда улыбки члены комиссии, но промолчали, щадя капитана...

— Давай, Борис Зиновеевич! — невозмутимо требуют гости. Не замечают товарищи из приемной комиссии капитанской тревоги. Невозмутимы и капитановы хлопцы — вылупились на золотое сияние и забыли обо всем. И только боцман Ли, старый Ли, украдкой пробирается к люку и бесшумно ввинчивается в него. «Ли, старая миляга! Ах, молодец!»

— Отдать носовую! — бодрым тенорком командует капитан. — Тиха-а-ай!

Гудок «Смелого» оглушает.

После гудка — небольшая пауза, наполненная шипением пара, грохотом цепей, скрежетом носовой чалки, и из четырех громкоговорителей раздается:

Наверх вы, товарищи,  
Все по местам...

Товарищи из комиссии отрешенно переглядываются и жестами, веселым подмигиванием показывают друг другу, что не забыли прошлогоднего «Бродягу». Но жесты — не слова, хитренько морщится капитан, а сам незаметно подмигивает боцману: «Выручил, голуба-душа... Век не забуду!»

Все тонет в звуках песни: команды, ускоряющийся бой плиц, сигнальные гудки, и как-то вдруг оказывается, что пароход уже повернулся в протоке, протянул между собой и берегом широкую полосу воды и уже пробегает мимо затонувших тальников. Взметнувшись вверх, тугим треугольником реет вымпел. Многоводье протоки голубым полотном течет под пароход; прикоснувшись к острому носу, бесшумно раздваивается, мягко обнимает оборками волн.

Оглушительно крикнув, замолкают громкоговорители, и тогда возникают и сливаются воедино звуки движения судна, которые для речников так же привычны, как шум прибора для жителей побережья.

Речник просыпается, засыпает, ест, работает и отдыхает под ровные удары плиц, шипение пара и редкие такты рулевой машинки; речник не спит, не ест и не отдыхает, когда стоит тишина, которая действует на него угнетающе, а ночью, во сне, она сильнее взрыва. Очумело соскакивает речник с узкой койки, сдерживая удары сердца, прислушивается к звону в ушах, и страшные картины одна за одной встают в темноте кубрика: налетели на мель! Врезались в берег! Поломали колеса! После навигации неделю не спит речник на жаркой перине в Моряковке, ворочается, кажется ему, что тишина поселка орет сиренным, жутким голосом.

— Вперед полный! — покрикивает на «Смелого» капитан. Прикрикнув, проходит мимо серьезных членов комиссии, нетерпеливого Петьки Передряги, насмешливого Кости Хохлова и становится рядом с носовым прожектором, впереди всех; щекой чувствует капитан мягкий, упругий ветер, вдыхает запах весноводья. Чуть покачиваясь, легко и плавно несет его навстречу солнечным всплескам старый обский буксир «Смелый».

Сорок третью навигацию начинает капитан.

— Ветерок! — раздается позади капитана тихий голос,

— Дует! — отвечает капитан и дает место начальнику управления пароходства и капитану-наставнику Федору Федоровичу.

Капитан-наставник задумчиво кусает овсяную метелку усов, начальник управления трет закуржевшие виски, смотрит на сиреневую в лучах опавшего к западу солнца протоку и молчит. Что сказать Федору Федоровичу? Списали его годы с теплой палубы, осудили на вечную тоску минутных встреч с чужими пароходами; нечего сказать и начальнику, приговоренному к пожизненному поселению в каменной коробке кабинета. Как ни высок потолок его, как ни хороши гладиолусы в кадках — выше звездный потолок над «Смелым».

— А ведь здоров «Смеляга»-то! — как бы равнодушно говорит Федор Федорович.

— Тянет! — так же равнодушно отзывается капитан.

Федор Федорович косится на него, сердится:

— Хорошо тебе, Борис! С таким механиком бегаешь! Бог тебе Уткина послал! Молиться на него надо!

— Тридцать лет молюсь! — усмешается капитан. — Лампадку в кубрике затеплил...

Федор Федорович обижается:

— С тобой серьезно!

Солидно, с прищуром говорит начальник управления:

— Н-да... Механик золотой! Н-да! Золотой, говорю, механик... Отдавать нужно Уткина, Борис! Пусть, говорю, молодым капитанам поможет...

— Берите! — отвернувшись, бросает капитан.

И видно, уж очень хочется начальству забрать механика: не замечают погрустневшего лица капитана, не улавливают в голосе тоски, а только понимают смысл слова, которым отдает капитан лучшего на всей Оби механика. На секунду остолбенев, Федор Федорович восклицает досадливо:

— Да не отвалится от Бориса Спиридон... Прикипел к нему, автогеном не отрежешь!

— Сам отвалюсь! — глухо отвечает капитан.

Мгновенно наливается тревожным бакенным цветом лицо капитана-наставника, а начальник управления смущенно кашляет. Совсем забыли они о том, что, может быть, последнюю навигацию побегит по Оби капитан... Несколько дней назад принес он с медицинской комиссии листок бумаги. Долго рассматривали его обские капитаны, вникали в смысл мудреных медицинских слов и поняли одно: износился Борис, как машины пароходов, что стоят на вечном якоре в Моряковском затоне.

Стоят, молчат друзья капитана... Маются. Ищут слов. Наконец, не глядя на капитана, Федор Федорович говорит:

— Борис, а Борис!.. А ведь флагшток-то на боку... Гляди — припадает вправо!

— Да... Пожалуй!.. — подтверждает начальник, отирая пот со лба.

Смотрит на флагшток и капитан: флагшток как флагшток — прямой, хорошо выкрашенный, но, щадя Федора, понимая его, соглашается:

— А ведь Федор прав... Косит немного флагшток!

По-мальчишески повеселев, деланно равнодушно спрашивает капитан Федора Федоровича:

— Будем пожарную тревогу бить?

Капитан-наставник приосанивается. На старости лет, на седьмом десятке, заболел он странной болезнью — любовью к учебным пожарным тревогам, чем и изводит обских капитанов...

— Прошу пробить! — важно требует он. — Прошу по всей форме, товарищ капитан!

— Есть! — отвечает Борис Зиновеевич и, скомандовав: «Пожарная!» — незаметно подмигивает Косте Хохлову, который в свою очередь подмигивает боцману, а боцман — Ивану Захаровичу, а Иван Захарович — Петьке Передраге... Цепная реакция подмигиваний охватывает пароход от носа до кормы и оканчивается Валькой Чирковым, который нажимает на рычаг сифона. Раздирающий барабанные перепонки вой заполняет пароход.

И уже летит суматошно по палубе команда «Смелого», тянет серый шланг, размахивает баграми, топорами, тянет ящики с песком, огнетушители, налетает друг на друга, занимая места по точно разработанной пожарниками и утвержденной Федором Федоровичем инструкции. Впереди всех, выпуча глаза, бежит Костя Хохлов.

На секунду Валька Чирков отпускает рычаг, и в тишине капитан бодро командует:

— Пострадавшим оказать медицинскую помощь!

Сирена опять дико заливается, и к Федору Федоровичу спешат ребята, лётом подтаскивают носилки, машут руками Нонне Ивановой, которая, спотыкаясь, бежит к капитану-наставнику с медицинской сумкой через плечо и заранее вытаскивает пробку из бутылки с нашатырным спиртом. Под крик Кости: «О чем ты тоскуешь, товарищ моряк?» — Федора Федоровича валят на носилки, суют, ошеломленному, под нос нашатырный спирт, щупают пульс, под мышку ставят огромный, в деревянном футляре, термометр для воды. Затем капитана-наставника, совсем очумевшего, бегом спускают с палубы, несут в красный уголок и укладывают на койку...

На палубе катаются от хохота.

— Пошли Федора смотреть! — сквозь смех предлагает начальник управления.

Но капитан-наставник уже сам поднимается на палубу.

— Вот что, Борис!.. — свирепо начинает он, но не выдерживает: приседает, дрожит всем телом, смеется.

## 5

Невысок капитан «Смелого» — рост сто шестьдесят три, вес пятьдесят девять. Не много места занимал в двухкомнатной квартирке, но вот ушел — пусто стало.

На диване, среди вышитых подушек, сидят жена капитана и дочь — студентка Томского университета, приехавшая проводить отца в плавание. Сидят молча, прислушиваясь, не скрипнет ли тихонько калитка, не звякнет ли хрупкий ледок под яловыми сапогами. Изредка перебросятся пустым, ненужным словом, грустно поглядят друг на друга, вздохнут и опять молчат.

— Скипидар бы не забыть со свиным салом, — говорит жена капитана. — Верное средство против простуды... Тело натрешь, грудь натрешь, как рукой снимет!

— Я положила... в рюкзак...

По ковровой дорожке лениво идет большой дымчатый кот, изогнувшись, смотрит на капитанову койку, долго раздумывает, ворочая по сторонам усатой головой, и наконец медленно уходит обратно. За котом крадется длинная тень.

Тихо.

Стенные часы в ореховом футляре постукивают мелодично, упрямо. Жена капитана грустит оттого, что, собственно, свиное сало со скипидаром брать с собой капитану ненадобно: сызмальства не простуживается Борис Зиновеевич — проваливался в проруби, бродил в ледяной воде, до ниточки промокший, выстаивал длинные вахты на сквозном ветру и —

хоть бы чихнул! Единожды в жизни был болен капитан: неделю валялся на койке, почитывая книги, попивая хлебный квас,— ухватил где-то обидную, смешную болезнь под названием коклюш. Чтобы не было стыдно такой хворобы, говорил знакомым загадочно: «Инфлуэнца! Вот так...»

— Что скипидар! — вздыхает жена капитана.— Не в скипидаре дело...

За окном, на улице,— голоса. Кто-то смеется. Жена капитана поднимает голову, прислушивается. Седые волосы под электрическим светом отливают серебром. У нее продолговатое решительное лицо. Она выше капитана ростом, плечиста.

— Сейчас придет... Это Валька Чирков с Верой Капитоновой прошли.

И действительно — скрипят доски на крыльчке, звякает щеколда, потом легкий шарк сапог по сениям... Жена и дочь сидят неподвижно: не любит капитан, когда его встречают на пороге. Странность эту он как-то объяснил жене: «Помнишь, Клаша, капитана Селиверстова, что у купца Кухтерина «Звездой» командовал?.. Так вот он приходил домой, жена бросалась под ноги и стягивала грязные — нарочно в грязь норовил, поллец! — сапоги. Как вспомню об этом — мутит!» Жена капитана хорошо помнила Селиверстова — у Бориса до сих пор шрам от селиверстовской руки...

— Ну, здравствуйте! — улыбается капитан, появляясь в пролете двери.— Здравствуйте, домочадцы!

Легким, скользящим шагом приближается дочь капитана, наклоняется к отцу. Он целует ее в лоб, отстранив от себя, заглядывает в лицо, проводит рукой по мягким каштановым волосам.

— Добрый вечер, Лиза!

В шерстяной фуфайке, без головного убора капитан кажется еще меньше ростом, тоньше. Он садится на диван, привлекает за руку дочь.

— Выше нос, товарищ литератор! Есть еще порох в пороховницах, жива еще казачья сила... Так, что ли, у вас там пишется?

Дочь исподлобья смотрит на отца, грозит пальцем, притворно сердится.

— «У вас там пишется!» — передразнивает она.— Сам все знает наизусть, а спрашивает!

Обычно между капитаном и дочерью идет веселая, шутливая война — подтрунивают друг над другом, припоминают прошлые промахи. «Два ноль в твою пользу, батька!», «Дорогой литератор, вы сели в калошу! Разрешите занести на текущий счет очко, присовокупив его к прошлым двум!» Сегодня же — иное: редко вспыхивают в глазах дочери зеленые огоньки. Видит это капитан и хитренько прищуривается.

— Если бы я был Костя Хохлов,— говорит он,— я бы сказал: что ты, Ваня, приуныл, голову повесил?..

Дочь передергивает плечами.

— Не люблю я твоего Хохлова... Нахал и пустомеля! Как ты можешь держать его на пароходе! — сердится она, взмахивая рукой и даже отстраняясь от отца. — Гнать надо таких в шею!

— Ого-го! — удивляется капитан и с интересом смотрит на Лизу, а она приникает к отцу, вздыхает.

— Нет, серьезно, папа, что ты в нем нашел?

Капитан думает.

— Ты, во-первых, нарушила наш уговор...

— Какой?

— Не судить о людях опрометчиво... Костя — прекрасный работник. Такого знатока Чулыма поискать надо!

Дочь надувает губы.

— Вечно ты о работе... Я о человеке...

— Человек и работник — это почти одно и то же. Я, Лиза, убежден, что истинно плохой человек не может быть хорошим работником... Хотя, знаешь, понятие плохой человек относительно. А что касается Хохлова, стегать его надо! — вдруг решительно заканчивает капитан.

— Ну вот видишь!

— Вижу... Но я знаю и другое — прошлое Кости.

Опять задумывается капитан и вдруг весело, облегченно говорит:

— Ухватил... За самый кончик ухватил!

— Что, папа?

— Мысль ухватил... Вникни! Хороший работник не может быть плохим человеком, ибо труд свой он отдает людям. А коли так, то какой же он плохой, если себя отдает людям? Вишь, как твой батька философствует!.. Пушает туман, и никаких данных!

Дочь капитана сводит тонкие, крутые брови, ласково и в то же время с упреком — сам себя высмеивает! — смотрит на отца, а он хохочет... Похожа на капитана дочь. Лицом, ростом, мягким и немного грустным взглядом больших темных глаз; и губы отцовские — полные, с изгибом; на носу маленькая горбинка, придающая лицу материнское властное выражение, затушеванное нежной молодостью.

Хорошо капитану рядом с дочерью. Хочется сидеть молча, не шевелиться, и думать о том, что, кажется, совсем недавно, несколько месяцев назад, принес капитан в дом маленький попискивающий комочек, развернул пеленки и обмер от жалости — сморщенное личико старушки водянистыми глазами смотрело на него и на что-то жаловалось. И с этим взглядом в душу навечно вошла сладкая до боли нежность.

— Батька! — Дочь прижимается теплой щекой. — Не ходил бы нынче на реку... Ведь болен же!

— Надо, Лиза. «Смелый» зовет, — серьезно отвечает капитан. — Это мой старый друг. Тебя еще на свете не было, а мы дружили с ним. Хочешь — смейся, хочешь — нет.

— Понимаю! — откликается дочь. — Ты не можешь без «Смелого», это как зов сердца...

— Да, примерно так... Но слова-то, пожалуй, слишком громковаты... В жизни проще. Механик Уткин говорит так: хочу еще разок повертеться вместе с землей... Умный мужик, скажу я тебе!

— Понимаю! Понимаю! — И по какой-то ей понятной связи добавляет: — Книги твои уложила...

Капитан оживляется.

— Реки, что положила, гражданин литератор?

Дочь достает лист бумаги, читает, временами сурово поглядывает на отца: одобряет ли, не смеется ли? Останавливается.

— Не беспокойся... «Кола Брюньона» твоего тоже положила...

— Вот уж и моего... — смеется капитан. — Кола, гражданин филолог, всехний... Ну, читай дальше!..

В доме капитана ужинают долго, не торопясь и почти молча. В семье любят хорошо поесть: суп с гренками, жаркое, вареники, простокваша, молоко, масло и на десерт варенье. Капитан смело хватает жирное мясо, кидает на тарелку, большим и острым ножом отваливает порядочные куски, круто солит и в два слоя мажет горчицей. Простоквашу едят деревянными ложками, в которые если уж подхватишь, так есть на что посмотреть! На куски толстого хлеба мажут толстый слой масла.

Наедаются досыта, но ложек не бросают — ужин еще не кончен. Лиза левой рукой катает комочки хлеба, жена капитана хмурится с таким видом, точно считает в уме. Борис Зиновеевич оживлен, громко прихлебывает чай, ожидая от жены: «Борис, перестань прихлебывать!» Но жена молчит, и он не выдерживает — прыснув в стакан, говорит:



— Федор Федорович сегодня опять усы кусал... Пойду, говорит, с тобой на Чулым... Боков, начальник управления, хватя его за руку: отойдем, дескать, в сторону! Ты мне, сердится, агитацию не разводи, брось мерехлюндии. Молодых надо учить, я тебе покажу Бориса!..

Жена капитана поджимает губы.

— Я бы его без специй съела!

— Кого?

— Федора Федоровича...

Капитан даже руками разводит.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Точно не слыша мужа, не обращая внимания на широко разведенные руки, жена говорит дочери:

— Знаем мы... Все знаем! Как он медицинскую комиссию уговаривал, чтобы тебя пустили в плавание, как перед начальником заступался... Все знаем!

— Мама! — укоризненно восклицает Лиза.

— Что — мама? — быстро подхватывает хозяйка. — Ну что — мама? Ответь, что ты замамкала?

— Мама!

— Зачастила: мама, мама, мама, а сама не знает, что мама... Мама пятнадцать лет на «Смелом» проплавала, а она одно: мама, мама! Прежде чем мамкать, подумала бы, что говорить. Вот всегда в этом доме так — ты им одно слово, они тебе десять!

Капитан от удовольствия морщит нос, старается сдержать смех и, нагнувшись к самовару, видит неожиданное — сердитое лицо жены в зеркальном никеле кажется добрым и молодым, зато сам капитан на черта похож.

— В общем, не мамкай! — сердито говорит хозяйка, поднимаясь. — Я пошла посуду мыть, а ты, Лиза, спать укладывайся. Завтра рано вставать — отца пойдем провожать на реку!

В эту ночь капитан засыпает поздно.

Затаившись в густой темноте, слушает, как ворочается, стонет в груди сердце. От тишины, от темени кажется, что дом плывет в густом, вязком воздухе. В бессонной думе слушает капитан, как тревожно лают в Моряковке собаки. На чердаке ветер забирается в слуховое окно, набухает под крышей — кажется, что по чердаку кто-то ходит, воровски переставляя ноги. Иногда тишина рождает призрачные, странные звуки: то в отдалении поет рожок стрелочника, то шумит прибор, то звенят колокольчики.

Редко-редко приплывают напевы пароходных гудков.

Чувствует капитан — холодная мохнатая рука берет за сердце, несколько раз сдавливая его; ощутимо, пузырями наливаются на висках вены — медные кузнецы из стенных часов переселяются в них, долбят голову тяжелыми молотками. Становится ощутимым чувство полета в густом, вязком воздухе. Маленькое, щуплое тело капитана парит в пустоте. Замирая, думает капитан: «Где я?»

Болен капитан «Смелого».

## Глава вторая

### 1

У Чулыма деревянное дно.

Десятилетиями несли мутные чулымские воды черные тела топляков и, не дотавив до Обского плеса, укладывали на илистое дно; десятилетиями с чулымских берегов в половодье оседали в воду разлапистые

березы с дочиста обмытыми водой паучьими корневищами; десятилетиями спокойно ложились на дно реки стройные лиственницы, чтобы обрести долголетие, ибо от долгого лежания в воде лиственница становится молодой и крепкой.

Сотни тяжелых якорей оставили на дне Чулыма пароходы, зацепившись за деревянный настил.

Чулым — приток Оби. Возле деревни Луговое чулымская вода яростно сшибается с обской, и в этом месте столпотворение, ад. Чулым хищно грызет берег, откусывает кусок за куском, не может насытиться. В прошлом году только стариковская бессонница спасла домочадцев рыбака Анисимова от прожорливой реки. В четвертом часу утра проснулся дед Анисимов, долго лежал, глядя в закопченный потолок, а потом все-таки вышел на волю по стариковской малой нужде. И хорошо, что вышел: чудом висела рыбацкая избушка над беснующимся Чулымом. Дед повыбрасывал подальше на берег малых ребятишек и брехатую сноху, чем и спас их от верной смерти.

Гибельное место — сшиб Чулыма и Оби. Повернет в весноводье буксирный пароход на Чулым и замрет на месте: работает судорожно поршнями, молотит воду колесами — и все без толку. Сядут усть-луговские ребятишки на урок — молотит воду буксир, выйдут на перемену — молотит. И только опытный капитан одолеет сшиб воды: нежненько прижмется к пологому берегу, выберет тайный тиховод — и, смотришь, весело телепает буксир выше Лугового километра на три.

Не похож Чулым на Обь: не в глинистых берегах среди низкорослой стены тальников течет он, а нанизывает зигзаги среди сосен, кедрочей, березовых колков; местами пробивается сквозь небольшие горы, местами течет средь равнин.

По берегам Чулыма проглядывают поселки сплавщиков, лесозаготовителей. В тайгу, в комариное царство, врубаются люди, уходят от Чулыма по крупным притокам — Улу-Юл и Чичка-Юл. Две области — Томскую и Кемеровскую — пронизывает Чулым.

Весна на Чулым приходит в конце марта, а то и в начале апреля. Выходят жители Лугового утром из теплых изб, хватают расширенными ноздрями запах набрякшего водой снежного наста и качают головами: «Нет, не весна еще, парень!» Ждут еще неделю и, омочив болотные сапоги в проклюнувшейся лужице, снова крутят носом: «Нет, не весна!» Оборвав с десятка листков календаря, сбросив шубы и фуфайки, глядят на вздыбившуюся реку, поворачивают к ласковому солнцу спину и снова ворчат: «Нет еще! Нет, парень!» И только тогда, когда за излучиной Оби, за вековым осокорем покажется темная струйка дыма, когда, немного кособочась, покажется на Чулымском плесе «Смелый», скажет житель поселка: «Вот, парень, весна пришла!»

Луговое приходит встречать пароход.

Пятого мая «Смелый» пришел в Луговое...

На плесе — оживление: пробиваются, ныряя, небольшие лодки, обласки; катеришко, чихая дымом, тянет на буксире баржу раз в десять больше себя и кричит на встречных сердитым голосом; справа на Оби — чехарда завозен, маячат темные человеческие фигурки, пыхтят рейдовые катера, буксиры.

Река — как море. Нет ни правого, ни левого берега — вместо них голые метелки тальников, одинокие вершины осокорей да потонувшие телеграфные столбы. Луговое по пояс в воде.

В теплых зимних пальто, в валенках стоят на палубе «Смелого» речники, курят самокрутки. Пароход, накренившись на правый борт, чертит большой круг по Чулымскому плесу. Белая, чистая полоса потревоженной воды остается за ним, крутыми горбушками волн катится под лодки, обласки, и люди в них судорожно гребут, чтобы не захлестнуло.

В иное время летела бы брань в лихо разворачивающихся штурвальных, а сейчас улыбаются гребцы первому буксиру, приближающемуся в Луговое. Развернувшись, «Смелый» дает долгий привальный гудок.

Берег покрывается людьми.

— Приставать у конторы! — командует капитан, спускаясь в люк. Подумав, добавляет: — В Луговом простоим до утра... Свободные от вахты могут сойти на берег.

Швартуясь, «Смелый» от ватерлинии до верхушек мачт окутывается паром, шипит, покрикивает тоненькими гудками.

— Стоп! Отдать носовую!

Матрос Петька Передряга крутит над головой уложенной в витки веревкой, размахнувшись, кидает вперед легость. Мальчишки с улюлюканьем подхватывают ее, бегут к кнехту, закрепляют, и, когда пароход замирает, команда «Смелого», толпящаяся на палубе, немного отступает назад — шагах в трех от судна, уместившись тесно на деревянной эстакаде, стоят жители Лугового.

К притихшей толпе летит трап. И сразу же оживает берег.

— Вальке Чиркову привет!

— Бориса Зиновеевича что-то не видеть...

— Сказал тоже! Он сроду на палубу не кажется. Уж такой человек.

— Трубу нынче перекрасили... Гляди, Иван Захарыч при шляпе!

Большой праздник на берегу. Принаряженными пришли люди, стоят перед «Смелым», как перед трибуной, жадно оглядывают его, шупают команду беспокойными глазами — не ушли ли из нее знакомцы, с кем приятно перекинуться словечком, кого можно пригласить на чашку чая. Кутая детишек в теплые одеяла, стоят молодухи; малыши повзрослее льнут к ногам мамок, таращат глазенки — и в них испуг и восторг. Солідные сплавщики в дорогих драповых пальто, хромовых сапогах держатся чинно, но и они рады: вместе со «Смелым» пришла в Луговое работа, большие заработки.

Рада и команда «Смелого». За три часа до прихода в Луговое начал надраивать ботинки, снимать пушинку за пушинкой с бушлата Валька Чирков, до этого разгуливавший по палубе в драном пальтишке. Теперь Валька, картинно выпятив грудь, поглядывает на берег, шарит глазами по толпе, прицеливается в разряженных девок и собирает на лбу равнодушные морщинки. Отправляется на берег боцман Ли — грозит пальцем кому-то из луговчан, подмигивает. «Сейчаз! Старый должник лучше новых дывух!» — кричит он, не смущаясь веселой толпы, хохота сплавщиков, видимо знающих, почему подмигивает боцман и грозит тонким пальцем.

Сойдет на берег и капитан.

Останутся на пароходе вахтенные, Нонна Иванкова и механик Уткин.

Луговое дреоится огнями. Огни в домах и огни на воде, из конца в конец заполнившей поселок. По узким, полутораметровой высоты тротуарам идут редкие прохожие, остальные плывут в лодках, обласках. Слышны песни, голоса, уличные репродукторы надрываются: «Тореадор, тореадор, смелее в бой...» За тюлевыми занавесками, за ситцевыми раздвигушками сплавщики справляют начало навигации. Пьют не много, не мало, так, чтобы на зорьке проводить «Смелый» в первый рейс и с легкой головой пойти на работу, а вот едят много. После жирных щей и картошки с мясом хозяйки с подхвата грохают на стол рыбные пироги, кашу, яичницу, яйца жареные с лапшой и просто лапшу. Поужинав, тянут из ковшей хлебный квас, клюквенный морс, а в домах позапасливей разбавляют жир в животах острым огуречным рассолом, смешанным с медом. Поют песни. Через два-три дома слышно: «Каким ты был, таким остался...» и «Бежал бродяга с Сахалина...» В избах, где поболь-

ше молодых девчат, парней, побывавших на курсах повышения квалификации, поют другое: «Та заводская проходная, что в люди вывела меня...»

В крайнем доме — высоком, на каменном фундаменте, с железной крышей — гундосо вздыхает гитара.

За розовой тюлевой занавеской, матовыми фикусами, закинув ногу на ногу, сидит Валька Чирков, с глазами, устремленными под потолок. На лице — томность. Валька перебирает струны, играет с таким видом, словно не в окружении притихших девчат сидит он, а на палубе «Смелого».

— Н-да! — вдруг громко вздыхает Валька, оборвав аккорд. — Н-да!

— Ах, Валя, сыграйте что-нибудь морское, — в тон ему вздыхает полная девушка с черными кудерьками волос вокруг гладкого маленького лобика. — То, что в прошлый раз играли.

Валька задумывается. Потом, прищипывая языком после каждого слова, снисходительно обращается к полненькой:

— Виноват. Цц! Не помню! Жизнь речника полна встреч. Цц!

Явно гордясь перед подругами старым знакомством, полненькая напоминает штурману «Смелого», что они встречались в прошлом году в августе, точнее — седьмого августа, у подруги, где Валя и исполнял ту песню.

— Да, да! — Валька задумывается, но все-таки опять прищипывает. — Не можете ли напомнить? Цц!

— Там еще слова... «Как море мертво без меня...»

Валька Чирков улыбается и, вздернув гитару, снова поднимает глаза к потолку. Звенят струны. Туманятся девичьи лица. Замирает сердце от непонятого ожидания, холодеют кончики пальцев. Валька поет, чуть-чуть сбиваясь на блатной манер:

Я зна-а-ю, друзья, что не жить мне без мо-о-оря,  
Как море ме-ертво без ме-э-н-ня...

В девичьих глазах до сказочности хорошеет Валька Чирков, нет больше приплюснутого носа, белесых бровей, томной снисходительности. Когда Валька поет, он забывает все на свете.

Не-элежкой походко-о-ой матр-росской  
Идем мы навстре-е-эчу врагам...

Жизнь для Вальки Чиркова — радость. Ни тягостных раздумий, ни холodka печали, ни сосущей душу неуверенности не знает штурман «Смелого». С тех пор как он ощутил себя человеком, живущим на земле, мир превратился для него в голубое и радостное. Здоров и энергичен штурман: просыпается на заре, закидывает похрустывающие руки за голову — счастье! Засыпает, сморенный ноющей, легкой усталостью, — счастье! Бежит навстречу солнцу, ветру, воде — счастье! Ни зависти, ни злости, ни недоверия не чувствует штурман к людям, и они ему отвечают тем же — спокойным доброжелательством, улыбками. Легко дается жизнь Вальке Чиркову. Унаследовав от отцов и дедов цепкую речную хватку, встал он восемнадцати лет на палубу «Смелого» и точно врос в нее. Кажется со стороны, что испокон веков стоял он рядом с рубкой «Смелого». Прирожденным штурманом взял капитан Вальку из рук деда — бровастого капитана «Софьи Ковалевской» Тимофея Чиркова. Все дается легко Вальке, и идет он по жизни веселой тропкой. Счастлив первый штурман «Смелого».

Корабль наш упрямо ка-ачает  
Крутая мо-эрска-ая во-эл-на...

Звонят последние аккорды. В комнате благоговейная тишина. Потом Валька хлопает себя по карману, достает блестящий золотом портсигар из дутой бронзы: на нем крейсер «Варяг», окруженный фонтанами взрывов.

— Позвольте закурить?

Вместо разрешения ему протягивают коробку спичек, но штурман отводит смуглую девичью руку.

— Даже при слабом ветре на палубе судна трудно зажечь спичку,— поясняет штурман.

Из второго кармана брюк появляется зажигалка.

— Верный спутник моряка!

Валька смотрит на часы. Десятый час всего. Много времени в Валькином распоряжении, много радостей ждет до того момента, когда «Смелый», рывкнув, отвалит от Лугового. Когда гитара надоеет, Валька отправится в клуб на танцы. С доброй половиной девчат Лугового перетанцует он, но чаще всех с полненькой дивчиной, благодаря ее за интерес к его, Валькиным, песням. Ее и пойдет провожать по узенькому тротуарчику, висящему над водой. Остановившись недалеко от дома полненькой, будет загадочно молчать, пыхать папиросой, искоса поглядывая на девушку, которая повернет к нему неясно белеющее в темноте лицо. Валька станет жаловаться на суровую жизнь речника, на скуку ветреных ночей, когда ни зги кругом, когда в целом мире ты да судно. Нежно погладит дивчина шершавой ладонью по рукаву бушлата, а может быть, и приникнет потрескавшимися губами к его губам. Благодарно ответит на поцелуй штурман «Смелого» и уйдет на пароход, зная, что будет ждать «Смелого» дивчина, проглядывать глаза на мутном Чулымском плесе.

Веселый, наигранно-равнодушный, сидит на кушетке Валька, перебирает струны.

Есть у Чуйского тракта дорога,  
Много ездит по ней шоферов,  
Жил там самый оты-чаянный пы-арень,  
Зы-вали Колька его Снегирев...

## 2

Глухим пологом висит над Луговым ночь. Невидимый, бушует Чулым, и не понять — то ли с неба, то ли с земли доносится клокотание воды, посвист плотного воздуха. Иногда низко, в свете уличного фонаря, видна всклокоченная серая пена.

Во тьме, чертыхаясь, капитан нащупывает ручку на двери диспетчерской, рвет торопливо на себя, заходит в тепло. На столе — карта, готовальня, цветные карандаши и на раскрытой книге голова человека. По карте разметались длинные волосы: человек спит. Капитан тихонько трогает его за плечо; человек быстро приподнимает голову, свежим голосом — точно и не спал — приглашает:

— Садись, Борис Зиновеевич! Ну как, гудёт? — спрашивает начальник Луговской пристани Семен Красиков.

— Гудёт!—Капитан отгибает воротник полушубка, некоторое время сидит неподвижно, потом разматывает длинное кашне. Лицо у капитана усталое, глаза в черных кругах, а кожа побледнела, обмякла.

— Застал? — опять спрашивает Красиков.

— Застал! Слушай... Дай-ка папиросу!

Красиков недовольно хмыкает:

— Чудишь!

И, усмехнувшись, протягивает капитану дешевенькую папироску. Неловко, средним и указательным пальцем, берет ее Борис Зиновеевич,

не размяв, тянется прикурить, но Красиков отбирает, покатав в пальцах, сует в рот капитану и подносит спичку.

— Курильщик!.. Что же директор сплавконторы?

У капитана смешно отдуваются щеки, губы складываются дудочкой. Набрав дыму в рот, он мгновение сидит с круглыми глазами, потом, выдохнув дым, судорожно кашляет.

— Зелье!.. Ах, будь ты неладно!

— Что же? — настаивает Красиков.

— Разрешил.

— Двенадцатитысячный?

— Угу!

— А обком партии?

— Обком партии еще в прошлом году благословил.

У Красикова сверкают изумленно зрачки. Поднявшись, он начинает мерить диспетчерскую длинными худыми ногами. Он рубит воздух рукой, этот начальник пристани Красиков.

— Не понимаю, Борис, не понимаю! Есть же предел всему на свете!.. В прошлом году в одном плоту ты провел десять тысяч кубометров леса вместо четырех по норме. Честь тебе и хвала!.. Но, понимаешь, десять! Десять! Это же не двенадцать! — Красиков замедляет бег по комнате, еще больше изумляется. — Ты посчитай: двенадцать тысяч — это месячный производственный план для тягача типа «Смелый»! Двенадцатитысячный плот будет длиннее нормального в четыре раза.

— Почти в пять! — быстро перебивает капитан. — Ты не учел длину головки.

Рубящая воздух рука Красикова застывает.

— В пять?

— Угу! — подтверждает капитан.

Красиков садится, кладет руку на колено Бориса Зиновеевича, серьезно, тихо говорит:

— Отвечай на мои вопросы, Борис. Я вместе с тобой отвечаю за судьбу плота. И я не разрешу брать его, пока не пойму оснований твоего спокойствия. Ты понимаешь меня?

— Понимаю, Семен... Ты в сны веришь?

— Я вполне серьезно, — тихо говорит Красиков, но руку с колена капитана снимает, точно дает понять, что ни шуточки, ни даже самой легкой усмешки не примет и не поймет.

Капитан, видимо, и не собирается шутить, он отвечает на нетерпеливое движение собеседника:

— Я тоже серьезно! Сны — пустяки, Семен, но цену бессонной стариковской ночи не могут понять только очень молодые люди. Это, брат, не выдумки, а разлюбезная твоей душе действительность! Когда человек не спит длинную зимнюю ночь, когда он десять часов кряду думает об одном и том же — наяву ли, во сне ли, один черт! — он приходит к конечному пункту.

— Но, Борис...

— Хочешь сказать, какое отношение имеет это к плоту... Прямое, Семен, самое прямое! Нам, практикам, часто не хватает именно вот этого — размышлений, теоретической основы, что ли! Зато если мы начинаем размышлять... — Капитан вдруг мягко, ласково улыбается. — Ты знаешь, между прочим, я убежден, что за много бессонных ночей можно научиться ездить на велосипеде. Нужно только знать точно, как это делается... И, наоборот, умея ездить на велосипеде, можно рассказать другим, как это нужно делать... Ты понимаешь меня, Семен?

Словно в пустоту смотрит Красиков, молчит — и не логикой, не зримым путем, а опытом таких же бессонных ночей начинает понимать капитана. И вдруг с радостью понимает, что они с капитаном, в сущности,

чувствуют и думают одинаково. Вероятно, то же самое испытывает капитан, он не ждет ответа Красикова и продолжает:

— Однажды ночь дала мне ответ. Я убежден — можно брать плот в двенадцать тысяч, а может быть, и больше... Может быть, и больше, Семен!.. Смотри!

Они склоняются над картой. Вилюжины речушек, ржавая накипь болот, частокол тайги. Вобрав в себя все синее на карте, бежит Чулым, на самом крутом завитке которого присосалась коротенькая пиявка — Вятская протока. Гиблое место эта протока. Точно мощный насос, тянет она из Чулыма воду, и именно здесь кладбище якорей, грузов, багров. «Кто в Вятской не бывал, тот горя не видал!» — говорят чулымские капитаны.

— Вятская!

— Она!

— Ах, будь ты неладно! — улыбается капитан и красным карандашом перечеркивает протоку.— Смотри, Семен! Буксируем плот вот сюда...

Красиков задумывается. Затем достает папиросу и снова мерит комнату шагами. Капитан настороженно следит за ним. От тяжелого тела начальника половицы поскрипывают, электрический круг мотается по карте.

— Ночи, ночи... — говорит Красиков.— Черт возьми, пожалуй, действительно можно научиться ездить на велосипеде...

— И не только на велосипеде, Семен! — бесшумно хохочет капитан.— Можно научиться летать на самолете!.. Реактивным!

За дверь слышно царапанье, стук сапог и веселое ругательство. В диспетчерскую врывается шум реки, таракание электростанции, и в клубах холодного воздуха появляется боцман Ли. Потирая руку об руку, подкатывается к столу.

— Ты здесь, капитана! Очень хорошо! Старый должник — лучшие новых двух!.. Мы здешний завхоз здорово проучили, очень здорово!

Вместе с Ли диспетчерскую заполняет веселье, запах обской волны, солидола и «Смелого». На мгновение кажется, что электричество горит ярче, а шум ветра за окнами слабеет.

Красиков и капитан смеются. Всем известная история: в конце прошлой навигации завхоз Луговской сплавной конторы позаимствовал у боцмана «Смелого» двадцать килограммов краски, тысячу метров троса и около тонны профилированного железа. «На будущий год вдвойне отдам, ей-богу, отдам, провалиться мне на этом самом месте!» — божился завхоз, а Ли, заранее предупрежденный луговскими друзьями, что завхоз взятого отдавать не собирается и через год сошлется на давность, отвечал: «Проваливайся не надо! Отдавай надо! Как говорил — вдвойне!» Обрадованный до невозможности, завхоз и слыхом не слыхал, что расписку на двойное количество взятого уже подписали семь свидетелей сделки между «Смелым» и Луговской сплавной конторой. И вот наступил час расплаты... Боцман Ли потирает руки.

— Все до нитки забирали! Сорок килограммов краска, две тысячи троса, два тонна железа...

Капитан смеется, но и хмурится немного.

— Это, брат, нечестно получается! — говорит он, покачивая головой.— Поразмысли об этом, Ли.

Но боцман не смущается.

— Честно, капитана! Завхоз думал нас объегорить, сам попался. Учить надо мошенников! Хорошо учить!

— Правильно! — поддерживает боцмана Красиков.— Этот завхоз обдирала, каких свет не видал.

В одно движение боцман подскакивает к начальнику Луговской пристани.

— Спасибо, начальник... Говори, не стесняйся — никакой материал тебе не надо? Краска, может, олифа? Говори!

— Ничего мне не надо... Зачем? — удивляется Красииков.

— Тогда отдавай нам пять килограммов олифы, что в прошлом году брал!

От смеха капитан налегает на стенку, пачкает спину известкой.

## 3

«Смелый» качается на прибойной волне. Скрипят переборки. Дымная, разорванная по краям, накатывается на пароход береговая волна.

В радиорубке попискивает приемник, неоновым светом реклам горят лампы. Сидят двое: радистка Нонна Иванкова и кочегар Иван Захарович Зорин. Сидят и молчат уже минут десять, с тех пор как Иван Захарович постучал в низкую дверь. Нонна — в облегающем свитере с высоким воротником, в форменной короткой юбке — полулежит в крутящемся кресле, скрестив ноги. На коротко остриженных волосах ее — полукружья наушников. Молчит Нонна и насмешливо смотрит на Ивана Захаровича.

Кочегар притулился в уголке. Вывернутые наружу губы сложены добродушно, умиротворенно — по всему видно, хорошо в радиорубке кочегару, может сидеть и молчать вечность, изредка издавая губами непонятный шепелеватый звук. Радистка тоже молчит, порой демонстративно, с насмешкой зевает. Наконец произносит:

— Здравствуйте-ка!

— Мое почтение! — не шевелясь, добродушно отзывается Иван Захарович.

— В прошлом году молчали, нынче опять молчать будем. Иди-ка, Иван, спи! — говорит Нонна, поворачиваясь к приемнику.

Иван Захарович не отвечает, лениво вдумывается в слова радистки. Если разобраться по существу, его выпроваживают из рубки. Может быть, даже не выпроваживают — выгоняют, раздумывает он, прислушиваясь, как Нонна ключом ищет связь с областным диспетчером. «Пи-пи-пи!» — разносится цыплячий писк в рубке, щелкают выключатели, дробно поговаривает ключ. Потом Нонна переходит на голосовую связь, металлическим, патефонным голосом спрашивает: «Томь! Я Чулым... Томь! Я Чулым!» Но Томь не отвечает... Сдвинув наушники на затылок, радистка принимает в кресле прежнее положение. Опять тишина, легкое поскрипывание переборок, бухающие удары Чулыма о борт.

— Дай папиросу! — требует Нонна.

Иван Захарович послушно лезет в карман, достает папиросы, спички, протягивает их радистке, сам же опять уютно притуляется в уголке. Мужским, ловким движением Нонна закуривает.

— Ну? — спрашивает она.

— Да ничего, — отвечает Иван Захарович.

Помолчав, кочегар говорит:

— Ты знаешь, Нонна, что человек к вечеру становится на два-три сантиметра ниже, чем был утром.

— Еще что? — Радистка передергивает плечами.

— Ничего... В авторитетном источнике читал.

— Шел бы ты спать, вот что!

Иван Захарович долго раздумывает, решает, видимо, как ему поступить.

— Нет, посижу еще, — говорит он.

И сидит. Нонна опять ловит волну. Когда ей это не удастся, Иван Захарович говорит:



— У тебя рост сто пятьдесят шесть, у меня — сто восемьдесят пять... А вечером, значит, у тебя сто пятьдесят три, у меня сто восемьдесят два.

Не заметив насмешливого взгляда Нонны, движения ее рук, рванувшихся к телеграфному ключу, Иван Захарович продолжает размышлять:

— А разница, как ни верти, двадцать девять! Вот в том-то и дело... Утром двадцать девять, вечером двадцать девять, днем двадцать девять, всегда двадцать девять... Большая разница!

— Еще что скажешь? — перебивает его Нонна. На какое-то мгновение их глаза встречаются: затуманенные мыслью — кочегара, обожженные насмешкой и еще чем-то — радистки; встречаются, и в короткие доли секунды происходит обратное: гаснут, туманятся глаза Нонны, матовыми искорками вспыхивают глаза Ивана Захаровича, но уже в следующее мгновение в радиорубке все по-прежнему.

— Нишь! — шепелевато отвечает кочегар.

— Боже ты мой! — Нонна стискивает руки. — Нужно станцию поймай, а он сидит... Хоть бы на скрипке играл, что ли!

— Будешь слушать? — вскакивает Иван Захарович.

— Уж лучше скрипка!

— Сейчас лабанем, сейчас лабанем! — торопится кочегар и выскакивает из рубки.

Под пальцами Нонны щелкают выключатели, дятлом стучит ключ, звуки настройки лихорадочны. Томь, Томь, где ты, Томь? Нет ее, беззвучен эфир, точки и тире в кутерьме волн несутся мимо «Смелого», мимо крестовин мачт с гроздьями лампочек. Одинок в этот миг «Смелый», обойденный волной Томи...

На радистку Нонну Иванкову с фотокарточки смотрит Анна Каренина — Тарасова. «Любови разные повывдумывали! — сердится на Анну радистка. — Ты вот посиди-ка в рубке, поймай Томь, а потом под поезд бросайся! А еще лучше — походи-ка каждую навигацию в планировании!»

— Томь! Я Чулым... Томь! Я Чулым...

В дверь проталкивается футляр со скрипкой, за ним — Иван Захарович.

— Зусман на палубе, — сообщает он, бережно кладя скрипку на диванчик.

Нонна вздергивает брови.

— Зусман — по-лабухски значит холодно.

— По-лабухски?

— Значит, по-музыкантски...

— Томь! Я Чулым... Томь! Я Чулым...

Нежно прикасается щекой к холодному дереву Иван Захарович и извлекает долгий печальный звук, точно вздыхает. И еще нежнее прилегает щека к легкому и гладкому дереву, умеющему петь. Легким пожатием смыкаются на тонком грифе длинные пальцы, черные от въевшейся навечно пыли.

Иван Захарович играет Венгерский танец № 1 Брамса.

Льются звуки из-под смычка. Никому — ни себе, ни «Смелому» — не принадлежит теперь кочегар, пальцы летят по грифу, ощущая живую струю звуков.

Нонна Иванкова полулежит в кресле. Еле видимые черточки бровей страдальчески морщатся, лицо по-прежнему злое и решительное.

— Эх, не так! Все не так! — говорит Иван Захарович.

— Что не так? — сердито спрашивает Нонна.

— Играю не так! — опадая плечами под туго натянутой тельняшкой, грустит кочегар. — Похоже, а не так! Послушала бы ты, как эту вещь играет Коган!

— Я слушала...— Нонна задумывается и в такт своим мыслям тихонько покачивает головой.— Когана я слушала по радио.

— Вот то-то и есть!

Нонна сердится:

— Ну ладно, ладно! Не так! Играй еще... Нашел с кем себя сравнивать — с Коганом. Коган на этом деле сидит. А ты кочегар!

— Искусство! — Иван Захарович поднимает палец.— Искусство, оно...

— Играй! — досадливо перебивает Нонна.

Иван Захарович приникает щекой к скрипке.

## 4

Нутро «Смелого» — машина — ярко освещено.

Стальными мускулами застыли шатуны, блестят глазки приборов; редкими вздохами дышит машина. Пахнет теплом, краской, маслом. И хотя машина неподвижна, а шатуны замерли, сила зримо струится из металла, в неподвижности которого готовность моментально прийти в движение: крутить двухметровые колеса, мять кедровыми плечами алмазную воду.

Нет человека на земле, который лучше чувствовал бы могучую силу «Смелого», чем механик его Спиридон Уткин! Его руками притерты клапаны, обернуты кошмой трубы, обласкан каждый винтик, каждая гайка машины. И так же нежно, как Иван Захарович прижимается щекой к полированному дереву скрипки, руки механика прикасаются к теплomu металлу.

Наедине с машиной мало похож Спиридон на обычного механика Уткина. Вместо угрюмой молчаливости — оживление, вместо сдержанной, робкой улыбки — открытая радость.

— Теперь кулису промажем, протрем, вот и будет ладно,— пришептывает Спиридон машине.— Кашу маслом не испортишь, товарищ кулиса...

Словно с живым существом, разговаривает механик с машиной, и это издавна, смолоду. Еще мальчишкой-школяром сын механика «Палаши» Спирька на вопрос, какое существо есть пароход, убежденно ответил: «Одушевленное!» — и долго настаивал на этом. Много времени спустя понял Спиридон, что пароход все-таки существо неодушевленное, но принял это как условность.

— Вот, товарищ кулиса, и готово! — шепчет Спиридон, улыбаясь.— Лишнее мы уберем... На то и пакля есть! Вот так!

Жизнь, счастье, любовь Спиридона Уткина — машина «Смелого». Она ему дает хлеб и одежду, крышу над головой, уверенность в том, что не напрасно топчет он кривоватыми ногами землю. Механик весел, когда машина, хвастаясь силой и молодостью, напевает привычный мотив: «Че-шу я плес-с, че-шу я плес-с!» Мрачнеет весь мир, когда, чахоточно отхаркивая пар, жалуется она: «Упп-пала я; упп-пала я!»

— Вот так-то, товарищ кулиса! — говорит механик, переходя к коренным шатунным масленкам.— Вот так-то...

Он будет ходить возле машины до утра, до зябкого рассвета, который, пробив войлок туч над Чулымом, не скоро заглянет в люк машинного отделения.

## 5

Штурвальный Костя Хохлов, насвистывая, идет по высокому тротуару; курит, поплевывает сквозь плотно сжатые губы, изредка оборачивается назад, и тогда лицо его становится злым и невеселым. Когда до берега остается метров триста, Костя замедляет шаги... В отдалении маячат три темные фигуры.

— Так! — весело произносит Костя. — Были три друга в нашем полку...

Фигуры двигаются к штурвальному. Он языком перекатывает окурок в уголок рта. Согнувшись и сдвинув фуражку набок, Костя приобретает жуликоватый, «блатной» вид. Трое медленно приближаются к нему — напряженные, молчаливые, тесно сомкнувшись. Штурвальный думает: «С ножами или с кастетами?» — и опять говорит шепотом:

— Друзья моряки подобрали героя, кипела вода штормовая...

Трое — в телогрейках, сапогах, на головах шапочки-блинки. Сутулинкой, руками в карманах, широко расставленными ногами они похожи на Костю, но он выше и, пожалуй, сильнее любого из них. Штурвальный не ждет, когда парни подойдут, сам делает два шага вперед, не вынимая рук, спрашивает:

— Гуляем?

Трое молчат. Один из них склоняет голову на плечо, кривится, другие медленно двигаются, пытаются зайти за Костю, но он отступает назад, расставляет ноги во всю ширину тротуара. Теперь обойти его — значит столкнуть. Тот, что кривился, издает неопределенный, хмыкающий звук, и двое замирают...

«Они!» — узнает Костя, и перед ним проносится недавнее... В духоту, в толчею луговского клуба вваливаются трое пьяных, расталкивая танцующих, пробираются к баянисту, матерятся, лапают ручищами девчат. Костя уверенно определяет: «Недавно из тюрьмы».

Клуб становится похожим на муравейник, когда в него залетает оса: девчата жмутся к стенкам, деревенские парни уходят в коридор перекурить. Главарь — золотозубый — тычком сбрасывает с табуретки баяниста, выхватывает баян, разводит: «Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая!..» Заведующий клубом трусливой рысцей убегает к телефону — звонит участковому милиционеру. «Эти в общей камере сидели под нарами...» — думает Костя о троих и враскачку подходит к золотозубому. Странная и непонятная вещь происходит с ним — происходит помимо воли, вопреки его желанию: он хотел спокойно взять золотозубого за руку, пинком вышибить за дверь, но вместо этого, перекосясь лицом, кляцнув зубами, шипит на ухо: «Сявка, сука!.. Попишу трамвайным колесом! Катись, дешевка, чтобы не пахло!» Прошлого Кости — тюрьма, пересыльные пункты — глядит на золотозубого. С ужасом прислушивается Костя к тому, что происходит в нем, но остановиться не может: матерясь, берет парня за шиворот и, как собачонку, швыряет на пол...

И еще одно воспоминание вспыхивает в памяти Кости... Мягкий, ласкающий взгляд капитана. И голос капитана: «Это пустяки, Костя, ты такой же, как все... Мне наплевать на твою характеристику — становись за штурвал...»

И вот он на луговском тротуаре один на один против тех троих. Что-то проминается под кулаком, раздается сдавленный кошачий крик, всплеск воды. И в то же мгновение Костя перехватывает нависшее над головой лезвие ножа, нависшее раньше, чем он ударил золотозубого... Парень слева отшатывается назад, трясет переломленной рукой, а второй бьет Костю с размаху чем-то тяжелым. Звон раздается в ушах штурвального, он покачивается и от этого немного отступает назад, чтобы размахнуться и ударить, но вдруг слышит ясный, прозрачный шум Чулыма... Костя судорожно замедляет движение своей руки и со страхом смотрит на зажатый в ней нож. Второй удар тяжело обрушивается на череп, но он не чувствует ни боли, ни слабости — красной молнией пробивает голову радость: «Не ударил, не ударил!.. Спасен! Нож на земле! На земле нож!» Еще раз вспыхивает красная молния, и с ревом восторга бросается Костя на парней, бьет очугуневшим кулаком

одного по темени, второго в подбородок. Кричит: «С неба звездочку достану и на память подарю!», Парни падают, катятся по тротуару, вскакивают и длинными скачками убегают.

Костя сплевывает кровь, шатаясь, как пьяный, идет по берегу. Добравшись до штабеля леса, валится мешком. Кровь из разбитой головы струится на землю. Через полчаса Костя приходит в себя — медленно, тяжело поднимается, достает из кармана зеркальце и при свете спички внимательно осматривает лицо.

На берегу Чулыма раздается веселый, насмешливый голос:

— Не ложится, не сидится, не гуляется ему...

### Глава третья

#### 1

Утро началось размашистым росчерком солнечных лучей.

Во второй половине ночи ветер стих, тучи поднялись вверх. Потом на черный тальник неторопливо пролилась розоватая струйка, подкрасила верхушки и растеклась на много километров по горизонту. Чулым подождал немного, побушевал еще закраинами и тоже — исподволь, словно стыдясь, — зарумянился.

На Чулыме родился весенний день.

— Товарищи! Товарищи, гля-я-я-дите!

Петька Передряга стоит в палубном пролете, тычет в темный угол пальцем и заливается. Сквозь шум машин, звон меди доносится его голос до машинного отделения, до палубы.

— Гля-я-я-ди-те-е!

Речники бегут на Петькин крик, врываются в пролет, в темноте не могут разобрать, куда тот показывает. Потом в полумраке различают непонятное, темное, живое.

— Давайте свет!

В металлической сеточке вспыхивает лампа, и в пролете наступает изумленная тишина — в углу, отряхиваясь и мотая бородой, стоит молодой козел. Лизанув острым языком сизый бок, козел сначала смотрит на людей, потом громко бэкнув, наклоняет рогатую голову и, с вызовом постукав черненькими копытцами о железную палубу, смело бросается на Петьку Передрягу. Парнишка пятится, но козел движется быстрее, и Петька падает под ударом крепких загнутых рогов. Козел пружинисто отскакивает назад, поворачивается и направляет рога на Вальку Чиркова. Увидев это, штурман по-козлиному наклоняет голову вниз и опасно подбирает живот; в глазах Вальки страх. Но это на секунду — в следующую Валька взмахивает руками и вскрикивает: козел ударил его в коленную чашечку.

— Товарищи! — обиженно кричит Валька. — Что же это делается, товарищи?!

А козел, пританцовывая, уже целится в Луку Рыжего.

— Ой, чуваки, помру! Помру! — раздается в пролете.

Высунувшись из машинного люка, Иван Захарович грудью падает на железную ступеньку и хохочет так, что заглушает и машину, и скрип переборки, и плеск волны за бортом. Рядом похохатывает механик Уткин.

Смех коцегара задерживает стремительный рывок козла — он сгибается хлыстом и одновременно задними ногами взбрыкивает в воздух, защищая себя сзади. Потом бросается к люку. Ивана Захаровича и Уткина как ветром сносит.

Первым приходит в себя Валька Чирков. Он изнемогает от смеха, хватается руками за металлическую стойку, вращается вокруг нее.

Петька Передряга катается по палубе, Лука Рыжий от смеха начинает икать. Козел смотрит на все это дурацкими глазами, трясет бородой и для безопасности прислоняется хвостом к стене, поводя рогами из стороны в сторону.

Минут пять на пароходе гремит смех. Люди отдаются ему всей душой, всем телом. Взрывы смеха выгоняют из радиорубки Нонну Иванову. Позевывая, идет она вдоль борта. Заглянув, но не входя в пролет, Нонна видит смеющихся ребят и бодливого козла. «Обрадовались невесте чему! Делать больше нечего!» — говорят ее глаза. Передернув плечами, Нонна уходит обратно в рубку.

Рывком открывается дверь капитанской каюты, высовывается сонное лицо капитана.

— Что такое?

— Ой-ой! — качается Валька Чирков.

— Ко-ко-зел! — стонет Лука Рыжий.

— Какой козел? — недовольно спрашивает капитан и совсем высовывается из двери. — Действительно козел! Что за наваждение!.. И в самом деле козел! — удивленно продолжает он, выходя из каюты. Он босиком и поэтому по металлическому полу идет на цыпочках.

Капитан молчит, почесывает шею пальцами, соображает. Наконец говорит:

— Все понятно! Бородатый черт забрался в Луговом. На дворе было холодно, вот его и потянуло к теплу... У машины спал?

— У нее.

— Так и есть! — веселеет капитан. — Ах ты, бородатый зверь! Что же с тобой делать?

Холод мурашками пробегает по ногам, леденит, и капитан обнаруживает, что стоит босиком на железной палубе; недовольно сморщившись, поворачивается и уходит в каюту, сердито пристукнув дверь. Но она скоро опять открывается.

— Козла накормить, а в Луговое дать радиограмму, да чтобы без смеха!

— Есть! — отвечает Лука Рыжий. — Есть, накормить!

## 2

В тридцать пять метров от носа до кормы, в четырнадцать — от борта до борта «Смелого» тесно уложена жизнь экипажа. На долгие месяцы парсход для них дом, улица, театр, место работы и отдыха.

Вспенив Чулым, «Смелый» бежит вверх по реке. Обская чайка — баклан — взлетает косо над пенистым гребнем волны, открывает ветру белое брюшко и, сложив острые крылья, падает в воду. Обочь парохода — полузатопленные тальники, как вытеревшиеся метелки. На берег нет и намека: вода и тальники, тальники и вода. Бежит «Смелый». Двое суток, нигде не останавливаясь, будет идти к Чичка-Юлу; двое суток беспрестанно биться машине, звенеть якорным цепям, крутиться штурвалу...

Три часа дня. Послеобеденное время; окончились уборочные работы, аврал, смена вахт, обед. По старому обычаю во время порожнего рейса всем, кто свободен от вахты, можно находиться на палубе. И теперь здесь оживление. На высоком стуле с подлокотниками, в меховом пальто, в зимней шапке, сидит капитан с книгой в руках. Он несет вахту. Это значит — временами отрывается от книги, быстро оглядывает сквозь очки плес, мимоходом бросит штурвалю несколько слов: «Держи, Лука, левее, на кривую ветлу...» или «Не рыскай, не рыскай!..» — и опять читает, то прищепывая, то едва приметно улыбаясь.

Ветер перелистывает страницы книги, но капитан приспособился: прочитанное скрепляет бельевой прищепкой.

Вдоль лееров на скамейках устроились ребята. Высунув язык, боцман Ли вырезает из осокоря небольшую модельку «Смелого». Два года занят он этим и теперь прилаживает на корме миниатюрную паровую лебедку. Костя Хохлов насвистывает. Иван Захарович пристроился у теплого вентилятора. Он держит в руках губную гармошку и молчит, неподвижный, скучный.

— Иван Захарович! — говорит Костя. — Дунул бы в гармошку.

— Иди-ка!.. — лениво отвечает кочегар.

— Вот именно! — обрадовавшись, вступает в разговор Валька Чирков. — Шел бы ты, Костя... куда-нибудь...

Лука Рыжий протягивает руку к сигналу, жмет; над рекой разносится тоненький свисток «Смелого» — он делает поворот. Гремит рулевая машинка, слышно, как по борту ползет, царапая дерево, приводная цепь. Пароход слегка покачивается, сваливается на борт.

— Так держать! — командует капитан.

Солнце, повернувшись, светит сбоку. Костя шурится, зевает и вдруг, так и не успев зевнуть до конца, соскакивает со скамейки, перегибается через леер и, прикрыв губы руками, чтобы не услышал капитан, зовет: — Петька! Передряга! На палубу!

Из палубного люка появляется Петька, останавливается перед капитаном, ждет приказаний.

— Товарищ Передряга, сюда! — подмигивает Костя.

Валька Чирков заинтересованно поворачивается к матросу. Парнишка идет смешно — на ногах замызганные брюки-галифе, рыжие сапоги, а вместо фуражки зимняя шапка. Матрос Петька Передряга бережет новую матросскую форму: надевает ее только перед выходом на берег.

— Матрос Передряга, отвечай! — тихо говорит Костя, когда Передряга отходит достаточно далеко от капитана.

— Ну?

Костя подбоченивается, вздергивает голову, один глаз прихмуривает.

— Отвечай! Что должен предпринять часовой, если на вверенный ему объект приближается неизвестный?

— Ну... — мнется Петька.

— Не нукай! Что должен делать часовой?

Боцман Ли отрывается от кораблика, морщинисто улыбается Петьке.

— Не стесняйся, Петька, отвечай... Хорошо отвечай!

— Отвечай, матрос Передряга!

Духом выпаливает Петька:

— Стрелять из ружья.

Валька Чирков тихонько хохочет. Иван Захарович переворачивается с боку на бок, подносит гармошку к губам, издает протяжный мелодичный звук. Боцман соблазнительно покачивает головой.

— Неправильно! Сначала надо сказать: «Кто идет?» Сразу стрелять нельзя. Своего убьешь, товарища убьешь. Надо говорить: «Кто идет?» Потом надо сказать не «ружье», а «винтовка».

— Повтори! — требует Костя. — Так! Теперь отвечай, что нужно сделать с часовым, если на вверенный ему объект пробрался шпион?

— Судить... — колукая палубу сапогом, отвечает Петька.

— Правильно! А теперь скажи, матрос Передряга, что мы должны сделать с тобой, который пропустил на судно козла?

Петька Передряга скидывает длинные ресницы, оторопело открывает рот. От обиды, от неожиданности он начинает шмыгать носом и сопеть. Боцман Ли это видит и соскакивает с леера, взмахивает маленьким сухим кулачком.

— Костя, большой матушка! Чего привязался к Петьке, отставай! Щелочки глаз боцмана блестят сердито, и, вероятно, от этого на палубе становится еще веселее. Петька Передряга переступает с ноги на ногу, томится.

— Валентин! — обращается к штурману капитан. — Присмотри-ка за курсом...

Отложив книгу, капитан сдвигает на лоб очки, неторопливо массирует уставшие веки пальцами.

— Иди сюда, Хохлов! — приглашает он, найдя взглядом Костю.

Речники замирают. Штурвальный незаметно подмигивает Вальке Чиркову, идет к капитану.

— Слушаю, — по-уставному вытягивается Костя, а сам старается сообразить, что сделает капитан, как будет «снимать стружку».

Обычно Борис Зиновеевич делает так — сперва легкая проработка с глазу на глаз, потом, в случае необходимости, общее собрание, на котором капитан тяжело вздыхает и поговаривает насчет того, что, пожалуй, на берегу он легко терпел бы подобное, но на судне, где дисциплина превыше всего, склонен к тому, чтобы... В общем, он пока удерживается от выводов, пусть их делают товарищи... Говорит в это время капитан скучными, незнакомыми словами: «Превыше всего! Выводов я не делаю! Есть проступки и проступки!..» Костя предпочитает разговор с глазу на глаз, когда Борис Зиновеевич со смаком, точно от арбуза откусывает, произносит свою любимую ругань: «Срамец!» Совсем хорошо, когда капитан накричит, тогда можно ходить с обиженным видом, ожидая, что Борис Зиновеевич, устыдившись, начнет замаливать грехи. «Ладно, Костя, оба виноваты. Покричали, и будет!» — «Да ведь как кричать! Ежели напрасно, то оно обидно!» — томно говорит в таких случаях Костя. «Как напрасно! Ты же вышел на вахту в грязной робе!» — «Пятнышко не грязь!» — упирается Костя, но тон сбавляет: как бы снова не рассердить капитана упоминанием о пятнышке, которое во весь воротник. Сбавляет тон, и наступают мир... Хорошо! Самое же страшное — общее собрание.

Капитан раздумывает. В памяти вытягивается ниточка проступков Хохлова. Подчеркнуто ласково кладет он руку на плечо штурвального, просит:

— Скучно стало, Костя... Развесели, голубчик! Расскажи, пожалуйста, как ты в прошлом году в гальюне замок сломал и не мог выбраться... Расскажи, как благим матом кричал, как крышкой от стульчака в стену барабанил, как хотел в иллюминатор вылезть и застрял... Поведай, голубчик, мы послушаем!

На палубе второй раз за день взрывается здоровый, ошеломляюще громкий хохот ребят. Иван Захарович затягивает на губной гармошке «Камаринскую», трясет от восторга длинными ногами. Кричит боцман Ли:

— Правильно, капитана! Большой матушка Костя Хохлов!

Матрос Петька Передряга заливается колокольчиком. И сквозь шум и гам слышен сердитый голос капитана:

— Марш, Костя, с палубы! Чтоб я тебя здесь сегодня не видел, зубоскала!

И все так же сердито, из-под выпуклых очков, но с зажатой в краешках губ усмешкой капитан грозит пальцем:

— Вы тоже, срамцы, выкамаривать здоровы! Смо-о-три-те у меня!

Затем командирским голосом:

— Матрос Передряга, замените штурвального Луку Рыжего.

Лицо Петьки наливается радостью. Он кидается в рубку, дрожащими пальцами хватается за штурвал. Осторожно, понимающе улыбается Лука, выходит из рубки, чтобы Петька остался один.

Перед острым Петькиным взглядом двоятся, мечутся из конца в конец плеса белые столбики створа. Только что были на одной линии и вдруг раздвинулись, поплыли в стороны с бешеной быстротой. «Расходятся!» — задыхается в тревоге Петька.

— Лево руля! Еще! Еще! Так держать! — слышит Петька капитана. Он скатывает штурвал, «Смелый», сам «Смелый», послушно поворачивается.

— Так держать!

Сердце рвется из Петькиной груди.

## 3

Сквозь тугой напор Чулыма и ветра бежит «Смелый» к Чичка-Юлу. Пенный след за кормой набухает синью, темнеет. Маслянится вода, завивается валиками. К вечеру река спокойно и плотно укладывается в свое ложе, уютно пошевеливается в нем. Поблекшее солнце еще висит над зубчатыми тальниками.

На палубе тишина. Предвечерний час на пароходе молчалив и задумчив. Кругом ни домика, ни огонька. Бакенов и тех в начале мая нет на реке. Вода и «Смелый» — ничего больше на свете, а темнеющее небо начинает походить на реку, смыкается с ней.

Лодка на вечерней реке — неожиданность. Невесть откуда выныривает она, пересекает реку далеко от парохода; движется медленно — то ли очень велика, то ли перегружена. За лодкой река пылает багрянцем, и оттого не разобрать, обласок ли, завозня ли, а по черточкам взлетающих весел трудно узнать, сколько человек гребет.

— Сено плыват, — говорит Валька Чирков. Только зоркие глаза штурмана могут увидеть груз.

Лодка в воде по самые борта. Теперь капитан отчетливо видит гребцов: надутую ветром синюю рубаху кормчего, белую копну волос гребца. Капитан переходит к носовому лееру. В это время беловолосый гребец вдруг останавливается, смотрит на «Смелого» и бросает весла. Рулевой машет руками, видимо кричит что-то, а беловолосый падает на дно лодки и замирает. Сквозь шум машины парохода слышится его тонкий звенящий голос. Еще не сообразив, что может случиться, повинувшись инстинкту, капитан бросается к рубке.

— Стоп! Задний!

Шипит пар. Завалившись на борт, «Смелый» вздрагивает, как от толчка в беге, и эту кутерьму звуков и движений перекрывает протяжный, щемящий крик Петьки Передряги:

— О-о-о-о! Перевернулись!

Длинным, неловким, как в замедленном кинофильме, движением поворачивается капитан к лодке и сначала ничего не может понять: вместо нее на волнах покачивается что-то белое. Потом, взглядевшись, понимает, что это непромасленное дно, а рядом с ним вспухают два фонтанчика — барахтаются люди. Над рекой несется:

— По-омо-оги-те-е-е-е!

И с капитаном происходит то, что всегда случается с ним в минуты опасности: время для него останавливается. Проходят секунды, минуты, а ему кажется — события разворачиваются медленно. Странное и непонятное это ощущение: у капитана невероятно много времени, чтобы раздумывать, командовать.

И капитан спокойно распоряжается:

— Шлюпку на воду! Чирков, Рыжий, Ли, в шлюпку!

Летят в Чулым спасательные круги, завизжав блоками, падает шлюпка, прыгают в нее Чирков, Лука, боцман Ли и Петька Передряга.

С носовой части парохода, вытянувшись свечкой, косою дугой летит в Чулым Костя Хохлов. Чулым ласково принимает его и, подержав



немного, выбрасывает на поверхность. Нахлебавшись воды, Костя плывет к лодке...

Шлюпка возвращается на пароход, волоча лодку с сеном.

Первым поднимается на борт Костя, посиневший, съезжившийся.

— Все в порядке! Пьяных нет!

— Марш переодеваться! — ворчливо говорит капитан, и штурвальный на редкость серьезно кивает головой.

Тяжело отдуваясь, поднимается на палубу старик с мокрой бородой. Он щерит желтые изъеденные зубы, озирается маленькими острыми глазами. Став на палубу, старик быстро и мелко крестится. За ним, испуганный, с вытаращенными глазами, карабкается парень. Старик делает шаг, затем, изогнувшись, опускается на палубу. Боцман Ли и Лука подхватывают его.

— В машинное! Обогреть!

Продолжая держать старика, Лука Рыжий коротко докладывает:

— Они из Ковзина, товарищ капитан. Мы их подбросим до места.

— Полный вперед!..

Заметно вечереет. Восточный край неба уже совсем темен; проклюнулась и горит, не мигая, большая светлая звезда — самая ранняя. Чулым окрашен пестро: рядом с пароходом — темно-синий, немного дальше — голубоватый, еще дальше — розовый, а на горизонте, там, где круто опадает в воду небо, — бордовый.

Двоится, расплывается Чулым в глазах капитана. Холодная лапа берет за сердце, сжимает. Дымной полосой поднимается и подрагивает река. Звезда полукругом скользит по небу; точно сквозь слезы, видит ее капитан. Он поднимает руку к виску, вытирает холодный пот и не чувствует ни пальцев, ни виска. Дрогнув коленями, Борис Зиновьевич садится на скамейку...

Болен капитан «Смелого». Очень болен!

#### 4

В машинном, где тепло и светло, в чужом белье и накинутых на плечи матросских бушлатах, греются старик и парень. Старик безостановочно трясет головой, руками, пожевывает провалившимся ртом; парень уже освоился, временами удивленно хлопает себя по коленям. «Ах, батюшки! Бывает же!» Потом успокаивается и кволо хлопает длинными белыми ресницами.

Против старика и парня полукругом расположились речники. Костя Хохлов с ногами забрался на слесарный верстак и насмешливо наблюдает за спасенными; рядом с ним облокотился на тиски Иван Захарович. Спиридон Уткин на корточках примостился перед стариком. Он вертит из большого куска бумаги «козью ножку». Скрутив, протягивает старику:

— Затянись, батя, облегчает...

— Спаси Христос!.. — Старик подрагивает рукой. — Пропали бы мы... Спаси Христос, сынки! Время холодное, не дай бог, змей-судорог схватит... Сено опять же при месте...

— Рискованно, батя! — журит Уткин. — Лодку перегрузили. Нельзя так.

— Этто-о-о верно... Сплоховали.

Старик мелко крестится; парень оборачивается к нему, глядит, и кажется со стороны — не будь крестящейся руки, парню стало бы легче, перестал бы подрагивать губами, но рука суетится, и парень молчит.

— С сеном нынче плохо, — раздумывает Уткин... — Я в плавание ушел, жинке початый прикладок оставил. Не знаю, дотянет ли до новой травы.

— Плохо сынок, ох, как плохо!.. Тоншает скотина.

Старик уже не крестится, а, забывшись, начинает говорить о сене. Он рассказывает о том, что ковзинские апрелем привезли три машины сена, что на двор пришлось порядочно, но старика обделили, не дали ни клочка, и от этого завелась на дворе нужда. Глазки старика востренько поблескивают.

Парень вдруг торопливо затягивается самокруткой, начинает медленно, натужно краснеть.

— Было не утопли! — срывается на крик парень. Машет пальцами перед носом старика, хрипит: — Не верьте ему... не верьте! Барыга он! Сенем торгует!.. У него и коровы нет! Нет-т-т-ту!

Среди улыбчивого оживления капитановых хлопцев, среди блестящей стали странно звучит его голос.

— Барыга! — надрывается парень.

И хотя кричит он с ненавистью, а лицо его перекошено гневом, в складках губ, в белесых бровях проскальзывает боязливое, приниженное.

— Митрий, Митрий! — тихо говорит старик. — Ты ба потишей.

Борода старика остро поднимается над крутым подбородком, взгляд яснеет, вспыхивает голубоватым огоньком.

— Сядь, Митрий! В ногах правды нет... Обсохни, отсидись! — упрямивает старик ласковым голосом, но в нем зазубринкой, тоненько проглядывает грозная нотка приказа.

— Не хочу сидеть!

— Сядь! — вдруг коротко приказывает старик и, схватив парня за локоть узловатыми пальцами, сажает на скамейку. — Нервный паренек! — обращается старик к речникам и мелко, рассыпчато смеется. — Спужался очень...

Машина «Смелого» поет: «Че-шу я плес-с! Че-шу я плес-с!» Летят по стенам электрические зайчики от шатунов, весело разговаривает металл с металлом.

— Вы родственники? — раздается голос капитана, который давно стоит в пролете двери и слушает разговор.

Сразу признав в капитане главного на пароходе, старик рассыпается голоском, улыбкой, морщинками:

— Племянничек он мне... Сестрин сын...

— Почему шли навстречу пароходу?

— Торопились... — отвечает старик и, видимо, хочет назвать капитана «сынок», но не решается. — Торопились, товарищ начальствующий...

Капитан обводит взглядом речников.

— Какого черта вы тут расселись! — сердито говорит он. — Дела нет? Марш наверх!

Резко повернувшись, капитан лезет в люк. Приказывает:

— Этих... утопающих... накормить...

Ноги замирают. После паузы раздается весело, насмешливо:

— Да не забудьте еще раз козла накормить... Как следует!

Иван Захарович проводит пальцами по губам. Хохочущий голос саксофона звучит в машинном отделении. Ленивой раскачкой кочегар проходит мимо старика и парня и даже не оглядывается. Снова хохотнув, скрывается в люке. Торопливо убегает вслед за ним боцман Ли; Спиридон Уткин яростно трет маслянистую сталь. Последним поднимается с верстака Костя Хохлов. Играя щелочками глаз, останавливается против старика и парня — сутулый, руки в карманах, жуликоватый.

— Вы этого человека видели? — спрашивает Костя и показывает плечом на люк.

— Однакость ваш капитан... — понимает старик. — Строгий человек... Справедливый... Дай ему бог!

— Вот, вот... — мечтательно произносит Костя. — Молите бога!

Костя нагибается к старику и парню, грозно-весело говорит:

— Я бы вас, как щенят, побросал за борт, если бы его не было на свете! Вопросы будут?

Парень испуганно мигает, отшатывается; старик пожевывает губами и молчит.

## 5

Под шинелью и ватным одеялом, свернувшись уютным комочком, греется Нонна Иванкова. Свежее лицо Нонны красиво, задумчиво, курносый нос не портит его.

Нонна подкладывает под щеку мягкую ладошку, счастливо вздыхает. Похожа она на здоровяка-мальчишку, проснувшегося утром в мягкой постели с той же самой улыбкой, что осталась на лице с вечера, когда засыпал, счастливый от усталости... Неподвижно лежит Нонна, потом открывает тумбочку, достает фотографию в резной фанерной рамке, вздыхает и подносит к глазам. Обняв Нонну и весь мир, из-под стекла смотрит узколицый, широкобровый лейтенант. Маленькой, затерявшейся кажется рядом с ним радистка в погонах старшего сержанта; словно не верит она, что на ее погоне, неумело обняв, лежит рука широкобрового. Да как и обнять ловко, если лейтенант стоит рядом с Нонной уставной свечкой, вытянув по шву левую руку. И только в губах лейтенанта, в бровях таятся и нежность, и удивление, и мужская твердость, защищающая плечи девушки неловкой рукой. В углу фотографии надпись: «На память дорогой и любимой Нонне. 1945 год. Дрезден».

Время безжалостно. Год от года тускнеют лица на фотографии, покрываются серой пленкой. Старится фотография. Старится и радистка эскадрильи пикирующих бомбардировщиков Нонна Иванкова. Раньше, бывало, на зорьке, когда приемник нетерпеливо зовет позывными, быстро соскочит Нонна с кровати, упругим, литым с ног до головы чувствует тело, а теперь... Безжалостно время! Бег его не круговоротом солнца, а числом морщинок и седых волос считает радистка.

Как тупая боль в старой ране, привычны эти мысли Нонне; в самый дальний угол тумбочки прячет она фотографию в резной фанерной рамке. Опять свертывается уютным комочком, охваченная теплом согревшейся постели.

В дверь стучат. Нонна натягивает шинель, пальто, одеяло, прячет голые руки. Просовывает голову Иван Захарович. Помигав веками, он спрашивает:

— Могу?

— Заходи, коли пришел! — отвечает радистка и под ворохом одежды передергивает плечами — недовольно, небрежно.

Кочегар входит, притуляется в уголке, и кажется, что в радиорубку вернули привычный, десятилетие стоявший на своем месте предмет. Это впечатление с каждой минутой усиливается, переходит в уверенность — тут и должен сидеть молчаливый кочегар. И он сидит неподвижно, точно говоря: «Вот я пришел. Вот я сел. Вот я сижу. И буду сидеть».

Нонна выпрастывает руки из-под одеяла.

— Здравствуйте! — насмешливо говорит она.

— Бывайте здоровы! — отвечает Иван Захарович.

— Дай папиросу.

Нонна затягивается дымом, лицо ее становится злым и решительным. Кочегар задумчиво говорит:

— А знаешь, Нонна, в Альпах есть такие растения, что в холодную ночь их цветы совсем замерзают, превращаются в ледышки. А солнце взойдет — они оттаивают и начинают цвести...

— Еще что скажешь?

— Ничего... В энциклопедии читал.

— Ой-ой! — Нонна снова глубоко затягивается. — Ну что с тобой делать?

— Я посижу да уйду! — отвечает кочегар после паузы.

Нонна отворачивается к стене. Иван Захарович смотрит на ее сердитую спину, на пряди каштановых волос, разметавшиеся по подушке, на маленькое розовое ухо. Помолчав, кочегар тихо произносит:

— Чудо! Ночью замерзнут, а утром цветут...

В дверь отрывисто стучат.

— Войдите! — отвечает радистка, не поворачиваясь.

Вваливается Костя Хохлов, водит носом, словно принюхивается.

— Вот, телеграмму, Нонна... — говорит Костя.

— Положи на стол.

Костя кладет и подмигивает Ивану Захаровичу.

— Иван, а Иван! Хочешь, по спине поглажу?

— Зачем это? — недоумевает кочегар.

— Замурлыкаешь! — отвечает штурвальным и убегает на палубу.

За тонкой переборкой слышен насмешливый голос Кости:

— В березку был тот дуб влюблен...

Помолчав — глухо, недовольно, — Нонна говорит:

— А и правда дуб... настоящий.

Иван Захарович опять уютно и покойно притуляется в уголке. Он думает.

#### Глава четвертая

##### 1

Начальник Чичка-Юльского сплавного участка Ярома сидит на берегу реки.

Свечерело. Надоедно гудят комары. Над похолодавшей водой висит предвечерняя сизая дымка. Издалека доносится гул моторов — тяжело сминая сырые бревна, работает сплоточная машина. Чулым в тальниках разговаривает по-своему, к вечеру притихший и неопасный. Солнце оставило небу розовенькую тонюсенькую полоску, а по земле скользят наперегонки длинные прохладные тени. Их все больше и больше. Они бегут, сливаясь в безлунный вечер.

Ярома прислушивается. За тальниками, за крутой излучиной реки — едва уловимый шум, точно прогромыживает уходящая гроза; похоже, кто-то большой и сердитый часто бьет о воду палкой. Потом, через несколько мгновений, различимо торопливое, бодрое: «Че-шу я плес-с! Че-шу я плес-с!»

Ярома достает кисет, бумагу; толстыми, заскоружеными пальцами с вьевшимися в мясо короткими ногтями вертит самокрутку. В темноте ярко вспыхивает спичка, Ярома несколько раз затягивается, потом огонек папиросы замирает. Прислушиваясь к тайному дыханию ночи, старик ловит звуки парохода.

Вдруг над зубцами тальников протягивается широкая светлая полоса. Скользнув по небу, она опускается к реке, бежит неровными, нащупывающими зигзагами. Это пароход ищет прожектором путь в протоку. На воде полоса светит зеленым.

Ярома мнет самокрутку, поднимается. На фоне потемневшего неба видна высокая сутулая фигура, на ногах раструбами топырятся пудовые бродни. Луч прожектора, взлетев на берег, словно мукой осыпает Ярому.

— А ну, не балуй! — сердито кричит сплавщик.

Луч скользит дальше. Он выхватывает из темени крутой яр, фигуры сплавщиков, дома с высеребренными стеклами окон, провал оврага, затем гаснет, и наступает непроглядный, густой, как сусло, мрак. Ярома

спешливо идет по берегу, по-прежнему оглядываясь на пароход, нащупавший ход в протоку. Туго, торжествующе гудит пароход, поравнявшись с поселком.

Ярома проходит сквозь толпу; узнав начальника, сплавщики расступаются. Пароход, еще раз вскрикнув сиреной, приближается к берегу. Ярома наклоняется, всматривается, но никак не может узнать человека у машинного телеграфа. Ни к кому не обращаясь, Ярома требует:

— Папиросу!

Кто-то протягивает папиросу, зажженную спичку; затянувшись, Ярома кашляет — «Трава!» — бросает папиросу, тянет из кармана кисет.

— Еще спичку!

Минут через десять начальник сплавного участка поднимается на пароход и, протиснувшись в палубный люк, подходит к капитану. Несколько секунд они молча рассматривают друг друга. Капитан — грустно и немного печально: «Вот и опять встретились! Я очень рад!»; взгляд Яромы хмур, недоверчив, точно он проверяет, тот ли человек стоит перед ним, который нужен. Над лицом Яромы много пороботали ветер и мороз, высекли на нем глубокие морщины, задубили медно-красным оттенком кожу. Трудно догадаться по такому лицу, о чем думает начальник сплавного участка.

— Ну, здравствуй! — говорит капитан. — Чего уставился?

— Кто это уставился? — ворчливо отвечает Ярома. — Совсем слепнешь, старый черт, не можешь разглядеть, куда человек смотрит... Ну, а так, вообще, здорово! — И жесткими пальцами хватает руку капитана.

Все сильнее сжимают они руки друг друга, и Ярома чувствует в маленькой руке капитана прежнюю цепкую и уверенную силу.

— Ослабел ты страсть как! — говорит Ярома, опуская руку капитана. — И тягаться с тобой не хочется...

— Да, не та у тебя сила, — серьезно отвечает капитан. — Жмешь, стараешься, взмок даже... Устарел, Степа, устарел!

Они отворачиваются друг от друга, смотрят в разные стороны, словно ничего интересного нет Яроме в капитане, а капитану в Яроме. Начальник сплавного участка притворно зеваает, стучит каблуком бродня по палубе.

— Плохо, поди, отремонтировали посудину-то!..

— Ничего, тянет!.. — тоже зевнув, отвечает капитан.

— Идем, что ли! — ворчливо говорит сплавщик.

— Идем.

На берегу темно. Капитан то и дело спотыкается о бревна и карчи, проваливается в невидимые колдобины. Ярома останавливается, насмешливо фыркает и, по-кошачьи разбираясь в темноте, ведет чистыми от карчей и бревен местами. Оба молчат. Ярома иногда сердито сопит.

В большой, по-городскому обставленной квартире Яромы ярко горит электричество, ковровые дорожки скрадывают шаг, смазанные петли дверей бесшумны. Все знакомо здесь капитану: пузатый комод, огромный шифоньер с ручками из фарфоровых роликов, лимон в деревянной кадке, и только одно не знакомо — большая медвежья шкура над диваном. Ярома перехватывает взгляд капитана, сдвигает клочки бровей: уж не думает ли капитан, что Ярома повесил в квартире шкуру зверя, убитого другим?

— Петровна! — кричит Ярома.

Появляется невысокая пожилая женщина, чем-то очень похожая на Ярому: то ли лицом, то ли резкими, уверенными движениями. Увидев капитана, Петровна всплескивает руками, бросается к гостю.

— Борис Зиновеевич, вот радость-то! Да что я, и поздороваться-то забыла. С приездом, Боря, милости просим.

Она тянется к капитану и трижды — крест-накрест — целуется с ним. Ярома исподлобья смотрит на жену.

Закончив с поцелуями, Петровна опять всплескивает руками.

— Ведь не ждали тебя нынче, Борис! Приезжал какой-то с рейду неделю назад, так рассказывал: уходит, говорит, Борис Зиновеевич на пенсию, так что не ждите дружка...

— Петровна! — грозно вскидывается Ярома. — Петровна!

Она подбоченивается.

— Ну-ну! Не очень-то! — И капитану: — Ты с ним, со Степаном, характерней будь!

Петровна убегает. Капитан делает вид, что рассматривает медвежью шкуру, но Ярома замечает, что он правой рукой быстро лезет в карман, но спохватывается и вынимает ее. «Бросил курить», — грустно думает Ярома, злясь на жену, на себя, не зная, что сказать. Он вспоминает твердое пожатие руки капитана и думает, что это могло ему показаться, что и в его, Яроминой, руке нет прежней силы и капитан, наверное, не шутил, когда сказал об этом.

— Сам убил? — наконец спрашивает капитан.

— Соседа нанял, — грустно отвечает Ярома. Сейчас он верит в то, что рассказывал начальник ближайшего рейда. — Правда, значит?

— Правда! — отвечает капитан. — Только на пенсию... Слушай, что ты привязался?

С большим медным подносом входит Петровна. Ярома кашляет и угрожающе двигает бровями. Чертыхнувшись, Петровна выходит в кухню и возвращается с пузатым графинчиком.

— Запретили старому врачи — не верит... Куда ему сегодня ее пить: не обедавши, на берег уплелся... Он ведь тебя, Боря, с обеда ждет...

— Ах, будь ты неладна! — стучает кулаком по столу Ярома, но осекается — по-детски вздрагивая всем телом, капитан смеется и вытирает глаза рукавом форменного кителя.

— Сроду он такой — взгальный! — говорит Петровна и наливает друзьям по рюмке водки. — Пейте ее, проклятушую!

Наступает молчание — капитан и Ярома косятся на рюмки, думают: верно, и впрямь состарились они, коли, перед тем как выпить рюмку, прикидывают, раздумывают, не чувствуют радости. Не так бывало смолоду: литр водки зараз выпивали капитан и Ярома, съедали горы пельменей, мороженых стерлядок, по кусмению сала и прямо из-за стола — не брала водка! — шли чалить плот.

— По рюмке, пожалуй! — вздыхает Ярома.

— Добро!

Петровна присматривается, подперев подбородок рукой, пригорюнивается. Время прибелило густые Яромины волосы, когда-то смоляно-черные, густые, каракулевой завивки, а уж про Бориса и говорить нечего — плечами ссутулился, в глазах погасли светлячки, опасные в молодости для девок. Хорошо помнит Петровна молодого капитана — жаден был до жизни, как и Степка, черпал ее полной пригоршней. Одно сохранилось у Бориса с молодых лет — улыбка: набежит на лицо, и мнится — солнечный зайчик сверкнул.

— Ешьте, мужики, пейте! — по-старинному напевно приглашает Петровна. Украдкой вытирает кончики глаз расписным платком.

После ужина, свернув вершковую папиросу, Ярома пускает причудливые завитки, кольца, спирали; сидит, согнувшись, выставив крупные, мосластые лопатки. Задумчиво говорит он:

— Может, и та пуля свое сказала...

— Непременно, Степан. Ничего не проходит бесследно...

Вспоминают они, как чуть ли не сорок лет назад капитан лежал на печи в Яромином доме, навывлет простреленный колчаковской пулей.

Стонал: «Не дай помереть, Степан!» Три ночи, длинные, как вечность, просидел Степан рядом с Борисом, сбивал жар холодными компрессами...

Опять нагибается Петровна, прижимает к глазам расписной платок.

Капитана тревожит мягкое, теплое чувство; от комнаты, от плавных движений Петровны веет молодостью, чистотой, невзыскательной радостью.

— Что в деревне, Степан? Я за зиму из поселка носа не высывал...

И точно так, как капитан сразу понял про пулю, Ярома понимает и его вопрос и те мысли, которые скрываются за ним. Все понимает старый друг Ярома.

— Хорошо, Борис... Расправляется деревня. До хором, может, еще далековато, а зажили... У меня сплавщики уходят обратно в колхоз...

Три года назад капитан приехал в родную деревню Волково и чуть не заплакал от досады; плугом пятилеток разворошила Советская власть вековой устоя волковцев, понастроила водонапорные и силосные башни, вымахнула двухэтажную школу, каменный магазин, а на том месте, где стоял домик капитанова детства, не было ничего — ребятишки гоняли гулкий мяч. И впервые в жизни обиделся капитан на Советскую власть: строй что угодно, но оставь старому человеку местечко, к которому можно было бы притулиться душой, вернуть на мгновение молодость. И только за деревней отошел Борис Зиновеевич: встретил старого знакомого — древний осокорь на берегу.

— Может, квасу выпьешь, Боря? — спрашивает Петровна.

Ярома и капитан смеются.

— Давай квасу.

## 2

Над Чулымом день начинается рано.

В третьем часу восточный край неба светлеет, точно густую синь разбавляют водой; в тальниках, цепляясь за ветви, ластясь к земле, плывут туманы, все ниже и ниже прилегая к воде, пока не всосутся, не растворятся в ней. Немая стоит тишина. За пять километров слышно, как в лодке скрипит уключина... Река медленно катит беляки — холодная, неприветливая, однообразная в своем стремлении вперед, к волнам Ледовитого океана.

Ярома и капитан выходят на берег. Возбужденные разговором, воспоминаниями, бессонной ночью, стоят они, поеживаясь от утренней прохлады. У обоих такое чувство, словно признались друг другу в том, что жизнь прожита. Дни шли за днями в сутолоке дел, из них складывались годы, десятилетия, и вот они уже состарились, а сделано мало, и не сделано что-то главное, наполняющее жизнь ожиданием самого значительного, самого большого.

— Пятый час, — говорит капитан.

— Пошли! — Сплавщик поворачивается и идет вдоль крутого яра.

Они минуют контору, сплочную машину, крайние дома, «Смелый», приткнувшийся к берегу. Наконец Ярома останавливается.

— Смотри!

Под яром в клочках тумана проглядывает мокрое и темное тело гигантского плота; конец его не виден — скрывается в тумане, уходит змеевиной за яр, за тальник.

— Вот! — тычет пальцем Ярома и отворачивается от капитана, чтобы не видеть восторженных, округлившись изумлением глаз.

— Ой-ой-ой, Степан! Да как же ты!.. Сколько в нем?

— Двенадцать тысяч четыреста.

Над плотом клубятся клочки тумана, плывут, точно над берегом.

«Вот он, вот!» — думает капитан, дивясь обидной будничности обстановки, в которой видит наяву давнишнюю мечту — плот в двенадцать тысяч кубометров древесины. В жизни все по-иному: начинается серенький рассвет над серенькой протокой; безлюдно, тихо; не бегут толпой люди, не падает с треском на землю небо. Рядом притворно сучает Ярома, делает вид, что ничего особенного не произошло. Снисходительно думает о себе капитан: «Борька, Борька, неисправимый ты романтик!» А с Яромой что-то творится — вытянувшись, чутко прислушивается, раздувает ноздри.

— Гребнев, немедленно сюда! Гребнев! — кричит сплавщик на весь берег и грозит кулаком в сторону сплотовочной машины.

Зычный Яромин голос слышен, наверное, во всем поселке. На сплотовочной машине суетливо двигаются фигуры. Одна прыгивает на берег; сползая и спотыкаясь на карчах, человек бежит к Яроме. Это бригадир сплотовочников Гребнев. Он высок, крупнолиц, но перед Яромой виновато втягивает голову в плечи, терпеливо ждет, пока начальник, перекипев, начнет говорить.

— Это что такое, а? — сдавленно, хрипло спрашивает Ярома и показывает рукой на реку, где между плотом и берегом разбросаны молам сосновые бревна. — Не молчи, отвечай!..

Гребнев мнется, переступает с ноги на ногу. «Вымуштровал их Степан!» — думает капитан и косится на Ярому с неосознанной опаской: не перепало бы под горячую руку.

— Ну?!

— Недоглядел, Степан Григорьевич! Видать, вышли из гавани...

— «Видать, вышли!» — передразнивает Ярома. — У меня небось не выходят! Почему, отвечай!

— Исправим оплошку...

— Благодарствуем! — насмешливо кланяется начальник. — Еще бы не справили!.. Немедля бери ребят и выводи лес в сортировочную сетку!

Гребнев уходит под грозным взглядом Яромы. Он несет на спине этот взгляд до тех пор, пока не скрывается в тумане.

— Видел фрукта? — сердито спрашивает Ярома. — Замучился с ним. Сам недоглядишь — пропало!

Капитан молчит.

— Не молчи! — сердится Ярома. — Знаю твою песню... Ворчать будешь. Не я виноват, что у молодежи основательности мало!..

И опять ничего не отвечает капитан. Сплавщик сжимает, крупные морщины залегают у мясистого носа, и от этого лицо кажется нерешительным, обиженным.

— Я, брат, не умею, как ты, — тускло говорит он. — Уговорчики, разговорчики, разная там массово-разъяснительная работа... У меня, брат, дисциплина так уж дисциплина. Надо сделать — кровь из носу!

Из дощатой будки на головке плота выходит рослый сплавщик; оборотившись к востоку, закинув руки за голову, зевает. На фоне неба фигура человека скульптурно четка, определена, словно стоит он на этом месте испокон веку. За ним выходят другие, нагнувшись, плещутся холодной водой, выгоняя сладкий зоревой сон.

— Н-да! Вятская! — говорит капитан.

— Вятская! — в тон отвечает Ярома. — Гвозды! Зловредная протока. Прямиком не заведешь, Борис.

— Нечего и думать!..

— Присядем, — хриловато предлагает Ярома и опускается на замшелую коряжину. На выдубленном лице его — болезненная гримаса.

Понимает Ярому капитан. Вспоминаются его давешние слова: «Опустею я, как плот уведешь. Сам два года думал о нем, а вот уведешь — заскучаю, словно дитяти лишусь!» Капитан поднимает с земли



прутик, чертит на песке змейку, прилаживает к ней вторую, на месте встречи рисует крутой завиток — так встречаются Вятская протока и Чулым.

— Похоже?

— Похоже.

— А теперь вот так.— Капитан рисует на песке плот, изгибает его тоже змейкой, но в другую сторону.— Если середина плота будет здесь, то где будет головка?

— Середина плота никогда не будет здесь! — сердито отвечает Ярома и крест-накрест перечеркивает положение головки.— Никогда!

Борис Зиновеевич терпеливо восстанавливает чертеж.

— Ты ответь все-таки, где будет головка, если середина тут?

Ярома досадливо выпячивает нижнюю губу, но капитан настойчиво требует:

— Ты ответь.

— Головка уйдет от протоки,— отмахивается сплавщик.— Вернее, ушла бы, если бы...

— Если бы «Смелый» тянул плот вот сюда...— быстро доканчивает его мысль капитан и рядом с правым берегом Чулыма проводит короткую черточку. Это «Смелый».— Буду буксировать плот сюда!

Капитан поднимается, ждет, что скажет Ярома. Сухие пальцы застегивают и расстегивают пуговицу бушлата. Лицо нахмурено и немного сердито. В молчании проходит несколько длинных секунд. Потом Ярома вскидывается.

— Борис, Борис...— невнятно говорит он и больше ничего не может прибавить.

«Ярома понял, Ярома одобрил!.. Сам Ярома!» Капитан отворачивается от Степана, чтобы не выдать взволнованного блеска глаз, нервного подергивания рук. Немного погодя за спиной слышен ворчливый голос Яромы:

— Оботри коленки-то. Все в песке... Как маленький, право слово.

— Действительно.

Капитан старательно обметает песок с форменных брюк.

### 3

Учалка заканчивается пополудни. Совсем крохотным кажется «Смелый», припряженный к громаде плота: мальком, притулившимся к киту.

Ярома и капитан в последний раз осматривают учалку. Здесь же, на чурбачке, отдыхает механик Уткин. Скрестив темные руки на груди, жадно дышит смоляным воздухом. Десятки лет плавает капитан с Уткиным, и десятки лет с точностью машины механик перед грузовым рейсом выходит на часок проветриться на берег. Борис Зиновеевич несказанно удивился бы, если бы этого не произошло.

Перед Яромой и капитаном толпятся сплавщики, которые пойдут на головке.

— Смо-о-отрите! — грозит пальцем Ярома.— Секунда промашки — все к чертям полетит! Не спать, не пить! Упреждаю, кто выпьет, беги на Обскую губу, а все одно найду и спущу шкуру!.. От зари до зари дежурить у ворот и на сигналах... Ты, Федот, особенно смотри — спать здоров! Смо-отри!

Сплавщики мнутя, басят:

— Это так! Сполним в точности!

Здоровы, сильны, опытные ребята — не впервой идут на плотах, но и они озабоченно оглядывают с яра небывало громадный, шукой завернувший хвостину за яр двенадцатитысячный плот.

— Велик, что сказать, оно, конечно... А так довести должны бы...— говорит старшина плотовщиков.

— Ну давайте, ребята, на головку,— разрешает наконец Ярома.— По местам! И блюда, чтоб ни одной зацепки.

По-медвежьи переваливаясь, подхватив на широченные плечи мешки с провизией, теплой одеждой, уходят сплавщики. Жены и ребятишки провожают их до самого плота. Толпа на берегу смолкает. Раздаются голоса: «Хорошо подзаработят ребята!.. Шутка ли — двенадцать тысяч чetyреста!..», «Н-да, и на чекушку небось останется!» Под веселый разговор, под благоговейное молчание и вздохи родных сплавщики вступают на головку плота — серьезные, солидные, крепкие.

Считанные минуты остаются до отхода «Смелого».

Прямо с борта парохода, минуя трап, спрыгивает на берег Валька Чирков. Выскакивает на яр, прыгает с карчи на карчу, бежит к капитану — открытый ветру, солнцу, людям. Радость бьет из Вальки, как пар из котлов «Смелого».

— Борис Зиновеевич! — кричит Валька, хотя стоит уже рядом с капитаном.— Борис Зиновеевич! Готов к отправлению!

— Тише ты, труба иерихонская! — морщится Ярома.

— Есть, тише! — по-прежнему счастливым голосом орет Валька.

— Хорошо, Валентин,— говорит капитан.— Иди на пароход... Я сейчас.

— На пароходе: товсь! — заливается штурман.

Насмешливо цыкает Ярома, махнув рукой, говорит так, словно приляпывает печать:

— Мальчишка! Какой это помощник — шантрапе!

— Валька? — Капитан вздергивает брови.

— Он! — охотно подтверждает Ярома, и тогда раздается тихий голос Уткина, который молчал час кряду.

— Прирожденный капитан,— замечает Уткин и, не интересуясь реакцией Яромы, принимает прежнюю позу — спокойную, созерцательную, точно и не он неожиданно вступил в разговор. Ярома хмыкает.

— Спиридон прав! — серьезно поддерживает капитан.— Чирков рожден речником. От отцов и прадедов унаследовал жилку.

— Умишко у него, наблюдаю, вычурный! — не сдается Ярома.

— Зря, Степан! — уже ревниво говорит капитан.— Валентин — моя надежда! В полночь разбуди парня — скажет, что под днищем «Смелого».

Валька Чирков не слышит этих разговоров — он врывается на пароход, дергает рычаг сифона, кричит в машинное отделение: «Товсь! Победным скоро!» Тем же стремительным аллюром выскакивает на причальный мостик, становится рядом с машинным телеграфом. И чудное дело происходит с Валькой — он успокаивается, унимает сумятицу рук, ног, гонит с лица восторженную улыбку. Руки твердо и властно ложатся на медные поручни, а крутой юношеский подбородок задирается вверх. Вздрагивающая под ногами палуба вливает в Вальку уверенность, солидно округляет движения, взрослит двадцатидвухлетнего парня.

— На корме! Не зевать! — покрикивает Валька, и капитан незаметно для Яромы улыбается: в голосе Чиркова он слышит свои интонации, да и фраза — его.

— Надо бежать,— обращается к Яроме капитан.— Ну, прощевай, Степан! Готовь еще такой же!

— Отваливайте,— хрипит Ярома.

— До свидания! — Капитан протягивает руку.

— Отваливайте, отваливайте! — Ярома хватает руку капитана, судорожно сжимает и сейчас же отпускает.— За лежнями приглядывайте.

— Добро, Степан.

Речники спускаются под яр...

Снова ревет «Смелый» — один длинный гудок, три коротких. С деревянным грохотом падают трапы, змейками уползают на пароход шварто-

вы. Торопливые слова команды, крики, звон меди, первые такты поршней. На причальном мостике стоит Валька Чирков, прижав к губам рупор, командует сплавщиками. Капитан рядом с ним облокотился о поручень, посматривает, как на плоту отдают швартовы.

— Левую попрдержать! — гремит рупором Чирков.

В воздухе снова мелькают канаты, плот скрипит, булькают, падая в воду, комки глины с яра, у берега завиваются глубокие воронки. Медленно, нехотя передняя часть плота двигается за пароходом, а самый плот точно пристыл к берегу. «Смелый» натуживается, яростно бьет плечами, буксирный трос тревожно звенит. «Зачем держит левую?» — сердито думает Ярома, торопливо затягиваясь папирсой. Он собирается крикнуть капитану, но Валька опережает его:

— Отдать левую!

Плот отдирается от берега, крутой извилиной выходит в протоку. Капитан что-то говорит Вальке, и штурман нагибается над переговорной трубой. Над «Смелым» гаснет черный столб дыма, машина передыхает, но плот, уже взяв разгон, плавно струится из узкой гавани. Точно живой, идет плот по протоке.

— Так держать! — командует Валька.

Капитан отрывается от поручней, переходит на корму парохода, с которой лучше виден Ярома, стоящий рядом с кривой ветлой. Капитан машет рукой. Ярома отвечает. Он хорошо еще видит маленькую фигуру капитана, рубку, султан дыма, разноцветные колесики спасательных кругов. Потом яр заслоняет пароход, видны только мачты, а еще через мгновение не видно ничего, лишь плывет плот — далекое продолжение «Смелого». А потом и плота нет — быстро мелькают головка, сплавщики у ворота и маленький красный флаг.

Ярома остается один. «Все!» — бормочет он, когда головка скрывается за яром. Убежал капитан... Тяжелое предчувствие охватывает сплавщика. Представляется Яроме, как на будущий год или на другой прибежит на сплавной участок капитан Валька Чирков, рассеянно поздоровается с Яромой и пойдет распивать пузатый графинчик водки с дружкой Гребневым, и будут говорить они о своих, недоступных Яроме, делах, смеяться и совсем забудут о капитане и о нем, старом сплавщике Яроме. Пройдет еще год, два, и принесут Яроме справку на серой бумаге, где будет сказано, что износился и он. А по сплавному участку станет бегать новый начальник, такой же молодой и суматошный, как Валька Чирков...

— Товарищ начальник!

Старик оборачивается, недовольно смотрит на Гребнева.

— Собрали лес, Степан Григорьевич... — виновато, смущенно говорит Гребнев. — Оплошка вышла...

— То-то! — отвечает Ярома и с непонятым любопытством разглядывает бригадира... У парня крепкое обветренное лицо, широко поставленные серые глаза, маленький рот очерчен твердо; на виске розовый шрам — царапнуло до кости бревном года два назад, когда в половодье разбирали затор на реке. Хорошее, смелое лицо у парня, а смотрит в сторону, виляет взглядом, чтобы не встретиться с глазами Яромы.

Начальник сплавного участка проводит ладонью по усталому, поседевшему лицу. Словно наяву, встает перед ним сияющий, счастливый Валька Чирков... Бежит навстречу капитану, лучится смехом, радостью, любовью к Борису. «Моя надежда!» — произносит ревнивый голос капитана, затем Ярома слышит себя: «Мальчишка!» От этого голоса на душе становится мутрно, тревожно. Затем перед глазами опять Валька Чирков, стоящий на мостике «Смелого», кричащий в рупор начальственно, уверенно... И фигура капитана рядом с ним — спокойная, доброжелательная...

— Собрали лес...— повторяет Гребнев, немного удивленный молчанием начальника, рассеянностью его обычно сурового взгляда.— Собрали.

— Хорошо, хорошо! — миролюбиво говорит Ярома.

Гребнев молчит. Он не понимает, что случилось с Яромой, но где-то вспыхивает мысль, что произошло важное, значительное.

Майское солнце бьет в сутулую спину Яромы. Идет он нервно — останавливаясь, раздумывая.

## Глава пятая

### 1

Над «Смелым», невидимые в эфире, бегут точки и тире: «Отбуксировал чичка-юле плот двенадцать тысяч четыреста кубометров тчк готовьте запани тчк через два дня войду вятскую протоку тчк держите связь нами тчк валов тчк».

Пальцы радистки Нонны вызывают в эфире бурю. Перебивая друг друга, захлебываясь, посвистывают передатчики диспетчерских, районного управления пароходства, обкома партии, лесосплавной конторы, лесозаготовительного комбината... «Валов забуксировал чичка-юле плот двенадцать тысяч четыреста кубометров тчк». «Чапаев», вызываю «Чапаев», Большая новость: Валов буксирует двенадцать тысяч с лишним!..» «Обком партии налагает персональную ответственность на директора сплавной конторы за безаварийную приемку плота тчк обеспечьте наличие достаточно мощной гавани тчк ваш адрес выехал работник обкома тчк».

Отстукав положенное количество точек и тире, открячав в эбонитовый колпачок, Нонна Иванкова, скользнув взглядом по зеркалу, поднимается на палубу.

Капитан сидит на привычном месте — в кресле с подлокотниками. Он читает радиogramмы, пошевеливая губами. Прочитав, говорит:

— Шуму много подняли... Ну да ничего не попишешь — запань нам нужна...

Нонна уходит.

— Продолжай! — обращается капитан к боцману Ли, который устроился на корточках рядом с ним. В руках боцмана растеребленные ветром бумаги, за ухом — толстый плотничный карандаш; пришепывая, боцман считает про себя.

— Девятьсст! — зажмурившись от напряжения, говорит он.

— Мало, — говорит капитан. — Этих денег только на мясо и хватит... Плохо, Ли, плавать по реке и не есть рыбу! Ты уж как-нибудь до Лугового протяни!

— Ты сам виноватый! Шибко жирно кормил ребят. Теперь кушаки подтягивай!

— Неужели всего девятьсот осталось?

— Копейка в копейку!

Капитан надвигает на нос очки... Боцман прав: судовой котел съел за порожний рейс больше половины капитанских сумм на питание. «Ели знатно!» — думает капитан, вспоминая случай, после которого он велел продуктов не жалеть. Как-то утром заметил он, что Петька Передрыга на вопросы отвечает бумчанием, невнятно; пригляделся и увидел — Петька хрумкает сухари. «Не завтракал?» — спросил капитан. Петька ответил, что завтракал, но почему-то захотелось сухарей... В тот же день капитан приказал увеличить раскладку, пригрозив наказать повара, если у ребят будет оставаться в желудках место для сухарей.

— Козла еще бог послал! — говорит Ли. — Полпуда картошки, полпуда капусты, моркови!

— Ну?!— рассеянно удивляется капитан.

— Как на весах! Здоровый козел, придиричивый на пищу!

Наконец капитан дочитывает косые закорючки боцмана, свертывает бумаги, стучит по ним пальцем.

— Откуда, Ли, девятьсот рублей? По остаткам — шестьсот,— подозрительно спрашивает он.

— Плохо считал, капитана! — почти поет боцман, покачиваясь на ногах, прищелкивая языком; узкие глаза лукавыми лучиками смотрят на капитана.— Пересчитай!

— Вот что, Ли! — Капитан сердито поводит бровями.— Нынче я этого не потерплю! В прошлом году команда осталась тебе должна восемьсот пятьдесят рублей...

— Отдали.

— Знаю, как отдали. Олифу на них покупал?

— Какую олифу? Ничего не знаю! Олифы — вагон! Хочешь, Красикову займы дам?

— Постой, Ли! Цинковых белил на каюты не хватило. Где брал?

— Друзья! — коротко отвечает Ли.— Выручили!

Как на стену, смотрит капитан на боцмана. Знает прекрасно, что Ли из собственного кармана платил за олифу, а в прошлом году, во время большой аварии на «Смелом», три дня кормил ребят. Но уличить боцмана не может: у него действительно десятки дружков, которые подтвердят что хочешь! Скажи им боцман, что произвели его в африканские короли, божиться станут, что, дескать, собственными глазами видели это и прочее... Капитан злится на боцмана, на свою беспомощность и думает, что, если бы у Ли сейчас случилось больше своих денег, он не пришел бы с вопросом, как прокормить команду до Лугового.

— Перестань смеяться! — сердится капитан. — И оставь ты эту привычку — сидеть передо мной на корточках! Встань!

Хочется капитану рассердить боцмана, чтобы понял наконец — не потерпит он выкрутасов, в бараний рог согнет. Но Ли точно и не слышит гнева в капитанском голосе; на приказ подняться отвечает улыбкой, вытягивается перед Борисом Зиновеевичем с невинной и беззаботной физиономией. «Понимаю, капитана! Раз плохо, значит плохо! Однако я не виноватый — дружки белила давали».

Капитан вздрагивающим голосом говорит:

— Еще раз такое повторится, спишу на берег... Предупреждаю!

— Правильно! — охотно соглашается Ли.— Порядок есть порядок!

— Уходи, Ли, видеть не могу! — окончательно рассвирепев, шипит капитан.

Сморщив лицо, Ли спускается с палубы.

— Уф!

Капитан вытирает пот, откидывается на спинку кресла; несколько минут он не может прийти в себя, что-то бормочет, грозит пальцем. Только сейчас ему приходят на ум гневные слова, неотразимые доводы, которые он должен был сказать Ли. Так всегда бывает с капитаном: в гневе он беспомощен, как ребенок.

— Сваливаешь вправо! — говорит капитан Луке Рыжему.

«Смелый» выравнивается, скрипит.

Окрест парохода все те же почерневшие тальники, окруженные водой, блеск солнца на гребнях невысоких волн. Пенная струя за кормой плещет мелодично, успокаивающе, поет день и ночь.

— Сваливаешь, говорю! — прикрикивает капитан.

Во время грузового рейса на вахте капитан ворчлив и угрюм. Он никогда не говорит о себе: «Я управляю пароходом», а всегда: «Я рабо-

таю». Когда Борис Зиновеевич работает, речники не рискуют без дела появляться на палубе: заметив празднующегося, он подзывает его к себе, придирчиво оглядывает сквозь очки, пожевав губами, спрашивает: «Отстоял вахту?» — «Отстоял!» — отвечает затосковавший речник. «Вот хорошо! — радуется капитан. — Вахту ты отстоял, книги все в библиотеке перечитал, смежные специальности освоил — ну не жизнь, а радость! Вот теперь ты и ответь мне, что это за жар-птица — паровая машина двойного расширения?.. Не знаешь? Странно! А может быть, ты знаешь, что это за штука — цикл Карно?.. Тоже нет?! Странно!»

Непривычным, чужим становится в эти минуты капитан. Долго в таком тоне разговаривает он. Потом подводит итог: «Книг мало читал, специальности изучаешь плохо! Вот тебе задание — к концу недели разобраться в машине... Иди!»

Справа по ходу «Смелого» выглядывает невысокая гора, окруженная по склону березками; она похожа на голову лысеющего человека. Впрочем, гора так и называется — Лысая. От нее до Вятской протоки два дня ходу. С обеих сторон парохода плывут бревна. Плывут они быстрее буксира, который, сдерживаемый гигантским плотом, идет медленнее течения. За три часа бревна опережают «Смелый» настолько, что скрываются из виду.

Тишина на реке. Привыкнув к шуму машин, ухо улавливает всплеск садящихся на воду уток, скрип старого осокоря, гортанный крик баклана, промазавшего клювом по ельцу, который неосторожно высунул темный хребет из чулымской волны. Кругом ни души, ни дыма, ни человеческого следа, только далеко впереди, обочь полосатого столба створа, угадывается избушка бакенщика.

— Крикни боцмана, Лука! — просит капитан.

— Слушаю, капитана! — появляясь из люка, говорит боцман, отряхивая брюки от сора и грязи. — Козла, большой бабушка, кормил!

Капитан показывает на далекую избушку бакенщика.

— Садись в лодку, гребь к Никите. Скажешь, я просил пудика два рыбы. Взаимы, понимаешь?

— Понимаю! — обрадованно отвечает Ли и катышком скатывается с палубы.

— Опять сваливаешь вправо! — после ухода боцмана говорит капитан Луке. — Держи на створ!

Мерно хлопают о воду колеса, шипит пар, звенит волна.

В чреве «Смелого» — машинном — с масленкой в руке ходит Спиридон Уткин; по-докторски наморщив лоб, прислушивается к биению сердца парохода, а положив руку на горячий бок машины, чувствует шершавой ладонью всю тяжесть плота, которую взвалили на себя два цилиндра «Смелого».

Кормит ненасытное горло топки Иван Захарович Зорин. Голый по пояс, облитый кровавым светом, похож он на веселого и грозного бога огня. Двухпудовая лопата с углем в руках его как детская игрушка; работает, точно зарядку делает, а когда толстая дверь топки захлопывается, проводит пальцами по губам, и звуки саксофона слышны в кочегарке. Четырехчасовая вахта — пустяк, мелочь, разминка, после которой — теплый душ, свежая одежда и во всем теле такое чувство, точно наново родился. Потом скрипка, сидение в радиорубке...

В руках Нонны Ивановой поет ключ. Рассказывает он всему миру о том, что кочегар Иван Зорин досыта кормит машину «Смелого», и за это она сквозь завилюги Чулыма ниткой протягивает плот, больше которого на реке не бывало.

Весело поет ключ в пальцах Нонны Ивановой.

## 2

В двухкомнатной каюте капитана строгий порядок. Сразу, как войдешь, — два мягких кресла, письменный стол с матовой лампой, выше — картина моряковского художника, изображающая Чулым, — невеста какая гениальная, но написанная от души; сбоку на стене — книжный стеллаж. Есть еще барометр, радиоприемник, морские часы (на циферблате двадцать четыре цифры, а заводятся на месяц). На полу — ковер.

Капитан работает за письменным столом. После вахты принял душ, посвежел. Прямыми стариковскими буквами пишет капитан; закончит строчку, откинется в кресле, пробежит глазами по написанному — все ли так? — и опять пишет. Капитан грамотен, но порой тянется к словарю, ищет нужное слово, чтобы не осрамиться перед дочерью-филологом. Иногда чертыхается. Ах, будь ты неладно! Что ни год, то новое правописание, что ни доктор наук, то открытие, а в словарях через слово — в скобках: народное, местное, архаическое... «Отстой судов в зимний период... имеющиеся недостатки, деловой поросенок...» Вот как! Вместо зимы — зимний период! Деловой поросенок представляется капитану веселым, шустрым маленьким свином — хвост крючком, глаза хулиганистые, уши торчат: одним словом, деловой, энергичный поросенок!..

Капитан пишет дочери. Незаметно бегут минуты, неторопливо разговаривает с дочерью капитан.

Длинным, четырехстраничным, получается письмо. Бегут минуты капитанова времени, отведенные для сна, отдыха старого, уставшего за день тела.

Поздно ложится капитан, а забравшись в кровать, чувствует, что сразу не уснуть — нервы взбудоражены. Он приподнимается на локте, поискав глазами, снимает с полки «Кола Брюньона». Высоко подтолкнув под спину подушку, читает знакомое, известное.

«Господи боже, до чего жизнь хороша! Как бы я ни объедался, я вечно голоден, меня мутит: я, должно быть, болен; у меня так и текут слюни, как увижу накрытый стол земли и солнца...»

...Плавно, на собственной, отраженной от берегов волне покачивается «Смелый». Хорошо думается под мерные взлеты кровати, поскрипывание переборок. Положив книгу на грудь, капитан закрывает глаза...

Раздается глухой, далекий удар, пароход вздрагивает, и в то же мгновение смолкает машина. Капитан вскакивает. Он знает, что случилось. Выбегает из каюты и спешит к правому колесу «Смелого». При свете электрического фонаря молча, напряженно двигаются люди.

— Топляк?

— Он! — Уткин поворачивает к капитану наполовину освещенное лицо.

Непривычная, тяжелая тишина на пароходе, отчетливо слышно, как ластится к борту наносная волна. Лица речников бледны, движения торпливы, судорожны. И ни звука. Боцман Ли зубами рвет узел на веревке.

— Давай! — шепчет Уткин кочегару.

Сбросив сапоги, рубаху, Иван Захарович ныряет в колесную дверь, из которой несет холодом; видна темная, как деготь, вода и толстые, освещенные фонарем плиты. Слышно бутылочное хлопанье, всплеск и короткий всхлип, точно Зорин задохнулся. И опять тишина.

— Грузы спустили, — докладывает сверху Хохлов.

Отчетливо видит капитан остоповавший на реке пароход и громаду плота; медленно, неудержимо плот приближается к «Смелому», который не может ни отвернуть, ни уйти: в колесе застряло бревно, свечкой пльвшее по реке.

— Иван! Иван! — зовет Уткин.

Захлебывающийся, бутылочный звук повторяется.

— Он берет топляк снизу...— тихо говорит капитан.— Нужно брать сбоку, от торца плиц...

— Заходи сбоку! — кричит Уткин.

Доносится глухо, непонятно:

— Уткнулся коух... коух...

— Топляк уткнулся в коуж,— поясняет капитан.— Пусть берет сбоку.

Он не повышает голоса, говорит спокойно, неторопливо, понимая, что спешка — опасный враг в такой момент.

— Иван! Иван!

— Не моуу... коух... дер-и-и... Ногой не достаю.

Боцман с чечеточным стуком спускается по трапу, нагибается к уху капитана: «Напирает, шибко напирает!»

— Так... Ясно! — соображает капитан.— Правой рукой возмись за вал...

Молчание. Плеск. Свет фонаря качается. Опять плеск. Тишина.

— Взялся рукой... Теперь легче...— хрипит кочегар.

— Обними ногами бревно...

Снова плеск и тяжелое, прерывистое дыхание.

— Обнял...

— Вытаскивай топляк движениями ног на себя...

Проходит несколько напряженных мгновений. Затем доносится облегченно, со вздохом:

— Пошло!

И еще через мгновение:

— Уткин!.. Давай!

Уткин стремглав кидается к машине, дает «полный вперед». Пароход оживает.

— По местам! — говорит капитан и уходит в каюту.

Задышающийся, с мокрыми космами, упавшими на лоб, Иван Захарович неподвижно сидит на полу. Нонна насмешливо смотрит на него.

— Топляк вытащить не мог! Герой!

Боцман осуждающе качает головой.

— Несправедливый ты, Нонка! Иван — молодец! Не умеет — научится! Он не капитан — все знать... Где ногами сожми, где рукой ухватись... Научится!

Утро назавтра туманное, серое.

Дымка обволакивает реку, струится по плоту, почти целиком скрывает его. Валька Чирков нетерпеливо ходит от борта к борту, всматривается в дымку, беспокоится. Нервное и опасное дело — вести на буксире невидимый плот. Сигнальный огонек на головке скрылся в третьем часу ночи, и с тех пор Валька мерит палубу. Иногда останавливается, прислушивается к звону, поскрипыванию буксира — точно на ощупь измеряет тяжесть плота, но от этого спокойнее не становится. Не хватает Вальке капитана — сидел бы сейчас в кресле с подлокотниками, читал книгу.

— Костя! — кричит Валька.— Тысяча чертей! Валишь вправо...

В рубке, в тепле, в сонном запахе краски Костя Хохлов кривит губы, зная, что замерзающий на палубе Валька не услышит его, чмокает губами и со смаком ругается: «Три затычки! Вечерний звон, вечерний звон!» Ругаясь, Костя довольно улыбается. Прицелившись глазом в какую-то невидимую в тумане точку, он тихонько сваливает руль влево, так, чтобы Валька, занятый в этот миг переговорами с матросом на носовой лебедке, не сразу заметил перемену направления. После этого Костя высовывается из рубки, кричит:



— Эй ты, начальство!

— Ну,— отзывается Чирков.

— Сам подтянись! Где ты увидел, что сваливаю!

Валька прицеливается в ту же невидимую точку, что и Костя, пожимает плечами: действительно курс верный, по всем признакам должны точно идти по створу, как и положено в этом месте Чулыма. «Чего же это я?» — думает Чирков, но по привычке рывкает:

— Так держать!

— Дрын! — отвечает Костя вполголоса. В открытую ругать Вальку, стоящего на вахте, он не то что боится, но не решается: рассердившись, Валька долго возиться не станет; оглянуться не успеешь, как вызовет на палубу другого штурвального, и тогда греха не оберешься.

— Бревно! Лежень! — ругает шепотом Костя штурмана.

Наверное, всходит солнце: на востоке туман розовеет, раскаляется, голубые проплешины открываются в нем, но на воде туман по-прежнему густ. Все предвещает бездождный теплый день — холодок, звонкоголосое эхо за Лысой горой, которая за ночь не ушла от «Смелого», а только повернулась к нему другой стороной.

— Каково идем? — спрашивает за спиной Вальки голос капитана.

— Нормально, Борис Зиновеевич!

Капитан осматривается. Он в бушлате и валенках; руки заложены за спину, зимняя шапка глубоко надвинута на лоб. Костя Хохлов, до этого примостившийся на лавке, тихонько пересаживается на высокий стул, специально изготовленный для штурвального. Осмотревшись, капитан кивает Чиркову.

— Дорога прямая!.. Позови-ка, Валентин, боцмана... Хохлов!

— Есть, Хохлов! — кричит Костя.

— Держи прямо. Тут за мыском...— Капитан смотрит на берег, но мыска в тумане не видит.— За мыском будет поворот. Так не ворочай! Прямо бери — вода большая! Слышишь?

— Так точно, товарищ капитан!

— Костя!

— Так точно, товарищ капитан! Я и есть Константин Иванович Хохлов, рождения тысяча девятьсот тридцатого года, беспартийный, холостой, за границей не был... Подробности в афишах! — Хохлов высывается из рубки и, глупо помигивая, ест глазами начальство — вроде бы ничего не понимает Хохлов, а усерден до невозможности, до оторопи в ногах.

— Ко-остя! — повторяет капитан.

Хохлов дурашливо шархается в рубку, хватается штурвал, прилипает к нему — глаза устремлены вперед, фигура наклонена, ноги напряжены. Капитан прячет улыбку.

— Доброе утро, капитана! — сонно улыбается боцман Ли.

— Доброе утро, Ли! Хорошо спал?

— Спасибо! Выспался, капитана... Плот поедем смотреть, что ли?

— Сейчас. Захвати папирс, махорки, радиogramмы возьми у Нонны... Она знает какие.

Осторожно, точно боясь наткнуться на берег, боцман гребет короткими веслами. Идут рядом с плотом, навстречу течению. «Смелого» уже не видно — есть только лодка да струящийся рядом поток бревен, поперечных лежней, сдвоенных бон. На одной плитке капитан читает вырезанные на коре слова: «Коля Савин. Чичка-Юльский леспромхоз».

Кто знает, где кончит долгий путь сосновое бревно с именем паренка из чулымского поселка? Ляжет ли оно стропилом нового дома на целине или, попав под жадные зубья пил, разойдется частичками по городам и весям? Кто знает! А может быть, на крутом завитке Вятской

протоки дикий Чулым ударит плот о крутой яр и — прощай, Коля Савин! Как пушечный выстрел, раздастся звук лопнувшего троса, освобожденная от окантовки древесина поплывет по реке, разрушая на пути запани, преграждая путь пароходам, унося сети рыбаков — не собрать потом лес. Захлебнется эфир точками и тире: «...валов разбил плот вятской тчк судам приказываю прекратить движение тчк чулыме организовать помжку части древесины тчк...» И поплывет бревно Коли Савина сначала по Чулыму, потом по Оби и будет плыть до тех пор к Ледовитому океану, пока не прибьется к берегу, чтобы гнить долгие годы, или же попадет в руки низового мужика-побирухи, который ни на сплаве, ни в лесу не работает, из колхоза вышел лет двадцать назад и в легком обласке бороздит Обь в поисках бревен, которые продаст потихоньку на сторону, давно отгрохав себе из дарового леса хоромы. Не об этом мечтал Коля Савин, вырезая имя на сосновом кряже...

Мимо капитана струится плот — громадный, нескончаемый. Но вот в тумане появляется радужный кружок. Это пробивается свет сигнального фонаря, а еще через несколько взмахов весел виден уже и флаг.

Лодка мягко тычется в бревна, течение разворачивает ее. Бросив весла, Ли выпрыгивает на плот, капитан — за ним.

На головке никто не спит. Сплавщики сидят кружком вокруг костра. Завтракают. Увидев капитана и боцмана, задерживают ложки, теснятся. Капитан и боцман здороваются, подходят к костру, разведенному в большом ящике с землей. Уютно и весело на плоту. Старшина сплавщиков — бородатый, с диковатыми глазами — протягивает боцману и капитану ложки.

— Садитесь снедать, мужики! Уха, должно быть, скусная. Борис Зиновеевич, седай! Мы наемни на берег смотались, рыбешкой разжились... Исетра кусок, нельмы хребтина...

Настоящий нарымский говор у старшины: слова произносит вкусно, дробно и в то же время немного тянет окончания.

— Пригостевайте, мужики.

Сплавщики согласно кивают головами, улыбаются и не едят — ждут, когда присядут речники.

— Садись, Борис Зиновеевич! Ли, гостюй!

Речники на Чулыме — люди известные. Слава о делах чулымских капитанов передается из уст в уста. Бежит без проводов и антенн: «Борис-та Валов! Возле кривой ветлы проходил, так ворочал левой... Верзаков-та Семен говорил, ежели Петька Анисимов не выдет этим разом на сплав, не видать Петьке, дескать, Вальку...» Всё знают в деревнях про капитанов: на ком кто женат; что носит; к какой бабенке присватывается, коли грех попутал; что купил в деревнях. Оттого капитаны ухо держат остро и, что скрывать, как огня боятся осуждения деревенских языков, от которых одно спасение — уходить с Чулыма.

Боцман и капитан на приглашение отвечают чинно, по закону:

— Да завтракали мы... Успели... Спасибо... — а сами косятся на котлище.

— Гостюйте, гостюйте! — повторяет старшина и командует: — Таскай, ребята!

Капитан и боцман быстро присаживаются — церемонии кончились. Погружают ложки в густую уху, обжигаются. Вкусна уха! Ложки стучат о металл, осторожно шарят по стенкам. Зацепив кус, сплавщик ставит ложку на кусок хлеба и так несет в рот, чтобы не пролить.

Молчат до тех пор, пока не притушен аппетит, пока стук ложек не становится ленивым, разнобойным: все чаще застывают руки на весу, от буханки отрезают не толстые куски, а деликатные, тоненькие ломтики. В котле, в жидкой ушнице, осталось несколько кусков рыбы; поддев

их на ложку, сплавщики незаметно спускают обратно: вежливость не позволяет съесть остатки.

— Борис Зиновеевич, Ли,— говорит старшина,— таскайте последнее!

— Сыт! — отвечает капитан и быстро кладет ложку.

Ли делает то же самое. В два голоса благодарят:

— Спасибо, ребята!

— Шибко вкусная уха!

Сплавщики закуривают. Спокойны, радушны медные лица, от еды тела неповоротливы. На всех брезентовые куртки и брюки, заправленные в новые кирзовые сапоги; на сапогах толстый слой дегтя, а подошвы промазаны варом, смешанным с воском. Под брезентовыми куртками почти у всех вельветовые рубашки — мода сплавщиков Чулымья. Курят только махорку, а кто похозяйственнее — самосад дикой крепости.

— Ну, ребята, скоро Вятская! — напевно, нарымским говорком начинает капитан, обращаясь к старшине.

— Пожалуй, что так! — соглашается старшина, поглядев на мутное небо, на клочки тумана, ползущие по плоту. — Видняет. Надо быть, к вечеру сиверко нахлестнет... К утру бы не заматерел!

Сплавщики тоже вертят головами, принохиваются к туману, ловят легкое трепетание воздуха, помолчав, пораздумав, поддерживают старшину:

— Должно, так!

— Бесперечь задует!

Под головкой плота, шебеча, струится Чулым, бревна плавно покачиваются, торкочут, между ними брызжут струйки воды. И только по этому можно определить, что плот движется, иных признаков нет — берега в тумане, небо скрыто, а розовый круг над восточным берегом, там, где поднимается солнце, неподвижен. Редко-редко закричит невидимый «Смелый», и опять безмолвие.

— Ветер — плохо! — замечает пожилой сплавщик. — Туманишша — еще хуже!

— Это да! — говорит капитан. Он поднимает маленький ловкий топор, попробовав на палец лезвие, начинает тихонько потяпывать по бросовому куску сосны. Не знает капитан, как начать разговор о главном, о том, зачем приехал на головку. Будь бы плот обычной величины, он и раздумывать бы не стал — проверил бы поворот, тросы, грузы, присмотрелся бы к людям и, увидев, что все в порядке, пожелал успеха. Сейчас иное — хитрый маневр, необычное дело замыслил капитан. «А вдруг не поймут?» — думает он.

Сплавщики — народ упрямый. Туго пробивает себе на сплаве дорогу новое. Как работали по старинке, так в основном работают и сейчас. На заре Советской власти лобастый нарымский мужик придумал погрузочные лебедки, которые стали зваться его фамилией — мерзляковские; до сих пор работают на них сплавщики, хотя вместо лошадей ременный привод крутит электрический мотор. Два года в Моряковском затоне монтировали сплавщики мощные погрузочные краны; после критики областной газеты и обкома партии собрали их с грехом пополам, но еще навигацию неподвижно простояли они на запанях. У речников за год-два много появилось нового: вождение караванов барж методом толкания, самоходные баржи, часовой график, а сплавщики в это время безуспешно испытывали саморазгружающуюся баржу. Где они теперь, эти баржи?

Постукивает капитан топориком, думает, как начать разговор; одно ему нужно от сплавщиков — чтобы по сигналу быстро вытащили из воды грузы и с такой же быстротой спустили. Легче легкого приказать ребя-

там, но капитан этого не хочет. Думает он, а старшина сплавщиков, прокашлявшись, спрашивает:

— Обрисуй, Борис Зиновеевич, как Вятской пойдем? Великохонек, пожалуй, плотишко-то.

Капитан отвечает на вопрос вопросом:

— А ты как мыслишь, пройдет в Вятскую?

Задав вопрос, капитан настораживается: многое зависит от ответа старшины сплавщиков, но тот медлит, оглядывает ребят. Они отвечают улыбками: «Говори же! Знаешь, как мы думаем! Валяй!» Ни тени тревоги на лицах сплавщиков, вопрос капитана не смущает их — улыбаются, покуривают. Старшина, видимо, подбирает слова, чтобы ответить солидно, обстоятельно. Сызнова прокашлявшись, басит:

— Конечно, ежели рассуждать, не должен пройти плот, потому, когда вели с вами девятитысячный, он бороздил по яру... Так, Зиновеевич?

— Так! — подтверждает капитан, и сплавщики тоже кивают головами: так, дескать, правильно, вали дальше, наявивай!..

Старшина продолжает:

— Ну мы, конечно, обсудили это дело и порешили так: коли Борис Зиновеевич за дело взялся — быть по тому, плыви, значит, до Вятской!

Сплавщики согласно кивают, показывая загорелые шеи: «Так, правильно! В самую точку угадал! Никаких сомнений, и баста!» Один из них — молодой, веснушчатый — щерит в сторону капитана яркие молодые зубы, точно говорит: «Верим. Веди, капитан!»

— Так, значит... — дрогнув бровями, повторяет слова старшины капитан и чувствует, как на лоб, на щеки выливается горячая, точно ожог, полоса. Телу становится тоскливо и жарко под одеждой, а жаркая полоса расползается, томит. Если бы капитан сейчас мог посмотреть на сплавщиков, сразу стало бы легче — по-прежнему спокойны ребята, смеются, а молодой, веснушчатый сияет майским солнышком.

— Вот так мы маракуем... — говорит старшина сплавщиков.

Капитан выпрямляется.

### 3

Матрос Петька Передряга ходит по пароходу и сообщает с таинственным и важным видом: «Борис Зивеич сказал, что заседать не будем, а на полчаса соберемся в красном уголке побалакать...»

Красный уголок на «Смелом» — светлая и уютная каюта. Во всю стену — портрет Ильича. Ильич сидит на скамейке, сложив руки; он спокоен, раздумчиво прост, в прищуре глаз — чуть уловимая ласковость, а в руках — расслабленная тяжесть. Ильич отдыхает.

В красном уголке есть мягкие кресла и диваны, шелковые занавески, бархатные портьеры. Здесь яркий свет и чистота.

— Собрались все! — сообщает Петька Передряга.

Капитан усаживается в кресло, с улыбкой, умиротворенно оглядывает ребят: нравится ему, что речники чисто выбриты и аккуратны, что Иван Захарович, видимо не успевший принять душ, переменил обувь. Он надел чистый бушлат, но в комнату все-таки не прошел, а улыбается из просвета двери; нравится и то, что парни спокойны — не ерзают, не торопят, не щупают его испытующими глазами: как, дескать, настроение у капитана перед Вятской?

— Ну так-то, друзья мои, — начинает капитан. — Скоро Вятская... Пичкать вас наставлениями не стану, все вы знаете о моем замысле... Мы с Уткиным посоветовались... — Он находит взглядом Хохлова, подмигивает ему. — Слышишь, Костя, посоветовались... Или, как ты говоришь, провели закрытое партийное собрание... И скажу я тебе, Костя, пятьдесят процентов партийного собрания голосовало за то, чтобы тебя не допускать на вахту, когда пойдем Вятской...

Ребята сдержанно смеются, а Костя Хохлов пригибает голову, но все-таки насмешливо говорит:

— И когда по деревне идешь, на окошки мои не поглядывай...

— Вот-вот! — подхватывает капитан. — На окошки мои не поглядывай...

Капитан лезет в карман, достает записную книжку, роется в ней, делает вид, точно ищет запись, но не находит и машет рукой.

— Впрочем, пустяки... Так вот, Костя, пятьдесят процентов, то есть я, проголосовали против, но Уткин уговорил меня. Лука, дескать, еще в курс не вошел, то да се... Как, ребята, возражений нет?

Речники молчат, пересмеиваются. Иван Захарович басит:

— Костя клёвые анекдоты рассказывает. Чувак еще тот!

Капитан грозит пальцем.

— Я и до тебя доберусь!..— Он вдруг широко раскрывает глаза. Раскатисто рассмеявшись, с видом довольного лукавого мальчишки говорит Зорину: — Иван Захарович, абракадабра перетонито ангидридо кинолинисто? А?

Эту галиматью капитан произносит быстро, с убедительными интонациями.

— Сарданапал? — спрашивает капитан и наклоняет ухо в сторону Ивана Захаровича.

От неожиданности, от серьезности капитанова голоса Ивану Захаровичу спервоначала кажется, что он не расслышал слов, поэтому он глубже прсовывается в дверь и переспрашивает:

— Что, Борис Зиновеевич? Не расслышал...

— Да, да, перемагнито недомагнито частокколо заборново...— серьезно отвечает капитан, и теперь до кочегара доходит смысл происшедшего — доходит потому, что он слышит и последние слова и с запозданием понимает предыдущие, а больше всего потому, что речники со стоном начинают сползать с кресел, ухватившись за животы. Заливается смехом и капитан. Он достает из кармана платок, вытирает слезы. Оглушительным басом, но позже всех начинает хохотать Иван Захарович — валится на дверь, хлопает в ладоши. Так проходит несколько минут. Потом капитан замечает в веселье какой-то тихий островок, темный угол, который притягивает его взгляд. Встряхнув головой, он понимает, в чем дело,— Нонна Иванкова, строго выпрямившись, сжав губы, молчит.

— Довольно! — громко, резко приказывает капитан.

Речники постепенно успокаиваются, только некоторые еще долго прыскают в кулак.

— Поплыли дальше, — говорит капитан. — Другие вахты таковы: в кочегарке — Зорин, на рации — Иванкова, на корме — Семенов, на носу и палубе — Передряга; боцман Ли — связь с плотом...

Он делает паузу, задумывается, затем — мягко, душевно:

— Нет ли у кого сомнений, ребята? Все ли ясно?

Речники молчат.

— Добро! Открой шкаф, Нонна, выдай хлопцам бильярдные шары.

Капитан секунду думает и предлагает Уткину:

— Сударь желает получить мат?

— Он желает поставить мат в а м! — Механик галантно кланяется, едва приметно оживляясь.

Они садятся за шахматный столик.

В красном уголке — оживление.

Чем-то интереснее играть в бильярд, в шахматы и шашки, если рядом за столиком сидит Борис Зиновеевич, который охотно отрывается от собственной партии, успевает «поболеть» за других, поддержать павшего духом, а если нужно — высмеять зарвавшегося.

Любят ребята, когда в красном уголке сидит капитан. И, вероятно, поэтому деликатно не замечают, что из пяти партий три, а то и четыре Борис Зиновеевич проигрывает механику — не может устоять он против хладнокровного и медлительного Уткина.

## 4

В четвертом часу утра штурман тихонько стучит в дверь капитанской каюты. Борис Зиновеевич отвечает сразу же:

— Вятская?

— Она!

На палубе капитана охватывает ветер. Свободно распущенные концы шарфа парусят в воздухе. Подхватив их, он боком пробирается в рубку. Пароход одинок в ночи. Устоявшийся стукоток плиц и шум пара не нарушают утренней просвежившейся тишины. Команда спит. Капитан настрого запретил будить ребят перед Вятской и даже усиленно распространял слух, что к опасной протоке «Смелый» прибежит поздне-м утром.

В рубке тепло, тихо, сонно, пахнет маслом и краской. За штурвалом — Костя Хохлов, в уголке съежился Петька Передряга... Когда вслед за капитаном просовывается Валька Чирков и прислоняется к стене, Борис Зиновеевич насмешливо выпячивает губу.

— Ты бы уж будил меня в двенадцать!

— Черт знает, думал — рядом...

Ночная мгла тонким туманом рассасывается по прибрежным тальникам, горят на горизонте две звезды. Берега однообразны, унылы, темны; на добрый километр река пряма, как канал, а дальше в сизой дымке угадывается поворот; справа темнится небольшая возвышенность, по склону ее рассыпаны невидимые березки.

— Возьми левее, — сонно советует капитан. — Здесь лет пятнадцать назад «Чапаев» якорь утопил. Как бы не нарваться!

Костя перекачивает руль. Рулевая машинка, отхлопав, стихает. Опять тишина. Петька Передряга клюет носом — голова касается коленок, он просыпается, испуганно продирает глаза, но через минуту снова тупо ударяется лбом о колени.

— Минут через двадцать войдем в протоку! — говорит Чирков.

Капитан морщится — штурман помешал его думам о дочери, о письме, которое лежит на столе. Капитан думает о том, что после вахты спустится в каюту, попьет чайку и сядет за письмо.

— Не через двадцать минут, а через полчаса... — наставительно говорит он. — А то и минут сорок пройдет.

Капитан решительно поднимается, выходит из рубки на резкий, взбесившийся ветер. Плот виден только до половины, ветер гонит между ним и пароходом густые «беляки», звенит буксирный трос — тонко, тревожно. Волны бьются о борт. «Чертов ветер!» — думает капитан, поживаясь, и резко приказывает Чиркову, вышедшему из рубки:

— Вернись!

Ветер рвет концы шарфа, хватая за полы, метет с палубы тонкую угольную пыль. Она набивается в глаза, капитан на мгновение слепнет. И пока он протирает глаза, почему-то вспоминается Ярома, надтреснутый волнением голос: «Опустел я... Словно дите от меня уводишь!» Капитан разглядывает плот долго, пристально.

Вернувшись в рубку, Борис Зиновеевич приваливается к стенке, делает вид, что дремлет, но веки у него нервно вздрагивают.

Проходит полчаса. Раздается пронзительный сдвоенный гудок — судно входит в поворот к Вятской протоке. Здесь Чулым делает такой крутой завиток, что берега почти соединяются, но это еще полбеда —

опаснее всего протока, начинающаяся на излучине. Она, как насос, вбрасывает в себя воды реки; это и делает место особенно опасным — волны протоки могут подхватить плот, всосать его и разбить о яр.

Капитан кивает штурману: «Иди за мной!» Чирков выходит из рубки, держа в руках стул с мягкой спинкой и подлокотниками.

— Давай сюда!

Подобрав полы полушубка, капитан садится, оглядывает плес: левый берег залит водой, правый горбатится холмиком, разрезанным посередине, — там, шумя, струится Вятская протока.

— Ну, Коля Савин, будем действовать! — тихонько говорит капитан, вспоминая утреннюю поездку на плот. Он коротко машет рукой, и Валька Чирков поспешно дергает рычаг гудка — три коротких сигнала. На плоту вспыхивает огонек: сплавщики начали спускать в воду длинные тяжелые цепи, которые, цепляясь за дно, затормозят движение плота.

Поворот начался.

— Трави левую вожжевую! — приказывает капитан.

Опять звучит сигнал, только теперь два раза: команде на носовую лебедку! Коротко, пулеметными очередями, выстреливает лебедка, тянет трос, идущий к плоту от носовой части судна. Вожжевыми управляется плот, вернее пароход, который при тяговой нагрузке плохо слушается руля.

— Еще трави!

Плот медленно изгибается. Только теперь по-настоящему видно, как он велик и массивен; не верится, что такая громада может поместиться в крутой излучине. Прикинув на глаз, пожевав губами, капитан поворачивается к штурману, спрашивает:

— Ты сходил в Канерове?

— Сходил, — рассеянно отвечает Чирков, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Полные щеки штурмана полыхают румянцем, он то смотрит в бинокль, то бросает его, затем поспешно бежит на корму, возвращается, тревожно оглядываясь на плес.

Наступает самый ответственный момент: через несколько минут плот пойдет мимо протоки, и тогда вступят в действие ее враждебные силы. Сейчас пароход повернут почти на девяносто градусов по отношению к течению Чулыма, он пересекает реку поперек, но это так кажется: сдерживаемый течением и плотом, пароход движется вдоль Чулыма. Круче поворот сделать нельзя.

— Сходил, значит, в Канерове? — переспрашивает капитан. — Протирка есть во флотском магазине? Нечем же машину протирать!

— Обещали дать протирку! — Штурман опять бежит на корму и застывает — передние бревна плота уже поравнялись с протокой, в поредевшем тумане видно, как медленно, сантиметр за сантиметром, плывет черточка плотового флага. Штурман закусывает нижнюю губу, затаивает дыхание и идет к капитану — возле него как-то спокойнее.

Борис Зиновеевич сидит, не шевелясь. Он кажется еще меньше, чем обычно; это, вероятно, потому, что он подобрал под себя ноги, а шею втянул в кашне. Он и бровью не ведет, когда сплавщики трижды машут фонарем — течение протоки подхватило плот. Капитан видит это и без сигнала. Плот медленно скатывается вправо, к зловеще темнеющему яру; скатывается быстрее, чем рассчитывал капитан, — ветер подгоняет его... Теперь судьбу плота решают секунды. Если плот успеет пройти метров сорок — пятьдесят и действие протоки ослабнет — тогда все в порядке, если нет... жди, когда начнут лопаться тросы.

Капитан впирается взглядом в узенькую полоску воды между яром и плотом. Сколько раз во тьме моряковского дома он представлял себе этот момент! И в мыслях полоска сужалась, но не так быстро... Ветер, навальный ветер помогает протоке!.. И с капитаном опять происходит

то, что случалось всегда в минуты опасности: время останавливается. У него до смешного много времени, чтобы командовать и размышлять...

— Чирков, иди сюда! — приглашает капитан и, когда штурман подбегает, командует: — Право руля! — И сам дважды дергает рукоятку.

Освобожденный пароход легко катится вправо. И хотя штурман знает предстоящий маневр капитана, он испуганно охает и закрывает на мгновение глаза. Диким кажется ему решение капитана повернуть пароход направо, туда, куда ветер и течение валят плот. Капитан это делает для того, чтобы воспользоваться пружинистостью учалка, — если один конец плота идет вправо, второй через определенное время должен пойти влево. В этом и заключается идея капитана.

— Вправо, еще вправо! — кричит Борис Зиновеевич Хохлову, который быстро вращает штурвал. — Все!

Под ногами напряженно вздрагивает палуба — машина «Смелого» работает на пределе.

Штурман открывает глаза, искоса смотрит на профиль капитана и уже не может отвести от него глаз. Чирков в этот миг забывает о плоте, о том, что вот-вот может произойти катастрофа, — лицо капитана притягивает его. Он впервые замечает, что у Бориса Зиновеевича чеканный, орлиный профиль.

— Ей-ей! — вдруг пронзительно, по-заячьи кричит Петька Передряга. — Сейчас ударит!

Полоска между яром и плотом сужается. Из-под капитановой шапки выкатывается светлая капелька пота и ползет по лбу. Вот она докатывается до брови и, засветившись, растекается.

Плот рядом с яром... Капитану кажется, что он слышит, как крайние бревна царапают землю... Проходит секунда, другая, третья... «Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать...» — считает капитан. — Двадцать!..»

Осторожно нагнувшись со стула, капитан поднимает с палубы окурок, брошенный штурманом.

— Сколько раз было говорено, окурки на палубу не бросать! — ворчливо говорит он.

— Борис Зиновеевич... Борис Зиновеевич... — бормочет штурман.

— Что — Борис Зиновеевич? — продолжает ворчать капитан. — Плот имеет упругость... Вот и все... Идея верна...

Даже не оглянувшись на плот, капитан делает шаг к люку и вдруг покачивается, ловит руками воздух, но сохранить равновесие не удается — капитан мягко, беззвучно падает на палубу.

С диким криком бросается к нему Валька Чирков, выскакивает из рубки Костя, Петька Передряга начинает по-стариковски трясти головой.

— Товарищ капитан! — кричит Хохлов и хватает Бориса Зиновеевича за руку. Потом, закрыв лицо, опрометью бросается в рубку.

Рука капитана беззвучно падает на палубу.

— Борис Зиновеевич! — жалобно просит подняться капитана Валька Чирков. — Борис Зиновеевич!..

Капитан лежит неподвижно, неловко подвернув ногу.

#### Конец последней главы

Пароход «Козьма Минин» подходит к Томску.

Проплывает лесоперевалочный комбинат Черемошники. Над штабелями леса, лебедками висит прозрачное голубое облако. С железным грохотом болиндеры и бревнотаски сосут бревна из воды, у берега пузатятся баржи, с грохотом летят вниз бревна: скатывают лес.

Черемошники велики — плывут рядом с пароходом целый час.

Затем слева, за отмелью, возникает силуэт элеватора. Рядом с ним — красное здание с высокой трубой: знаменитая на весь Союз карандашная



фабрика. За элеватором — длинная кирпичная стена, выше нее — город. Томск сползает к реке уступами. На самой вершине — деревянная церковь, потонувшая в зелени, а еще выше — водонапорная башня с мачтой телевизионной станции. Вдали виднеется аэродром — бесшумными жуками поднимаются и садятся самолеты, ветер надувает далекую аэродромную «колбасу». Город скрывается в зелени. По правую сторону реки — Тимирязевский леспромхоз. Здесь днем и ночью снуют по рельсам маленькие, точно игрушечные, узкоколейные паровозики.

«Козьма Минин» дает привальный гудок.

Надвигается дебаркадер. Шипит пар, змейками летят на берег привальные концы. «Козьма Минин» приклеивается к причалу.

Толпа пассажиров шумит, спеша и толкаясь, выливается в проходы.

Капитан и боцман Ли выходят последними. Их провожают капитан «Козьмы Минина» и матрос. Толпа уже миновала решетчатые ворота, и они молча, глядя под ноги, проходят в скверик. И так же молча идут навстречу четыре человека в форме речников — начальник районного управления парохозяйства, капитан-наставник Федор Федорович, два диспетчера. Те и другие останавливаются, оглядывают друг друга.

Начальник говорит:

— Здравствуй, Борис! — И протягивает руку.

— Здравствуй!

Шуршат молодые звонкие листья тополей; солнечные тени на песчаных дорожках резки и подвижны, от их торопливого шевеления кружится голова. Калиновый куст осыпали воробьи, чирикают, дерутся, перепархивают с ветки на ветку, и кажется — куст ожил.

В асфальтированном переулке толпятся автомобили. Покачиваясь на рессорах, подлетает голубая «Волга», толчком открывается дверка, выходит высокий беловолосый человек. Он не идет навстречу речникам, а ждет у тротуара, слегка прижмурив от солнца глаза. Губы его замкнуты по краям глубокими, сильными складками. Он медленно, нагнувшись, протягивает руку Борису Зиновьевичу.

— Здравствуйте, товарищ Валов!

— Здравствуйте, Арсентий Васильевич! — отвечает капитан.

Секретарь обкома берет капитана за руку, притягивает к себе, заглядывает в лицо, хмурится и недоброжелательно смотрит на начальника управления.

— Больного человека на реку пустили...

В это время капитан чувствует, как что-то нетерпеливое, испуганное смотрит на него со стороны голубой «Волги», — это ощущение так сильно, что Борис Зиновьевич быстро оборачивается к машине и видит лицо дочери, прильнувшее к стеклу. Оно бледно, испуганно, но то, что держало ее в машине, уже прошло... Бесшумно, молча дочь выскакивает из кабины, бросается к отцу. От родного запаха волос, молодости и солнца у капитана захватывает дух. Шелестят молодые тополя.

— Читайте, товарищ Валов! — Секретарь обкома протягивает радиogramму.

Капитан читает, чуть-чуть шевеля губами:

«Обком партии тчк чичка-юле забуксировали плот двенадцать тысяч пятьсот тчк через два дня проходим вятскую тчк просим обеспечить безаварийную приемку древесины тчк желаем капитану счастья зпт здоровья зпт скорейшего выздоровления тчк ждем капитана тчк штурман Чирков зпт механик Уткин зпт штурвальные Хохлов зпт Рыжий зпт радистка Иванкова тчк».

г. Чита.



---

МАКСИМ ТАНК

★

## ВОСТОК ЗАРЕЙ ПЫЛАЕТ

*Из книги стихов о Китае*

### В ДОМЕ БЫВШИХ КУРСОВ КРЕСТЬЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Повеяло вихрем событий суровых  
От звезд пятикрылых и ржавых патронов,  
От этих листовок, от этих винтовок,  
Огнем прикрывавших коммуну Кантона.

Бессмертием веет и дымом сражений  
От выцветших, в траур одетых портретов,  
От старых знамен, боевых донесений,  
Пробитых в атаке партийных билетов.

Где вы, десять тысяч? Где ты, Чжан Тан-лэй?  
Вы видите солнце, что светит Китаю?  
...На братской могиле стоит мавзолей  
И кровью героев цветы полыхают...

### БЕСЕДКА ЧЖЫЧУНЬЦИНЬ

Беседка пленительная Чжычуньцинь,  
Издревле овечьная весной,  
Раскинула зонтики крыши двойной  
И смотрит в озерную сонную синь.

Приходят влюбленные к ней — поглядеть,  
Как над Куньминху догорает закат.  
Тут старцы, мечтающие помолодеть,  
И стайки резвящихся смуглых ребят.

Я тоже у этих бродил берегов,  
Близ этой беседки, под сенью аллея,  
И вновь постигал, что творенья людей  
Прекрасней стократ, чем творенья богов.

### ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА

Как сказочный дракон, что заблудился в этом  
Подоблачном краю

  вершин, теснин без дна,  
Петляет, огибая полпланеты,  
Великая Китайская стена.

То, дико вздыбясь грозными зубцами,  
 Закроет прочно горный перевал.  
 То каменными скрючится узлами,  
 То скроется в неразберихе скал.

Дракон, дракон!

Ты в горестное время  
 Раскинулся на десять тысяч ли.  
 Стена, стена!

Ты памятник над теми,  
 Что раннюю могилу здесь нашли.

В ночи, когда, мерца в небе чистом,  
 Всплывает месяц, серебристый буй,—  
 Смолкает гул машин и гам туристов,  
 И слышно, как рыдает Мэн Цзян-нуй.

Она скорбит, что дом ее и нива  
 Зачахли с незапамятных времен,  
 Что в опустевшей фанзе сиротливо,  
 Что злобным императором казнен  
 Ее супруг.

Он замурован в этой  
 Глухой стене — за непокорный нрав.  
 Вдова у камня требует ответа:  
 Где Ван Си-лян?

Все муки испытав  
 И на столетье погружившись в горе,  
 Не видит, безутешная, она,  
 Что над землей встают иные зори,  
 Что щедрым счастьем полнится страна.

*Перевел с белорусского Я. Хелемский.*



---

ВЛАДИМИР ЖУКОВ

★

## ВАЛЯ

*Из лирической поэмы*

Посвящается Валентине Гагановой.

Поют в просторном цехе веретена.  
Все примечай и помни каждый шаг.  
И все-таки за ритмом напряженным  
не за себя тревожится душа.  
Не за себя! Не за бригаду даже,  
в полгоря горе — личный неуспех,  
в конце концов ведь кто-нибудь да скажет:  
ну что с того, что нынче лучше всех?  
И ты о том подумала ли, Валя,  
как на полянке неровна трава,  
когда одни былиночки отстали,  
другие пробиваются едва,  
а третьи лишь стараются без толку,  
в земле корнями чуть ли не скрипя.  
И только та, что выгнала метелку,  
довольна и спокойна за себя.

А что б ей по-хозяйски оглядеться!  
Своей соседке листик протянуть,  
помочь ей опереться, обогреться,  
во все глаза на солнышко взглянуть.  
А тут бы спорый дождичек! А тут бы  
чуть-чуть побольше влаги для корней...  
Так то трава ведь. А людские судьбы,  
они куда суровой и сложней.

И в самом деле, велика ли радость,  
что вот опять бригаде вымпел дан,  
а, как назло, соседняя бригада  
едва-едва вытягивает план.  
И уж, конечно, это не от лени,  
не потому, что не по силам гуж,  
а видно, не пришло еще уменье,  
что мастерством зовется. А к тому ж,  
когда тебя ругают год за годом,  
что, дескать, и такой ты и сякой,—  
притерпишься, бывает, как к погоде,  
сам на себя в душе махнув рукой.

А там, глядишь, и помирился с мыслью,  
 что, стало быть, «не тянет», «не везет».  
 А там, глядишь, и в отстающих числишь  
 себя уже привычно круглый год.  
 И, ни к кому себя не примеряя,  
 живешь как бы в подвальном этаже,  
 и словно бы ни ада и ни рая  
 уже твоей не надобно душе...

И коль на сердце муторно, неладно  
 и сам себя поколотить готов,—  
 нырнешь порою в свой подъезд парадный,  
 лазурных не заметив облаков.  
 А если и зацепишь краем глаза,  
 оцепенев, взгрустнешь у косяка,—  
 в конце концов с досадой бросишь фразу:  
 и кто придумал эти облака!  
 Зато когда в настрое подходящем,  
 наверняка подумаешь о том:  
 «Ужели нету кисти настоящей  
 в родном текстильном городе моем?»  
 И, становясь все мягче и добрее,  
 уже готов ты хоть зарю встречать...  
 Как будто с час назад по лотерее  
 ты выиграл рояль иль «Москвича».

\* \* \*

Кому в былую пору сенокоса  
 с духмяной мятой, запахом сенца  
 любовь к земле и тяжким дымным росам  
 передалась в наследство от отца.  
 И человек весь светится любовью  
 и будет жадно и просторно жить.  
 А час придет — попросит в изголовье  
 того сенца немножко положить.  
 Покуда только память не погасла,  
 натруженные руки не свело,  
 все будет видеть и прогон и прясло,  
 что убрело вразвалку за село...

А у других стезя хоть и иная  
 на первый взгляд, а та же в основном:  
 на всю на жизнь зацепка заводская  
 взяла за сердце и осталась в нем.  
 И будь ты в самой славе и почете,  
 перед собой привстань хоть на носки,  
 а внутренне все время подотчетен  
 перед родным заводом — до доски.  
 И где б тебя ни мяло, ни мотало,  
 а на трезвон веселый молотка  
 пусть не гобоем, скажем, не металлом,  
 а всей душой откликнется строка.

Кому по сердцу строгий цех турбинный,  
 кому — на взгорке тихая ветла,  
 а для меня прядильная машина —  
 что швейная по матери мила.

А как она работала умело!  
 Всю смену — в ритме, на ногах, в стреле.  
 А как людей жалела. А как пела...  
 Но нет ее сегодня на земле.  
 По мне прядильный цех, он самый важный.  
 И знаю я, наверно, не со слов,  
 почему она, повышенная влажность  
 и засоренный хлопок тех сортов,  
 что значатся пониженными. Сколько  
 у трёпальщиков с ним забот и зол,  
 куда подгадаешь в «только-только»,  
 чтоб хоть каким-то номером прошел.

\* \* \*

Поют, гудят прядильные машины.  
 Все примечай и помни каждый шаг.  
 Идет своим маршрутом Валентина,  
 за всех, за все тревожится душа.  
 Ну, в самом деле, велика ли радость,  
 что вот опять бригаде вымпел дан,  
 а между тем соседняя бригада  
 лишь от беды и вытянула план.  
 А в целом — арифметика простая —  
 и в полпроцента выигрыша нет.  
 Один поставил, а другой отставил,  
 и ставь опять на место табурет...

Довольно-таки грустная картина —  
 унылое изрядно полотно.  
 И двинула бровями Валентина,  
 в душе приняв решение одно.

\* \* \*

Еще о ней с трибуны не сказали,  
 и в авторучках не промыт бачок,  
 еще в моем Иванове едва ли  
 и слышали про Вышний Волочѣк.  
 Для репортеров нет еще причины  
 строчить в блокнот в пять-шесть карандашей,  
 позабывая, что исток почина  
 не в голом факте, а в работе всей...

И так обидно — пухлый или длинный,  
 а то и вовсе махонький, с вершок,  
 о той работе, трудной и любимой,  
 прочесть с рожденья хиленький стишок.  
 Вот выпишу цитату хоть из друга,  
 как человек он очень неплохой!  
 «Ты проходишь цехом, словно лугом,  
 Все тебе по сердцу, молодой:  
 Пахнет здесь не красками, а югом —  
 Лютиком, фиалкой, резедой...»

Розами, левкоями, жасмином!..  
 Привести б его в печатный цех!

В ноздри так ударит анилином,  
 посильней твоих цветочков всех.  
 Вот бы где пришла к поэту трезвость,  
 истина открылась бы ему:  
 розовая красочка и резвость  
 для поэта вовсе ни к чему.

Шустренький воробушек в природе  
 соловьем не свистнет, хоть и лих...  
 А талант, он «дуриком» приходит,  
 только вот не к каждому... А стих,  
 стих, он должен светлым быть, как совесть:  
 радость — в радость, грустно — так грусти.  
 Обо всем на свете беспокоясь,  
 своего лишь сердца не щади.

\* \* \*

Уже давно рубильник довернули,  
 и, замирая, замолчал привод,—  
 еще пройдут, все проясняясь, шпули  
 один, второй, десятый оборот.  
 Потом умолкнут, словно чаек стая,—  
 снимай свой фартук, косы заплети,  
 вперед нетерпеливых пропуская,  
 по лестнице в столовую лети.

И до чего ж хорош тот путь недлинный  
 в столовую!.. Пусть даже и пешком.  
 — А ты чего же, Валя?.. Валентина?  
 — А я, а мне... Мне, девочки, в партком.  
 Все, все давно продумано. И снова  
 приброшено в уме и так и сяк,  
 в конце концов и правда, что ж такого,  
 коль и ошиблась, если и не так...  
 Поспорим, обмозгуем и обсудим  
 и на своем, коль надо, настоим:  
 на то и сердце выдумано людям,  
 не одному дано и не двоим.  
 Такие ли обходят ледоставы,  
 коль открывают душу, не тая.  
 Чай, не от блажи это, не для славы,  
 не из каприза, а для дела я.  
 Уж очень арифметика простая —  
 и в полпроцента выигрыша нет:  
 один поставил, а другой отставил,  
 и ставь опять на место табурет.  
 А тут бы и подумать руководству,  
 и подтянуть, кто пятится назад.  
 А говорят: «резервы производства»,  
 и многое другое говорят.  
 Пустяк — морковь, и ту на огороде  
 не раз прополешь и польешь не раз...  
 А в общем-то: пусть завтра переводят  
 в соседнюю бригаду. Весь и сказ.

\* \* \*

И вдруг, как солнцем, осветило душу,  
и было вовсе нечего мудрить...  
— Вот молодец! А мы тебя, Валюша,  
как раз об этом думали просить.

Да думали, а вдруг о новом платье  
печется, беспокоится давно...  
Ведь что ни говори, а на зарплате  
хоть временно, а скажется оно.  
А вдруг бы ты сказала: «Нет расчета».  
И дверью — хлоп. А дальше как же быть?..  
Короче говоря, агитработой  
тебя сперва хотели охватить...

И добрый смех, и светлая улыбка,  
и умный взгляд, и снова добрый смех...  
— Вот так и вкралась, стало быть, ошибка.  
Спасибо, что поправила нас всех.

\* \* \*

...В Иванове, в Коломне или Пекше —  
совсем неважно, у каких широт, —  
иной туда все трафит, где полегче,  
подальше от хлопот и от забот.  
Вложить поменьше, а пожить широко,  
при случае слукавить, сплутовать...  
Таких совсем немного. Но в дорогу  
далекую не хочется их брать.  
Как сорняки, что к житу примешались,  
они досадны. Как угар в избе...

Как сделать так, чтоб пальцы загибались  
побольше от себя, а не к себе?

Не каждый свято дорожит тем делом,  
что нам порой доверено сполна, —  
иной — рубахой, той, что ближе к телу,  
хоть и не первой свежести она.

Бывают и такие — вроде тины,  
совсем как тот ремонтник пожилой,  
что в проходной столкнулся с Валентиной:  
— Пройдет и это, дочка... Не впервой!  
Ты думаешь, в других поддержат сменах?  
И не надейся... даже и во сне...

...Ан и ошибся! Состоялся Пленум,  
и зашагал почин по всей стране.  
В том мудрый смысл порыва и примера —  
в работе ли, в стихе, на рубеже.  
Как никогда, светла в народе вера  
в день завтрашний,  
в сегодняшний уже.



\* \* \*

На всем ходу прядильные машины.  
Шумит, гудит, поет прядильный цех...  
— А как дела сегодня, Валентина?..

И через даль я слышу:  
— Лучше всех!

— А голова вдруг не пойдет ли кругом  
от всяких рифм, что брат подкинет наш?..  
А вдруг своим знакомым и подругам  
за невниманьем руку не подашь?..  
Не загордишься?.. Той же будешь в славе?  
Ну что ж, тогда награда не беда...  
А фабрику родную не оставишь?

И через даль я слышу:  
— Никогда!

\* \* \*

Тут и проститься б надо непременно,  
чтоб, помолчав, за что-то взяться вновь...

— Лирической назвал свою поэму,  
а,— скажут мне,— ни слова про любовь!

Я не чурюсь замечаний здравых  
и соглашусь с читателем таким.  
Любовь нужна... Но кто же дал мне право,  
когда поэма с адресом прямым?  
А если снова реплику услышу  
крутую иль наивную вполне,—  
вперед напомним: любят, как и пишут,  
не на народе, а наедине.  
И все ж, чтоб чьи-то стрелы не попали  
не то что в глаз, хотя бы только в бровь:  
уж на слово поверьге, есть у Вали  
и молодость, и слава, и любовь.

г. Иваново.



---

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

## ИЗ СТИХОВ О СЕВЕРЕ

\* \* \*

Суровый Север, пасмурные воды,  
Далекие студеные края,  
Лесозаводы и рыбозаводы —  
В воде кора да рыба чешуя.

Отчетливые Севера приметы:  
Меж валунов катящийся ручей  
И островерхих елей силуэты  
В сиянье белых северных ночей.

К Архангельску от Устья упрямо  
Идет вода, пропахшая сосной,  
И я опять стремлюсь на Север с Юга,  
Как птица перелетная весной.

Меня опять не может не растрогать,  
Не растревожить душу глубоко  
Простор озер — то черных, словно деготь,  
То белых, как парное молоко.

Мне дороги и сутолока порта,  
И рубленное с выдумкой крыльцо,  
И всем ветрам подставленное гордо  
В венке из кос открытое лицо.

### МОЛЕВОЙ СПЛАВ

Вода весенняя большая!..  
Едва окончен ледоход,  
Его как будто продолжая,  
Вниз по теченью лес идет.

Кренясь, покачиваясь ровно,  
Еще не густо, кое-где  
Поодиночке мчатся бревна  
По вешней выпуклой воде.

Им этот путь весна открыла,  
Они летят, сходясь в ряды,  
Порой высывая рыла  
Из бурой вспененной воды.

Им нет уже конца и края,  
 Со всех сторон они сошлись,  
 Бока друг дружке обдирая,  
 На лесобиржи рвутся — вниз!

И сердце бедное не верит,  
 Что, как бы ни был ты хорош,  
 Неделю с берега на берег  
 К любимой ты не попадешь.

А над деревнею под утро  
 Очарованье и покой.  
 Спят избы Севера, и смутно  
 Мерцают окна под стрехой.

Стоят наклонно над водою  
 Водой подмытые стволы.  
 И мчатся бревна чередою  
 Среди рассветной полумглы.

Когда их скатывают в воду,  
 Ввысь поднимая тыщи брызг,  
 Я вспоминаю непогоду,  
 Электропил протяжный визг,  
 В снегу далекую делянку,  
 Весь разворот лесных работ  
 И прокопченную землянку...

Вниз по теченью лес идет!

Собой заполнив эти воды,  
 Проходит северной рекой,  
 Как бы по прихоти природы,  
 Как бы без помощи людской.

## ДВА ЧЕЛОВЕКА

Здесь края, обширные от века,  
 Только этим землям не в пример  
 Населенье — два лишь человека  
 На один квадратный километр.

Посреди безмолвного покоя  
 Не спеша беседуют со мной  
 В маленькой избушке над рекою  
 Молодые оба, муж с женой.

А на полках тонкие пробирки,  
 Баночки с мальками и с икрой,  
 Пестрые таблицы, схемы, бирки,  
 Пахнущие школьною порою.

Мы толкуем запросто за чаем,  
 За вопросом следует ответ:  
 — Как живем? Вот рыбу изучаем.  
 — Скучно ли? Весной, конечно, нет...

Пьет хозяйка медленно из блюда,  
И не понимаю почему,  
Но глаза — глаза ее смеются,  
Нежно улыбаются ему.

Представляю бури и ненастье  
И вот эту дружную семью,  
На земле живущую в согласье.  
Что ж я им вопросы задаю?

От речной сверкающей излуки  
Белый дым клубится по траве.  
Я им жму по очереди руки:  
— Заходите — будете в Москве...

Машут мне, как водится: — Счастливо!..—  
Долго в поле зренья моем  
На краю высокого обрыва  
Над водой стоят они вдвоем.

Лодка. Дом. Бревенчатые стены.  
И, вбирая мира голоса,  
Немудреный веничек антенны  
Словно подметает небеса.

Вот уже исчезла эта вежа.  
Никаких особенных примет...  
Два, зато хороших человека  
На один квадратный километр.

### СОЛОВЬИ

Соблюдая привычки свои  
И природы закон принимая,  
Из далеких земель соловьи  
Прилетели десятого мая.

И в черемухе белой лесной  
Лишь успели на ветках рассестся,  
Затопили щемящей волной  
Нашу землю, и душу, и сердце.

Рвутся трели пернатых певцов,  
Их трепещущий голос чудесен...  
А позднее выводят птенцов  
И смолкают — уже не до песен.

Не до разных пустычных затей.  
Принимайся всерьез за работу!—  
Прокормить надо малых детей  
Да еще обучить их полету,

Защитить от возможных невзгод.  
Надо этому только дивиться,  
Что до августа рядом живет  
Соловей — молчаливая птица.

А затем, покидая сады  
И приречные рощи густые,  
Точно в клювы набрали воды,  
Улетают молчком из России.

Соловьиная доля трудна.  
Мы ж забыли про это терпенье,—  
Помним трели, да ночи без сна,  
Да черемухи белой кипенье,

Помним, как из росистых ветвей,  
Словно вдруг вырываясь из плена,  
Возвратившийся к нам соловей  
Сыплет двадцать четыре колена.

\*.\*.\*

Человек восхищается предками —  
На плоту через море плывет.  
Комаром иссеченный и ветками,  
Сквозь тайгу совершает поход.

Мчит на лыжах ночами студеными,  
Добровольно оставив жильё.  
Над притихшими стадионами,  
Размахнувшись, он мечет копье.

Это вовсе не блажь, не излишество —  
Перед предками все мы в долгу,  
И живет в наших душах мальчишество:  
Я ведь тоже такое смогу!

Надо в жизни испробовать многое,  
Надо камень вручную дробить,  
Чтоб, шагая привычной дорогою,  
И машину и землю любить.



---

---

Л. ПЕРВОМАЙСКИЙ

★

## КАТЕРИНА И ЕЕ НОВЫЙ ДОМ

Рассказ

*А у той у Катерины  
Хата на помосте...*

Т. Шевченко.

**К**атерина Коломийченко была самой отчаянной солдатской вдовой на весь поселок.

Было Катерине за тридцать. Она сажала ранние овощи, держала кур, не отказывалась от мелкой спекуляции — выстаивала в очереди за ситцем, платками, калошами, потом продавала все это втридорога, — да еще получала пенсию за мужа. Тем жила, тем и была известна в поселке.

Чудом уцелевшие хаты поселка да заново отстроенные землянки рассыпались вокруг старого кирпичного завода. Как этот завод уцелел во время ожесточенных боев за укрепрайон, на территории которого он стоял, почему его не разрушили при отступлении немцы — неизвестно. Война почти целиком уничтожила человеческое жилье, а то место, где люди работали, уцелело, чтобы снова сосредоточить вокруг себя интересы и судьбы людей, которым надо трудиться, чтобы жить и чувствовать себя счастливыми.

Катерина с детьми пережила две зимы в землянке, а когда солнце снова повернуло на весну, стала посреди своего небольшого пустого двора, посмотрела на кучу обгорелой глины — все, что осталось от ее белой хаты, — покрутила головой и решила строиться. А когда Катерина что-нибудь решала — ничто уже не могло ее остановить. Она не признавала никаких препятствий, шла напролом и добивалась своего.

Сунув детям по куску хлеба, Катерина повязалась платком и пошла к плотнику Мусию Горбаню, доброму человеку, который соорудил ей землянку из остатков хаты, когда немцы сожгли поселок.

Мусий Горбань был жилистый человек с круглой лысой головой, лицо у него заросло рыжей бородой помелом; ходил он издавна на деревяшке, но это не мешало ему в работе — он и на одной ноге справлялся за двоих.

— Хату я тебе поставлю, — сказал Мусий, попыхивая сигаркой так, что дым шел из всей бороды, словно лицо его было охвачено пламенем, — хату я тебе, голубка, поставлю, да только из чего? Лесу нет, и не спрашивай.

Катерина оглянулась кругом, словно надеялась, что увидит где-нибудь поблизости тот лес, что так ей был нужен. Но напрасно — двор плотника Мусия стоял на песке, был голый и черный, только что из-под снега. Они сидели на старой полусгнившей колоде у саманного хлевушка, в котором бедовал теперь плотник.

Мусий продолжал:

— Я с дорогой душой. Обратное же, ты первая надумала строиться, а я уже четыре года топора в руках не держал, — значит, что? Значит, начи-

наем восстановительный период. А как его начнешь без лесу? Без лесу как без рук...

Он мог бы говорить про это хоть до вечера. Леса в самом деле негде было взять. До войны вокруг поселка шумел старый сосновый бор, да и сам поселок стоял посреди лесных кварталов — тут росли вперемежку и сосна, и дуб, и береза. Лес вырубил немцы, оставили только молодые посадки, которым еще долго надо было расти, чтобы стать строительным материалом. Если б поблизости было что-нибудь годное в дело, Катерина ни перед чем бы не остановилась, за самогон лесники навезли бы ей во двор на две хаты.

— Что ж делать? — белея от досады, прошептала она.

— А ты сходи к председателю — говорили, что солдаткам будет помогать в первую очередь.

Катерина и сама не без оснований считала, что ей как солдатской вдове должны во всем идти навстречу. А в строительстве тем более. Она решительно поднялась. Мусий раскуривал новую сигарку и не смотрел на нее.

— Словом, добывай лес, голубка, а за мной остановки не будет...

Солнце пригревало. По изрезанной колеями дороге бежали ручьи. Под заборами пробивалась первая несмелая травка. Меж набухшим вишенником стояли ободранные, неприветливые хаты. Катерина шла в поселковый Совет, как солдат в атаку, — наклонившись всем телом вперед, упрямо подняв подбородок. Куры и утки испуганно давали ей дорогу. Она не смотрела под ноги — пусть хоть пропасть там, — шагала по лужам, только брызги летели во все стороны. Двери перед ней словно ветром открыло. В поселковом Совете Катерину давно уже знали и без очереди пропустили к председателю, потому что все равно она сама прошла бы.

Катерина с разгона дернула под подбородком концы белого платка и остановилась. Председатель сидел за столом и жевал свои седоватые обкуренные усы. Это был очень спокойный человек — не от природы, а от точного расчета прожить сто лет, потому что если на такой работе да с таким народом все к сердцу принимать, из-за всего волноваться, человека надолго не хватит. Он через стол протянул Катерине руку, мягкую и теплую, как лепешка, и сказал приветливо:

— Садись, рассказывай, какая у тебя беда и чем я тебе помогу.

Председатель знал, что люди, особенно женщины, без горя к нему не идут, и, чем сможет помочь, спрашивал тоже не без расчета — самые отчаянные бабы выходили от него, как от батюшки: до чего ж хороший человек, он и рад душой, да неоткуда взять, нечем помочь — из барабана не выстрелишь!

Катерина с ходу начала кричать про детей, про землянку, про лес, которого негде взять. Председатель жевал-жевал свои усы, потом выдул их изо рта, расправил мокрые хвосты на два конца и, жмурясь, посмотрел на ее высокие круглые плечи.

— Беда твоя общеизвестная. — Он втянул в рот вместе с воздухом прокуренные усы. — Лесу у меня нет, на ладони он не растет, и в районе нет. Правда, в области обещают дать, только обещанного три года ждут... А?

Катерина так глянула на председателя, что усы у него сразу же с мокрым фырканьем выпрыгнули изо рта.

— Выходит, мне с детьми снова в земле зимовать?

— А разве я тебе все сказал? Я тебе еще не все сказал.

— Не хочу и слушать, — огрызнулась Катерина.

— А ты послушай, может быть, председатель что умное скажет.

— Ну да! Нет лесу — это я уже слышала...

— На что тебе лес? Стройся из кирпича. Первое, что ты вдова, а второе, что характер у тебя боевой. Тебе обязательно надо из кирпича строиться.

Нельзя было понять, смеется он или говорит серьезно.

Катерина даже зашипела на председателя, как злая гусыня:

— А где ж я его возьму, этот кирпич? Кирпич! Без лесу все равно не обойтись — и на стропила, и на окна, и на двери...

— Твоя правда, — кротко согласился председатель, — но ты бери пока что кирпич... Москва тоже не за один день строилась. Бери кирпич. Правда, то не кирпич, а половняк, но другого нам не дают. А пока выведешь коробку, как раз разживемся лесом на балки, на стропила и на столярку... Согласна?

Когда председатель советует, надо прислушаться, да и мысль о том, что у нее будет кирпичный дом, а не мазаная хата, прямо-таки сразу захватила Катерину. Председатель написал записку на кирпичный завод, и она, снова дернув концы платка, повернулась к двери.

— Ты ж хоть спасибо скажи! — крикнул председатель, когда Катерина взялась за щеколду.

Катерина хлопнула дверь, не отозвавшись. Мыслью она была уже на кирпичном заводе, тут было не до спасибо. Надо ж найти машины, договориться с шоферами, а чем платить? Но уж если из кирпича, так из кирпича!

Крутые плечи Катерины, ее белый платок, завязанный двумя концами под подбородком, и беспокойные острые глаза чем-то все-таки задели председателя поселкового Совета. Он долго крутил ручку телефона, дул сквозь мокрые усы в трубку, а когда дозвонился на завод, закричал, озираясь, словно боялся, что его кто-то подслушивает:

— Это ты, Хоменко? Это я — Макогон. Там к тебе придет Катерина Коломийченко, ты ее знаешь? Ну, не знаешь, так узнаешь... Надо помочь половняком. Как у тебя план? Ну давай, выполняй... Так ты сможешь? Вдова, знаешь, с двумя детьми... Будь здоров, Хоменко!

Не прошло и недели, а на разгороженном подворье Катерины уже лежали кучи половняка. Она вихрем летала по поселку, останавливала шоферов, уговаривала, ругалась с ними, платила деньгами, самогоном, улыбками, а одного — рябого угрюмого парня, что ездил на самосвале, — даже поцеловала в пересохшие губы: он сделал две ездки, загружая свой самосвал на совесть. Прикинув на глаз, что половняка ей хватит не только на хату, а и на хлевушек для будущей коровы, Катерина снова отправилась к Мусию. Он, как всегда, курил сигарку, густой дым шел из его рыжей бороды. Выслушав Катерину, плотник старательно загасил сигарку о свою деревяшку.

— Ты что, сдурела? Я ж плотник! Обратное же, это не моя квалификация, чтоб ты знала... Где ты видела, чтоб плотники стены клали?

Он аж кровью налился от досады на сумасшедшую бабу, что требовала от него, прирожденного плотника, который имел дело с пахучей сосной, острыми щепками и желтой смолистой стружкой, чтоб он превратился в измазанного вонючей известью и цементом каменщика.

— Не хочешь? — пошла в атаку на него Катерина. — Тебе лучше без работы сидеть, чем помочь вдове? Сам же говорил: нет лесу, иди к председателю...

— А цементу он тебе дал? А известки? Слюной буду клеить?

— На глине положишь, не развалится.

— Хундамент на глине? — во все горло закричал Мусий и кинулся прочь от Катерины на своей деревяшке, чтоб не ударить ее чем попало по дурной бабьей голове.

— А без фундамента нельзя? — побежала за ним Катерина.

Мусий остановился и только развел руками.



— Это ты можешь без хундамента жить, трясогузка чертова, что ты ко мне привязалась, откуда ты взялась на мою голову? Хата без хундамента — все одно что ахтомобиль без колес! Тьфу! Ты, может, захочешь, чтоб я и печь тебе сложил?

Катерина взяла его за руку и повела под саманный хлевушек, где обычно проходили их переговоры.

— Цементу на фундамент я найду, — сказала она решительно, — на обед буду варить борща до отвала, по субботам на шабаш пол-литра.

Последним аргументом были острые глаза Катерины — она проколола ими насквозь Мусия, он плюнул и согласился, чувствуя нестерпимую тоску во всем теле, словно ему приходилось на виселицу идти, а не хату строить с этой остроглазой вдовой.

Посреди недели Катерина оделась, как на праздник, повязалась цветастым платком, надела модельные туфли на босу ногу, положила пол-литра и закуску в кошелку, прикрыла свернутым мешком и отправилась в лесок, через который шла дорога из поселка к городу. Машины шли по дороге непрерывно, многие шоферы знали ее, многих знала она.

— Садись, подвезу! — кричали ей шоферы, сбавляя газ.

— Не тороплюсь, — отвечала она, делая вид, что идет в город.

Рябой угрюмый шофер Миша ехал навстречу на своем самосвале. Он резко затормозил, увидев на обочине Катерину: на вечно пересохших губах его осталось воспоминание о недавнем поцелуе вдовы.

— Что везешь? — крикнула Катерина, не сводя глаз с открытого брезента самосвала.

— Зубной порошок, — ответил шофер, обнимая ее взглядом.

Она улыбнулась и, ступив на подножку самосвала, сунула цветастую голову в кабину шофера. Он даже отшатнулся — так бело заблестели ее зубы, так заискрились перед ним ее бесстыдные глаза, таким жаром дохнула на него Катерина. Что она там шептала ему в кабине, сказать трудно, но вскоре шофер Миша выключил мотор, положил ключ в карман, и они направились в лес. Машина стояла на обочине, а они сидели за кустами на траве и завтракали.

— Я на работе никогда не пью, — говорил шофер, наклоня бутылку. — Знаешь, какая наша работа? Автоинспектор скажет: дохни — и сразу заберет права на шесть месяцев... Что тогда шоферу делать? Нет, я за баранкой никогда не пью...

— Да разве тебя чарка возьмет? — пела Катерина. — Да и где тот автоинспектор?

— Когда не пьешь, его и близко нет, — отпив еще немного из бутылки, сказал шофер, — а как только выпьешь, словно из-под земли появляется.

— Плюнь ты, серденько, на автоинспектора! — Катерина махнула рукой. — Съешь лучше этой колбаски, а то и вправду пьяный будешь.

— Я? — Миша стукнул себя кулаком в грудь. — А кто меня видел пьяным?

Он потянулся губами к Катерине, она вскочила и начала быстро складывать недоеденную закуску в кошелку, позволяя его рукам шарить по натянутой на круглых плечах кофте.

— Ой, какие ж бешеные бывают шоферы, — сверкала она на него глазами из-под цветастого платка, — ведь белый же день на дворе...

В понедельник утром вся улица видела, как на разгороженном подворье Катерины рыжебородый плотник Мусий Горбань размечал фундамент под две комнаты с кухней, кладовой и сенцами. Катерина копала канаву, дети дробили половняк, Мусий заливал в канавах щебенку раствором цемента с песком. Он кипел от злости, но от слова своего не отступался. Катерина всех умела запрячь в свой воз. Она вихрем носилась по поселку, возила на тачке глину, месила ее босыми полными ногами.

Фундамент выстоялся, и, повязавшись фартуками из мешковины, они начали класть стены. Дети подносили дырчатый недожженный половняк, Катерина чуть не с руками отрывала его у них. Дом уже стоял готовый в ее воображении. Она спешила воплотить свою мечту в четыре стены с дверями и окнами, чтобы забыть навсегда про сырую землянку, в которой приходилось ютиться с детьми целых две зимы.

Рыжебородый Мусий хоть и был плотником, но набивался всякой работы и, как каждый толковый мастер, смотрел на работу других мастеров недаром.

— Как кладешь? — кричал он, прыгая, как журавль, на своей деревяшке. — Перевязывай, ведь развалится...

Катерина перевязывала; больше всего мороки было с четвертями для дверей и окон — класть из половняка четверти было тяжело, — но и с этим они справились.

— Ничего не скажешь, — крутил головой Мусий, — беда хоть кого научит на скрипке играть... А я и не думал, что ты такой молодец, Катерина.

— Я тебя переквалифицирую, будешь и борщи варить, — сверкала она на него острыми глазами и кричала на детей: — Ванюшка! Сонька! Давайте кирпич! Вы что, задремали? Спать в теплой хате будете, шевелитесь!

И Ванюшка с Сонькой, запыхавшись, подносили половняк, сами охваченные той азартной радостью и упорством, которыми их мамка побеждала всех и всех заставляла вращаться вокруг себя.

Когда вывели стены под окна, пришел посмотреть на работу Макогон. Он стал посреди двора, возле кучи половняка, заложив за спину свои пухлые, ватные руки. Мусий молча клал половняк, длинная сигарка тлела у него в бороде, чудом ее не поджигая.

— Здравствуйте, товарищ Макогон! — весело крикнула Катерина, мешая белыми полными ногами зеленовато-серую глину. Она подоткнула юбку, подол сорочки прилипал к ее крепким коленям, круглые плечи выпирали из-под старой кофточки и тряслись от отчаянного смеха. — Спасибо, дай боже здоровья за хороший совет и за половнячок! Про лес на столярку не забыли?

Старый Макогон больше думал не про лес на столярку, а про круглые плечи Катерины. Он крутил головой, словно ему воротник был тесен.

— С тобой забудешь, — пробормотал он в мокрые усы так, что никто не услышал, кашлянул и сказал громко: — За твою инициативу, что ты первая начала строиться, добудем тебе лес. Да ты такая, что и сама из души вынешь.

Ванюшка и Сонька, забыв про половняк, остекленевшими от любопытства глазами смотрели на толстого, тонконового дядю, который жевал собственные усы.

— Ну, вы уж и скажете! — запела Катерина, и ее белые ноги еще веселее затанцевали в зеленоватой глине.

Макогон, не сказав больше ни слова, отправился за свой стол в поселковый Совет.

«Надумал с тем половняком на свою голову, — рассуждал он по дороге, чувствуя на спине взгляд, которым обжег его на прощание переквалифицированный Мусий. — Хоменко жалуется, что весь кирпичный завод разнесут, — давай и давай! А Катерина молодец... Если б я не на такой должности...»

В тот же вечер, когда Мусий, поев борща, ушел в свой хлевушек, а Ванюшка и Сонька заснули на топчане под вишней, у двора остановился самосвал. Катерина сидела у землянки, сложив утомленные руки на коленях, тело у нее прямо гудело — она еще и картошку на огороде прополола... Угрюмый шофер Миша, неясно белея лицом в сумерках, подо-

шел и молча сел на траву рядом с ней. Он немного выпил для смелости, забыв про автоинспектора, и в голове у него путалось.

— Чего тебя принесло? — утомленно прошептала Катерина.

— Будто ты не знаешь... — хрипло засмеялся Миша.

— А откуда мне знать?

Катерина вспыхнула от злости, голос ее заскрипел, как напильник по ржавому железу.

— А из лесу! — не задумываясь, ответил Миша и сделал неосторожное движение рукой.

— Из лесу? — Катерина вскочила на ноги и схватила Мишу за грудки. — А что было в лесу?

Соседи, вися на заборах, слышали, как она кричала на весь поселок:

— Забыл, как я тебя в лесу по рябой морде съездила? Цемент? Тьфу на твой цемент, хоть подавись им! Я краденого не покупаю! Думаешь, как я вдова с малыми детьми да в землянке живу... Голова у тебя или канистра под кепкой?

— Да что ты, Катерина? Да разве ж я... — Шофер Миша прижал ладони к разорванной гимнастерке. — Да люди ж кругом...

— А-а, людей тебе совестно? — закричала еще сильнее Катерина. — А бога ты не боишься? Вот тебе, вот тебе... чтоб все слышали, как ты к Катерине ночью приезжал!

И тут дважды так хлопнуло, что соседи на заборах даже головы пригнули. Ванюшка и Сонька, протирая кулаками глаза, стояли в одних рубашонках на топчане под вишней и видели, как мать хватала куски половняка и швыряла их вслед шоферу, который зигзагами бежал через двор к машине. Как назло, мотор не заводился, половняк гремел о железный короб самосвала, потом фыркнуло, заревело — и машина исчезла в конце улицы.

Председатель поселкового Совета Макогон, одинокий человек, похоронивший свою жену где-то за Бузулуком во время эвакуации, проснулся утром с твердым намерением под вечер еще раз пойти и посмотреть, как подвигается строительство у Катерины, но в поселковом Совете звоном звенело про вечернее приключение шофера Миши. Макогон сел за стол, придвинул к себе чернильницу-непроливайку и, долго болтая в ней ручкой, стал вспоминать и записывать фамилии всех, кто обращался к нему за половняком, за лесом, за толем и шифером на крышу. Уже полпоселка строилось — так подействовал на всех почин этой чертовой Катерины. Тут было уже не до вечерних прогулок, надо было думать про авторитет, который приобрести трудно, а разбазарить кто угодно поможет.

— Катерина, — хмуро сказал Мусий в то же утро, повязываясь фартуком из мешковины, — что это за артиллерия бухала ночью, не знаешь?

Катерина на минутку прижалась плечом к его груди. Он начинал ей нравиться, хоть от бороды его и несло дымом на весь двор... Да и дети стали к нему привыкать. Если б только не эта деревяшка... А так он и плотник хороший, а теперь еще и на каменщика квалифицируется...

— А то гром гремел, — засмеялась она уже с другого конца двора. — Ты по ночам спи, Мусий, не прислушивайся...

И работа у них закипела, как всегда. Была середина лета. Еще ни доски, ни горбыля не лежало на подворье, а Катерина решила зимовать в новой хате. Она ходила «по всем начальствам», как говорил Мусий, но возвращалась с пустыми руками: лес шел в колхозы, лес прибывал на строительство школы, лес возили в город — он тоже стоял сожженный, — а их поселку не занаряживали ни щепки. Мечта Катерины была под угрозой. Уже вывели стены до половины окон, уже пора было думать про коробки для окон, она выцганила у какого-то шофера рулон толя, чтоб обкладывать их, — беда только, что нечего было обкладывать.

Мусий ходил хмурый, его звали на работу то туда, то сюда, а он связался с этой проклятой бабой, словно присох у ее разгороженного двора, да если б еще по плотницкому делу, а то черт-те что, ходит в фартуке людям на посмешище... Да уже и половняк вот-вот кончится, и даст ли Хоменко достроиться, теперь этот половняк у него из рук рвут...

В полдень они сидели у землянки и молча ели хлеб с огурцами. Вдруг Катерина подняла голову: по улице шли машины с прицепами, на машинах лежал краснокорый сосновый кругляк, свежие доски, цветом похожие на человеческое теплое тело. Смолистый дух перехватил Катерине дыхание, она вскочила и побежала туда, где были когда-то ворота ее двора, — теперь там стоял один сгнивший столбик.

— Куда лес везете? — крикнула она шоферу, приложив руку к рту.

— На кирпичный завод! — ответил шофер, высунулся из кабины и погрозил ей кулаком: все шоферы держали сторону угрюмого Миши, к ним теперь Катерине не подступиться.

Она вернулась к землянке, глянула на Мусия — у того глаза прямо горели, он держал в бороде сигарку и никак не мог ухватить спичку в коробке, так разволновал его давно не виданный строительный лес.

— Нанимайся на кирпичный завод, — тихо сказала Катерина, поняв, что все равно ей не удержать Мусия у своего половняка, — по выходным достроим до осени, да, может, когда после работы зайдешь... Миска борща для тебя всегда найдется.

Мусий наконец ухватил спичку и раскурил сигарку; он не ответил ничего, но на другое утро прошел мимо двора раным-рано, издали махнув Катерине рукой.

Двор словно замер. Катерина копалась на огороде, гремела котелками и мисками у землянки, глина засохла, у половняка играли Ванюшка и Сонька — они подпоясались тряпками и тоже что-то строили. Катерина не обращала на них внимания.

Неделю она прожила, стиснув зубы. Каждое утро Мусий проходил мимо ее двора, ковыряя деревяшкой песок. Люди говорили, что его назначили бригадиром плотников. На кирпичном заводе начали строить общежитие для рабочих, работали все больше инвалиды, как и Мусий, — кто без ноги, кто без пальцев. Катерина молчала, ждала, что Мусий придет в выходной. Два выходных прошло — его все не было. В понедельник она повязалась будничным платком и пошла мимо пруда, мимо глинища на кирпичный завод. В пруду плескались дети, среди них были и ее Ванюшка с Сонькой. Она нашла их взглядом — странное дело, даже в воде лица у детей были неумытые, мокрые волосы их торчали во все стороны.

— Вы мне только утоните, — крикнула Катерина, — я вам головы поотрываю!

Сонька и Ванюшка захлопали руками и ногами по воде, а она медленно пошла дальше, словно то и не ее были дети, словно не для них она надумала строиться, а теперь терпит такую муку.

Мусий сидел верхом на стене, что-то подтесывал и прибивал, повернув топор вниз обухом. Здание общежития было длинное, на одном конце еще клали балки, а на другом уже поднимали стропила, они вставляли белыми ребрами, облака словно проплывали сквозь них, если смотреть снизу. Стучали топоры, щепки летели на землю, пахло сосной, весело звучал голос Мусия:

— Перекур в обед, работа не ждет, инвалидная команда!

А сколько леса лежало тут! У Катерины голова кругом пошла. Хватило бы на десять, на двадцать таких домов, как у нее. В дощатом сарае делали столярку, сбивали коробки, сразу же навешивали в них ра-

мы: окна будут большие, ей бы такие тоже пригодились,— примерилась глазом Катерина.

— Бог в помощь! — крикнула она, задирая голову вверх, к Мусию.

— Самы справимся, — весело ответил он, наклоняясь вниз рыжей бородой, — видишь, сколько нас тут, орлов?

«Орлы» еще яростнее застучали топорами.

Катерина просидела на досках до вечера, а все-таки дождалась, пока бригада начала расходиться. Она взяла кошелку Мусия с инструментом и пустой бутылкой из-под молока и пошла рядом с ним, словно и в самом деле что-то связывало их, кроме той недостроенной хаты. Шли знакомой дорогой, мимо глиняного карьера, на котором замолчал, нагретый за день, экскаватор. На пруду уже не было детей. Солнце окрасило воду бледно-голубыми и оранжевыми полосами, рыба всплескивалась у берега. Черно-белая корова с обломанными рогами стояла в воде и всасывала пруд в мокрые розовые губы.

— Чего приходила? — словно нехотя спросил Мусий, с трудом, шаг за шагом вытягивая деревяшку из песка.

— Соскучилась, — одним словом ответила Катерина: она все время быстро семенила рядом с Мусием, стараясь заглянуть ему в лицо, а теперь вдруг отвернулась.

Мусий помолчал.

— Обратное же, это может быть, — глухо пробормотал он, — только это не твой характер, не за тем приходила.

— Мусичку, серденько! — Катерина стала посредине дороги и подняла кошелку с инструментом к груди. — Да у вас же тут лесу-лесу, неужели ж таки нельзя ни одной доски...

— Ты не забывай, Катерина, что я на государственной работе! — словно топором отрубил Мусий и, вздохнув, добавил: — Да и обратно ж, я не шофер Миша...

— Да будь он проклят, тот шофер и тот Миша! — загремела во весь голос Катерина, даже черно-белая корова подняла голову от воды. — Неужели ж ты думаешь про того рябого разбойника? Да пускай я до дому не дойду, да пускай я деток своих не увижу, если ты что думаешь...

— Не хочу и думать, — снова рубанул Мусий, взял у нее из рук кошелку и пошел прочь, оставляя в песке круглые глубокие следы от деревяшки.

Катерина хотела остановить его, но поняла, что напрасно, — ничего не поможет, она навеки пропала в его глазах. Не такой он человек, чтоб его можно было подбить на преступление, хоть и небольшое, — дело не в том, какое это преступление, а в том, что Мусий честный бригадир, хоть, наверно, у него в бригаде есть разные люди... Нет, не надо ни на кого полагаться. Черт с ними со всеми, она и сама управится, пускай Мусий думает про нее что угодно.

Раньше вокруг кирпичного завода был высокий каменный забор. Его разобрали во время войны на разные неотложные надобности, — может, мостили дорогу, может, что другое делали, — и теперь кирпичный завод был огорожен ржавой проволокой. Темной сентябрьской ночью Катерина пролезла под эту проволоку. Одевалась она во все темное, платком тоже повязалась темным и замотала им лицо, чтоб не белело в темноте. Сторожа она не боялась — по ночам у строительства, положив рядом дробовик, дремал старый пьянчужка Храмченко: для него Катерина прихватила на всякий случай четвертинку водки, — да он и не услышит. Единственная электрическая лампочка горела внутри недостроенного общежития. Стропила, освещенные снизу, казались ярко-желтыми, черное небо меж ними поблескивало, словно пересыпанное антрацитом. Кругом не слышно было ни звука, ни шелеста. Катерина

стояла среди штабелей леса, ноги ее тонули в опилках, она не знала, что брать — кругляк? шалевку? рейки?

Из небольшой кучи опилок торчал конец толстой доски. Катерина потянула доску к себе. Доска была недлинная, сухая, легкая. Она прошуршала, выползая из опилок, Катерина положила ее на плечо и уже спокойно пошла обратно. Ну, вот и хорошо обошлось, сегодня одна доска, завтра — другая, а плотника она всегда найдет, думала Катерина, ища глазами проволочную ограду, под которой ей нужно было пролезть. Свет теперь был у нее за спиной, впереди стеной колыхалась темнота. Ага, немного правее, а теперь между этими ящиками... Ох, нет, кажется, никаких ящиков не было! Куда же теперь? Она кинулась в другую сторону, доска врезалась ей в плечо, но кидать было жаль... Какая-то стена выросла перед Катериной, выдвинутая вперед доска стукнула в раму темного окна, звякнуло и посыпалось стекло... Похолодев от ужаса, Катерина присела и накрылась доской. За разбитым стеклом что-то зашуршало, кто-то не спеша вышел и, присвечивая фонариком, пошел вдоль стены. Полоса света поплыла желтым жидким маслом по доске, из-под которой испуганно выглядывала Катерина.

Директор кирпичного завода Хоменко стоял перед нею, она сразу узнала его: горло у высокого худого Хоменко было, как всегда, забинтовано марлей. Директор покашлял тихонько, мигнул зачем-то фонариком и тихо сказал:

— Вылезай, не спрячешься...

Катерина послушно поднялась и поставила доску к ноге, как солдат винтовку. Облитая светом электрического фонарика, она стояла перед Хоменко, чувствуя себя раздетой донага, униженной, разбитой, и все ниже склоняла голову.

— Строишься? — снова покашлял Хоменко. — Пришла лесу одолжить?

В голосе его чувствовалась усталость бессонной ночи, нельзя было понять, что он сделает с ней, — Хоменко не то издевался, не то сочувствовал, он даже укоризненно покачал головой. Одно было ясно — директор не спешил, что-то тяжело и устало обдумывая.

Катерина вспыхнула.

— Ну, зовите уж кого-нибудь, сторожа, что ли...

— Успеется... Клади доску.

Катерина осторожно прислонила доску к стене.

— Идем.

Он шел рядом с Катериной, светя под ноги фонариком, и молчал. То, что Хоменко молчал, больше всего пугало Катерину. Что он думает, куда он ее ведет? Хорошо, хоть ночь — никто в поселке не будет знать, что Катерину Коломийченко поймали с поличным, что сам Хоменко сдал ее поселковому милиционеру.

Издали дышали жаром печи кирпичного завода. Директор погасил фонарик.

— Твое счастье, что жена с детьми поехала к сестре в город, — сказал Хоменко неожиданно. — И детей напугала бы, и жена бы крик подняла... У тебя дети есть?

— Двое, — шепотом ответила Катерина.

Она и не заметила, как Хоменко вывел ее за ворота. Глинище дохнуло ей в лицо тяжелой ночной влагой. В пруду что-то тихо плескалось и вздыхало. Ночь была облачная — ни одна звездочка не дрожала на темной поверхности воды.

— Куда вы меня ведете?

Катерина остановилась. Ей надо знать, хоть она и знала, услышать, а там... Пруд глубокий, обрыв почти у самого берега, он образовался на месте старого глиняного карьера. Хоменко и не опомнится, как она уже

будет на дне, спрячет свой позор — перед детьми, про которых он на-помнил ей, перед людьми... Но что ей те люди! Из-за людей, которые поговорят про нее два дня да и забудут, бросить детей сиротами на свете? Что б ни ждало ее, а этого она не сделает.

— Куда вы меня ведете? — снова, замирая от ужаса, пробормотала Катерина.

— Домой, Катерина.— Хоменко остановился и тронул ее в темноте за плечо.

Этого она не ждала. Слова Хоменко ошеломили, удивили и разозлили ее скрытым в них сочувствием и добротой.

— Ведите меня в милицию! — закричала Катерина, срывая руку Хоменко со своего плеча.— Поймали, ну и ведите, куда следует!

— Это легче легкого... Не кричи.

Он снова положил ей руку на плечо и повел по темной дороге, словно поняв, что делается у нее в душе. Когда пруд остался уже далеко позади, когда меж деревьями за черными заборами забелели хаты поселка, Хоменко остановился.

— Чем вот так по-дурному жить, приходи днем и становись на работу... Будешь хорошо работать, поможем тебе построиться, от тебя зависит...

Не ожидая ответа, Хоменко качнулся в сторону, сделал один шаг и слился с темнотой ночи.

Катерина села на дорогу и заплакала, ощупывая вокруг себя песок. Слезы душили ее, она поднялась и, громко всхлипывая, побрела домой. Ванюшка и Сонька спали в землянке. Катерина сидела над ними до рассвета, может впервые задумавшись в эту ночь над своей жизнью и над их судьбой. Мужа она боялась вспоминать: суровый, неразговорчивый, он чем-то был неуловимо схож с Хоменко. Он мог бы вот так же с нею говорить, как говорил директор кирпичного завода, все понимая и, может быть, именно поэтому с безжалостной откровенностью касаясь самых больных ран ее совести.

Она не оправдывалась перед ним, потому что не чувствовала за собой вины; все, что она делала, делалось не из прихоти, не с жиру, как выражалась Катерина, а по необходимости. Не могла же она допустить, чтоб дети третью зиму сидели в землянке! Надо как можно скорее строиться. Она не могла ждать, потому и пошла на эту несчастную кражу... Но людям все равно, что толкнуло ее ночью под ржавую проволоку, люди знают только, что она утащила доску, что это преступление, за которое наказывают.

Да нет, люди ничего не знают, никто не видел. Хоменко сам вывел ее за ворота. Вот это-то и хуже всего — люди не знают, а Хоменко знает, есть свидетель ее падения, свидетель, который все понимает, но не прощает, хоть и спасает от наказания...

Говорят, что он безнадежно болен, потому у него перевязано горло, а он не знает про свою смертельную болезнь, все прячут это от него — и доктора, и жена, и друзья. А может, он знает, только делает вид, чтоб не перекладывать свою боль на плечи других, может, потому он и спит одетый в темном директорском домике, около полуразрушенного завода, который должен во что бы то ни стало обжигать кирпич — день ото дня все больше, потому что все кругом лежит в развалинах: и города, и деревни, и их поселок...

Есть люди, которые притворяются добрыми, а он и вправду добрый, хоть и суровый,— это не мешает одно другому, она знает, таким был и ее муж Иван Коломийченко. Он работал трактористом на торфоразработках, за ним она была как за каменной стеной — добротой своей и суровостью он оберегал ее от поступков, за которые могло быть стыдно, даже если про них никто и не узнает.

Проснулись Ванюшка и Сонька. Пока дети, брызгая друг в друга водой, умывались у землянки, Катерина нарезала помидоров, полила постным маслом, посолила серой непросеянной солью; дети позавтракали, по куску хлеба с тонкими кусочками сала и кружочками лука она завернула в газету, чтобы взяли с собой.

Отправила их в школу и долго стояла у столбика на месте бывших ворот, глядела, как дети идут по улице, загребая ногами песок и толкая друг друга локтями.

Ванюшка, годом старше сестры, приземистый, широкий в плечах, лицом был похож на мать. Сонька тянулась вверх, давно переросла его и, может, из-за своего высокого роста и тоненьких ножек казалась слабенькой. Ванюшка с добродушным превосходством относился к сестре, похожей на отца, которого он хорошо помнил.

Катерина любила своих детей.

Мысль о том, что вскоре польют холодные осенние дожди, а там и снег упадет на крышу их землянки, снова резанула ей сердце. Нет, она выведет детей из этого погреба! Если Хоменко поможет ей, то хорошо, а если нет... Катерина не додумала до конца и, так и не зная, что будет делать, если Хоменко не поможет ей построиться, наскоро повязалась платком, подперла ухватом двери землянки и отправилась на кирпичный завод.

В понедельник, ранним утром, еще в полутьме, Мусий-Горбань шел на работу, как всегда, мимо Катеринино двора. Ему и жаль было отчаянную вдову, и привык он уже к ней, и стыдно ему было, что не довел до конца начатой работы. Он отворачивался, чтобы не видеть недостроенной коробки, которую они вдвоем лепили из половняка на глине... Дожди пойдут — размоют, развалят кое-как слепленные стены. Надо было бы хоть прикрыть их чем от дождя... А где время возьмешь? Он же не гуляет, такая гонка с этим общежитием, до октябрьских праздников нужно и двери навесить и полы настелить, а работы еще невпоровот!

Мусий угрюмо ускорил шаги, но, как назло, деревяшка утопала в песке, он рвал ее изо всех сил и кидал вперед, прочерчивая полукруг в воздухе, и вдруг услышал за собой голос:

— Подожди, Мусий, пойдем вместе!

Катерина бежала к нему от землянки, в темно-сером ватнике, в заплатанных на коленях мужниных штанах, закутанная серым вязаным платком. Брезентовые рукавицы, заткнутые за тонкий ремень, которым она подпоясала ватник, казались большими переломанными ладонями. От ее одежды пахло жженой глиной, она несла в узелке харчи. Пристроившись около здоровой ноги Мусия и заглядывая ему в глаза, она семенила рядом с ним и быстро говорила:

— Важничаешь? Я и не знала, что ты такой гордый! Бригадир.. Погоди, может, и я еще буду бригадиром.

Плотник бросил на нее быстрый взгляд, словно соображая, могла ли бы она стать бригадиром.

«Могла бы,— подумал он,— она все могла бы, если б ее поставить на дорогу»,— и сказал вслух:

— У печей работаешь?

— У печей,— отозвалась Катерина, не зная его мыслей.— Хорошо, что не лето,— словно в аду стоишь...

— Зимой не лучше, с одного боку печет, с другого — морозит.

— Ничего, не простужусь — видишь, как я оделась?

Она хлопнула себя ладонями по бедрам и засмеялась деланным смехом. Мусий неохотно глянул на ее фигуру, изуродованную непривычной одеждой, и уставился в землю.

Так и дошли они до завода молча, не проронив больше ни слова.



Что думал хмурый Мусий, того нельзя было распознать по его заросшему рыжей бородой лицу, а она даже голову втянула в плечи, ожидая той минуты, когда он первый обмолвится словечком. За проходной им надо было идти в разные стороны. Плотник остановился, переложил из руки в руку кошелку с инструментом и выдохнул из бороды:

— Может, ты уже раздумала строиться?

Катерина вспыхнула от радости. Она бросила ему руку на плечо, не обращая внимания на рабочих, которые спешили через проходную.

— С тобою достроилась бы, а одна...

Острый взгляд, как ножом, полоснул Мусия по лицу, соскользнул, запутался в бороде, уколол в грудь — и она уже побежала за толпой женщин, что в таких же ватниках и платках, с брезентовыми рукавицами за поясом спешили к печам.

Катерина делала свою работу, как каждый день, и, как каждый день, мысли ее были не тут, у печей, вагонеток и кирпичей, а в поселке, на разгороженном подворье, где стояла недостроенная хата. Собственно, если б не та недостроенная хата да не тот несчастный случай с доской, никакой силой никто не заставил бы Катерину жариться тут и мерзнуть в то время, когда можно жить легче и удобнее и чувствовать себя счастливой!.. Иногда среди работы ей хотелось сбросить с себя всю эту пропахшую глиной страхолюдную одежду, которую она напялила на себя, сунуть ноги в модельные туфли, почувствовать на теле легкое платье и увидеть себя на базаре, где можно молоть языком сколько угодно и о чем угодно, или же в городе, в очереди у мануфактурного магазина, где деньги так весело и легко плывут в руки, что даже жутко делается... Эта не страшная, а даже приятная жуть так глубоко сидела в душе Катерины, такими голосами иногда говорила с ней, что она даже жмурилась от сладкого искушения бросить все и бежать вдгонку за вчерашней своей жизнью. Но бежать нельзя было — на дороге лежала доска, и, хоть никто, кроме Хоменко, не знал про доску, память о ней, словно огнем, жгла Катерину.

Катерина не видела Хоменко с той ночи ни разу, и на работу ее взяли без него, хоть, наверное, не без его ведома. Но она чувствовала на себе взгляд Хоменко, он словно все время стоял где-то совсем близко и следил за каждым ее шагом.

Чувствовать на себе незримый взгляд Хоменко было куда страшнее, чем дрожать перед милиционером в очереди у мануфактурного магазина.

Не то чтоб она так уж боялась этого исхудалого человека с перевязанным горлом, нет, об этом и речи не могло быть, — это было гораздо более сложное чувство, в которое входил и страх, что узнают про доску, и благодарность Хоменко за то, что он молчит, и женская жалость, жалость сильной молодой женщины к усталому и, должно быть, очень несчастливому человеку. Был тут и жгучий стыд, особенно когда Катерина вспоминала, как сидела, прикрывшись доской, и как свет карманного фонарика словно раздевал ее перед Хоменко.

— А хоть бы и так, — вдруг вызывающе тряхнула головой Катерина, толкая вагонетку с горячим кирпичом, — подумаешь, как страшно...

И все же Катерина, сама еще того не замечая и не понимая, словно перерождалась.

Впервые за всю жизнь она делала не свое собственное дело, не для своего интереса, как сказала бы она раньше, — и это не свое дело, не свой интерес понемногу овладевали ею. Уже одно то, что утром она бежала не на поселковый базар с двумя цыплятами да кучкой овощей в кошелке, а спешила по гудку на кирпичный завод, куда сходилась много других людей, женщин и мужчин, озабоченных не своими заботами, — уже это словно отрезало Катерину от прежней ее жизни.

Особенно чувствовала Катерина ту границу, что отделяла ее новое существование от старого, у проходной, идя вместе с другими рано утром мимо доски, где висели жестяные кружочки с номерами, и уже не раз ей хотелось прийти так рано, чтобы ее кружочек был первым, но ей не везло с этим, потому что на заводе было много рабочих, которые и проспались раньше ее и жили ближе...

Шли дожди, ночи были холодные и темные, сыпучий песок, на котором стоял поселок, не успевал выпивать всю воду, что падала с неба; вода стояла лужами и целыми озерами, наполняла колени, смутно поблескивала, как тусклое зеркало, в котором отражались перевернутые дома, заборы, деревья иплыли всклокоченные, как старый войлок, медленные тучи.

В субботу дети вернулись из школы, а Катерина еще была на работе. Когда она пришла домой, Ванюшка, как неприкаянный, стоял среди землянки, а Сонька, свернувшись калачиком, лежала в уголке на кровати: щеки у нее были свекольного цвета, она кашляла сухим кашлем, похожим на лай. Когда что-нибудь случалось с детьми, Катерина забывала про весь свет, потому что кого же она имела на свете, кроме детей? Она укрыла Соньку всеми одеялами, сверху еще и своим ватником, запарила сухой малины в кружке и, приказав Ванюшке поить сестру, побежала в больницу.

Бежала по лужам, разбрызгивая во все стороны шаткие дома, деревья, тучи, перепрыгивала через залитые водой канавы, вытирала уголком платка слезы и сама с собой вслух разговаривала:

— Задавит их землянка... не переживу с ними зиму! Люди добрые, что ж мне делать? Когда ни мужа, ни помощи... Задавит, задавит!

Поселковая врачиха ходила еще в шинели без погон и в сапогах. Она долго осматривала Соньку усталыми черными глазами, выстукивала и выслушивала худенькое тело девочки, медленно писала рецепт на длинной бумажке с треугольной печатью и так же тихо и медленно объясняла, как надо давать лекарства.

Катерина пошла ее провожать. Прощаясь, врачиха, словно преодолевая колебания, совсем тихо сказала:

— А детей вам надо из этого блиндажа выводить, если хотите спасти их...

— Так я ж знаю! — вскрикнула Катерина. — Разве ж я не знаю? Видите ж, начала строиться, так ни горбыля, ни доски...

Ох, эти проклятые доски, словно весь свет на них сошелся, словно заслонили они от нее дневной свет, загородили плотной стеной путь к человеческой жизни! Где ты их возьмешь? Она уже пробовала, да только...

— Я знаю, что тяжело, — мягко сказала врачиха, — а вы старайтесь, может и получится...

Катерина вышла на работу только во вторник, да и то с опозданием, упросив соседку наведываться к Соньке и давать ей лекарства, потому что на Ванюшку, хоть он и не пошел в школу, нельзя было полагаться.

В мыслях Катерина все решила наперед. В обеденный перерыв она пойдет к Хоменко и скажет, чтоб выполнял обещание. Раз она работает на кирпиче, который и на строительство в город возят и тут используют, обязаны и ее обеспечить жильем. Неужели ж дети должны погибать? Пускай дает лесу на стропила, пускай где хочет берет, какое ей до того дело, — она должна знать, что выведет Соньку и Ванюшку из погреба, хватит им уже кашлять в норе... Вот так она тому Хоменко и скажет, все начистоту, — чего ей бояться? Доска доскою, да не век же на нее озираться.

Катерина, размахивая руками, вскочила в проходную.

Табельщица, курногая деваха в зеленом берете на рыжих волосах, взяла у нее номерок и равнодушно сказала:

— Тебя вызывает директор... Сказано, как придешь, чтоб сразу явилась...

Вся смелость Катерины, вся ее наглость исчезли. Она почувствовала, как похолодело у нее в груди и неровно ударило сердце.

«Вот и конец»,— подумала Катерина, перемогая непонятную дурноту, что подкатила ей к горлу.

— Конец, конец,— повторила она шепотом, сама не зная, что должно означать это слово, первое, что пришло ей в голову.

— Что ты там бормочешь? — крикнула табельщица, подтыкая рыжие волосы под берет.

Катерина медленно вышла из проходной.

— В контору не ходи,— высунулась за ней из двери табельщица,— директор у себя дома...

Хоменко сидел за непокрытым столом в большой пустой комнате. Перед ним на столе лежали какие-то бумаги, на уголке стояла круглая жестянка с махоркой, черный чай в стакане без блюдца был похож на лекарство.

Катерина повела взглядом по комнате и сразу увидела давно не мытые, запыленные изнутри стекла, песок, тропинкой натоптанный от порога до стола. Дверь в соседнюю комнату была открыта, там стояла низкая солдатская койка, заправленная рыжим грубым одеялом. В окне над кроватью выбитое стекло было заткнуто подушкой.

«Моя работа,— горько подумала Катерина.— Неужели и для него стекла нету?»

— Садись, Катерина,— прохрипел больным горлом Хоменко.

Она села на табуретку, ошеломленная неуютностью его жилья. Видно было, что, кроме него, никто тут не живет. В доме было тихо, словно в нежилом помещении, только в большой печке гоготал огонь да шипели и стреляли мокрые дрова. Наверное, жена его бросила, вдруг догадалась Катерина. Ну как же, иначе не могло и быть, потому что она видела эту холеную молодую женщину, красивую, как цветок,— жена Хоменко ходила по поселку в туфлях на высоких тонких каблуках, словно про-сверливая ими песок, и платья носила яркие, в больших цветах, от нее прямо веяло здоровьем,— на что ей больной муж, его бумаги и махорка в жестянке? А дети? И детей, наверное, забрала с собой, плюнуть бы ей в морду! Катерина даже побелела от злости на эту незнакомую женщину.

В это время Хоменко не то сказал, не то спросил:

— Я слышал, у тебя девочка заболела?

Она кивнула головой, и как раньше неуверенность и страх перед Хоменко перешли в злость на его холеную жену, так теперь эта злость уступила в ее сердце место жалости к брошенному, больному, оставленному молодой женой человеку.

У Катерины даже слезы на глазах выступили, так она расчувствовалась.

«Какой человек,— аж пело у нее в груди,— это ж золотой должен быть человек! Сидит в пустом доме, как в берлоге, ему бы волком вить, а он про чужого ребенка помнит, словно у него своих нету...» Видела она детей Хоменко, у него тоже мальчик и девочка, немного поменьше, чем Сонька и Ванюшка.

— В землянке жить — недолго и насмерть простудиться,— свистел и хрипел больным горлом Хоменко, то хватаясь худой рукой за доску стола, то поправляя свою марлеву повязку.— Ты вот что, слушай, Катерина... Мы тут посоветовались насчет тебя... На октябрьские праздники

открываем общежитие, так ты переходи в общежитие, в землянке тебе жить дальше нельзя...

Лицо у него было изжелта-белое, заросшее небритой щетиной и тусклое, словно вылепленное из воска. Он замолчал и начал крутить сигарку, набирая махорку длинными бледными пальцами из жестянки, которая скользила по столу, словно убегая от него.

Глаза у Катерины вмиг высохли. Она уже никого не жалела и ничего не боялась. Для того она пошла работать к печам, чтоб жить в общежитии? А не дождутся враги ее, чтоб она с детьми жила, как на ярмарке! А двор? А огород? За каждой луковицей на базар бегать?

— Ты не спеши решать,— словно угадал ее мысли Хоменко,— ты подумай, Катерина...

— Нечего и думать! — Катерина вскочила с табуретки и зачем-то начала разматывать вязаный, пропахший жженой глиной платок.— Не пойду в общежитие! Зачем меня звали?

— Да для этого и звал,— попробовал улыбнуться Хоменко.— Я ничего не слышал, ты ничего не говорила — иди и подумай...

Хоменко поднялся, стоя хлебнул черного чаю из стакана, сморщился и потер рукой горло.

— Этого общежития много людей ждет... Ты недолго думай, а то прозеваешь. Детей жалко...

Катерина намотала на голову платок и опрометью выскочила, не попросившись и не поблагодарив,— такой привычки у нее не было, никто ее не научил говорить спасибо за людскую заботу.

К печам надо было идти мимо недостроенного общежития. Там и столкнулась Катерина, ничего не видя перед собой, с Мусием Горбанем. Он шел с какой-то жердью в руках.

— Здравствуй, Катерина! — крикнул он ей навстречу.— А погляди, какой мы дворец отгрохали за три месяца...

Катерина глянула на Мусия осатаневшими глазами.

— Да провалился бы он под землю вместе с вами всеми! — крикнула Катерина и побежала прочь, размахивая руками, вся в слезах, которых не могла удерживать. У печей не видно было, что она плачет, слезы высыхали сразу и от жары и от того огня, что жег ее изнутри. Кто-кто, а уж Мусий мог бы понять, что не для того она целое лето месила глину босыми ногами и лепила половняк, чтоб теперь идти в общежитие, менять свое, хоть и недостроенное, гнездо на заводскую квартиру. Нет, так не будет! Катерина злобно толкала вагонетку с недожженным кирпичом (завод давал много браку), а со стороны глядя можно было подумать, что она очень старается наверстать за пропущенные дни.

Когда Катерина, опустошенная и усталая не так от работы, как от тревоги, вошла в свою землянку, плотник Мусий, словно ничего не случилось, сидел около Соньки и мастерил из обломков фанеры острым, как бритва, складным ножом удивительного движущегося человечка. Он даже не глянул в ее сторону, словно был тут хозяином. Катерина молча переступила через его деревяшку и загремела мисками на плите. А Мусий связывал выдернутыми из одеяла нитками части своего человечка. Медленные слова еле выпутывались из его бороды. Ванюшка зачарованно глядел на Мусия.

— Таратуки-туки, привязали мы руки... Таратошки-тошки, теперь приладим ножки. За веревочку смык-смык, а он ручками брык-брык... Таратата-тата, двигайтесь, ноженята!

Сонька захлебывалась от смеха, потому что это были не только слова: человечек на веревочке точно повторял все, о чем говорил Мусий. Катерина прислушивалась, хлопоча у плиты, а плотник дергал человечка за веревочку и повторял смешные слова, от которых у нее замирало сердце.

— Таратины-тины,— не глядя на Катерину, дергал своего человечка плотник,— таратины-тины, накопили мы глины... Таратак-так, давай сюда половняк... Таратесу-тесу, а где возьмем лесу?

Катерина налила борща для детей в тарелки, а для Мусия — в миску, потому что знала: он любит поесть. Кто бы мог подумать, что он вот так умеет с детьми... Эти «таратуки-туки» она помнила с детства, бабка без конца плела ей из них нехитрую вязь детских нелепиц. Катерина уже хотела сказать: «Принимайтесь за борщ, Мусий»,— когда услышала:

— Таратурки-турки, ни доски, ни чурки... Таратош-тош, падает дождь...

От такой сказки с ума сойти можно, а Мусий все дергает своего человечка, все приговаривает, а дети все смеются. Сонька покраснелась, глаза горят, а Ванюшка за живот ухватился и ловит ртом воздух.

— Таратены-тены, развалились стены...

— Прочь, чтоб глаза мои тебя не видели! — закричала Катерина, осторожно поставив миску с борщом на край плиты.— Чужая беда тебе смешки? Не затынете меня в общежитие! Сгнию с детьми в норе, а вашему не будет!

Мусий глянул на нее и испугался — столько непонятной злобы было в ее глазах, во всем лице, дергающемся от боли. Он поднялся, ища глазами шапку,— тут, в землянке, фигура его на деревяшке казалась еще более неуклюжей, чем всегда. Дети испуганно притихли.

— Как себе хочешь, Катерина,— сказал тихо Мусий, надвинул обеими руками шапку на лоб и вышел.

До октябрьских праздников оставалось еще две недели, Катерина могла и передумать, не каменное же у нее было сердце, чтоб глядеть, как Сонька лежит в землянке, горячая и прозрачная, как свечечка. Тут хочешь не хочешь, а на все пойдешь ради своего ребенка. Если б Катерина не боялась, что привыкнет к общежитию и выкинет из головы недостроенную свою хату, она ни минуты не колебалась бы. Пошла бы в общежитие до весны, а весной вернулась бы и начала бы достраиваться. Но ведь она себя хорошо знала — прилепится к новому месту так, что и не оторвешь: и детей будет жалко, и новых соседей, и того, что это тут же, при работе, не надо бежать через весь поселок... Нет, лучше об этом не думать. Вот уже и ноябрь, а снегу нет, зима будет сиротская, как-нибудь перебеется, а в крайнем случае пойдет к Хоменко: теперь она уже не расчувствуется и не побойтся — пускай держит слово... Но нет, про Хоменко тяжело вспоминать. Лучше сквозь землю провалиться, чем снова глядеть на его перевязанное горло и слушать, как он хрипит и свистит, выговаривая скупые слова.

А тут, как назло, дожди прошли, сделалось совсем тепло, как ранней весной, Сонька перестала кашлять и уже снова пошла в школу. Катерину перестали жечь думы об общежитии. «Проживу»,— уверяла она себя. Иногда только заползало ей в душу сожаление, что так круто обошлась с Мусием, ведь без него она не справится, когда дело снова дойдет до стропил. Но и это сожаление было хоть и горьким, но минутным. Со свойственным ей простодушным цинизмом Катерина думала: «Приглублю его немножко — будут и стропила, и столырка будет...»

Под праздники открывали семейное общежитие. На крыльце, в длинном черном пальто с поднятым воротником, стоял, заложив руки в карманы, еще больше исхудавший Хоменко. Круглолицый, чисто выбритый, веселый Карпо Кубрак, секретарь парткома, сказал речь и начал вызывать по списку рабочих, которые вселялись в общежитие. Председатель завкома Заяц, зябкий, маленький, словно подросток, не глядя, снимал с проволоки ключи и под аплодисменты отдавал их новоселам. Что ему было глядеть на эти ключи? Замки были стандартные, во всех комнатах одинаковые, можно бы обойтись и одним ключом, но таков был неиз-

вестно кем и когда установленный порядок, что новоселам надо давать ключи, и этого порядка не следовало нарушать, хотя люди уже с утра внесли в общежитие свои вещи и понакрывали столы для гостей.

Оркестр непрерывно играл туш, перекрывая голос Кубрака, и Катерина не слышала половины фамилий, зато она видела новоселов, большинство которых знала в лицо. Все это были старые работники кирпичного завода, как, например, формовщик Кузьма Вениаминович Клименко, высокий, сутуловатый старый человек с висячими усами, или Домаха Сухобрус, жилистая, широкая в кости сорокалетняя вдова, мать четырех детей, которая работала в одной бригаде с Катериной... Были тут и помоложе: дали комнату электрику Василию Буровому, у которого жена ходила беременная, и нормировщице Катре Сабадаш со старой, согнутой в пояснице матерью.

Катерина смотрела, как они, сияя от радости, брали из рук Зайца ключи, и у нее становилось тепло на душе. Понемногу она научилась без зависти видеть чужое счастье. Все же нельзя было сказать, что чужое счастье вполне устраивало, вполне согревало Катерину, что к нему не примешивалась горькая печаль: почему это счастье досталось им, а не ей? Почему это Карпо Кубрак весело выкрикивает их фамилии и они получают ключи от теплого, уютного жилья, а она стоит сзади всех и поднимается на цыпочки, чтобы увидеть чужую радость? Но эти капли горечи уже не могли отравить душу Катерины.

— Кузьме Вениаминовичу надо,— прошептала она неслышно, когда Клименко, взяв ключ, пожал руку Кубраку и Зайцу,— а Домахе еще и больше надо...

И так, вглядываясь в людей на крыльце, которые с этой минуты становились новоселами семейного общежития, она каждого проводила своим неслышным «надо» и только вздохнула, когда Кубрак выкрикнул последнюю фамилию и Заяц отдал последний ключ.

Первыми прошли в общежитие почетные гости — строители, и Катерина видела, как Хоменко пожал широкую ладонь бригадиру плотников Мусию Горбаню и что-то сказал ему, стараясь улыбнуться. Мусий потоптался около Хоменко на своей деревяшке и нырнул в дверь, скинув шапку, как на паперти. Видно было в окна, как люди садились за столы. Конечно, не всех приглашали, да все и не уместились бы в общежитии. Понемногу люди разошлись, в общежитии засветилось электричество, потому что уже стемнело; только Катерина еще стояла невдалеке от крыльца, обмотанная платком, с рукавицами за ремешком, и не могла сдвинуться с места. Общежитие было такое большое, красивое и светлое, так ярко горело электричество в окнах, так весело и громко играл духовой оркестр в большом коридоре, такой смех и говор прорывались сквозь грохот большого барабана и буханье басовой трубы, что у нее сердце сжималось от запоздалого раскаяния — заелась, прозевала! Возвращайся, Катерина, в свой погреб...

На крыльцо вышел Хоменко, поднял воротник пальто и направился к Катерине, словно знал, что она стоит тут, под окнами. Но нет, он не рассчитывал ее встретить, он, наверное, и не думал про нее — где ему было помнить о Катерине! Боль в горле подняла Хоменко из-за стола, увела от гостей и новоселов, холодный вечерний воздух освежил его, но не успокоил боли.

— А, это ты,— удивился Хоменко, узнав Катерину.— Чего ты тут стоишь, как сирота?

Он придерживал рукой поднятый воротник пальто и должен был идти, чтобы не упасть. Катерина сразу это поняла, все свое уплыло от нее куда-то далеко-далеко, и с неожиданным для нее самой сочувствием и нежностью она сказала:

— Я вас отведу домой.

Они шли молча в темноте.

— Наверное, жалеешь, что не пошла в общежитие? — Голос Хоменко звучал из-под воротника тихо и глухо.

— Жалею... — Катерина вздохнула.

— Теперь уже ничего не сделаешь... Да ты не печалься, с весны начнем коттеджи строить для рабочих, целую улицу.

— Я недавно на заводе.

— Будешь хорошо работать — и про тебя не забудем.

Катерина усмехнулась — в темноте Хоменко не мог видеть этой недоверчивой усмешки; но хоть Катерина ему не очень верила, волна жалости к нему заливала ее беспокойное сердце, она могла бы обнять его тут, среди большого заводского двора, загроможденного разным хламом, могла и поцеловать, потому что сердце у нее было доброе, только она не умела им владеть. Неприкаянный, одинокий, один в темном пустом доме... Катерина словно отдавала ему долг, ведя его сегодня домой так, как он ее вел в ту памятную ночь, хотя, конечно, между ними была явная разница: он не крал досок, и она его не поймала с поличным. Но ему надо было помочь сегодня, это она понимала, ему нужно было человеческое слово, как и ей в ту ночь.

— Вернулась к вам жена? — неожиданно и просто спросила Катерина и испугалась своей смелости. Она даже похолодела и сжалась вся. Какое ей дело до того, какое она имеет право спрашивать? Разве можно вот так лезть человеку в душу? Выругает ее Хоменко — и будет прав.

Но Хоменко так же просто ответил, — как старому другу или как самому себе, — просто и тихо:

— Нет, не вернулась.

Она прижалась к его плечу. Хоменко почувствовал и понял неслучайность этого движения — и не отодвинулся. Так они дошли, не сказав больше ни слова, до директорского домика, в такой человеческой близости, которой не могло бы им подарить даже счастье.

На пороге Хоменко сказал:

— Надо будет, так ты приходи, что-нибудь придумаем...

Катерина, как во сне, побрела домой. Она не плакала — слезы сами катились из глаз, от этого становилось легко и тихо на душе. Катерина никогда ничего похожего не чувствовала и радовалась и удивлялась этому счастливому, новому для нее чувству. Она коснулась чужой беды, и от этого ее собственное горе, ее большая беда, которую она совсем по-другому, проще и прямее понимала, словно легче стала, уравновешенная чужой болью. Она привыкла проходить мимо людей, как мимо чужого дома, не заглядывая в окна, не интересуясь, что у них там, внутри... И вдруг ей словно открылся целый мир: те люди, к которым она умела подходить только с требованиями, чтобы вырвать, отвоевать что-то для себя, те люди, на которых она смотрела как на механизмы, созданные для немедленного и безотказного удовлетворения ее нужд, те люди, отделенные от нее колючей изгородью всегда немирных отношений, оказались такими же живыми существами, как и она, с понятной и близкой ей человеческой заботой, бедой, надеждой, любовью, сочувствием — со всем, что делало их похожими на нее, простыми и большей частью добрыми людьми.

Может, впервые за всю свою жизнь, по собственной вине не получив того, что получили другие, на что она, как и все другие, имела право, Катерина не разозлилась ни на людей, ни на себя, как это бывало с ней раньше.

«Ничего, переживу как-нибудь, — шептала она, узкой и темной улицей подходя к своему двору, — сама виновата...»

Но это признание вины перед собой и перед детьми, которые из-за ее безрассудного упрямства должны еще зиму сидеть в землянке, было уже за границей ее душевных возможностей; оно сразу качнуло чашки тех невидимых весов, на которых в ее душе уравнивались чувства, коромысло качнулось, прежняя отчаянная злость потянула ее вниз, как камень на ногах тянет человека на дно, в темную взбаламученную воду. Катерина даже застонала, так обожгло ее издавна знакомое раздражение, — не на ком было только сорвать злость... Улица была темна, кое-где в окнах светились огни. На ночь прихватывал небольшой морозец, песок затвердел и даже звенел под ногами.

У столба, на месте бывших ворот, стоял неуклюжий толстый человек на тонких ногах и курил сигарку. Катерина сразу узнала Макогона. Она налетела на него, как буря, прижала к столбу и зашипела, шалея от возмущения, — у нее хватило ума не орать во все горло.

— Какого лиха вам тут надо среди ночи? Куда конь с копытом... старая мочалка! Столб подпирает, а из самого уже песок сыплется!

Господи, каких только слов не наговорила Катерина! И где они только у нее брались, откуда она их добывала, откуда знала столько бесстыдных, обидных, язвительных, терпких и горьких, как отравы, слов? Словно она пересеяла весь язык через частое сито, чтобы найти их и высыпать на голову толстому старому Макогону, который, обрядившись в новый бобриковый пиджак и тонкие хромовые сапоги, пришел к ее двору, — нет, не пришел, одиночество привело его и поставило с сигаркой в зубах подпирать плечом истлевший столб.

— Да ты с ума сошла, Катерина! — насмерть испугался Макогон. — Я к тебе по-человечески...

Что-то делалось с Катериной непонятное — она сразу притихла, словно поняла, что в самом деле не по-человечески обращается со стариком, что такое поведение уже не к лицу ей. Ведь еще так недавно — не прошло и часа — она чувствовала себя доброй и почти счастливой, понимала не только себя, но и Хоменко тем пониманием, для которого не нужно слов, а почему же она не может понять и простить неуклюжего Макогона, который никакого зла ей не сделал, а может, еще и добра хочет?

— Ох, простите вы меня, дурную бабу, — прошептала Катерина и, низко склонив голову, прошла мимо оторопевшего Макогона во двор, к своей землянке.

На пороге Катерина оглянулась: старый Макогон кинул сигарку и долго, по-хозяйски, втапывал ее в мерзлый песок. Потом он как-то согнулся, ссутулился и, покачиваясь, понес свою неуклюжую толстую фигуру в темноту ночи. Катерина представила, как он втянул свои усы, потом тяжело выдул их изо рта, и ей стало еще больше стыдно за свое поведение и еще больше жаль Макогона.

Дети спали. Она легла около них тихо, не поужинав, усталость взяла ее в объятия и убаюкала. Снился ей тракторист Иван Коломийченко, неговорливый ее муж, за спиной которого легко и спокойно было жить, и она была счастлива во сне и, проснувшись утром, еще долго ходила с тем ночным счастьем в душе...

Морозец подержался только два дня, словно природа не хотела портить людям праздничное настроение, а как только начались будни, небо нахмурилось, потянулись медленные тучи и хлопьями повалил снег. Он таял, не долетая до земли, а потом перешел в дождь. Весь поселок словно набух, намокая под этим несвоевременным дождем и отражаясь во взбаламученных лужах, среди которых буксовали тяжелые грузовики с кирпичом, тем иногда недожженным, а иногда пережженным кирпичом, к которому причастна теперь была Катерина.



Казалось: что тот кирпич и на что он Катерине? Кирпичный завод обжигал его сотни тысяч штук в неделю, миллионы в год, и везде его не хватало. Грузовики буксовали на разбитых дорогах, к заводу подходили длинные поезда, кирпич грузили на платформы, у конторы всегда толпились люди в ватниках и плащах из грубого брезента, — они ссорились между собой за очередь, размахивали нарядами, сидели на заводе неделями, одни сменяли других, и всем нужен был тот кирпич, который катила в печь и откатывала от печи Катерина, и она, если б даже хотела, не могла уже быть равнодушной к тому, что делала, и к тому, что делалось вокруг нее.

Катерина приходила с работы усталая, у нее не оставалось времени для детей, они росли теперь почти без присмотра; хорошо, что школа заботилась о них: Соньку послали на месяц в лесной санаторий, а мальчик был покрепче, он как-то еще держался, хотя Катерина и понимала, что это только до поры до времени. Не раз ей приходило в голову бросить работу, но она уже не могла этого сделать.

Катерина уже понимала, что собственных ее усилий недостаточно, чтоб одолеть ту беду, в которой оказалась не только она с детьми, но и масса других людей, что для этого нужны общие усилия всех, но ей от этого не было легче. Из-за своего неистового характера она осталась теперь совсем одна. Мусий не приходил, она его не видела с того вечера, как открывали общежитие. Откуда ей было ждать помощи? Перед Макогоном она хоть и извинилась, но, наверное, и он затаил на нее обиду.

Катерина притихла, ожидая еще большей беды, — и беда пришла.

Теплый частый дождь плескался всю ночь, словно была весна, а не середина декабря. Возвращаясь с ночной смены, Катерина сделала крюк и зашла в лесной санаторий расспросить про Соньку. Через неделю она должна была забрать дочку домой.

Дети только что проснулись и под присмотром сестры умывались в просторной комнате у длинных жестяных рукомойников. Тоненькая, худощавая Сонька в коротенькой юбочке и санаторной рубашке вплетала голубую косоплетку в косу, ожидая своей очереди к умывальнику. Глазки у нее были еще совсем сонные. Она не видела матери — Катерина смотрела на нее сквозь стеклянные двери, это было против правил (в санаторий пускали только в определенные дни), но Катерина вежливо попросила, и дежурная врача сделала для нее исключение.

Сонька выглядела совсем хорошо, лицо и плечики у нее округлились, на щеках появился румянец. Другая девочка подошла к ней, что-то сказала на ухо — детский какой-то секрет, — и Сонька весело, звонко засмеялась и захлопала в ладошки. Такой веселой и свежей Катерина ее давно не видела.

Девочка не была красивой. Бесцветные волосенки словно облепляли ее продолговатую головку, оканчиваясь тонкой, как мышинный хвостик, косичкой. Тонкие и неяркие губы, всегда крепко сжатые, придавали ее лицу какой-то старушечий вид. Но Катерина никогда не видела этого, как никогда не замечала, что у девочки слишком глубоко и близко к тонкой переносице посажены глаза, — это даже нравилось ей, потому что напоминало Сонькиного отца, сурового и неразговорчивого Ивана Коломийченко, который не красотой своей покорило когда-то сердце Катерины, а именно той сдержанностью и рассудительностью, которые уже наметились в характере ее маленькой.

Для Катерины Сонька всегда была самой красивой из всех детей если не мира, то их поселка уж наверняка. Она любила дочку всей силой своего неуравновешенного сердца. Сегодня оно особенно полно было болезненной нежности к этому маленькому цветочку, который она вырастила наперекор беде, встречавшей ее на каждом шагу.

Сонька оглянулась и увидела мать. Закинув за плечо свой мышинный хвостик, перевязанный голубой тряпочкой, она кинулась к стеклянным дверям, но докторша сурово приказала Катерине не нарушать порядок в санатории, и Катерина послушно пошла домой.

Дождь не переставал.

На пороге землянки, прижавшись к дверям, громко всхлипывал мокрый до костей Ванюшка. Катерина, спотыкаясь, побежала к нему через двор.

— Что случилось? Кто тебя обидел? — закричала она еще издали, уже готовая в бой за своего ребенка.

Ванюшка толкнул двери и пропустил ее в землянку. Катерина остолбенела. Землянка была полна воды, потолок обвалился, на кровати, на плите, на полу лежала глина, какие-то тряпки плавали в воде... Она с места заголосила таким страшным голосом, что Ванюшка выскочил из землянки. Во двор уже бежала соседка. Еще не зная, что случилось, она присоединилась к причитаниям Катерины, потом обе женщины так кричали, такие жалобы и проклятия выпевали не своим голосом, что можно было подумать — или небо обвалилось, или снова ударила война, с которой и началась вся их беда. Соседка исчерпалась первой.

— Хватит, — сказала она, смело ступая в воду. — Криком тут не поможешь... Переноси вещи ко мне.

С этой соседкой Катерина никогда не мирилась: дворы стояли неогороженные, хватало поводов по-соседски грызться, она не ждала от соседки такой доброты.

— Давай, давай! — кричала соседка, кидая в руки растерянной Катерине миски, горшки, ложки, разный ненужный хлам — первое, что попадалось под руку. Схватив мокрые подушки, она выбежала из землянки и вернулась со своим мужем.

Соседкин муж был мрачный человек. Катерина его боялась. Брови седой стрехой нависали над его маленькими, черными, как терн, глазами, в которых ничего нельзя было прочесть, зато они сверлили человека насквозь. Он не говорил, а рычал, грохотал или бубнил что-то страшнолютое. Лишь иногда из этого бормотания, грохота и рычания вырывались человеческие слова, но и те собрать вместе могла только его жена. Он работал сторожем в поселковом магазине, днем спал, и поэтому Катерина мало его видела.

— Гур-гур-гур, — перекачивал камни во рту соседкин муж, стоя в воде посреди землянки, — нашу голову... Гар-гар-гар... к бесу... Бу-бу-бу, кругом-бегом...

— Откуда она берется, беда на нашу голову? — привычно перевела на человеческий язык его рычание жена. — Ну его с таким делом к бесу. Ну, а кругом-бегом — это у него такая поговорка.

— Гур-гур-гур... — снова начал сосед, выслушав этот перевод.

— Погуркоти мне! — крикнула соседка. — Чего стоишь, как пень?

И он послушно начал вытаскивать во двор железную кровать, на которой спала Катерина с детьми.

— Ты не прислушивайся, привыкнешь, то не он рычит, а его характер. С таким характером хоть в могилу, а так он тихий, мухи не обидит. И смолodu был такой: гур-гур-гур да бу-бу-бу... И где он взялся, сатана, на мою голову!

Отогревшись и наплакавшись у соседей, Катерина пошла на завод. Никакого другого выхода не было. Куда она заберет Соньку из лесного санатория? У соседей хата маленькая, хоть и теплая. Да и сколько ж она сможет сидеть у соседей? Надо искать выход. Поселок забит людьми, в каждой хате живут по две-три семьи. Один Хоменко может ей помочь. Говорил же он: если надо, приходи, всегда можно что-нибудь придумать... Видит бог, если б не такой случай, она никогда бы не обрати-

лась к нему, не стала бы морочить голову больному человеку своими заботами.

В проходной Катерина встретилась с Олей Ключко, бойкой девушкой; от одного взгляда на Олю на душе становилось весело. Каждая черточка круглого Олиного лица смеялась, под тугой кожей ходуном ходили какие-то живчики, словно она еле сдерживала смех, из синих глаз так и сыпались искры, а в ямочках на щеках и в уголках полных румяных губ сидели веселые бесенята.

— Тю, Катерина! — брызнула на Катерину смехом Оля. — Ну, я в лавку, мне близко, а ты чего снова приплелась?

Катерине было не до смеха.

— Обвалился мой дворец, иду к Хоменко кланяться, — буркнула она, стараясь не глядеть на Олины искры и ямочки, чтоб не вспыхнуло раздражение.

— Да ты что? — снова рассыпалась мелкими словами Оля. — Да Хоменко ж ночью забрали в больницу... Неужели ты не знаешь?

У Катерины упало сердце, а Оля, смеясь всеми своими ямочками и разбрызгивая во все стороны синие искры своих непоседливых глаз, говорила короткое название страшной болезни, от которой нет лекарств.

— Что ж мне теперь делать? — ужаснулась Катерина.

— Надо было не думать, а идти в общежитие, — не оставаясь ни минуты на одном месте, быстро барабанила веселая Оля. — Теперь и тебе некуда деться, и Мусий Горбань без комнаты...

К чему Оля приплела тут Мусия — Катерина не могла понять. Оля сразу увидела это и охотно стала объяснять:

— Он же для тебя отказался от места в общежитии, потому что наш завком не хотел тебе давать, поскольку ты недавно работаешь, хотя Хоменко и настаивал, нажимал изо всей силы... Тогда Мусий и говорит...

Перед глазами Катерины сразу всплыл тот вечер, когда открывали общежитие: короткие сумерки, рабочие перед домом; она увидела Хоменко и Мусия на крыльце, Хоменко хотел выдавить из себя улыбку, а Мусий неловко топтался перед ним на деревяшке и разводил руками; Катерина, казалось, слышала их короткий разговор. «Видишь, что вышло, Мусий, — говорит Хоменко, — и ты отказался, и она не пошла...» — «Ничего, — отвечает Мусий, мотая головой, — на этом свет не кончается...» Хоменко глубже засовывает руки в карманы длинного черного пальто, а Мусий Горбань снимает шапку и ныряет в двери общежития.

— А ты и не знала? — махнула на Катерину рукой Оля. — Ну, так ты и в самом деле — тю!..

Хоронили Хоменко в воскресенье.

Снова распогодилось, в ясном синем воздухе летали белые искры, сосны проступали красными стволами и темно-зелеными кронами на фоне неба, старые дубы звенели жестяной ржавой листвой.

От клуба Хоменко везли на грузовике, заваленном сосновыми венками, он лежал среди бумажных лент и цветов спокойный, словно отдыхал, только голова его покачивалась, когда грузовик заносило на неровных промерзших колеях.

За грузовиком и впереди него шло много людей, но не по дороге, а по вытоптанному вдоль нее тропинкам. Только духовой оркестр, тот самый заводской оркестр, что так громко и весело играл на открытии семейного общежития, старался не сбиваться с ноги на комках мерзлой дороги и все время выдувал из своих легких однообразную скорбную мелодию траурного марша.

Катерина почему-то оказалась в самом хвосте того длинного ряда пиджаков, ватников, шапок и платков, что под шум тихих разговоров и громкой музыки тянулся вдоль дороги, и долго пробиралась вперед,

к грузовику. Она с самого утра пришла на завод и стояла у клуба. В клуб Катерина зайти боялась. Там посреди зала на сооруженном из скамеек возвышении стоял обитый кумачом гроб. Почему-то Катерине страшно было глянуть на мертвого Хоменко, словно она ему должна что-то осталась, хотя и могло у нее стать легче на сердце: все кончилось — тревога, недоверие, страх, что связаны были с воспоминанием о ее грехопадении, свидетелем которого был Хоменко.

Но не только это чувствовала Катерина. Рвалась незримая связь меж нею и человеком, который в последний раз сложил руки на груди, — ушел Хоменко и забрал с собою неожиданную жалость к нему и печальную нежность, что толкнула Катерину прижаться к его плечу в тот вечер, когда открывали общежитие.

Вытоптанная тропинка над дорогой тоже сбитая и неровная. Перед глазами Катерины качается чья-то спина в еще не изношенной шинели, хлястик болтается на одной пуговице, эту спину она никак не может обойти — да уже и не очень хочется.

То, что везут на грузовике, убранные сосновыми венками и бумажными цветами, то, что так недавно было человеком, который говорил с ней, помнил про нее, сурово сочувствовал ей, не выходит из головы у Катерины. И не потому, что она видит далеко перед собой грузовик и слышит громкие вздохи музыки, нет, — вместе с Хоменко исчезают не только ее недоверие и страх, не только жалость и нежность, но и надежда.

С улицы вышли на широкую, словно присоленную снежком, песчаную площадь. Катерина выдвинулась вперед и шла теперь рядом с грузовиком. Тут не страшно было смотреть на Хоменко — может, потому, что его укрывало наполненное искрами и сиянием синее небо. Лицо Хоменко словно сливалось с прозрачным воздухом и таяло в нем. Катерина увидела на грузовике меж венками две детские головки — мальчика и девочки; дети в одинаковых шапочках из серой мерлушки испуганно смотрели то на мертвого отца, то на красивую свою мать, которая также сидела на грузовике спиной к высокой кабине, в синем пальто и в такой же, как у них, серой шапочке... Она все время держала закрытыми глаза, черные ресницы лежали двумя выгнутыми продолговатыми полосками на ее белом лице.

В груди у Катерины шевельнулась горькая вражда к этой незнакомой женщине, которая боялась смотреть в лицо своему мужу, потому что, наверное, большую вину чувствовала за собою, — но Катерина сразу же пожалела жену Хоменко, потому что поняла, что и эта женщина нуждается теперь в сочувствии и от ее жизни отвалилась какая-то полоса, может и пережитая, но болезненная...

Площадь снова сузилась в улицу, потом хаты столпились и словно остановились под невысоким холмом, на котором, поодаль друг от друга, стояли две скрученные ветрами старые сосны, с виду и не похожие на сосны — такие приземистые и раскидистые были они... С холма уже было видно неогороженное кладбище. Гроб сняли с грузовика, впереди понесли венки и цветы.

Жена и дети Хоменко шли теперь за гробом. Катерина невольно не спускала с них глаз и снова с неосознанной враждебностью отметила, что и воротник синего пальто у жены Хоменко мерлушковый и ботинки обшиты красивой серой мерлушкой... Между могилами, крестами и краснымиobeliskами солдатских надгробий пришли к месту, которое ждало Хоменко. На груду желтого, красной глиной переслоенного песка, который должен был укрыть Хоменко, стали Макогон, Кубрак и Заяц. Они держались группой все время по дороге к кладбищу и теперь были вместе, спокойные, сосредоточенные и серьезные, как того требовали печальные обстоятельства, что привели их сюда, на неуютное место

последнего отдыха их товарища, с которым они и работали вместе, и дружили, и ссорились иногда по человеческой своей слабости, и снова мирились... Теперь все это было уже позади, и им вспоминалось только все хорошее, что было меж ними и Хоменко, они искренне жалели его, потому что Хоменко и в самом деле был достойным уважения человеком.

Гроб на подостланных полотенцах стоял у них под ногами; глядя на Хоменко сверху вниз, они прощались с ним. Катерина почти не слышала слов, что летели как-то поверх ее головы, только заметила, что по толстому лицу Макогона скатились две слезы и спрятались в обвисших усах. Каждый раз после речи коротко играл оркестр, под его скорбящую мелодию застучали молотки, прибывая крышку, и с грохотом покатались комки промерзлого песка в могилу...

Катерина сразу почувствовала себя горько одинокой и опустошенной, словно что-то отпало и у нее от души и исчезло вместе с гробом чужого, но странно близкого, родного человека. Она не плакала, как Макогон, ни слезинки не выкатилось у нее из глаз, но горько скорбела, сама не понимая, что скорбит не по Хоменко. И Макогон лил слезы не по нему. Макогону вспомнилась другая зима, другое бесснежное кладбище, холодный восковой блеск некрашеного соснового гроба, который он сам опускал в промерзшую землю, вспомнились те тяжкие сумерки, когда он возвращался в свой беженский угол с кладбища. А Катерина и этого не знала и не могла представить, как и когда похоронили ее Ивана, в какой земле он лежит, рядом с такими же, как и он, солдатами...

Оркестр в последний раз протрубил свое, музыканты спрятали в чехлы инструменты, люди начали расходиться.

Катерина, прижавшись спиной к какой-то штaketной оградке, видела, как прошла, держа за руки своих детей, жена Хоменко. У детей были испуганно округлены глаза, они все время поглядывали вверх, на мать, на ее побледневшее, окаменевшее лицо, а она неловко ступала меховыми ботинками, не замечая ни детских взглядов, ни людей, ни мира вокруг себя...

Снова группой прошли Макогон, Кубрак и Заяц, о чем-то медленно говоря между собой. Катерина слышала:

— Кого ж к нам теперь назначат?

— Да уж как-нибудь без директора не останемся...

Катерина поискала среди людей глазами, сама не зная, кого ищет, наткнулась взглядом на круглое лицо Оли Ключко — оно выглядывало из заячьей ушастой шапки всеми своими ямочками, как всегда полное внутреннего радостного трепета.

Оля смело прыгала по могильным холмикам, для равновесия размахивая руками в красных вязаных рукавичках, и как-то внезапно исчезла, — и только потеряв ее, Катерина поняла, кого ищет... Уже почти всех знакомых и незнакомых пропустила она мимо себя — только Мусия Горбана не было на похоронах... Катерина сначала удивилась: неужели Мусий что-то имел против Хоменко, раз не пришел попрощаться с ним? А потом с облегчением вздохнула: тяжело было бы Мусию на своей деревяшке идти за гробом через весь поселок...

На буре меж двумя на сосны не похожими соснами закуривали Макогон, председатель завкома и секретарь парткома. Они стояли на тропинке, наклонив головы друг к другу, — загоразивали спичку от ветра, который тут чувствовался и в хорошую погоду.

Катерина хотела обойти их, особенно ей не хотелось встречаться с Макогоном: его торчащий во все стороны бобриковый пиджак и новые хромовые сапоги вызывали в памяти бесчеловечное ее поведение в тот

вечер, когда она возвращалась от больного Хоменко и шипела на старика, как взбесившаяся гусыня... Ей не повезло. Макогон отделился от Кубрака и Заяца, качнул тяжелым телом на тонких ногах и пошел рядом с нею с холма. Кубрак и Заяц не отставали, они тихо говорили о чем-то. Катерина почему-то думала, что они говорят о ней, и чувствовала себя словно под конвоем. Макогон молчал, лишь иногда пофыркивал обкуренными усами. Наконец он заговорил хмуро и некстати:

— Ну, как твои дела, Катерина? Вот мы и Хоменко похоронили.

Чувствовалось, что он хочет сказать совсем не то, что говорит, но не может — или не решается, или не находит нужных слов, — и потому выговаривает эти лишние слова, общеупотребительные в таких случаях слова.

Катерина это поняла, но она не знала, как помочь старику, и молча шла рядом с ним. Может, это было и лучше, потому что есть минуты, когда несказанное слово весит и помогает больше, чем выговоренное вслух.

Стоя над гробом Хоменко и думая про свою покойную жену, Макогон увидел в толпе Катерину, увидел именно в ту минуту, когда скупые слезы выкатились у него из глаз и, холодея, потекли по лицу. Старому Макогону стало стыдно от мысли, что утеху в своем горе и одиночестве хотел он найти около этой молодой сильной женщины, словно могла она своими крутыми плечами вытеснить из его сердца память о минувшей жизни. Он глянул на себя словно со стороны, увидел свою неуклюжую фигуру, свои усы, новый бобриковый пиджак — и ему и горько и смешно стало. Правду говорила Катерина: куда конь с копытом... И хоть выражена была эта правда в такой обидной форме, Макогон не чувствовал себя обиженным. Холодное видение, что промелькнуло в его глазах, когда он стоял на холмике над гробом Хоменко, словно протрезвило его, а то, что Катерина доброжелательно молчала, идя рядом с ним, окончательно успокоило старика: конец, подводим черту, и все теперь будет меж нами, как и должно быть меж людьми, которые понимают друг друга.

Макогон взял Катерину за руку и остановился. Кубрак и Заяц тоже остановились, продолжая говорить о своем.

— Вот это та Катерина, — сказал Макогон, поворачивая к ним лицом удивленную Катерину, — та Катерина, про которую Хоменко наказывал не забывать...

— Да мы ее знаем, — усмехнулся Кубрак, и его круглое лицо пошло частыми добрыми морщинами, — если б и забыли, она своей работой напомнила бы... Молодец, Катерина!

— Ты на нас не сердчай. — Заяц зябко передернул плечами, видимо собираясь что-то объяснить Катерине, но она вспыхнула, как огонь, вырвала руку у Макогона и опростелась прочь.

— Подожди, Катерина, нам же по дороге! — крикнул ей Макогон. Катерина только ускорила шаги.

Зачем ей было так вспыхивать и бежать прочь от этих людей? Они ничего плохого ей не сказали. Катерину поразили слова Макогона о том, что Хоменко наказывал не забывать про нее. Неужели обреченный Хоменко помнил ее до последней минуты? Кто она такая, чем была для него, что он поручил свою заботу живым, зная, что сам уже не сможет заботиться о ней?

Катерина не могла понять того, что существуют люди, которые добровольно, без видимой пользы для себя, берут на свои плечи нелегкую заботу о других, и поэтому она с ужасом и горькой печалью думала, что покойник Хоменко неспроста помнил о ней, что было в его неожиданной заботе то единственное, что, как по ограниченному своему опыту знала

она, может соединять общей мыслью мужчину и женщину... «Зачем же он тогда умер, господи?» — кричала ее душа.

Закрыв глаза, среди бела дня на промерзшем песке площади представила она недавний вечер на кирпичном заводе, вспомнилась и снова обожгла ее сердце неожиданная нежность, которая прижала ее к плечу Хоменко, — и то, что Хоменко не отклонился от нее и шли они некоторое время в молчаливой близости, Катерина истолковала теперь соответственно своему пониманию жизни и человеческих отношений.

За этими мыслями, которые, как буря, бушевали в душе, Катерина совсем не обратила внимания на то, что сказали Кубрак и Заяц. Она будго и не слышала их слов, а в тех словах было все, что могло ей объяснить истинное положение вещей: и то, что имел в виду Хоменко, передавая этим людям свою заботу о ней, и то, что эти люди думали теперь про Катерину, упрямую, неугомонную работницу кирпичного завода, которую нельзя было забыть, потому что она напомнила бы о себе не шумными требованиями, как раньше, а работой, которая уже не только равняла ее с другими, но и выделяла ее среди других...

Именно это имел в виду Карпо Кубрак, а в недоговоренных словах Зайца она могла бы услышать извинение за то, что он был против ее вселения в общежитие, потому что он же еще не знал ее тогда, когда об этом зашла речь, а если и знал, так только такой, какой она была когда-то, а не той, которой становилась сейчас.

Как в тумане дошла Катерина до своего двора.

На крыше землянки сидел Мусий Горбань.

Бородатый плотник сбрасывал с крыши обломки кирпича, придерживавшие куски порванного толя и ржавого железа, которыми он сам когда-то крыл землянку. У землянки лежали обрезки досок, куски ошкуренного тонкого кругляка. Плотник хмуро выбрасывал сгнившее дерево, долго примерял обрезки, подтесывал и прибывал их куда следует не молотком, а по своей привычке повернув топор обухом вниз. Ванюшка, веселый, с разгоревшимися глазами, подавал ему гвозди.

— Мамка, — крикнул мальчик, увидев Катерину, — ты только со двора, а дядя Мусий сразу и пришел!.. Видишь, мы уже кончаем ремонт...

Катерина молча села на кучу кирпича.

— Ну что, похоронили Хоменко? — меж двумя ударами обухом сказал Мусий, словно ничего меж ними не случилось.

— Похоронили, — вздохнула Катерина, теперь поняв, почему Мусия не было на похоронах.

Не отрываясь, глядела она на Мусия, и по лицу у нее текли слезы — не от горечи, а от растроганности. Она не вытирала слез, словно не замечая их, лицо у нее сделалось совсем мокрым, а слезы все лились и лились, и Катерина чувствовала на губах их соленый вкус...

Ванюшка подбежал к матери. Белые брови полезли у него на сморщенный лоб — это он сдерживался, чтоб самому не заплакать. Он начал вытирать матери лицо не очень чистыми руками, она усмехнулась и взялась за уголок платка...

— Таратуше-туше, вот так оно лучше! — стукнул топором Мусий, который все время искоса поглядывал на Катерину. — Суши землянку, а там, гляди, весна, и на душе теплее будет...

Мусий больше ни слова не сказал, подпер изнутри потолок обтесанным стояком, еще и гвоздик в него забил, чтоб было на чем полотенце повесить, сложил в кошелку инструмент и пошел со двора, налегая на деревяшку и как-то непривычно сутуля утомленные плечи.

Катерина собрала обрубки и щепки, которые остались после Мусиевой работы, и растопила в землянке плиту. Огонь загоготал, заговорил с ней пыльным, беспокойным, ей одной понятным языком. Красные, синие и белые языки пламени облизывали, словно зацеловывали, сухие

сосновые обрубки. Катерина засмотрелась на них, сидя на корточках перед плитой. Ее обнимало тепло, словно кто-то брал ее в объятия и живым дыханием согревал веки, щеки, губы...

— Таратуше-туше,— прошептала Катерина Мусиеву присказку,— вот так оно лучше...

Были и дожди, и морозы, и снег укрывал землю, и ясное небо плыло над поселком, и тучи цеплялись за трубу кирпичного завода, и ветры лютовали, вымораживая душу из тела, и пригревало солнышко, и капала с крыши оттепель, словно выбивала на цимбалах звонкую веснянку... И, подобно переменам, которые постоянно происходили в природе, все время что-то менялось в душе Катерины; то замерзала она и сжималась в маленький комочек от одиночества и однообразной ежедневной суетни, то рвалась и металась, не находя отдыха и утехи, то внезапно будто отогревала ее надежда, начинала она что-то напевать, беспокойная душа Катерины, живая душа, которой надо было жить... Чтоб жить, надо было биться за жизнь,— ни на день,— ни на час не прекращалась битва,— но Катерина уже понимала, что старое ее оружие притупилось и не годится для этой битвы; она настолько изменилась, что даже с виду трудно было узнать в ней ту Катерину Коломийченко, которая и за спичками в магазин шла, словно в атаку на врага. Сонька готовила уроки и спала в соседкиной теплой хате, а она с Ванюшкой — в отремонтированной и прогретой землянке. Торфу ей привезли на заводском грузовике, когда она была на работе. Она бы и не знала, кто это позаботился о ней, если б Заяц не остановил ее как-то на заводском дворе.

— Не мерзнешь, Катерина?

— С людьми не замерзну.— Катерина теплыми глазами глянула на него, покраснела и добавила совсем тихо: — Спасибо...

Заяц по своей привычке передернул плечами, словно ему было холодно.

— Поставь свечку Хоменко. — Повернулся и пошел, сам не зная, какую бурю подняли его слова в душе Катерины.

И теперь не спускает с нее глаз Хоменко. Хоть давно уже закрылись, погасли те глаза, а он смотрит на нее из своей темной дали, следит, делает вид, что заботится о ней, на самом деле держит на коротком поводке, потому что не верит ей... И им сказал перед смертью, чтоб не верили: ведь она доску утащила... Стыд и ужас охватили Катерину. У нее потемнело в глазах, словно сразу надвинулась ночь, та черная ночь, когда она, укрывшись доскою, притаилась у стены директорского домика, а звяканье разбитого стекла, не смолкая, все время отзывалось в ушах...

Она догнала Заяца у конторы, схватила за плечо и повернула к себе так, как это могла бы сделать не теперешняя, а прежняя, несдержанная, неистовая Катерина.

— Говори, за что я должна ставить свечку Хоменко?!

Заяц удивленно поглядел на Катерину и движением плеча освободился от ее тяжелой руки. У конторы стояла вкопанная в землю скамейка. Заяц сел и кивнул Катерине головой, чтоб садилась. Он долго крутил сигарку, пальцы у него были обожженные, черные, махорка сыпалась мимо бумажки... Заяц, устав от бесплодных усилий, скомкал бумажку и отбросил вместе с махоркой.

— Свечку там не свечку, а благодарить его должна... Сама знаешь.

— Что он вам наврал про меня?

Неразумная злоба шевелилась в ней. Заяц смотрел на ее побелевшее лицо, на поджатые губы, дрожащие от волнения, и не мог понять, что с ней делается.

— Перед смертью не брешут, а он и всю жизнь говорил правду... Хоменко человека насквозь видел... Мы пришли к нему в больницу — Макогон, я и Кубрак,— он уже одной ногой там был...— Заяц кивнул



головой куда-то в сторону, словно хотел показать, где именно находится это «там». — Говорили обо всем... На прощание... говорит Хоменко: если не забудете Катерину Коломийченко, из нее человек будет... Может, соврал? Тебе виднее.

Заяц снова попробовал скрутить сигарку, и снова табак сыпался мимо бумажки, обожженные, искалеченные пальцы не гнулись. Он покрутил головой и шепотом нехорошо выругался... Катерина взяла у него из рук бумажку, ловко скрутила сигарку, поднесла ему ко рту заклеить и спросила:

— Чего у вас руки дрожат?

— Контузия, так его, Гитлера, за ногу.

И весь день до вечера и долгую ночь, которую она пролежала в полусне, Катерина видела перед собой контуженного, маленького, словно подросток, председателя завкома и слышала его голос, неторопливый, резковатый: «Ты думаешь, я всегда был такой? Я орел был. Мы с Кубраком на одном танке почти всю войну прошли, в одном бою нас поранило, в одном госпитале лежали, вдвоем и за ваш завод зацепились... Он с Херсонщины, я из Лебедина. Не все равно, где работать?.. Люди везде нужны. Ты у Карпа спроси, он тебе расскажет, кто такой Заяц...»

Катерина проснулась задолго до гудка, быстро оделась и не пошла — побежала на завод. Мартовский рассвет приморозил песок и тоненько застеклил лужи. На пруду у завода вздулся лед, изрезанный санками и самодельными коньками поселковой детворы. Гудок просверлил утреннюю тишину, когда Катерина входила в проходную. Наконец! На доске не было ни одного номерка, рыжая табельщица в зеленом берете сонно глянула на Катерину и покрутила головой — что, этой Катерине больше, чем другим, нужно? Но Катерина не обратила на нее внимания. Легкой походкой, словно и не касаясь земли, она шла к печам — первая!.. Другие придут, а она уже тут, готовая к работе, бодрая и свежая, как никогда! И только где-то по краешку сердца прошел холодок — если б Хоменко мог видеть ее из своего «там», на которое кивал головой Заяц... Заяц увидит, и Кубрак узнает — ему расскажут, — и Макогон будет знать, но ей не хватало Хоменко, большого Хоменко, который человека насквозь видел, и ее насквозь увидел, и в ней то хорошее, искреннее, правдивое, о котором она и сама не знала до встречи с ним...

Оля Ключко чуть не упала от удивления, когда пришла на работу и увидела, что Катерина ее опередила. Ее ямочки и бесики словно окаменели на миг, а потом брызнули во все стороны искрами и смехом. Оля не стояла на месте, она то снимала, то надевала брезентовые рукавицы, поправляла платок на голове, прыгала и кружилась вокруг Катерины.

— Всех перескакнула! Молодец, Катря! Ну давай, мы им сегодня вклеим!..

Им — это значило всем другим работницам, которые работали у печей, но Катерина никому не собиралась «вклеивать», она об этом не думала, никого не хотела «перескакивать», то есть опережать. То, что она пришла сегодня раньше других на работу, произошло из внутренней потребности, которая постепенно вызревала в ней и была важна для нее самой. Это ставило ее вровень со всеми другими, делало ее настоящей работницей, которая уже для себя думает о своей работе, потому что эта работа стала частью ее собственной, не только для работы, но и для счастья созданной жизни. И самое главное во всем этом было то, что теперь в мыслях о работе Катерина так же чувствовала свое счастье, как и в заботах о детях, о своем завтрашнем дне, о людях, которые ее окружали, любили или не любили, — жизнь обступала ее со всех сторон, такая широкая и яркая, несмотря на свою будничность, что самые мысли о жизни, о ее боли и радости, были для Катерины тоже счастьем.

Кончилась зима, земля размораживалась, там и сям под заборами сквозь почерневшие, истлевшие, перепутанные стебли прошлогодней травы уже пробивалась светло-зеленая, молодая и свежая травка. Черные вишневые деревья, которые, казалось, превратились в скелеты, неожиданно покрылись большими коричнево-зелеными почками, в каждой из них спало близкое цветение... Большой старый куст черной смородины у Катериной землянки за одну ночь распустил скорченные лапки морщинистой бугристой листвы, закудрявился и выбросил длинные сережки бледного цвета — ему надо было совсем мало света и тепла, чтоб начать таинственную работу вынашивания плода, и он начал ее первым.

В воскресенье Катерина проснулась с удивительным, тревожным и радостным чувством. Ванюшки уже не было в землянке, Сонька спала у соседки. Всегда полутемное, угрюмое ее жилье было заполнено прозрачным светом; неизвестно откуда пробивался он под низкий потолок и окутывал все ровным, спокойным сиянием. Катерина вышла на порог и увидела, что старая расколотая груша в соседском дворе стоит вся словно выкупанная в молоке, покрытая щедрым цветом, который прячет все ее раны, все обломанные и скрученные ветрами ветки и заскорузлую, словно пересохшую расселину на стволе, по краям уже затянутую полукруглым рубцом серовато-седой коры...

На сухом, нагретом солнцем пригорке лежал полосатый соседский кот Хомка. Перед Хомкой сидел на корточках Ванюшка.

— Ну и лентяй же ты, Хомка! Тебе только есть да спать... А на работу когда, Хомка?

Полосатый Хомка недовольно шевелил кончиком хвоста и, жмурясь, мурлыкал, словно отвечал: «А отстань ты от меня... Сегодня же выходной!»

Мальчик старался расшевелить Хомку, водил перед носом, кота поднятой с земли почерневшей соломинкой, но кот закрыл глаза, потянулся изо всех сил и зевнул, показывая тонкий розовый язык, — губы и небо у него были черные.

— Эх ты! — солидно сказал Ванюшка. — Хома-Хома, а разума нема...

Катерина засмеялась, взяла лопату и грабли и пошла перекапывать свой огородик, который начинался сразу же за сложенной в прошлом году коробкой ее новой хаты. Ничего, выстояла коробка зиму, не развалилась, да что с того? Выдержала дожди, так растрескается от жары... Легкая печаль уколола Катерину в сердце, она надавила ногой на лопату, подняла и отбросила прочь осколок стекла и в эту минуту услышала грохот грузовика, который как будто остановился у ее двора... Коробка заслоняла от нее улицу, да ей и не хотелось знать, кто и почему остановился, — может, какому шоферу надо долить воды в радиатор, как раз через дорогу и колодец с воротом.

— Мамка, мамка! — услышала она отчаянный вопль Ванюшки и, мигом бросив лопату, выбежала из-за коробки. Прижав руки к груди, круглыми глазами Ванюшка смотрел на груженную лесом машину, стоящую посреди двора.

Из кабины вылез угрюмый шофер Миша. Не глядя на Катерину и не здороваясь, он начал снимать крюки, на которых держались борта грузовика.

— Что это? Кому это? — Не веря своим глазам, Катерина подбежала к шоферу.

— Отойди, — сказал Миша и опустил борт.

Свежий сосновый кругляк с грохотом покатился с грузовика.

— Кому, как не тебе... — Прячась от радостных глаз Катерины, Миша сбрасывал бревно за бревном с грузовика. — Не нашли кому другому поручить... Как будто я один шофер на свете...

Во дворе уже оказались и Сонька, и соседка с мужем, и неизвестно откуда взялся Мусий на своей деревяшке. Он, должно быть, что-то знал, а то зачем ему было принести кошелку с инструментом? Только она ничего не знала, только ей ничего не сказали... А если б у нее сердце разорвалось от радости? На черта был бы тогда нужен этот лес, этот пахучий кругляк...

— Ванюшка, Сонька, бегите в лавку, принесите пол-литра...

— Что ты, Катерина, не надо,— смутился Миша, его рябое лицо с пересохшими, как всегда, губами огнем залилось под кожей.— Я ж по наряду, а не то что...

Он потер ладонями щеки, словно хотел притушить свое смущение. Ванюшка и Сонька не успели выбежать за ворота, шофер сел в кабину, фыркнул мотор, и машина задом выехала на улицу.

А Мусий Горбань уже топтался вокруг коробки, крутил головой, пуская клубы дыма в бороду, и мерил кругляк желтым складным метром. Метр так красиво разводился и складывался у него в руках и так горячо блестел, что Ванюшка не мог оторвать от него глаз, словно от какого-то дива-дивного. Блеснул топор в руках у Мусия — он наискось насекал дерево, потом, как бритвой, легко стесывал, сколько ему было нужно, пахучие щепки покрывали землю вокруг, а Катерина стояла, растерянная и ошеломленная тем чудом, что творилось в ее дворе... Она то хваталась обеими руками за голову, то проводила ладонью по лбу, словно проверяя, не сон ли ей снится, не исчезнет ли это видение с глаз так же внезапно, как и появилось... Нет, Мусий сверкал и постукивал топором, щепки отлетали и падали на землю, солнце золотило и серебрило их, и кругом был такой праздник тепла, пьянящего воздуха, голубого неба, что женщина боялась вздохнуть, чтоб не нарушить своим дыханием торжественности и счастья этого праздника...

Под осень, когда детям уже снова надо было идти в школу, осунувшаяся, но счастливая Катерина выметала сосновую стружку из новой хаты, где Мусий только что кончил настилать пол.

Мусий сидел во дворе на груди уже не нужного половняка, вытянув вперед деревянную ногу. Кошелка со сложным инструментом стояла рядом. Дым путался в рыжей бороде плотника. Мусий разглядывал свои тяжелые руки и крутил головой, словно удивлялся, что именно эти негибкие, заскорузлые, в вечных мозолях руки сделали такую работу.

Катерина вымела стружку за порог, Ванюшка и Сонька подхватили ее и понесли в угол двора, где складывалось всякое топливо.

Катерина разогнула спину. К ней подходил, держа кошелку с инструментом, Мусий Горбань. Он остановился, снял шапку и, глядя на ее исхудавшие плечи, на обожженное трудом и счастьем помолодевшее лицо, сказал:

— Ну что ж, Катерина Николаевна, и на Тихом океане свой закончили поход?

Сонька и Ванюшка, возвращаясь за новой охапкой стружек, увидели, как их неистовая мамка ступила с порога и уткнулась лбом в плечо Мусия.

*Перевела с украинского А. Громова.*



---

---

## НИКОЛАЙ НОВОКШЕНОВ

\* \* \*

Бывает, сил не соразмерив,  
Мы в пору юношеских грез,  
В судьбу особую поверив,  
О славе думаем всерьез.

Но вот, перебирая ворох  
Ушедших безвозвратно лет,  
Заметишь вдруг, что скоро сорок,  
А ведь заслуг особых нет.

Ту страсть, что сердце бередила,  
В пути до капли расплескал...  
Зато, не выбившись в светила,  
В труде ты радость отыскал.

И пусть от времени, как зори,  
Тускнеют молодости сны.  
Есть чувства прочные, в которых  
Ни дни, ни годы не вольны.

И сколько б ни осталось жизни —  
Полвека, четверть или треть, —  
Огонь любви к земле Отчизны  
Не может в сердце догореть.

Отчизна — мать. Как сын, ей дорог  
И тот, кто славой был богат,  
И тот, кто, доживая сорок,  
Свой труд простой отдать ей рад.

И нам никто не скажет: мало.  
Мы принесли посильный вклад —  
Ей наша жизнь принадлежала.  
В шестнадцать. В сорок. В шестьдесят.

Негневичи,  
Гродненская область.



---

---

БЕРДЫ КЕРБАБАЕВ

★

## В ГОРАХ БОЛЬШОГО БАЛХАНА

Заветным желание было одно,  
И сбыться ему наконец суждено.

На запад лежит предо мною дорога,  
К Большому Балхану дорога ведет,  
К долинам, ущельям его и отрогам,  
К вершине, что держит главой небосвод.  
Дорога зовет и торопит: «Спеши!  
Бродить по горам — наслажденье души».

Давно ли сюда караванная тропка,  
Неверная, узкая, в скалах вела  
Лишь вьючную лошадь, ступавшую робко,  
Порой ишака да худого мула.  
Теперь здесь слышны шоферов голоса,  
И виден узорчатый след колеса.

\* \* \*

Похожи на волны застывшего моря  
Большого Балхана крутые хребты.  
Арча покрывает, взбегая на взгорье,  
Раскидистой хвоей и мох и цветы.

Подходишь с опаскою к краю стремнины.  
И кажется гладким зеленым столом  
Широкое дно травянистой долины —  
Готовый, естественный аэродром.  
Несметные выкормить можно стада:  
По склонам в избытке и корм и вода.

Там вьется ручей, как серебряный пояс,  
Как глаз журавлиный, прозрачен и чист;  
Там перепела, о птенцах беспокоясь,  
В лугах поднимают и гомон и свист;  
Там легкие сны навевающий мак,  
Качаясь под ветром, цветет на холмах.

Ах, ветер долины! Седин моих нежно  
Касается он голубым гребешком.  
Бодрит он меня, и готов я, как прежде,  
В дом друга идти сквозь пустыню пешком.  
Что солнечный луч! Здесь и камень простой  
Весь полон особой к тебе теплотой.

Так, радуясь запахам, краскам и звукам,  
Шагаешь легко все вперед и вперед.  
Ты вырос, и кажется: вытянешь руку —  
И сядет к тебе на ладонь самолет.  
Сдается, здесь медленней времени бег,  
Здесь край долголетия найдет человек.

\* \* \*

Узбой полноводный в извилистом русле  
Одной из долин здесь до Каспия тек.  
Бал-кан называли его, а по-русски  
Бал-кан — это значит медовый поток.  
Стояли сады по его берегам,  
Отары паслись по зеленым лугам.

Но воды потока иссякли однажды,  
Заткали ту землю полынь да курай,  
И голой пустыней, томимую жаждой,  
Стал некогда щедрый и ласковый край.  
Под толщей своей хороня города,  
Песок наступал — за грядую гряда.

Лишь мертвое русло большого потока  
Случайному гостю напомнит порой,  
Как в звонкую чашу рубиновым соком  
Гранат истекал здесь, хрустя кожурой.  
Теперь не сады, а мираж перед ним  
Бежит, исчезая, как розовый дым.

Но руслу сухим оставаться недолго:  
К Узбою советский пришел человек —  
Строитель, Мургаб покоривший и Волгу,  
Течение сибирских меняющий рек.  
За ним, как верблюды на веревке, сюда  
Покорно придет голубая вода.

Срок близок, когда в Каракумском канале  
И здесь зазвенит и заплещет она.  
И, вспомнив, какие им пройдены дали,  
Строитель напьется ее допьяна.  
Сладка она будет, как сотовый мед,  
Живою водой он ее назовет.

Балхан, довелось повидаться с тобою.  
С вершины я дали твои оглядел  
И счастлив твоею завидной судьбою,  
Мой край непочатых событий и дел.  
Целую я камни твои, и ключи,  
И свежие хвойные лапы арчи.

*Перевел с туркменского Ю. Гордиенко.*



---

ДЖОН УЭЙН

★

## СПЕШИ ВНИЗ

*Роман\**

**Н**а следующее утро за кофе Роза рассказала ему содержание фильма, который она видела накануне вечером.

— А что вы делаете в свободное время? — спросила она, кончив рассказывать.

Он заставил себя выйти из угрюмого оцепенения и посмотрел на нее. Она встретила его взгляд спокойно, но он заметил, что сдержанное волнение, которое он стал замечать в ней, проступало сильнее обычного. Во всяком случае, он понял ее вопрос как приглашение. Она готова была «гулять» с ним. Он не знал, пользуются ли еще девушки вроде Розы этим выражением. Он встречал его только в романах из сельской жизни викторианской эпохи. Но сам по себе обычай этот сохранился, в этом он был уверен. Десяток посещений кино, потом воскресный послеобеденный чай в доме ее родителей — и они будут считаться женихом и невестой, а потом... Ну что ж, а почему бы и нет? Чем его жизнь будет хуже жизни Бёрджа, сочетавшегося с землистоллицым, длиннозубым порождением Роудина или Чельтенхема<sup>1</sup>.

— Я плохо распоряжаюсь своим свободным временем, — сказал он, — но это можно исправить, было бы с кем. А ваш досуг, должно быть, строго расписан?

Она была явно недовольна: «расписанный досуг» был слишком замысловатым введением для обязательного в таких случаях вопроса. Поспешно он изменил редакцию:

— А что если нам прогуляться как-нибудь вечером?

Лоб ее разгладился.

Задребезжал звонок, и на доске появился номер.

— Это мистер Брэйсуэйт вызывает, — сказала она, чисто по-женски уклоняясь от немедленного ответа на его вопрос.

— Я спросил: не прогуляться ли нам вместе? — настойчиво повторил Чарльз.

— А что мы будем делать? — спросила она.

— Все, что захотите.

Вошла старшая сиделка.

— Кто-нибудь собирается отозваться на этот звонок? — осведомилась она.

— Да, — сказала Роза, выходя из комнаты.

Сиделка сочла это ответом на свой вопрос, но Чарльз понял, что это значило: да, она пойдет с ним гулять. Ободренный и успокоенный, он вымыл кофейные кружки и отправился выполнять свои обязанности.

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 8, 9 с. г.

<sup>1</sup> Известные женские колледжи в Англии.

— Вы всегда работали в больницах, мистер Ламли? — спросил богатый пациент, казавшийся в ворохе взбитых подушек тоньше бумаги и серее кофейного боба.

— Нет, — ответил он, орудуя щеткой. — Я работал до этого шофером по перегонке экспортных машин. Зарабатывал хлеб за баранкой.

Мистер Брэйсуэйт, казалось, обдумывал его ответ.

— А вы оставили эту вашу профессию и поступили сюда потому, что... мм... это соответствовало вашим интересам?

— Да нет. Я находился тут на излечении и поступил сюда потому, что не предвиделось другой работы.

Фабриканту, казалось бы, должно было не понравиться такое безразличие и отсутствие инициативы у молодого человека, но взгляд, который он бросил на Чарльза из-под своих мохнатых седых бровей, был даже чуть-чуть завистлив. «Вот что значит быть свободным! — как будто говорил он. — Можно браться за любую работу, которая тебе подвернется! А ведь я-то всегда считал, что нет ничего страшнее этого на свете!»

— Так вы, значит, были без работы? — произнес он зловещие слова.

— Да. Но только это меня не очень заботило. Всегда подвертывается что-нибудь подходящее, надо только отказаться от мысли, что ты пригоден только к одному виду работы.

Он собрал свои щетки и собирался уйти.

— Вам ничего не потребуется, мистер Брэйсуэйт?

— Да, потребуется, — с неожиданной энергией заявил этот хрупкий, обессиленный человек. — Я хотел бы знать, какой жизненный опыт научил вас безразличию в таких важных вопросах, как выбор работы? Что-то должно было случиться с вами, иначе вы не стали бы таким непохожим на ваших сверстников. Те, кто говорит так, обычно не более как бездельники, живущие за счет других, а вы не бездельник. Но я не спрашиваю вас об этом. Я просто не имею права задавать вам вопросы личного характера. Но если вам самим захочется, расскажите мне об этом когда-нибудь.

Чарльз оперся на щетку.

— Сначала ответьте мне вы. Почему вы проявляете ко мне такой интерес? Я плохой наблюдатель, но мне кажется, что вообще вам не свойственно ни любопытство, ни даже простейший интерес к другим людям. Но что-то заставило вас расспрашивать санитаря, который убирает вашу палату. Причины этого кроются во мне или в вас?

Мистер Брэйсуэйт закрыл глаза. Он казался неправдоподобно слабым. Чарльз представлял себе, как почти неощутимо пульсирует кровь в тонких жилках его опущенных век. Больной упорно думал о чем-то для него новом, и это было утомительно.

— Таких причин две, — наконец сказал он. — Мне еще не приходилось так долго лежать в постели, когда уже не о чем думать. Сначала я думал о вещах, деньгах, о своем доме и тому подобном. Но это была просто привычка. Теперь я думаю о людях, но, когда я пробую думать о людях, которых знал в прошлом, я убеждаюсь, что не могу ничего вспомнить о них. Я, собственно, никогда никого не замечал. Не замечал, какие они были, разве что отмечал: вот хороший делец, это надежный служащий, а тот серьезный соперник. Вот и женщины тоже, — добавил он медленнее и на минуту замолчал.

— А вторая причина?

— Вторая причина — это то, что вы от меня ничего не хотите.

— Вечно болтовня, болтовня, болтовня, пересуды, пересуды! — сказала старшая сиделка, входя с подносом, заставленным хирургическими инструментами и перевязочным материалом. — Хотела бы я быть на вас похожей. Только и дела, что болтать с утра до вечера, опираясь на щетку.



Чарльз ушел, но перед тем на мгновение глаза его остановились на лице мистера Брэйсуэйта с явным уважением. Может быть, слишком поздно этот человек додумался до начатков мудрости, но лучше поздно. Плотная повязка на его глазах начинала разматываться: он начинал что-то различать.

Они с Розой поднимались по широким каменным ступеням. На лестнице, у входа, на улице перед дансингом — всюду теснилась молодежь. Молодые люди большей частью в синих или коричневых костюмах и остроносой обуви, но кое-где мелькали пестрые шерстяные пиджаки и пестрые джемперы, тупоносые туфли, кое у кого замшевые. «Синие» и «коричневые» носили пышные прически, и густо напомаженные коки обрамляли их лоб; «пестрые» плоско заглаживали волосы назад, без пробора, или вовсе состригали их и оставляли только низенький ежик. Они стояли, зажав сигарету в ладони, словно пряча ее. Когда они подносили ее к губам, казалось, что они обкусывают ногти. Некоторые из них в рубашках с кричащим рисунком, означавших то, как они представляют себе Америку, широко распахивали свои длинные пиджаки. Среди девушек не было такого резкого различия в одежде, и держались они все примерно одинаково.

Когда Роза вышла из туалетной комнаты, Чарльз повел ее в танцевальный зал. Он заплатил за вход по полтора шиллинга, и они вошли. Джаз только что закончил танец и молчал, большой зал был заполнен публикой, прогуливавшейся взад и вперед, и все стулья по стенам были заняты. Табачный дым клубами поднимался к ярким лампам на потолке. Чарльз и Роза стояли возле двери. Он молчал, поглощенный наблюдениями. Вот такие вечера в городских танцевальных залах были главным развлечением миллионов его сограждан британцев в возрасте до тридцати лет, а он ни разу до сих пор не бывал на них. Роза кивала знакомым. Она, должно быть, посещала танцы в этом зале каждую неделю уже с пятнадцатилетнего возраста. Как много и как быстро нужно ему заметить и воспринять, чтобы научиться говорить ее языком!

Вдруг застонал и загрохотал джаз, и мгновенно толпа пришла в движение. Но Чарльз не спешил, он приглядывался к публике, боясь, как бы не нарушить чем-нибудь установившегося здесь сложного ритуала. Он заметил, например, что стулья, расставленные по стенам, не опустели с началом танца. Наоборот, примерно треть присутствующих расступилась и образовала плотный круг глубиной в три-четыре ряда, кольцо внимательных глаз вокруг блестящего паркета, по которому шествовала торжественная процессия. Сама процессия двигалась в сложном и замысловатом порядке. Внутренний круг был малоподвижен, внешний — более оживлен, а в каждом углу под табличкой «Без непристойных кривляний!» находились пары, вовсе не сдвигавшиеся с места. Они стояли лицом друг к другу и извивались всем телом, имитируя, каждый по-своему, крайнее сексуальное возбуждение. Иногда эти пары принимались танцевать обнявшись, но обычно они держались на расстоянии и только через строго установленные интервалы протягивали друг другу руки.

Начали танцевать и они с Розой. Он сейчас же понял, что она в него влюблена. Он не сумел бы точно определить, в чем это выражалось, но ошибки быть не могло. Они прошли через внешнее кольцо и, оказавшись между двумя кругами танцующих, включились в гипнотическое раскачивание и скольжение. Чарльза слегка ужасало (ужас — острое чувство, но тем не менее его можно испытывать в слабой степени) то, что, насколько не взволнованный влюбленностью Розы, он преспокойно принимал ее, просто как приятное ощущение, завершающее вечер и исполняющее благополучный ход событий. Он не спрашивал себя, что ему делать, просто он бездумно плыл туда, куда его уносил поток, а потоком

этим сейчас была Роза, точно так же как месяц назад была больница, предоставившая ему материальное и моральное покровительство в обмен на его возню с ведрами и щетками. Очевидно, такой уж период дрейфа он переживает, период напряженных усилий для него закончился, а его начальная бунтарская фаза была уже где-то очень далеко. По течению! Оркестр ритмически бухал ему в уши, вибрация доходила даже через подошвы, скользившие по блестящему паркету. Роза в его руках переставала быть конкретной личностью, становилась безликим существом, но таким сильным, влекущим и направляющим его в ту же сторону, что и музыка, и душный воздух зала, и глубокая-глубокая усталость и примиренность где-то в тайниках его сознания. Плыть! Он будет плыть по течению, и если ему суждено соскользнуть вместе с потоком со скалы, ну что ж, по крайней мере вода, бурлящая внизу, не менее чиста, чем наверху, и он не захлебнется на этот раз при падении.

После окончания танцев он проводил Розу домой по душным улицам, мимо низких коричневых зданий. Дома все были на одно лицо, и все же они были единственными и любимыми для их обитателей. Ночь стояла теплая, и насквозь взмокшая рубашка приятно холодила разгоряченное тело. Роза держала его за руку и молчала. Чарльз видел, что и такой, безучастный и холодный, он доставлял ей одну из незабываемых минут жизни. Этот вечер будет проблеском света, который вспыхнет в ее памяти, когда старухой, сидя у чьего-то очага, она будет вглядываться в длинные темные коридоры прошлых лет. Он знал, что, когда они подойдут к дверям ее дома, он должен поцеловать ее.

Фонари были редки в этом квартале, и дверь, у которой они остановились, скрывала широкая полоса тени. Не говоря ни слова, Роза сняла шляпу — жест, который точно выражал ее и своей застенчивостью, и естественностью, и прямотой. Он означал, что сейчас она войдет в дом и что прогулка окончена. Она посмотрела на простую дощатую дверь без звонка или молоточка и не торопилась постучать или отпереть ее.

Когда он ее поцеловал, она слегка вздрогнула, но сохранила свое обычное выражение силы и спокойствия. Обняв девушку на мгновение, он почувствовал упругую плотность ее тела и то, как уверенно и устойчиво держат ее на земле сильные ноги. Но по-прежнему спокойно, потому что это не принижало и не возвышало его в собственных глазах, он просто испытывал умиротворенное и утешительное чувство, словно его наконец привели туда, где он и должен быть. Он добрался, может быть и не домой, но к тому дому, где его примут и дадут спокойно укорениться до того дня, когда он и сам признает этот дом своим.

Это было в четверг, а в воскресенье они поехали автобусом за город. Еще не выехав за его границы, Роза увидела в окно нечто вроде ярмарки на грязном пустыре.

— Знаете что, пойдёмте на ярмарку, — горячо сказала она. — Я не каталась на карусели с тех пор, ну, словом, когда я еще была совсем ребенком.

— Вы и сейчас ребенок, — сказал он.

Она с радостью принимала любое его замечание, которое можно было так или иначе истолковать как комплимент, и сияла, когда они сошли на следующей остановке. Кондуктор кисло посмотрел на них, потому что, купив билеты за шесть пенсов, они проехали всего лишь на три, а это не укладывалось в его представлении о порядке.

На ярмарке Роза была прелестна. Если нужно было чем-то подтвердить, что решение его правильно, ее лучшего нельзя было желать. Ее простодушная живость, ее способность взахлёб наслаждаться маленькими, но милыми ей радостями проявились тут полностью. Он, казалось, позабыл про те три-четыре жизни, которые уложились в его двадцать

три года, и сбросил груз своих лет. Они скакали круг за кругом на пучеглазых деревянных конях, сбивали растрескавшимися деревянными шарами, напоминавшими кокосовые орехи, тяжелые чугунные кегли, хохотали, напяливая друг на друга бумажные колпаки. На Розином было написано: «Поцелуй меня, моряк!»

— Я не моряк,— сказал он и поцеловал ее.

Глазевшие на них ребяташки захолопали и засмеялись, а Роза с приторным гневом прогнала их. Они смотрели, как продавец сыпал в центрифугу сахар, а появлялся он в виде ваты, и ее намотали им на расщепленные палочки.

— Не занозите язык,— серьезно предостерегала Роза.

Время проходило так, как и должно было проходить,— бездумно, не оставляя никакого осадка.

Потом они пили чай в ее семье; сначала это представлялось ему пыткой, но первая половина дня привела его в такое розовое настроение, что он охотно согласился. И новое счастье с Розой, и неулегшееся раздражение после вечеринки у Бёрджа, и даже недавний необычный разговор с мистером Брэйсуэйтом — все подготовило Чарльза к тому, чтобы со спокойной уверенностью выдержать и это испытание.

Было около пяти часов, когда Роза постучала в дверь своего дома. Им тотчас же отперла другая Роза, но только лет на двадцать пять старше. Коренастая, с морщинами около глаз и у рта, с тяжелыми плечами и руками — не очень-то приглядная,— но с тем же выражением живости и энергии. Если Роза будет такой через двадцать пять лет, ну что ж, это его устраивает. К тому времени и сам он будет не очень-то казист.

Мать Розы сказала, что рада его видеть. Он сказал, что рад видеть ее. Она явно облачилась в воскресное платье, но то, как она держалась в нем, указывало, что дело тут не только в воскресенье.

Прихожей не было, входная дверь вела прямо в гостиную, пустоватую и чопорную, с большими фотографиями в посеребренных рамах, подавляющими незатейливую мебель. Располагая всего двумя комнатами первого этажа на всех, они одну выделили под музей: да, это Англия!

Чарльз увидел отца Розы, только пройдя в заднюю комнату. И здесь никаких уступок. Это был послеобеденный воскресный отдых, и отец Розы проводил его, как и всегда, в кресле у камина, с развернутыми листами «Со всего света» на коленях и в глубоком сне. Без сомнения, жена уждала его хоть для такого случая надеть воротничок и галстук, но без успеха. Он сидел в кресле, моргая и еще не вполне придя в себя. Стук в дверь и появление Чарльза вместе с дочерью разбудили его, но он еще окончательно не проснулся. И все же он не ударил лицом в грязь. Его подтяжки натянулись, когда он подался вперед в кресле, его тяжелые усы распушились, когда рот приоткрылся в улыбке, и с неподдельной приветливостью и достоинством он пригласил Чарльза располагаться как дома.

— Чайник как раз вскипел. Где Стэн, отец? Мыждемся его, а потом сядем пить чай,— сказала мать Розы.

— Если ты не знаешь, где Стэн,— ответил глава семейства, помешивая угли в камине,— меня не спрашивай. Я не заметил, как он ушел. Должно быть, вздремнул. Это, знаете, со мной бывает по воскресеньям да за газетой,— добавил он, обращаясь к Чарльзу.

Чарльз сказал что-то подобающее случаю, и в эту минуту со двора вбежала маленькая девочка.

— О Глэд! — вскричала Роза. — Опять ты играла на набережной?

Девочка не ответила и застыла, уставившись во все глаза на Чарльза.

— Опять на набережной? — подхватила мать Розы, возвращаясь из кухни с заваркой. — Сию же минуту повернись, Глэдис! Так я и знала. И сколько раз я должна говорить тебе, дочь моя... — и т. д. и т. п.

Все еще не обращая на них никакого внимания, Глэдис не двигалась, упорно разглядывая гостя.

— Сию же минуту наверх! — Казалось, что Глэдис все должна была делать сию же минуту. — Отведи ее, Роза, милочка. И заставь ее переодеться...

И шу-шу-шу о чем-то, чего не должен был слышать Чарльз.

— Чай готов, мама? — спросил парень с лоснящимся прыщавым лбом, выходя из комнаты-музея. — Здрате, — сказал он Чарльзу.

Это был Стэн. Последовало несколько минут бессвязного разговора, в то время как Роза наверху приглядывала за «шу-шу-шу». Выяснилось, что Стэн был у Ленни и что Уилфу повезло на этой неделе перемениться на субботу, а что Джеффу и Арну угрожало увольнение еще до того, как их дела будут разобраны в арбитраже. Ни один из приятелей Стэна не носил односложных имен прежнего типа — Джек или Боб; беспечные родители дали им у купели несообразно длинные имена, и теперь они сами укорачивали их с дикарским упоением.

Чарльзу нравился отец Розы и не нравился Стэн. Он испытывал разочарование не столько от того, каким Стэн был сейчас, сколько в предвидении того, чем он станет в будущем. Стэн явно старался «выйти в люди» и вырваться из сферы чисто физического труда. Отец его был десятником или мастером на каком-то кирпичном заводе или карьере — каком именно, Чарльзу было не ясно, — и Стэн хотел подняться чуть выше. А та среда была, во всяком случае, гораздо менее чистоплотной. В шестьдесят Стэн не обретет ни грубоватого добродушия, ни подлинного достоинства своего отца, и уже сейчас он с азартом усваивает технику дешевой моды. Он, например, говорил совсем другим языком — это был разговорно-английский язык середины двадцатого века, беглый, невнятный, в основном городской и по духу своему чисто американский диалект. В отличие от него приятно было слышать речь отца, сформировавшуюся вместе с другими привычками еще до тысяча девятьсот четырнадцатого года. Последнее обогащение его словаря происходило в окопах, и легкий налет армейского языка тех лет придавал его говору особую колоритность.

Правда, говорили они с ним не так уж много. Роза привела сверху Глэдис, последние приготовления к чаю были закончены, и они сели за стол. Стэн еще до этого закурил дешевую американскую сигарету и курил ее, поглощая ветчину с пикулями. Дым относил прямо в лицо Чарльзу, и глаза ему щипало. Никто не видел в поведении Стэна чего-то необычного. В самом деле, Чарльз скоро понял, что основным правилом, которым здесь руководствовались за столом, было совершать как можно больше одновременных действий. Почти непрерывно здесь наливали, передавали, размешивали, пили чай: а почему же за чаем нельзя курить?

Разговор вертелся вокруг новостей Стэна. Не то чтобы это были сплетни, но он работал в парикмахерской и знал все обо всех. Он был подручным у мастера, державшего преуспевающий салон тут же, в их квартале, и все обитатели близлежащих улиц оставляли там и последние новости и всю оценку их вместе с волосами, подметать которые входило в обязанности Стэна. Чарльз уже видел, как через несколько лет Стэн откроет собственное заведение, безвкусно пышное, но грязное, с объявлениями о резиновых изделиях между рекламами жидкого мыла для волос.

— А как там Сэм Болтон управляется со своими голубями? — спросил отец.

— Понятия не имею. Но Лэс говорил вчера, что от этих толстозобых одно беспокойство. То и дело залетают в окна спальни.

— Я ему советовал завести новых. Ничего у него не получится от тех же самых. Так я ему и сказал.

Стэн не ответил. Интересы их не совпадали потому, что отец обычно спрашивал только о людях своего поколения, которые Стэну до смерти наскучили.

— А как, прошла спина у его матери? — спросила Роза. — А то мы устроили бы ее в нашу больницу.

— Понятия не имею, — буркнул Стэн, курия и дожевывая кусок пирога.

— Она все еще под наблюдением врача, — сказала мать Розы. — Кому еще чаю? Роза, милочка, принеси еще кипятку из кухни.

Чарльз сидел молча под упорным взглядом Глэдис. Он был мирно настроен и не расположен к разговору. Они приняли его без особого любопытства и с полной искренностью. Он был знакомым Розы, и ее дело было занимать его.

Наконец, уничтожив гору ветчины, пирогов, хлеба и масла и поглотив пинты крепкого чаю, они поднялись из-за стола. Стэн сразу же молча ушел, женщины скрылись на кухню мыть посуду, а отец Розы разжег трубку и попытался занять Чарльза разговором, пока Роза не вернется и не возьмет его на свое попечение.

Чарльз и тут оказался на высоте. Бесценные страницы «Со всего света» снабжали его темами. Сначала выяснили, что думает отец Розы о пламенном отчете спортивного комментатора о футбольном матче, затем о менее горячем, но все же актуальном споре в отделе бокса. Наконец, об убийствах и о том, как ужасающе легко преступнику избежать заключения в Бродмур и тому подобные места. Трижды за четверть часа отец Розы сплюнул в огонь, и, когда он это делал во второй раз, Чарльз решил не отставать и тоже плюнул. Он так и не понял, правильно ли это было с его стороны. Старик как будто и не заметил, но Глэдис, глазевшая на него из угла, тихонько захихикала.

Поддерживая затухавший разговор, Чарльз пытался проявить интерес к делам семейным. В какую школу ходит Глэдис? Не думает ли Стэн обзавестись собственным делом? И тому подобное. Но разговор на эту тему вовсе не клеился, и скоро он перестал спрашивать. Отец Розы, народив детей и заботясь об их пропитании до того, как они сами смогут прокормить и одеть себя, считал, по-видимому, что уже выполнил свой отцовский долг, и о прочем имел самое смутное представление. Из вежливости Чарльз обратился к Глэдис с вопросом, как ей нравится в школе, но она, не сводя с него глаз, только хихикала в ответ.

Скоро вернулась Роза, одетая по-вечернему, и они пошли в кино. Его представление семье состоялось. В кино они сидели спокойные и довольные, машинально глядя на огромный экран, где мелькали никому не нужные призрачные тени. Чарльз чувствовал, что наконец-то поиски его окончились. Никаких требований, только быть здесь, только существовать. Он думал об отце Розы и о том, как он выигрывает по сравнению с отцом Шейлы. И потом здесь нет Тарклза. Впрочем, Стэн был Тарклзом этой семьи, но пока безвредным. Ну что ж, подходит! Его требования к жизни становились все скромнее и скромнее, пока эта душная, уютная комната не вместила их целиком. Эта комната и другая, наверху, где стоит кровать Розы. Бёрдж, Хатчинс, Локвуд, Тарклз, Родрик могут искать его, чтобы снова мучить, как прежде, но в этой комнате, в этой постели они не найдут его. Он будет свободен и незаметен.

Верная врожденной чопорности и сдержанности своей среды, Роза только однажды задала ему долгожданный вопрос — вопрос о других.

— А у тебя была когда-нибудь девушка? — спросила она как-то вечером по дороге из кино домой. — Ну, по-настоящему?

Ему приходилось переводить это на свой язык. В его прежнем кругу «иметь девушку» означало нечто совершенно определенное. Она же спрашивала его, был ли он влюблен, была ли у него невеста.

— Одна была,— сказал он. Почему не признаться?

— А она была красивая? Тебе... тебе она нравилась больше меня?

Опять это застенчивое уклонение от слова «любовь» и бедное, ничтожное, надколотое слово «красивая», которое несет такую всеобъемлющую службу. Но ясен был истинный настоятельный смысл ее вопроса.

Делая вид, что не понимает ее, он уцепился за слово «нравилась», хотя прекрасно понимал, что она имеет в виду.

— Она мне совсем не «нравилась». Правда,— сказал он медленно, стараясь быть честным.— Мое чувство к ней делилось примерно на три части. Около трети — была ненависть, другая треть — лишь бы она была рядом и я смотрел бы на нее, не говоря ни слова, и последняя треть — желание...

Он собирался было добавить: «желание кусать ее плечи, руки, ноги», но вовремя удержался. Это было бы неуместно. Если он не хочет ранить чувства Розы, ему надо отрешиться от привычки ранних студенческих лет, привычки безоглядной откровенности и честности в такого рода вещах. Он закончил вялым: «касаться ее».

Роза молчала. Неужели даже такой малости достаточно, чтобы оскорбить ее респектабельность? Но она сказала:

— А ко мне вы это чувствуете? Что-нибудь из этого?

— Нет,— ответил он все так же медленно, так же честно.— Ничего такого в точности. Мне вы слишком нравитесь — не знаю, чувствуете ли вы это,— а она мне вовсе не нравилась...

— Только вы любили ее,— неожиданно закончила она.

Удивленный, он промолчал.

— Если именно так вы любите других,— спокойно продолжала она,— то непохоже, что вы любите меня; если все это такое разное.

Он остановился и посмотрел на нее.

— А почему нельзя любить разных по-разному? — спросил он.— И почему одна любовь лучше другой? Почему одна любовь не может быть ненавидящей и губительной, а другая — целящей, утешающей, чудесной?

Искренность и сила его чувства удивили его самого, а она успокоилась и повеселела. Потом, думая об этом разговоре, он убеждался, что чем-то новым был отмечен тот день. Он был как верстовой столб на дороге, которая вела туда, куда он и сам хотел идти все сильнее и безоглядней. Нет, вернее указательный столб, потому что верстовой сказал бы ему, как далеко ему еще остается идти.

— В этом письме плохие новости, очень неприятные новости,— сказал мистер Брэйсуэйт, слабо помахивая конвертом.— Мой шофер собирается уходить. Жёнится, видите ли.

— Вот как? — безразлично отозвался Чарльз и, чтобы поддержать разговор, добавил: — А разве вы держите только холостых шоферов?

— Ну какое же это место для женатого? — сказал мистер Брэйсуэйт.— Маленькая комната над гаражом. Там двоим и не поместиться.

Чарльз обмахнул метелочкой приемник и придвинул его к кровати.

— Я... вы, кажется, говорили, что работали шофером, транспортным шофером, не так ли?

— Да,— сказал Чарльз, еще не понимая, к чему тот клонит.

— Я думаю, что такая работа не... не подойдет вам, не так ли?

Чарльз был благодарен, даже тронут, но покачал головой.

— Очень жаль, мистер Брэйсуэйт, но, как это ни странно, я сам думаю на этих днях жениться.

— А! — прошелестел мистер Брэйсуэйт.— Вот как! Тогда, конечно...

— Вам нетрудно будет найти шофера,— успокоил его Чарльз, собирая свои щетки.

Всю следующую неделю он много времени проводил с Розой. Они гуляли вечером в понедельник, вторник, четверг. Каждый раз он заходил за ней домой и болтал некоторое время с теми, кого заставлял на месте. Даже Глэдис стала привыкать к нему и время от времени отводила от него глаза. Все это было приятно, но он не очень огорчился, когда в пятницу Роза оказалась чем-то занята и он мог провести вечер как ему вздумается. Столь частый прием таких больших доз дружелюбия и домовитости без всякого противовеса даже немного тяготил его. Правда, он нуждался в такой пище, как в хлебе, но и хлеб может приесться.

Сидя у себя в логове после чая, он снова припомнил эту метафору, пытаясь разобраться в своих чувствах. Да, пресыщение, но, может быть, это было острее, чем легкая тошнота от некоторого эмоционального пресыщения. Где-то, а где — он не сказал бы точно, был одновременно и неутоленный голод. Чувство, которое трудно определить, если вообще возможно его определить, все время бурлило под спокойной гладью его удовлетворенности. Так зудит заживающая рана. Но разве он был ранен? Его исковерканная жизнь, как и его исковерканное тело, вновь обрели целостность и здоровье. Но этот зуд, зуд! Что-то здесь неладно.

«Пару стаканов — вот что тебе надо, дружище», — сказал он себе, остановившись у зеркала в прихожей. На улице было душно, как перед грозой. Начало августа, и ущербное чувство, что надвигается осень и листья уже потеряли свою свежесть. И не то, что у него под ногами, на тротуарах, лежали листья, но и там, за городом, листья медленно засыхали и нашептывали эту весть деревьям, задыхающимся в дымовом кольце городских дворов.

Он зашел в пивную возле больницы, но там было грязно и пусто. Несколько стариков сидели, уставившись красными слезящимися глазами в пивные стаканы, и казалось, что пиво — это их слезы, которые они накапливают на пустом дне ради неведомой цели. Он вышел, даже не допив стакана, и долго бродил по тихим переулкам. Каждый из них, каждый перекресток и скверик — все были на одно лицо. Приземистые коричневые здания, казалось, следили за ним, когда он проходил мимо них.

«В одном из них будет твой дом, — шептали они ему. — Ты найдешь Розу на кухне и постель в верхней спальне, семейные фотографии будут вести нескончаемые беседы в холодной гостиной, а уборная будет на заднем дворе на веки веков. Аминь».

Ну так что ж? Он спрячется и спасется. В таких домах никогда ничего не случается, по крайней мере ничего такого, что было бы непонятно их обитателям. Никаких проблем, никакого искусства, споров и столкновений, только рождение, смерть, еда, отдых, воскресный послеобеденный отдых у камина с еженедельником «Со всего света» на коленях. Утром вместо птиц его станут будить фабричные гудки, он отвыкнет от воротничка и галстука и отрастит себе брюшко. Когда годы пройдут неслышно, как табун коней по мягкой траве, он станет ближе к своей Розе, делая ее счастливой и отражая ее счастье, как помутневшее зеркало, но что значат эти несколько мутных пятен?

Вот эта пивная выглядит веселее. Он вошел, заказал пиво и занял место. Нет, не то. Внутри это был настоящий Джин-палас<sup>1</sup>. Он, должно

<sup>1</sup> Название фешенебельного столичного бара.

быть, забрел незаметно для себя в центр города, по крайней мере заведение это было рассчитано на более шикарную клиентуру, то есть как раз на тех людей, которых отныне он постарается избегать. Кроме того, по рассеянности он вошел не в ту дверь: в общем зале, может быть, еще сносно, но это — салон. Он осмотрелся с отвращением. В такого рода заведениях и встречаешь людей вроде Тарклза.

К нему подседа проститутка.

— Заскучал, дружок? — спросила она.

— Нет, у меня тут свидание, — сказал он, чтобы спровадить ее.

Одета она была в уродливую зеленую кофту и юбку: кричащий контраст с копной пергидролевых волос. Странно, но почему они, как нарочно, выбирают самые ужасные цвета — может быть, этого требует ремесло, надо делать себя заметнее, или, может быть, их образ жизни убивает всякое эстетическое чувство. Ему захотелось спросить, что заставило ее выбрать такое сочетание цветов, но тогда он ни за что не отделался бы от нее; а так она ушла в другой конец зала и перенесла внимание на старого джентльмена с белыми усами, которому следовало бы сидеть дома и поливать свои розы.

Нет, не стоило пить пиво. Его разморило, и он понесчастнел. Но если он перейдет теперь на что-нибудь покрепче, то непременно опьянеет. Пропал вечер! Разве так надо отдыхать от прогулок с Розой? Он подумал вдруг о маленькой комнатке над гаражом мистера Брэйсуэйта, воображение нарисовало ему тихое убежище вроде тех, что украшают календари: коттедж с вьющимися розами, оплетшими решетчатое окошко. Какая чушь; должно быть, это скорее похоже на сборный дом где-нибудь в трущобах, и запах бензина лезет во все щели. Надо взять себя в руки. Непременно надо.

Он подошел к стойке и заказал виски. Только одну порцию, от одной ничего ему не сделается, а если и сделается, так наплевать. Он только что заплатил и хотел идти к своему столику, как вдруг увидел у самого своего локтя какой-то предмет. Бар был оборудован высокими красными табуретами и до тошноты напоминал ему молочную. Рядом с ним на табурете сидела девушка, с нею был мужчина, на которого он даже не взглянул.

Предмет на прилавке оказался сумочкой. Она была несколько необычна по форме, жесткая и квадратная, с застежкой, которая напоминала свернувшуюся золотую змею.

Виски не могло выплеснуться из стакана, его там было всего на полвершка от доньшка. Но оно оплеснуло края доверху и маленьким водоворотом опустилось на дно. Рука его не могла прийти в равновесие, он поставил стакан на прилавок. Девушка, не глядя на него, потянулась к сумке, чтобы достать носовой платок. Она отстегнула золотой змеиный клубок. Пальцы у нее были не те, — короткие, толстые, слишком много колец, ногти выкрашены в бутылочно-зеленый цвет.

Он не верил глазам, этого не может быть! Ведь он свободен, свободен, уже давно свободен. Какое ему дело до сумочки, и чья это сумочка, и у кого была точно такая же! Боже, ну зачем это? Такой муки он не мог себе и представить. Он ухватился за стойку. Волны боли шли откуда-то изнутри, они начинались где-то возле солнечного сплетения и пронизывали все тело до кончиков пальцев на ногах и руках. Ну что они с ним делают, нет, нет, неужели они не знают, что они с ним делают. Все здесь в баре, все во всем свете, если бы они только знали, они помогли бы ему, разыскали бы Веронику и привели бы ее к нему. Они нашли бы ее, пойми они только, что человек умирает, человек, который не заслужил такой смерти и адских мучений. Если они заглянули бы в него и хоть на мгновение почувствовали бы то, что он чувствует, они попытались бы ее найти. Телеграммы ринулись бы по проводам: щ-щ-т, это вы, срочный



вызов, приостановите все передачи, человек мучается. Телеграмму отпечатывают на листке бумаги, кто-то постучит в дверь комнаты, где она сидит, или застанет ее на лужайке, где она гуляет одна. Если бы кто-нибудь тонул — ему кинули бы канат. А это хуже, чем тонуть, это — раскалываться на куски. Человечество не допустит, чтобы с ним такое случилось.

Нет, нет, нет, никто ему не поможет. Допивай стакан, уходи из бара. А как же сумочка? Не может быть двух таких. Она, наверно, украла ее. Может быть, это и есть нить к Веронике, или она, быть может, там, в сумочке, какой-то магией уменьшенная до размера белой мышки, и только ждет, чтобы он открыл сумочку и выпустил ее. Опустить ее в воду — и она снова достигнет своего настоящего роста. Обезвожена. Он сходит с ума, на этот раз всерьез. Чарльз залпом выпил виски.

Внезапно он ощутил усталость, усталость старика. Нет, конечно, сумочку эту девушка купила в магазине, должно быть таких сумок сколько угодно. Змея на застежке и все прочее. Каждый может зайти в магазин и купить. Он сам может пойти и купить точно такую же и подарить Розе.

Роза! Сидя с пустым стаканом в руке, не спуская глаз с сумочки на стойке, он вдруг и окончательно понял, что с этим все кончено. Теперь он ничего не подарит Розе, даже самого себя, потому что сам он не свой. Еще виски. Мысли о Веронике отхлынули. И это прошло. Никогда, ни за что не вспоминать о ней. Не надо ему ничего. Если бы она сейчас вошла в этот самый бар, он тотчас же вышел бы в другую дверь, не сказав ей ни слова, постаравшись, чтобы она его даже не заметила. Разбит. Колеса подмяли его, проехали по нему. И эта последняя мечта о тихом убежище в закопченном коричневом доме, теперь он знал ей цену. Просто этап выздоровления. Выздоровление означало только осознание своей болезни, трезвый учет того, насколько ты изувечен. Не надо ему Розы, не надо Вероники, не надо ничего.

«Выбирайся, как можешь. Жалкий слюнтяй!» — сказал он, выходя на улицу.

«Ну вот и кончилось», — сказал он, входя через несколько шагов в другую пивную.

«Недотепа! — сказал он стакану портера. — Что ты мудришь?»

— Вы мне, дружище? — спросил его, перегибаясь, человек в кашне.

— Нет. Просто кетгут. У меня кетгут, — сказал он, вставая. — Я и сюда пришел оставить кетгут.

Он вышел.

«Не дури!» — сказал он фонарному столбу.

Крутятся, люблю я скудно то, что ненавижу. Любю в - паскуду в ненависть скрутя... Ну хватит, хватит.

— Так и не дождался, милый? — спросила, подходя к нему, проститутка.

— И не дождусь, — сказал он. — И так и надо.

— Ты не обижайся, милый, — сказала она.

— И не обижаюсь, — сказал он.

— А насчет той работы, мистер Брэйсуэйт, — сказал он, — если место еще не занято, я бы согласился. Дела у меня так обернулись...

— Так значит вы сейчас не женитесь?

— По-видимому, нет.

— Но как же так? Вы соглашаетесь, не спросив меня ни о часах, ни об оплате? — в смятении спросил мистер Брэйсуэйт. Ему трудно было привыкнуть к такому человеку, как Чарльз.

— А разве это так уж неблагоприятно с моей стороны? Вспомните, что я достаточно наглядился на вас за это время и уверен, что вы не

из тех, кто недоплачивает своим служащим... сэр,— добавил он, чувствуя, что отношения между ними должны стать более официальными, и чем скорее, тем лучше.

Ему нравился мистер Брэйсуэйт, и одно время они чуть было не перешли на доверительную близость. Но инстинкт подсказывал ему, что нельзя допускать сложных взаимоотношений, которые возникли бы из попытки путать хозяина с другом. Он должен отклонять всякий намек на опеку.

— Вы решили как раз вовремя,— сказал мистер Брэйсуэйт, приглашая интимную ноту, словно и он почувствовал в этом опасность.— Меня выписывают отсюда завтра. Я поеду к себе в Сассекс и останусь там до начала осени. Как только вы освободитесь, приезжайте, для вас все будет подготовлено. Но, вероятно, вы должны предупредить здесь за неделю или две?

— Нет,— сказал Чарльз с излишней горячностью,— я могу уйти немедленно. Я не подписывал никаких соглашений: просто я потеряю недельную плату, если уйду без предупреждения, и...— Тут он вспомнил, что говорит со своим будущим хозяином и не должен так распространяться об уходе без предупреждения, и добавил: — Случилось так, что оставаться мне дольше здесь трудно, и для меня и для других. Я мог бы уехать с вами завтра.

— Это очень удачно, потому что меня некому было бы отвезти в Сассекс.

— Значит, решено, сэр? Место за мной?

Мистер Брэйсуэйт кивнул.

— С завтрашнего дня.

— Видите ли,— сказал он Розе,— случилось так, что завтра я уезжаю.

— А когда вы вернетесь? — спросила она, еще не понимая.

— Я не вернусь,— сказал он, презирая себя.— Сюда не вернусь никогда.

Она взглянула ему в лицо. Жизнь ее мгновенно увяла, осталась бледность и пустота.

— Но почему, скажите?

— Не могу.

— Скажите. Вы должны сказать.

— Роза, дорогая, дорогая моя. Я хотел бы... все это так глупо... Я хотел бы объяснить, но...

— Я что-нибудь сделала не так?

— Нет.

— Может быть, я чего-то не сделала? Того, чего вы от меня ждали?

— Нет ничего такого, что мы бы сделали не так. И нет ничего такого, чего мы могли бы избежать.

— Вы не должны так со мной поступать,— сказала она с мертвенным холодом.— Вы не должны так поступать с девушкой. С порядочной девушкой. Я не стараюсь вас удержать, я только хочу знать, в чем я перед вами виновата?

— Боже мой, Роза, я уверяю вас, что ни в чем вы не виноваты. Вы всегда были правы и ласковы. Вы были такой, какая вы есть.

— Так в чем же дело?

Он стоял перед ней. Его мозг был пуст и сух. Он хотел объяснить ей, что это не его вина. Он не хотел оскорбить ее, он просто ошибся — ему казалось, что он такой человек, который может дать ей счастье и помочь ей раскрыть всю свойственную ей живую простоту, но это не так. Теперь она глядела на него через стол, заставленный грязными тарелками, и

на лице ее и во всей фигуре не было и следа этой живости — только мука и оцепенение.

Как ни безгрешны и спокойны были его отношения с Розой, он испытал с ней больше счастья, чем с какой-либо другой женщиной, и они уже обрели способность говорить друг с другом без слов. Беспомощно, молчаливо он пытался объяснить ей, что все было ошибкой. И в ответ она молча обвиняла его.

«Ты согрешил против меня,— говорил ее взгляд и весь облик.— Ты оскорбил меня так, что этого нельзя простить. Потому что, в сущности, ты совершил величайший грех против ближнего, ты хотел воспользоваться мной в своих целях. Не давать, не общаться со мной, а для чего-то воспользоваться мной».

«Не так все это просто»,— пытался он оправдаться своим взглядом, но она взглядом отвергла его защиту.

«Я готова была любить тебя, а я для тебя была лишь лекарством».

Обвинения и оправдания, ненужные, неубедительные оправдания, скрещивались над столом. Он чувствовал себя поверженным в грязь.

— Так в чем же дело? — повторила она вслух.

Пристыженный и раздавленный, он пробормотал:

— Я не могу... не могу объяснить... но так надо.

— Да скажите же, что случилось? Ведь что-то должно было случиться, что-то, чего вы мне не хотите открыть,— проговорила она изменившимся голосом, вялым, без всяких оттенков.

— Я увидел сумочку. Это была сумочка,— мучительно, бешено взорвался он.

— Силы небесные! До сих пор не вымыты тарелки,— расшумелась бжежавшая старшая сиделка.— И на что только идет у вас время?

Потом она заметила, что Роза плачет. Она плакала тяжело, беспомощно, не стараясь скрыть своих слез. Сиделка сейчас же напустилась на Чарльза, как ярый заступник, как женщина, встающая за другую женщину против общего врага.

— Чем вы ее обидели? — строго спросила она.

— Поверьте,— бормотал Чарльз, униженный и несчастный.— Поверьте, что мне это трудно объяснить. Лучше не спрашивайте, прошу вас. Вы этого не поймете.

Роза отвернулась. Плечи ее содрогались от беззвучных рыданий. Старшая сиделка пришла в бешенство, особенно от слов Чарльза, что она этого не поймет.

— Не пойму, вот еще выдумали! — воскликнула она.— Вот так все вы поступаете, грязные вы козлы! Я-то все понимаю. Закрутили с ней, а потом довели до слез. Знаю я вас, будьте все вы прокляты! Не плачь, дурочка,— сказала она Розе.— Тебе же лучше, что отвяжешься от этого дрянного лоботряса. А вы берегитесь, бездельник! — сказала она, обращаясь к Чарльзу.

— Да,— бессвязно ответил Чарльз и кивнул.

— Вон, сейчас же вон отсюда! — бушевала она.— И ступайте хоть чем-нибудь оправдать хлеб, который едите.

Без слов, с поникшей головой, он собрал свои щетки и тряпки.

— И еще вот что, мистер Дон-Жуан,— сказала она, одной рукой обнимая Розу за плечи.— Если вы еще раз сделаете какую-нибудь пакость, я добьюсь, что вас мигом рассчитают, вот так.— И она щелкнула пальцами свободной руки.

— Я и так увольняюсь,— сказал он вяло.— Сегодня я последний день на работе.

— Ну и проваливайте, скатертью дорога,— выпроваживала она Чарльза, стремясь скорее остаться наедине с Розой.— Ступайте и рабо-

тайте, хоть это и последний ваш день у нас в больнице. И другой раз, если повстречаете приличную девушку, не смейте и думать о ней!

— Да,— сказал он послушно, как будто она все еще приказывала ему, как санитару.— Так я и сделаю.

## 9

Весьма характерным для мистера Брэйсуэйта было то, что он не держал «роллс-ройса». Он был богат, но не хотел выставляться и дезть в миллионеры и в этом духе выдерживал весь уклад своей жизни. Лиц-них две тысячи в год — и Чарльз мог бы щеголять в дорогой униформе с начищенными пуговицами и в кожаных крагах, водил бы дорогой «роллс» и спал бы с тараканами. А сейчас он носил скромную коричневую куртку, фуражку с козырьком, наслаждался комфортом своей крошечной комнаточки и гонял по деревенским дорогам тяжелый «даймлер»: гидромурта, плавный ход, три с половиной тонны веса. Чарльз чувствовал себя в нем водителем автобуса, только что не надо было оставаться в нем и впускать пассажиров.

Чарльзу повезло. Первую неделю он еще сомневался, предвидя, что может встретиться еще какой-нибудь неожиданной ухаб, но когда прошло первое ощущение неправдоподобной удачи, он погрузился в транс самопоздравлений. Тихий покой; затерянность не меньшая, чем если бы он женился на Розе и заслонился родством со Стэном. И вместе с этим идиллическое, почти пасторальное умиротворение, которое источала на него безмятежная красота деревенского пейзажа. Дом — вероятно, ферма семнадцатого или восемнадцатого века — был скромным кирпичным строением с кое-какими ненавязчивыми, но комфортабельными новшествами, которые никак не затрагивали его внешний вид. Опять-таки умеренность мистера Брэйсуэйта, его нежелание подчиняться велениям собственного богатства. Из окна своей комнаты Чарльз любовался тем, как заботливо содержимый сад (коттеджного стиля) незаметно переходит в заботливо сохраняемый деревенский ландшафт, погруженный в отдохновенную дремоту. И все же для Чарльза это не было настоящей деревней. Сельский вид? — да; луговины и пашни? — да; пивные, полные краснолицых, широкоплечих селян с их медленным громким деревенским говором? — да; но он привык к деревне Средней Англии, которая зарабатывает хлеб в поте лица. Сассекс, его баснословная красота, его ухоженные белоснежные коттеджи, белые стены и черные крестовины старых домов, таких знакомых по голливудским фильмам, лоснящиеся коровы и столетние деревья напоминали ему декорацию, подделку, старательно насаждаемую преуспевающими дельцами для своих уединенных, тихих, сытых загородных уик-эндов. Медленно проезжая по пустынным дорогам, кивающим путнику зелеными изгородями, давая гудок на улицах крохотных чистеньких деревушек, Чарльз чувствовал при виде этой подчеркнутой застенчивости примерно то же, что должен бы чувствовать американский турист, — удовольствие от хорошей постановки и некоторую неловкость оттого, что она так блестяще организована.

Конечно, он признавал, что ему посчастливилось и что условия, в которых он начинал работу, были идеальными. Прежде всего мистер Брэйсуэйт отдыхал после операции, так что не было надобности возить его в Лондон и долгое время ожидать его у городского дома, готовясь в любую минуту включиться в кошмар городского движения. Просто гора с плеч! А затем оказалось, что его хозяин в какой-то отдаленный период своей жизни имел благоразумие выбрать себе жену, в точности повторяющую его самого. Она была настолько бесцветна и безлика, и в хорошем и в дурном, что Чарльз в перерывы между встречами с нею не мог вспомнить, ни как она выглядит, ни как говорит. Он возил ее,

как еще один пакет из числа ее магазинных трофеев, притрагивался к козырьку, встретив ее на дорожках сада, сидел на своем месте и читал газету, пока она делала визиты соседям,— и все.

Темп его жизни замедлился до желанной необременительной трусцы. Он забыл вкус спокойствия с тех первых золотых недель мытья окон, когда занятие это еще не стало препятствием на пути к Веронике. Теперь к нему словно вернулось что-то из пережитого в те дни. Его комнатка над гаражом, когда он взбирался туда после работы, чем-то приятно напоминала чердак Фроулиша. Не возникало даже проблемы товарищей по работе, их фактически не было. Была только постоянно растерянная экономка, всецело поглощенная тщетной муштрой постоянно сменяющихся и более или менее тупых девушек из окрестных деревень. Все сколько-нибудь смысленные давно уже были в городе и по большей части обслуживали молочные бары по соседству с американскими аэродромами. Лет десять назад дом был бы наполнен целым штатом слуг во главе с дворецким, похожим на сановника восемнадцатого века, словно взятого напрокат из галереи мадам Тюссо<sup>1</sup>. Была бы жесткая иерархия, еще более мелочная и строгая, чем в больнице, и ему пришлось бы как-то втискиваться в ее рамки. А теперь — ничего подобного, он даже не знал имени старика, перекапывавшего сад, или парня, помогавшего ему по субботам. Сам он был словно Робинзон, но он мог не бояться следов на песке.

Однажды жарким и душным вечером он не торопясь протирал передние фары, как вдруг дремотный августовский воздух зажуужал на высокой ноте, словно где-то вилась большая рассерженная пчела. Нарастая, звук перешел в густое, сдавленное фырканье, потом снова взвыл бешеным ревом. Чарльз оглянулся и посмотрел в сторону въездной аллеи. Она большой дугой огибала заднюю лужайку, чтобы оградить от всяких запахов и пыли деревенскую атмосферу переднего цветника. В просвете между живой изгородью он заметил, что, несмотря на крутой заворот и тормозящее действие гравия, кто-то мчался по дорожке со скоростью не менее семидесяти километров. Он поспешно отступил за солидное прикрытие своего «даймлера».

И тотчас же на маленькую площадку перед гаражом, с вздыбленным от торможения передом, влетел мотоцикл. Песок и гравий брызнули во все стороны, как вода при быстром спуске судна. С зажатými колесами, эта отвратительная машина закружилась на месте. Рукоятка руля глубоко процарапала краску на двери гаража. Потом машина чихнула, остановилась, и наступила тишина.

Не успел Чарльз выразить свой протест, как мотоциклист опустил подставку и, укрепив машину, обернулся к нему.

— Неплохо, а? — сказал он. — За шестьдесят две минуты от самого города. Точнее, от Хайгета.

Это был крепко сбитый чернобровый юноша с тяжелой челюстью. Лицо его не выражало ни ума, ни чувств, но не лишено было привлекательности. Держался он с непринужденной веселой уверенностью. Должно быть, многое он умел делать как следует, а что касается вещей, которых он не умел делать, то он о них, должно быть, никогда и не слышал.

— Как находите старую колымагу? — Он ткнул пальцем в «даймлера». — Развалина! Разогнать до тридцати — надо пять минут. — Он громко захохотал, потом внезапно сказал серьезным тоном: — Смотрите! — и быстро поднял капот. — Я придумал, как ее подстегнуть. Тут совсем

<sup>1</sup> Музей восковых фигур.

легко увеличить компрессию на две трети. Видите, как стоит этот жиклер? Тут, знаете, можно еще много выжать.

— Прежде чем входить в подробности,— сказал Чарльз, обретя наконец дар речи,— не разъясните ли вы мне одну безделицу? Кто вы, собственно, такой?

Юноша захохотал.

— Ну да. Я совсем забыл. Вы же не знаете. Я...

— Уолтер,— и в голосе мистера Брэйсуэйта, подошедшего к ним сзади, Чарльз услышал интонации, которых он и не подозревал у него.— Это что, твоя машина?

Он пришел сюда из цветника узнать о причине такого шума.

Юноша повернулся к нему и заговорил с наигранной горячностью, как продавец, старающийся всучить товар клиенту, который заведомо ничего не собирается покупать.

— Ну и что же, папа. Я не думаю, что твое запрещение может касаться такой надежной...

— Я тебе сказал: никаких мотоциклов — значит никаких мотоциклов,— ледяным голосом произнес мистер Брэйсуэйт.

— Да, но ведь эта...

— Кажется, я говорю ясно.

— Ну да, конечно, но если мне подвернулась такая машина, надежная, как скала, на ней можно абсолютно безопасно...

— Мне ничего не надо объяснять. Тебе не на это отпускаются деньги.

— Смотри, вот здесь телескопическая вилка и...

— Это не предмет для обсуждений, Уолтер.

— Графитная смазка — никаких...

Мистер Брэйсуэйт круто повернулся и вошел в дом.

Уолтер посмотрел на Чарльза. Выражение дружелюбного доверия сменилось немного комичным унынием. Большие белые круги вокруг глаз, там, где защитные очки предохраняли от пыли и масла, еще больше усиливали сходство его физиономии с мордочкой какого-то диснеевского зверька.

— Ну его! Мог бы я сообразить и не вваливаться сюда на ней. Надо было держать ее в школе или где-нибудь в соседней деревне. Хорош подарок к рождению — шестнадцать лет и никаких мотоциклов. У них просто навязчивая идея! Заладили — опасно и опасно! Но не могу же я не практиковаться еще целых шесть месяцев!

Чарльз молчал, стараясь овладеть положением.

— Простите за тупость,— сказал он.— Но я с некоторых пор привык к спокойной жизни. Я совсем отстал от событий и дошел до того, что не могу воспринимать больше одного явления зараз. Значит, имя ваше Уолтер, и я слышал, что вы назвали хозяина «папа», из чего я заключаю, что вы его сын.

— Совершенно верно.

— И вам шестнадцать лет шесть месяцев, хотя вам можно дать тридцать.

Уолтер просиял.

— Так значит я выгляжу старше семнадцати лет? И непохоже, что у меня могут потребовать правá, как у несовершеннолетнего?

— Я и еще кое-что знаю о вас,— продолжал Чарльз, стараясь не сбиться с тона.— Вы энтузиаст автодела. История началась для вас с момента изобретения запальной свечи.

Квадратное запыленное лицо Уолтера расплылось в счастливую улыбку.

— Ну, скажем, не запальная свеча,— заявил он тоном знатока, который смакует какую-нибудь тонкую деталь своего любимого дела,— скажем — дифференциал.

Миссис Брэйсуэйт закончила свои утренние закупки в соседнем городке.

— Кстати, я совсем забыла, Ламли,— сказала она, открывая дверцу и готовясь выйти из машины.— Муж хотел, чтобы вы выехали на станцию к поезду два сорок пять. Я не расслышала имени, но это должен быть молодой человек, который летом будет заниматься с Уолтером. Тут, я полагаю, никого из сходящих пассажиров не смешаешь с репетитором.

Чарльз что-то невнятно пробормотал в знак согласия — он никогда не вступал в разговоры с хозяйками — и понес ее свертки в дом.

После завтрака он вывел свой «даймлер». Маленькая станция переживала свои ежедневные полчаса относительного оживления, потому что местный поезд развозил по всей округе пассажиров с экспресса, ссаживая их на все более и более тихих полустанках. Это был единственный поезд, с которым до их глухого угла добирались люди или вести из большого мира.

Чарльз сидел на платформе и курил сигарету. Его кепка с лакированным козырьком лежала рядом. «Даймлер» терпеливо отдыхал на солнышке у подъезда, и от его сидений исходил запах горячей кожи. Объявили о приходе поезда, и он тут же хлопотливо запыхтел у вокзала. Чарльз вглядывался в пассажиров, стараясь отличить среди них того, кто походил бы на репетитора хозяйского сына. Сошло всего двое: пожилая женщина с орококом в сумке и мужчина. И этот мужчина был Джордж Хатчинс.

Несмотря на свою успокоенность и отказ от всевозможных претензий к жизни, Чарльз вдруг почувствовал, что с годами характер его не становится благодуще. Наоборот, теперь он меньше, чем когда-либо, был склонен переносить оскорбления. Одно присутствие Хатчинса менее чем в пяти милях от него было само по себе оскорбительно. Он решил перейти в наступление.

Хатчинс пытливо приглядывался, нервно озирался. Трубка его была наготове, чтобы дать ему возможность подумать в случае, если бы пришлось отвечать или действовать. Уже с первого взгляда Чарльз увидел, что грим глубокомыслия за год преподавания в университете стал более определенным и более профессиональным. В самом взгляде, которым он окинул окружающее,— энергично, многозначительно и подчеркнуто рассеянно,— чувствовалось, что он успешно овладел всякими менторскими штучками. Чарльз сидел на скамье и любовался представлением.

— Меня должны были встретить,— услышал он слова Хатчинса, обращенные к носильщику.— Мистер Брэйсуэйт... э... э... э...— тут он не расслышал,— определенно обещал, что меня доставят.

— Нам не известно. Ничего не знаю,— кинул ему через плечо носильщик и вошел в дверь с надписью «Только для служащих».

Он, несомненно, знал, что машина мистера Брэйсуэйта стоит у подъезда и что шофер мистера Брэйсуэйта сидит в нескольких шагах на скамейке, но какое ему до этого дело, у него и своих забот хватает.

Хатчинс в растерянности оглянулся. Чарльз сложил свою кепку и незаметно сунул ее в карман. В своем коричневом костюме он ничем не напоминал шофера. И вовремя: Хатчинс уже заметил его.

— Какая неожиданность, Ламли! — сказал он, идя к нему по платформе.

— Удивительно,— сказал Чарльз.

— А что вы здесь делаете? Вы с тем же поездом?

— Нет,— ответил Чарльз, избегая уточнений.— Я уже был здесь до прихода поезда.

— Меня пригласили на лето в одну семью наставником. Где-то здесь поблизости,— небрежно уронил Хатчинс. Действительно, оставалось

только удивляться, каким он стал скромным, совершенно не гордым. Он говорил о своей высокой миссии так, как будто она была доступна каждому. Точно так же, как он сказал «мы» тогда, в стотуэллском литературном кружке. Успех не испортил его.— И очень нескладно получилось,— продолжал он,— потому что я предполагал поехать в Штаты, покопаться в архивах Принстона<sup>1</sup>. Придется отложить это до будущего года.

— Да, уж конечно,— любезно заметил Чарльз,— а пока можно заняться репетиторством. Тоже полезное дело.

— Так я и решил.

— Такой человек, как вы, может принести много добра, делясь своими знаниями.

— Вот именно.

— И можно завести друзей и покровителей среди богачей. Всегда пригодится.

Хатчинс слегка покраснел.

— Если вы считаете, что я принял это предложение по недостойным мотивам, то, конечно, я...

— Ну что вы! Разве недостойно возвышаться на социальной лестнице? Когда человек тяжелым трудом уже добрался до ее половины, как, например, вы, то вполне резонно, если он решит, что остальные ступеньки можно одолеть ускоренными методами.

В былое время Хатчинса, может быть, и не удалось бы провести столь элементарными ходами. Но теперешний Хатчинс весь так и лоснился от благополучия и снисходительно не замечал иронии Чарльза.

— Как и всегда, Ламли, вы живете в неразберихе нерасчлененных понятий. То, что вы именуете возвышением на социальной лестнице, я, может быть, с более беспристрастной точки зрения определил бы как...

И последовала тирада на три-четыре минуты, которая наконец привела его в прежнее состояние невозмутимости и самоуверенности.

— А вы случайно ничего не знаете об автомобиле, который должны были за мной выслать?

— Стоит тут «даймлер»,— сказал Чарльз.— Может быть, и за вами.

— Да, это, кажется, единственная. Но как же садиться в нее, не спросив, чья она? Хотя,— продолжал он, раздражаясь,— черт побери, как же мне добраться туда без автомобиля?

— Знаете что,— предложил Чарльз,— садитесь, а я вас доведу. Вот вы и доберетесь до них.

— Довезете? То есть как это?

В ответ Чарльз распахнул перед ним дверцу машины. А так как Хатчинс все еще ничего не понимал, Чарльз вытащил из кармана кепку, надел ее и с преувеличенным почтением стал перед ним навтыжку.

— Вы что же, содержите здесь гараж такси?— спросил Хатчинс.

— Еще два-три вопроса, и вы угадаете. Как один паразит другому, я могу сказать вам правду. Я шофер.

Хатчинс мигом сбросил всю свою благоприобретенную учтивость. Сразу же всплыли на поверхность старые провинциальные замашки.

— Ну что ж, Ламли, очень сожалею, что вам так не повезло. Должен сказать, я надеялся, что вы найдете работу получше этой. Конечно, уже много лет назад я убедился, что вы не способны как следует пользоваться обстоятельствами. Но все же я не мог предполагать, что вы дойдете до такого.

— А что значит — дойдете до такого?

---

<sup>1</sup> Американский университет.



— Я мог бы дать вам рекомендацию, и с нею вы, безусловно, получили бы место учителя начальной школы. По крайней мере как первый шаг.

— Послушайте, Джордж,— устало отозвался Ламли.— Не тратьте попусту ваше миссионерское красноречие. Я не хочу почтенной работы. Как и вы, я предпочитаю быть паразитом. Вошью в шевелюре общества.

— Должен сказать, что не понимаю вашего сравнения,— сухо заметил Хатчинс.

— Да это же яснее ясного. Я вожу машину шоколадного короля. Вы беретесь латать дыры в черепушке его сына. Единственная разница между нами в том, что моя работа приносит хоть какую-то практическую пользу, а ваша никакой, просто пшик! Я знаю этого паренька. Он вполне порядочный малый, но десяток таких, как вы, работая в три смены, не долбят в него никакой ученой премудрости. Он прирожденный механик.

— Вполне допускаю. Но во всяком случае, Ламли, если вы согласились на работу шофера и так высоко ее цените, то горячо советую вам даже в состоянии крайнего возбуждения вести себя так, как подобает шоферу.

— Ну, конечно, вы всегда были за то, чтобы каждый играл свою роль, не так ли? Но послушайте и мой совет: перестаньте жевать трубку и лучше прорепетируйте какой-нибудь из ваших коронных выходов на то время, пока я буду вытаскивать ваш чемодан. У старика есть глаз, хоть он и выглядит ничтожеством. А обо мне можете не заботиться. Я и виду не подам, что вы когда-то учились вместе с человеком, который дошел до того, что стал шофером. И перед всеми я буду величать вас «сэр», с условием, что при отъезде вы дадите мне пять шиллингов на чай.

— Я вижу, что вы решили ставить меня в неловкое положение.

— Положение ваше неловкое и без всяких усилий с моей стороны. Подождите, вот увидите вашего ученика. Ваше счастье, если с первого же взгляда он не пошлет вас ко всем чертям или к вашей матушке.

— Каким чертям? Какой матушке? — бормотал Хатчинс в крайнем смятении.

— Впрочем, хватит. Входите, а я отнесу ваш чемодан, сэр.

— Основное затруднение вот в чем,— объяснял Уолтер.— Уже когда я покупал машину, я заметил, что гнезда клапанов барахлят. Вот и случилось. Стержни слишком длинные, и мне надо раздобыть все стандарты цилиндров и подогнать высоту... ну и, конечно, заедают передачи.

— Ну, это ясно,— сказал Чарльз.

Уолтер вздохнул и склонился над сваленной на скамейке грудой деталей. Это напомнило Чарльзу одну из фотографий Сесилия Битона: кладбище танков в Северо-Африканской пустыне. Сильные, короткопалые руки Уолтера с обведенными трауром лопатообразными ногтями ловко управлялись в развороченном брюхе железного зверя, прилаживая, подвинчивая, регулируя. На Уолтере был комбинезон, почерневший и залубневший от масла, и вся не защищенная этой броней поверхность его тела была покрыта пятнами и полосами темной смазки. Она же, словно черный шрам, украшала его лицо.

— Легко сказать — ясно,— горько усмехнулся Уолтер.— А тут на каждом шагу палки в колеса. Ни денег, ни времени, чтобы заняться этим спокойно. Не могу даже купить инструмент. Часами выколачиваю кольца, чтобы приладить их как следует, а потом приходится все перебирать, весь поршень, потому что у меня нет настоящего лекала. Приходится гонять своего недоноска на допотопных поршнях.

— А почему вам приходится все это делать тайком?

— Вот именно, почему,— повернулся к нему Уолтер.— Если бы мой Патер знал, что я собираю гоночный, он, конечно, сообразил бы, что я его мастерю не для того, чтобы держать под стеклянным колпаком. Я его собираю, чтобы гонять на нем. Запишусь и на спринт и на кросс, только бы мне с ним поладить. И без того уже два раза поцапались. Представьте, только из-за этого и цапались. Никаких мотоциклов до полного совершеннолетия. А это еще четыре года, понимаете?

Уолтер мрачно взглянул на гаечный ключ в правой руке, и темное пятно на его физиономии искривила гримаса ярости.

— И вот мне приходится каждый грош из моих карманных денег пускать на приобретение всякой завали со свалок. Мне предложили на прошлой неделе двухтактный «нортон»<sup>1</sup> всего за двадцать гиней. Вы только подумайте! Редкий случай! Я бы собрал такую пятисотильную, какой еще свет не выдывал. Но двадцать гиней! Всего двадцать паршивых гиней — куда мне! И вот надо обходиться без всякого оборудования и работать в этой проклятой лачуге.

«Проклятой лачугой» Уолтер называл свою мастерскую в самой глубине заднего сада. Он получил ее в свое распоряжение в более нежном возрасте, когда впервые обнаружил интерес к рукомеслу. Конечно, все тут было мало приспособлено для конструирования и сборки гоночных машин. Как все это было, в сущности, парадоксально!

— Простите за вопрос,— сказал Чарльз,— но не приходило ли вам в голову, как некстати вы родились сыном богатого отца, у которого свои представления о вашем воспитании (тут и репетитор на каникулы и все прочее), тогда как, родившись сыном, ну, скажем, трубочиста, вы бы теперь преспокойно работали подручным механика в каком-нибудь гараже.

Но Уолтер, к его удивлению, только мотнул головой.

— Подумаешь, радость какая, механик в гараже! А что они видят? Мелкий ремонт и сегодня и завтра.— Он приостановился, а потом вдруг оглушительно захохотал.— Да меня бы вмиг прогнали, клиенты нажаловались бы, что я их колесницы порчу своими выдумками. Представьте: отдал он машину проверить тормоза или притереть клапаны, а получил бы машину с новой системой передач или с двойными клапанными пружинами.

Чарльз несколько неуверенно присоединился к его хохоту.

— Или еще лучше,— захлебывался Уолтер,— поставил бы ему маслоприемник повышенной емкости и увеличил бы компрессию, а при этом забыл бы включить насос для подачи к фильтру — и все бы у него залило маслом.

Потом хохот его прервало отрезвляющее воспоминание. Он взглянул на часы.

— Вот черт, совсем забыл. Через десять минут мой наставничек закатит мне письменную. Латынь, латынь, провались она пропадом, эта латынь.

— Ну, а как вы с ним ладите?

— С кем? С ним? Да так, ничего.

Ясно было, что, в сущности, Уолтер никогда всерьез не замечал Хатчинса. Он, без сомнения, тупо высиживал часы занятий и не мог дожидаться, когда ему наконец позволят вернуться к своим цилиндрам и клапанам. Да и сам Хатчинс едва ли горячо относился к своим обязанностям. Мягкость и свет. Гуманное воспитание. Дружеская опека.

Лето, достигнув высшей точки изобилия и зрелости, давно уже перевалило рубеж и близилось к той поре, когда несколько намеков мороза

<sup>1</sup> Марка мотоцикла.

напомнят насекомым, растениям и человеку, что зима не за горами. Чарльз сидел у окна своей комнатухи и вглядывался в душную ночь. Сад источал почти непереносимое благоухание. Невероятно шекастая, полная луна висела на небе, провоцируя любителей уподоблений на все новые смехотворные метафоры; она наводила на сравнение со всем — от головки голландского сыра вплоть до полированного раструба тромбона, оставаясь в то же время всего-навсего луной. Изредка вдали мычала корова. Покой, тепло и мерцающий свет растворялись в самодовольном пейзаже.

Мотыльки вились у самого окна, дым сигареты струился вверх и отклонялся в дыхании едва заметного воздушного тока. Чарльз думал о Бандере. «Почему никто не допрашивал меня? Неужели Бандеру удалось ускользнуть? Или его изловили, но он молчит о своих сообщниках?» Очевидно, он, Чарльз, никогда не услышит ответа на эти и на сотню других вопросов. Конечно, те, что разбежались, спасаясь от полиции, тогда же были задержаны. Сколько времени потребуется на то, чтобы нить следствия дотянулась до него, куда бы он ни прятался? Перед лицом всего этого он должен был бы испытывать страх, но он не мог напугать себя. Глубинный инстинкт говорил ему, что с этим покончено, для него по крайней мере. Во всяком случае, даже если Бандер был только пешкой в крупной организации, возглавляемой людьми, о которых никто никогда не узнает, они, должно быть, нашли способ припугнуть арестованных и заставить их молчать о том немногом, что они знали. Все это вне его контроля, и все же он чувствовал себя в безопасности. Когда полицейская машина пронеслась над его бесчувственным телом, отброшенным в придорожную канаву, закон как бы закинул сеть, и она не захватила его. Ему нужно было как можно дольше держаться вдали от всякой огласки и особенно от всяких полицейских протоколов. Но глубже всего, порождая спокойствие, которое заполняло все его сознание, была интуитивная уверенность, что Бандера все-таки не поймали. «Живым меня им не взять», — сказал Бандер, и Чарльз был абсолютно уверен: он говорил, что думал. Скорость и то, как Бандер вел машину, вероятно, привели его к фатальному концу, а может быть, он еще каким-либо другим образом последовал за своей жертвой в мир иной. И Чарльз был уверен, что Бандер нашел слабое звено в раскинутой сети и так или иначе, но ускользнул от расплаты.

Что это? Шорох и шепот где-то внизу. Две фигуры, мужская и женская, пробирались сквозь кусты. Каковы бы ни были причины, но они явно не желали быть замеченными. Должно быть, Уолтер и какая-нибудь из новеньких горничных. Он замер и напряженно вслушивался.

— Ну что ж, может быть вы и правы, что так лучше, — донесся до него женский голос. Он был приглушен почти до шепота, но его четкую, колокольную звонкость нельзя было спутать ни с чем. — И все же вам надо было прийти в гостиницу.

— Уверю вас, так гораздо проще, — шипел Хатчинс. — Абсолютно невозможно, чтобы нас там не увидели. А мне необходимо удержаться на этом месте.

Так значит и теперь, через год, история с Джун Вибер все еще тянется. Хищница преследует его и тут.

— Этим входом никто не пользуется. По задней лестнице мы пройдем прямо в мою комнату, — сказал Хатчинс, в замешательстве перебирая ключи на кольце. — Вот, нашел. Скорей входите.

Они исчезли. Спустя мгновение в комнате Хатчинса зажегся свет. И сейчас же он был затенен, вероятно шторой. А минут через двадцать он и совсем погас. Чарльз сидел у окна, спокойно и сардонически покуривая папиросу. Во всей этой грязной сценке было нечто, заставившее

его даже слегка пожалеть Хатчинса, пожалеть и почувствовать известное превосходство, лестное его самолюбию. Карьеристу нельзя иметь ахиллесову пятю, и вот именно эта слабость Хатчинса, вероятно, погубит его рано или поздно, особенно имея в виду избранную им профессию. Чарльз продолжал сидеть, глядя на луну, куря и все глубже и глубже вдумываясь в горестный удел этого слизняка.

Да, он даже жалел Хатчинса. Если у человека свои неприятности, то стыдно добавлять к ним новые. А он добавил. На днях, дожидаясь миссис Брэйсуэйт на главной улице близ магазинов, он не удержался, сбежал на почту и послал Хатчинсу телеграмму:

«П р и е з ж а ю п я т н и ц у м е ч т а ю в с т р е ч е Д е р м а».

Мысль о том, как Хатчинс разорвет желтую наклейку и прочтет такое интригующее сообщение, радовала его чрезвычайно. На следующий день, узнав, что Уолтер отправляется до вечера в Винчестер навестить своего друга, он уговорил юношу послать еще одну телеграмму Хатчинсу, указав при этом только телефон дома Брэйсуэйтов, так чтобы телеграмму пришлось диктовать по телефону. Они рассчитали это по времени так, чтобы она пришла к завтраку и чтобы экономка должна была записать ее и принести Хатчинсу прямо за стол.

«С п а с и б о з а с о ч у в с т в и е в п я т н и ц у о б с у д и м н е т л и д р у г о г о в ы х о д а Д е р м а».

А сегодня как раз пятница, и он покатывался от хохота при мысли, что Джун Вибер приехала именно в пятницу. Он представлял себе, как Хатчинс сердито допытывается у нее, зачем она послала две телеграммы да еще подписалась «Дерма».

Жаркие, застойные, похожие на сон, текли дни. Ничто не нарушало спокойствия. Даже величайший недостаток его теперешней работы — отсутствие личной свободы — стал в его глазах преимуществом. Он никому не мог отлучаться и должен был быть всегда под рукой на протяжении всех двадцати четырех часов. Именно это требование удручало до него столько шоферов, и столько из них брало расчет, что мистер Брэйсуэйт пытался восполнить этот недостаток, установив необычайно большое жалованье. Чарльз с удовольствием принимал высокую ставку без всяких поползновений на большую свободу. Он не стремился отлучаться дальше деревенского кабачка, куда иной раз заглядывал вечером, о чем каждый раз предупреждал экономку на случай срочного вызова хозяев.

Однажды вечером, уже после закрытия кабачка, он возвращался по тенистой аллее, наслаждаясь прохладой густой зелени, как вдруг услышал голоса. Он остановился. В живой изгороди впереди него был проход, а на лужайке стог, верхушка которого виднелась над кустарником изгороди. На лужайке были Хатчинс и Джун Вибер. Он живо представил себе, как они сидят, опираясь спиной на теплое шуршащее сено. Он стал обходить это место под прикрытием аллеи, надеясь пройти незамеченным, но первые же слова Джун, которые он разобрал, заставили его опять остановиться. Он укрылся в густую тень и после некоторой борьбы с собой стал прислушиваться.

— Я не хочу вас слушать, Джордж. Этого я не сделаю, и хватит об этом.

— Да я вовсе ни на чем не настаиваю,— послышался голос Хатчинса, ворчливый и возбужденный.— Я только говорю, что нельзя же так. Вы приезжаете и преспокойно говорите: «Я беременна. Теперь дело за вами». Ведь это стоит много денег, а у меня их как раз нет.

— Ну, если понадобится, вы еще успеете их достать. Вам всегда одолжат такую сумму, а без этого не обойтись, это непременно понадобится.

— Вы так думаете? Ну кто, например?

— Это меня не касается. Ваша забота — найти такого человека. А таких десятки. Даже в вашем колледже, ну, скажем, хотя бы Локвуд.

— Локвуд! — сардонически воскликнул он и коротко кисло захохотал. — Прекрасный пример! А как вы думаете, где я добыл денег на нашу поездку в Испанию? Вы думаете, что мне хватило бы моего жалованья?

— Так значит эти деньги одолжил вам Локвуд?

— Локвуд и еще двое. Из них Локвуд — двадцать пять фунтов. Дело в том, дорогая, что, как бы мне ни хотелось умолчать об этом, все эти месяцы я далеко не роскошествовал. Вы мне стоили...

Четкий голос прервал его на высокой ноте, и в нем было режущее острие гнева:

— Продолжайте в том же духе! Уверена, что каждый раз, как мы были вместе в постели, вы, возвратясь домой, высчитывали, во что обошлась вам каждая минута, проведенная со мной.

Последовало молчание.

— Дорогая моя, — слышался убитый, заискивающий голос Хатчинса. — Вы, должно быть, очень сердиты на меня, иначе не сказали бы этого. После всего, что у нас было...

— Плевать мне на то, что у нас было и чего у нас не было, — отрезала она, и с каждой секундой в ней все отчетливее проступала рыночная торговка. — Я знаю только, что вы позабавились и у меня скоро будет ребенок и что вы настолько не мужчина, что не можете без нытья наскрести несчастных семьдесят пять фунтов. И все-таки вам придется их наскрести. Я не собираюсь тратить свои сбережения, чтобы спасти вас от скандала.

— Почему это меня? Вы и себя спасете.

— Не трудитесь, не пройдет. Вы не заставите меня платить из своего кармана, надеясь запугать последствиями. Вы рискуете потерять все, если эта история раскроется, а тут уж я постараюсь, будьте уверены. Вы ни за что не удержитесь на своем месте и нового нигде не получите.

— А кто докажет, что отец именно я? — отчаянно защищался Хатчинс, терявший всякую уверенность в победе.

Она захохотала.

— Ну знаете, Джордж, вы еще глупее, чем я предполагала. Не можете себе представить, как я докажу это с полной очевидностью? Да, вы были достаточно осторожны, чтобы не писать мне писем, но, бедняжка, ведь не только в письмах дело. Есть еще гостиницы. Я позаботилась, чтобы в каждой из них нас запомнили и горничные и дежурные.

— Какие предосторожности, — слабо ухмыльнулся он.

— Да, и, как оказалось, далеко не излишние с таким негодяем, который бросает меня, после того как...

— Бога ради, Джун, не надо так! — взмолился Хатчинс. Чарльза даже изумила в его голосе нотка неподдельного чувства, которое нельзя было отнести только за счет страха. — Ведь это же не было для меня простой интрижкой, да вы и сами знаете: то, что вы сейчас говорите, для меня... — Тут у него перехватило дыхание.

Снова длительное молчание. Возможно, она обняла его.

— Ну, ну, ну, ну, — услышал Чарльз, как она, должно быть, ластилась к Джорджу, а потом: — И ты все уладишь, милый, не правда ли?

— Попробую, — сказал Хатчинс дрогнувшим голосом. Ясно было, что все это для него непереносимая мука. — Вы говорите, что в запасе еще три или четыре недели. Сделаю все, что могу. А вы договоритесь с кем надо и заверьте, что все будет оплачено.

— Это про вторую половину, — напомнила она с рассудительной настойчивостью. — Половину надо внести вперед.

— Вы так осведомлены о всех деталях,— заметил Хатчинс, возвращаясь к прежней напускной твердости.— Уж не доводилось ли вам бывать у него прежде?

Ее ответ от ледяного спокойствия сразу же перешел во взрыв ярости, из которого Чарльз уловил только одну фразу: «Не знаю, что заставляет вас говорить гадости каждый раз, как вы откроете рот...» — и поспешил ретироваться, сделав большой круг по полю.

Ему противно было слушать, как они бранятся. И так уж целительный покой этого вечера был для него вконец отравлен.

Когда Чарльз выключил мотор и вышел из машины, к нему подбежал Уолтер.

— Ну как, уехали? — спросил он.

— Я высадил их в Нортхолте,— сдержанно ответил Чарльз.

Как лояльный слуга он не считал удобным разделять восторг Уолтера по поводу отъезда его родителей.

— У нас в распоряжении неделя,— раздумчиво сказал Уолтер.— Немного, конечно, и негде развернуться на этой дорожке, но и на грани мы проверим, как она ведет себя на малых оборотах.

Чарльз, не откликнувшись на «мы», вошел в гараж. Мистер Брэйсуэйт чувствовал себя настолько хорошо, что решил лично уладить кое-какие дела своего брюссельского филиала и на неделю поехал туда вместе с женой. Уолтеру предписано было продолжать занятия с мистером Хатчинсом. Конечно, заниматься он будет, но отсутствие отца позволяло ему вытащить из тайника ужасающую машину, которую он так терпеливо собирал, и производить невообразимый шум и вонь без опасения быть разоблаченным.

Он и сейчас выкатил ее из убежища. Чарльз посмотрел на нее критически.

— Мне до сих пор казалось, что рояльные струны ставят только в роялях,— сказал он.— А эта свинцовая бумага, не отяжелит ли она машину?

— Нет у вас фантазии,— сказал Уолтер, раскачивая новоявленное чудо техники на тугих рессорах.— Для шофера у вас ни на грош выдумки. Я таких еще не встречал. Меня просто огорошило, когда я понял, что вас в самом деле вовсе не тянет к конструированию.

— Теперешние шоферы, они все такие,— добродушно признался Чарльз.— Они предпочитают делать это всяким юнцам вроде вас.

Он искренне восхищался Уолтером. Ограниченный парень, он без всякого усилия достиг того, на что ему, Чарльзу, потребовалось сокрушающее внутреннее потрясение: он одним махом смел все искусственные барьеры среды и воспитания. Отчасти, конечно, потому, что среда и воспитание никогда на него не действовали. С того возраста, когда он впервые забрался под машину и, лежа на спине, стал изучать задний мост, как естественный наблюдатель глядит на небо сквозь ветви деревьев, ничто больше уже не существовало для Уолтера. Человечество разбилось для него на тех, кто разделяет и кто не разделяет с ним его страсть. Чарльз невысоко расценивался в числе последних, но его готовность по крайней мере слушать спасала его от полного изгнания из круга заветных интересов Уолтера.

— Прокатите ее хоть несколько ярдов,— сказал Уолтер.— Мы ее разогреем.

— Раз и навсегда,— запротестовал Чарльз,— не втягивайте меня в ваши затеи. Вы, кажется, предполагаете, что я собираюсь помогать вам и содействовать вашей безумной возне со всякими изобретениями, вопреки прямому запрету вашего отца. А я не хочу терять работу ни ради вас, ни ради кого-нибудь другого.

— Да нет, вы меня не так поняли,— сказал Уолтер, стараясь к нему подольститься.— Вы, кажется, думаете, что вам необходимо стать на ту или другую сторону. Патера или мою. Вовсе нет, вы можете оставаться нейтральным. Когда он здесь, пляшите под его дудку. А когда его нет, помогайте мне.

— А как же моя собственная дудка? Когда мне на ней играть?

— Ну, будьте товарищем. Хоть сейчас-то не оставляйте меня. Мне ведь надо только, чтоб вы иногда подсобили мне в трудную минуту. Жизнь — она чертовски трудная штука.

— Ладно, ладно. Садитесь за руль, а я подтолкну. Полцарства за спокойную жизнь.

Он толкал и толкал, пока мотор не стал прерывисто стучать и пыхтеть, извергая клубы черного дыма. Уолтер сделал несколько попыток перевести двигатель на более ровный режим, потом приглушил его и угрюмо повел машину к своей мастерской. Чарльз выкурил сигарету, наслаждаясь тихим теплом летнего вечера, а потом занялся своей машиной. Он заливал масло, когда Хатчинс вышел из боковой двери дома и зашагал прямо на него, густо покраснев от досады.

— Это вы послали мне кучу дурацких телеграмм, подписанных «Дерма»? — спросил он.

Чарльз выпрямился и смотрел на него с изумленным видом.

— Послал вам что?

— Вы прекрасно все слышали. Какая-то поганая свинья бомбардирует меня телеграммами идиотского содержания и именует себя Дермой.

— А при чем же тут я, если у вас друзья с такими причудливыми именами?

Хатчинс сжал кулаки и сунул их в карман. Он был на самом деле взбешен.

— Довольно, Ламли. И, черт возьми, давайте начистоту. Я не знаю никого другого, кто мог бы мне посылать телеграммы из разных мест этого округа. И если на то пошло, я не знаю никого другого, кто хотел бы досадить мне и причинить неприятность.

— Ну и счастливчик же вы,— сказал Чарльз тоном, подразумевавшим, что счастлив Хатчинс прежде всего потому, что у него еще целы передние зубы.

— Я добьюсь, что вас выгонят отсюда, и вы прекрасно знаете, что я это сделаю.

— Вы успокойтесь и хорошенько подумайте, Джордж. Как бы вам снова не влипнуть. Может быть, у вас на самом деле есть приятельница по имени Дерма. Всякие бывают имена, тут уж ничего не поделаешь.

Вошла экономка и вручила Хатчинсу телеграмму. Он весь побелел и стоял неподвижно, глядя прямо перед собой.

— Рассыльный спрашивает, не будет ли ответа,— сказала экономка.

— Не будет! — проскрежетал Хатчинс.

Сохраняя невозмутимый вид, Чарльз весь кипел от радости. Сегодня он не отправлял очередной телеграммы. Сейчас Хатчинс либо не посмеет распечатать пакет и, может быть, не узнает вовремя важной новости, либо распечатает его слишком поздно и обнаружит, что должен был бы срочно ответить.

Экономка проковыляла в дом. Хатчинс, весь дрожа, протянул пакет Чарльзу.

— Распечатайте и будьте прокляты.

— У меня масляные руки. Сами распечатывайте. Это же вам.

Чарльз пожал плечами, разорвал пакет и вынул телеграмму. Она была подана в Бирмингэме и гласила:

**«Приеду роллсе ждите Дерма».**

Уолтер превзошел себя, он, должно быть, дал инструкции кому-нибудь из своих бирмингэмских друзей. Теперь, без сомнения, последует новый залп телеграмм со всех концов страны, а возможно, даже из-за границы. Уолтер ничего не делал наполовину.

Молча он передал телеграмму Хатчинсу, который бегло взглянул на нее, прежде чем скомкать и швырнуть о землю, как мяч.

— Это слишком! Я добьюсь, что вас выгонят, пусть заодно со мной.

— Сначала вам придется доказать, что я был в Бирмингэме,— спокойно сказал Чарльз.

— Ничего не надо доказывать. Уж я найду причину для вашего увольнения.

— Так не годится, Джордж. Пора вам стать солиднее, вот что! И перестать быть удобным объектом для шутников.

— Мое несчастье, что я знаком с такими грязными свиньями, как вы! — сказал Хатчинс уже более спокойным тоном.

— Да, как я и как Дерма.

Он взял щуп и погрузил его во внутренность своего «даймлера». Хатчинс зашагал по направлению к саду.

Наутро Уолтер показал, что намерен ковать железо, пока горячо. Чарльз прошел на кухню позавтракать в половине седьмого, а коренастая фигура в комбинезоне уже мастерила какое-то самодельное приспособление на другом конце аллеи. Стремясь быть нейтральным, Чарльз постарался незаметно проскользнуть по двору, но, когда через полчаса он возвращался, Уолтер перехватил его по дороге. Он протянул какую-то резиновую полоску в том месте аллеи, где она расширялась в небольшой цементированный дворик перед гаражом.

— Наконец-то! — воскликнул он, как только Чарльз появился в дверях.— Сегодня утром вы, надеюсь, бездельничаете?

— Ни секунды свободного времени,— торжественно заявил Чарльз.— Занят от зари до зари. Никогда в жизни не был так занят.

— Ну, не заставляйте меня начинать все сызнова. Ведь вы, кажется, обещали помочь мне. Я на это рассчитывал. Все, что от вас требуется,— стоять вот тут, посередине дистанции, и следить за циферблатом.

Сногшибательный юноша, оказывается, соорудил электрический отсчетчик времени. Он показал его Чарльзу. Когда колеса его колымаги касались первой полоски возле самых ворот, электрический импульс приводил в действие часовой механизм; когда они пересекали вторую, другой импульс выключал часы. Он, должно быть, начал прилаживать все это еще до восхода солнца. Куда там Хатчинсу справиться с такой энергией!

— Стойте здесь, а часы положите плашмя на землю. Абсолютная безопасность! — с обезоруживающей улыбкой сказал Уолтер.— Я не выеду за ворота, так что никто не может сказать, что я развезжаю без прав по общественным дорогам. Все начистоту — таков мой девиз.

Он направился к своему чудищу.

— Минутку, минутку,— в смятении остановил его Чарльз.— Вы что же, собираетесь брать дистанцию на этой штуковине и в этой аллее, а я должен засекал время?

Уолтер кивнул.

— Но это же абсолютно невозможно. Вы же расшибетесь, когда врежетесь во дворик на полном ходу.

— Ни в коем случае. Тормоза действуют безотказно.

Чарльз покачал головой.

— Уолтер, должен вам сказать, что я совсем недавно едва вылечился в больнице как раз после тех самых повреждений, которые вы собираетесь себе причинить. И это было не сладко!



— Опять! — досадливо сказал Уолтер.— Ну хорошо. Чтобы вас успокоить, примем меры. Вы откроете двери гаража — это будет для меня запасный выход,— а я напялю свой колпак.

— Ваш колпак?

Вместо ответа Уолтер вытащил из багажника огромный красный стальной шлем, на котором спереди было выведено: «Нортон».

— Ну ладно, ладно,— простонал Чарльз.

Он открыл двери гаража и, обернувшись, увидел, что Уолтер уже затягивает под подбородком ремешок. Огромный стальной горшок делал его лицо похожим на маску карлика. Круглые металлические раковины защищали уши.

— Ну что ж, начинать так начинать,— сказал наконец воспитанник Хатчинса, взбираясь на сиденье. Баранка упиралась ему в живот.

Чарльзу мерещились чудовищные увечья.

— Вы не позаботились оставить письменное подтверждение, что я вас предостерегал? — спросил он с отчаянием в голосе.

— Ерунда! Толкните меня и попрактикуемся. Скоро половина девятого, а в десять он мне опять закатит письменную.

Чарльз уперся и стал толкать. В полной тишине, если не считать хлюпаний и свистов в трубках мотора, они поползли по аллее.

— Ну, что там еще?

— Ничего особенного — сдало несколько кровеносных сосудов,— прохрипел Чарльз и опустил в густую траву.

Уолтер вылез и стал ковыряться в моторе.

— Вот, теперь все в порядке,— сказал он через минуту.— Попробуем еще раз.

Они пробовали еще три раза, и наконец ценою стольких же лет жизни Чарльза мотор громко взревел.

— К середине! Циферблат! — донесся сквозь вонючее облако сизого дыма вопль из-под шлема.

Чарльз поплелся к указанному месту, отирая пот тыльной стороной ладони. Неужели все попадают в такие трагикомические положения? Или только в нем одном сидит какой-то магнит, притягивающий их к его персоне? Вот опять: вынужден помогать хозяйскому сыну расшибиться вдребезги. И все потому, что у него не хватило духу отказать Уолтеру. Человек, обуянный одной идеей, всегда добьется своего. Чего хочет, добьется, пример — Хатчинс, Фроулиш, мистер Блирни, Родрик, Стэн, Бёрдж, теперь Уолтер.

Треск и рев в дальнем конце аллеи вдруг стали оглушительными. Стрелка перед его глазами прыгнула и стала вращаться. Слишком поздно останавливать маньяка. Чарльз стоял такой же испуганный, как тогда, когда глядел на фанатичное лицо Гарри Догсона. Он преклонялся перед сверхъестественной силой человечества, стремящегося к идеалу. Злорадно залопотала машина, переведенная на вторую скорость, и вдруг комически уродливое порождение свалки пронеслось мимо него по крутому завороту, разбрасывая во все стороны камешки из-под колес. Это было нечто фантастическое. Мотор помещен был сзади водителя, и это создавало кошмарное впечатление, что машина идет задом. Четыре голые выхлопные трубы изрыгали султаны черного дыма, которые стлались низко по земле и смешивались с густыми клубами пыли. Высоко подпрыгивая, утильторпеда Уолтера понеслась через вторую полосу прямо к дверям гаража.

В это время Хатчинс, очевидно, пытался незаметно вывести из дома Джун. В отсутствие мистера и миссис Брэйсуэйт он, должно быть, осмелел, и она задержалась у него слишком долго. Он был настолько поглощен своей трудной задачей, что не обратил внимания на оглушительный

шум в аллее и, приоткрыв боковую дверь, потащил за собой Джун прямо наперерез бешено несущейся адской машине Уолтера.

Чарльз не успел даже зажмуриться. Он стоял недвижимый, крепко зажав перила. А стрелка на циферблате мирно поблескивала у него перед глазами.

Послышался громкий, нечеловеческий визг тормозов и шин. Хатчинс и Джун Вибер застыли на месте. Он был шагах в пяти от спасительной стены, она, держась позади, одной ногой была еще на пороге. Был ли это обман зрения, но только Чарльзу показалось, что машина на глазах меняла облик. Вот она непомерно вытянулась, а потом присела и сжалась; на месте была только фигура в каске, отчаянно крутившая баранку из стороны в сторону. Распластывая свои заторможенные колеса по цементу, машина пролетела мимо двух окаменевших фигур, как гигантский нетопырь. Двери гаража были недостаточно широки, чтобы принять машину на ее крутом вираже, и задний конец ее ударился о стену. Подскочив в воздухе и плюхнувшись на колеса, она исчезла в темном гараже. Ужасающий грохот и скрежет металла напомнил о ничего не подозревавшем «даймлере». Из двери брызнули последние всплески гравия, и наступила тишина.

Хатчинс стоял, покачиваясь и поворачивая из стороны в сторону свое белое как мел лицо. Джун Вибер окаменела, опершись спиной о косяк двери, глаза у нее были закрыты. Чарльз оторвался наконец от своего циферблата и пошел к гаражу.

Он еще не успел пройти, как в дверях появился Уолтер. С первого взгляда казалось, что он расшибся. Лицо у него было искажено, словно его перекосило на сторону. Создание его рук погибло, священное воплощение его заветной мечты было вырвано у него в тот самый момент, когда оно начало осуществлять свои чудесные свойства. Все нормальные чувства радости, что сам он спасся, были сейчас исключены единой страстью. С тем же успехом можно было бы представить Наполеона, утешенного и согретого мыслью о том, что он по крайней мере не был убит, не замерз в русских снегах. Уолтер направлялся к Хатчинсу, чтобы уничтожить его. Чарльз замер на месте, парализованный как случившимся, так и инстинктивным нежеланием чем-либо помочь Хатчинсу. Уолтер тяжело ступал по цементу, его искаженное лицо обрамлял памятник стальной гриб, спасший ему жизнь, его могучие руки нелепо свисали по сторонам. Джун Вибер все еще не открывала глаз.

Потом Уолтер преподнес всем величайший сюрприз. Решение, которое он принял, на каком бы уровне сознания оно ни было принято, навсегда запечатлелось в мозгу Чарльза как самое изумительное происшествие его жизни. Остановившись перед Хатчинсом, который все еще был слишком потрясен, чтобы понять, что ему угрожает, Уолтер с минуту глядел ему прямо в глаза, а потом сказал спокойным, недрогнувшим голосом:

— Вот как, значит, не обошлось без этого?

— Без чего? — пробормотал Хатчинс.

— Дерьма́,— отрезал Уолтер и вошел в дом.

То, как он произнес это слово, ошеломило на минуту всех. Потом Чарльз и Хатчинс одновременно разразились истерическим хохотом, и не потому, что им было смешно, а потому, что ненавидели друг друга и не могли заставить себя перестать. Джун наконец открыла глаза и разрыдалась. Стоя посреди дворика с четырьмя черными полосами расплавленного каучука на цементе, разделявшими их, и вдыхая запах высокооктанового бензина, они всхлипывали, ревели, заливались слезами. На порог вышла экономка, поглядела на них, повернулась и вошла в дом.

Конечно, все было ясно. Не было даже смысла дожидаться возвращения мистера Брэйсуэйта и расчета. Правда, «даймлер» твердо стоял на своих колесах и после того, как торпеда Уолтера, саданув его в бок, превратилась в грудку исковерканного, дымящегося лома. Но никуда не уйти от того, что одна подножка безнадежно скручена, заднее крыло полусорвано и окно разбито вдребезги. Вдобавок горячее масло щедро оплеснуло всю машину и вконец испортило ее блестящую поверхность. После такого ни один шофер не мог рассчитывать сохранить свое место.

Он, конечно, принял бы на себя любую вину. Например, он врезался в каменную ограду, возвращаясь из Нортхолта. Подошла бы любая выдумка, только бы не вмешивать в нее другую машину, владелец которой был бы непременно обнаружен. А Уолтера нужно было — как это обычно называлось в школе? — да, «выручить». После такой опустошительной неудачи нечего было и думать о том, чтобы в довершение всего еще выдать его на расправу заботливому отцу.

Чарльз угрюмо сидел в своей комнатке над гаражом и писал на листке дешевой бумаги:

Дорогой мистер Брэйсуэйт,

Возвращаясь домой, вы испытаете неудобства уже оттого, что вас не встретят в аэропорту. А попав домой, вы узнаете, что лишились машины и ее шофера. Машина будет отремонтирована, я позабочусь об этом, перед тем как уехать. Виною аварии была моя небрежность, и, придя к заключению, что я для вас недостаточно хороший шофер, я просто-напросто предвосхищаю то решение, которое вы неизбежно примете. Я извещу агентство о том, что вам требуется шофер, и вам, конечно, не замедлят прислать подходящую замену. Что касается затрат на ремонт, то, во-первых, остается еще не выплаченное мне за полмесяца жалованье, на которое я не претендую; если же это не покроет расходов и вы сочтете нужным получить с меня разницу, то прошу известить меня по адресу: Лондон, п/о Чаринг Кросс, до востребования.

Может случиться, что вы в качестве гарантии примете меры к моему задержанию. На этот случай я заранее предупреждаю вас, что я сделаю все возможное, чтобы избежать ареста. Но я надеюсь, что вы не пойдете на это.

Как бы то ни было, прощаясь с вами и надеясь никогда больше не встретиться, я пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить вас за доброе отношение ко мне. Мне представляется одной из горьких насмешек судьбы то, что единственный человек, который обращался со мной с чистосердечной порядочностью, в то же время подвергается величайшему искушению оскорблять и подавлять своих ближних, обладая благоприобретенным богатством.

Остаюсь, сэр,

уважающий и благодарный

Чарльз Ламли.

Усилие, потраченное на то, чтобы сочинить это письмо, заставило его задуматься над многим, и он решил прогуляться. Уже смеркалось, но тихий золотистый отблеск еще согревал пышный ландшафт. Нет, все это не для него, не для него. Даже коровы на пастбищах, мимо которых он шел, даже деревья, даже искусно расположенные ручейки, журчавшие по чисто промытым камешкам, — все дружно твердило ему о том же. Мы знали, что ты не останешься здесь. Ты не из того теста. Они правы. Не из того. Эта мечта о полууединении, о достойном паразитизме на службе у доброго богача среди пейзажей с экрана цветного фильма — все это так чуждо ему. Что бы ни случилось, он принадлежал миру, где живут настоящей, деятельной жизнью. Он

свой на убогом чердаке, где Фроулиш отстукивает на старой машинке; он с Догсоном, который дал себя убить в погоне за газетной сенсацией; он даже с Эрном, отбывающим свой срок тюремного наказания, или с мистером Блирни, странствующим со своими скучнейшими мюзик-холлами по провинциальным эстрадам. Он был с теми, кто болен, несимпатичен, неудачлив, смешон, но кто живет и порождает какой-нибудь вид человеческой энергии. Эта дорогостоящая буколическая декорация дала ему только видимость прибежища, и потребовалась встреча с сумасбродным конструктором, нимфоманкой и сорвавшимся карьеристом, для того чтобы у него открылись на это глаза. И, как всегда, серьезное проступало сквозь комические перипетии. Его жизнь была словно диалог красноносых мюзик-холльных клоунов, выкрикивавших глубокие и трагические истины. Ничто не происходило прямо и всерьез, а в будущем, может быть, лучше, чтобы и вовсе ничего не происходило.

Он вернулся в свою комнату около девяти часов. Было еще достаточно светло, чтобы не зажигать света, разве что для шитья или чтения, и то, что он увидел, войдя к себе, поразило его полной неожиданностью. Это была Джун Вибер. Она удобно устроилась в кресле. Так как комната вмещала еще только грубый деревянный стул, на спинку которого он вешал одежду, ему негде было сесть, кроме как на диван. Он присел на него подальше от кресла.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Я пришла оказать вам добрую услугу, — сказала она своим звонким, четким, бесстыдным голосом.

— А именно? — спросил он.

Вместо ответа она медленно обвела взглядом его комнату, пока глаза ее снова не остановились на нем.

— А вы тут уютно устроились. Я нахожу, что гораздо лучше, чем Джордж в большом доме.

— У этой комнаты есть, конечно, одно преимущество, — сказал он. — Джордж живет не в ней.

Он хотел разозлить ее или по крайней мере рассмешить, потому что напряжение, которое она стремилась создать, надо было нарушить сразу же. Но она только кивнула головой с таким серьезным видом, как будто он сказал что-то правильное и важное.

— Без него лучше, не правда ли? И вы тут проводите все время? Я хочу сказать, здесь и спите, на этом диване?

— Слушайте, — сказал он, — не заставляйте меня выдавать свои детские секреты, а лучше скажите, какую добрую услугу вы мне собираетесь оказать. — «Если это не то, что я предполагаю», — готов он был добавить, но остаточные рефлекссы воспитания удержали его от этого.

— А, да, добрая услуга, — сказала она неторопливо. — Это предложение. Я хотела предостеречь вас.

— От чего? — спросил он, досадуя, что она тянет.

Ему хотелось поскорей от нее избавиться. Комната была маленькая, над гаражом, она не принадлежала ему, но он любил ее и не хотел ничем осквернять.

— Все дело в Джордже, — сказала она все тем же усыпляющим голосом, который действовал ему на нервы. — Он не любит вас. Больше того — ненавидит. Вы, кажется, сыграли с ним какую-то шутку, он не говорит, что именно, но он страшно обидчив.

— Я знаю, — сказал Чарльз, чтобы чем-то заполнить новую паузу.

— Страшно обидчив, — повторила она. — Он ничего мне не говорил, но я знаю, что он хочет вам отомстить. Он был бы рад, если бы вас уволили. И он будет добиваться этого тем или другим способом.

— А он может не беспокоиться. После того, что произошло сегодня утром, я все равно уйду. Разве можно мне оставаться, если так изуродовало машину?

— Но это же не по вашей вине? — сказала она медленно и серьезно.

— Ну а чья же вина? Вина этого парнишки, что он построил себе этот idiotский автомобиль и гонял его по аллее? Ваша или Хатчинса, что вы некстати вышли из дому? Моя, что я не воспрепятствовал всему этому? Что толку обсуждать то, чего не воротись! Когда такое случается, шофер уходит. Особенно если в противном случае раскроется то, что все хотели бы замять.

— А, так вы разыгрываете благородство,— сказала она холодно, но с ноткой раздражения.

— Благородство и благоразумие. Ухожу, пока не наподдали коленкой пониже спины.

Опять пауза. Разговор, казалось, был исчерпан. Но она не двигалась с места.

— Что-нибудь еще прикажете? — спросил он угодливо, пародируя шоферскую почтительность.

— Вы не торопитесь от меня избавиться.— Она посмотрела на него в упор.— Кстати, я ничем не занята до самого утра.

Он встал.

— А я занят. Сначала укладываюсь, потом сплю, потом освобождаю помещение. Есть, должно быть, и другие помещения, которые вы могли бы занять до самого утра.

— Не для того, о чем я думаю,— сказала она медленно и отчетливо.

Он почувствовал себя так, словно горячая патока полилась на его голову сквозь отверстие в потолке и растекалась по его лицу, затылку, груди, спине, подмышкам. Надо ее выпроводить. Если бы он испытывал по отношению к ней только простое и недвусмысленное чувство отвращения и досады, легко было бы продолжать пикировку с ней, пока ей это не надоест; но он сознавал в себе присутствие и других чувств, в которых не хотел разбираться.

— Хватит,— сказал он грубо.— Если бы я случайно не знал, что вы беременны, я без дальних слов вытолкал бы вас отсюда. Но при теперешнем положении вещей я ограничусь последним словесным предупреждением, прежде чем пушу на вас огнетушитель.

— Так вы это знаете, вот как? — сказала она, не спуская с него упорного взгляда.

Он склонен был предположить, что и сама она в трансе. Она встала и уселась на диван, поджав ноги.

— Так удобнее,— сказала она.

— Я же просил вас уйти.

Он глядел на нее с ненавистью.

— Послушайте,— сказала она уже настойчиво.— Если вас смущает то, что вы каким-то образом узнали, то не беспокойтесь, на первых месяцах это не мешает.

— Почему вы добиваетесь, чтобы я спустил вас с лестницы? — спросил он.

— Уверю вас, что это не мешает. Никакой разницы.

Он шагнул к ней, чтобы схватить за руку и стащить с дивана. Потом глаза их встретились, и вдруг напряжение пропало, остались двое ненавидящих друг друга и признающих, подтверждающих эту ненависть.

— У вас, должно быть, не все в порядке,— сказала она с обдуман-ным желанием уязвить.— Вероятно, страдаете какой-нибудь психосоматической формой импотенции и боитесь обнаружить это.

— Конечно, я боюсь обнаружить, что не могу сравняться в этом с вами.

— Вы больны. Вы слишком давно не имели сношений с женщиной. Это по всему видно.

— Спасибо за вашу заботу,— сказал он,— но я повременю с лечением и дождусь рецепта от системы общественного здравоохранения.

Она вышла. Он бросился на диван и отер пот на висках и над верхней губой. Вечерний ландшафт за окном погружался в иллюзорный покой, в иллюзорное довольство.

## 10

На скамейке было холодно. Первый час или два он был благодарен хотя бы за то, что не шел дождь, но еще через час стало так холодно, что промокни он до костей, все равно хуже не было бы. Нужна, очевидно, особая сноровка, чтобы спать на этих штуковинах; еще один урок, который ему еще предстояло выучить. Ложиться нельзя, это он знал, а то полисмен арестует. Надо сидеть и более или менее удачно притворяться бодрствующим. Он пробовал подтянуть колени и скорчиться в тугий комок, а потом охватить руками колени, свесить голову и расслабить, насколько возможно, все мускулы, сцепив только пальцы. Но от этого скоро сводило мускулы спины, и уже через десять минут приходилось менять положение. И какие бы позы он ни придумывал, ни одна не годилась. Из Сити донесся сквозь морозный воздух чистый перезвон часов. Четверть второго. Ночь-другая без сна вообще-то повредить не может, конечно, если ты в форме. Походить, что ли? Он побрел по набережной спокойно плещущей, недоброй реки. Решетчатый мусорный ящик из проволоки привлек его внимание необычной белизной. Полно газетной бумаги. Вот повезло! Простейший способ согреться. Он набил гармошки из газет под брюки сверху и снизу до самых колен, запихнул под куртку. Несколько листов были замаслены, должно быть в них заворачивали рыбу или жареный картофель. Ну так что ж? Холод заморозил окончания обонятельных нервов. Он не чувствует никакого запаха. А если и воняет рыбой до самых небес,— наплевать! А как же другим? Ну, бродяге так и положено — доставлять другим неприятности. Это как раз то, что от него ожидают. Всегда делай то, что от тебя ожидают, и преуспеешь в делах своих. Как нажить друзей и повелевать другими? Как повелевать друзьями и нажить других? Как дружить с другими и повелевать... Довольно! Повелевая друзьями, нажить... Хватит! Возьми себя в руки! Добьюсь, что тебя выгонят, Дерма, вот увидишь. Но как нажить дерьма?

Что это сказал ему тот бродяга? Верный способ заработать пару кругляков. Или хоть один шиллинг. На Пиккадилли Сёркес в шесть утра полно желающих выкурить папироску. Будь у меня хоть одна пачка, я бы заработал на еду дня на два, на три. Бывает, дают по шесть пенсов, по шиллингу за штуку. А то и больше, если хватит смелости запросить. Вот он и сберег целую пачку, десять штук. Он достал сигареты и жадно посмотрел на них при тусклом свете луны. Выкурить бы штучку, стало бы легче. И время пройдет незаметней. Всего одну, остальные продать. Шесть пенсов за штуку, это будет за девять — четыре с половиной шиллинга. Нет. Не распечатывать. И заработать на дневной рацион и еще на одну пачку. И так держаться, пока не найдешь приличной работы. А куда идти? На биржу нельзя. Держись подальше от всяких списков, регистраций и всякой писанины. Где-то кому-то поручено найти тебя и задержать за контрабандные дела. Ну что ж, надо ждать. Вдруг посчастливится. Весьма сожалею, Ламли, что вы дошли до такого. Обо мне не беспокойтесь. Я еще наживу друзей и буду повелевать людьми. Я еще покажу себя. И пусть они повелевают мною. Вы только смотрите на

циферблат, засекайте время на малых оборотах. Вымойте это окно. Весьма почтенная профессия. Гарри Догсон. Вы знаете этого человека? Он безвреден. Не то что я. Я буду вам отцом. Мне холодно, Роза, Вероника, прижмись ко мне ближе. Липкая газета. Вы подходящий парень, вы нам нравитесь. Мы как раз о вас говорили до вашего прихода. Здорово, приятель. Мистер Фроулиш прочтет нам отрывок из своего романа. Мистер Фроулиш наживет себе друзей и будет повелевать нами. Это вы послали мне все эти дурацкие телеграммы? Нет, мне слишком холодно, я подходящий парень, пора сказать, чем вы будете зарабатывать себе на хлеб. Пора! Пора сказать.

А вот уже пять, потом пять тридцать, шесть. Светает. Он зашагал по ветреным улицам к Пиккадилли Сёркес. Мужчины в пальто прохаживались по тротуарам. Женщин не много, к этому часу они уже покинули улицы. Мужчинам некуда идти. Вечерняя выпивка уже перегорела, осталась толькo горечь во рту. Печень. Он знал, что они чувствуют. Отлив. Во рту, как у араба под мышкой. А при чем тут арабы? Им сейчас гораздо лучше, сидят себе под финиковой пальмой и греются на солнце. А может быть, у них еще ночь, и им тоже холодно. Ему стало жалко арабов. Им, должно быть, тоже несладко, если у них под мышками так же, как у него во рту.

Но пора начинать. Под аркой стояла одинокая мужская фигура. Вид несчастный, но одет хорошо; даже если он провел ночь на тротуаре, несколько шиллингов у него, наверное, найдется. Чарльз, словно прогуливаясь, направился к нему, стараясь унять дрожь, и остановился в нескольких шагах. Теперь надо заговорить.

— Ничем себя не займешь в такой ранний час,— сказал он.

Лицо, повернувшееся к нему, было солидным, его бороздили глубокие морщины ответственных забот, оплывшие глаза смотрели сквозь очки без оправы. Какой-нибудь провинциальный коммерсант с хорошими оборотами и уютной женой и детьми в загородном коттедже. Приехал по делам в столицу. Обычная пожива для содержателей притонов.

— Что правда, то правда. Но чем заняться человеку после бессонной ночи в четыре утра, когда снова в кровать не ляжешь?

— В самом деле нечем,— пробормотал Чарльз.

— Мне только и остается,— рассудительно заметил провинциал,— бродить до девяти часов. В девять отходит скорый, и я рад буду поскорей попасть домой. Здесь неподходящее для меня место,— добавил он, доверительно понизив голос.— Тут слишком много охотников до твоего кошелька.

— И охотятся здесь, надо сказать, удачно,— сочувственно заметил Чарльз.

— Удачно,— раздраженно подхватил столп общества.— Да, скажу вам, даже вспомнить страшно, сколько они из меня вытянули с десяти часов вечера. И вот вам мой совет, молодой человек. Не попадайтесь вы на приманку пройдох, что ловят вас на тротуаре и зовывают в свои клубы. Такие приветливые... Вы к нам с ночевкой в Лондон, сэр? Загляните к нам в клуб. Выпьете, развлечетесь. Хорошенькие девочки. Хорошенькие! — Его сердитый голос гулко раздавался под продуваемой ветром аркой.

— Все-таки опыт,— сказал Чарльз, чувствуя, что надо перевести разговор на другое.

Если провинциал так ярится, что его пообчистили, пожалуй, он не слишком охотно заплатит за предложенную папиросу.

— Опыт! — повторил густой, желчный голос.— И еще вот вам мой совет, если уж на то пошло. Есть такого рода опыт,— он говорил с пафосом,— который, как бы вам сказать, гроша ломаного не стоит. Даже если предложат вам даром.

Чарльз смотрел на него с сочувственным презрением. Этот субъект в своей броне самодовольного коммерческого успеха просто не мог удержаться от всякого рода советов: Даже выпотрошенный, вымотанный в погоне за тошнотворными наслаждениями, блуждая с пустым брюхом в жутком предутреннем тумане, он по привычке не мог удержаться от поучений. Ну чем не Тарклз!

Но все-таки попробуем. Небрежно достав пачку, Чарльз вытащил сигарету и закурил с намеренной медлительностью. Глубоко затянувшись, он прислонился к стене. Его собеседник посмотрел на него тревожно, ожидая, что ему предложат закурить. Несколько секунд он боролся с собственной гордостью, потом заговорил:

— А не найдется ли у вас еще одной сигареты?

Чарльз посмотрел так, словно его изумил этот вопрос.

— Я выкурил последнюю еще в полночь,— продолжал тот горячо и быстро. Ему, должно быть, смертельно хотелось курить.— Приходится угощать всю ораву, когда попадешь в такие места. Грязные мерзавцы, обманщики,— добавил он с яростью.

— Что ж,— сказал Чарльз выжидающе.— Но, знаете, в такой час в Вест-Энде сигарета — это сущая находка. Спрос и предложение. Вы деловой человек, должны понять.

Глаза их встретились. За стеклом без оправы застыли подозрение и ненависть.

— Цена товара определяется спросом на свободном рынке,— продолжал Чарльз, дрожа от холода и тревоги.— Свободная торговля. Создала страну такой, какая она есть.

Подход был, видимо, не тот. Коммерсант, без сомнения, разглагольствовал всю свою жизнь о том, как необходима свобода торговли; но это не мешало ему приходить в ярость, когда его оружие обращали против него же. А по его словам, оно было успешно применено истекшей ночью его потрошителями.

Не отвечая, он нагнулся и вцепился в пачку, которую Чарльз держал в левой руке. У Чарльза потемнело в глазах. Самое существование его было в опасности. И усталые нервы его не выдержали. Он сжал кулак и нанес удар прямо в лицо мистеру Свободная Торговля.

Тот стукнулся спиной о стену и, отскочив от нее, как мяч, навалился на Чарльза, стараясь схватить его за горло. Это было последней каплей, переполнившей его терпение: он покажет этим лондонским паршивцам, что нельзя без конца обирать честного человека с Севера. Чарльз еще раз с размаху ударил его в область сердца. Полисмен, маячивший по ту сторону площади, зашагал к ним, доставая на ходу свисток на случай, если понадобится. Хотя едва ли. Просто двое ночных гуляк. К этому часу для настоящей драки задора в них не наберется.

Увидев, что полисмен двинулся с места, Чарльз вырвался и побежал. Столп общества, поколебленный ударом в сердце, поморгал по сторонам, увидел полисмена и быстро смылся в другом направлении. У него были свои основания остерегаться полицейской огласки, а у Чарльза тем более. Как загнанный заяц, он нырнул в один убогий переулок за другим, страшась даже взглянуть, нет ли за ним погони. Сигареты он бросил. Он ударил пожилого человека, после того как попытался надуть его: неужели опять все сначала? Он стал задыхаться. Надо убавить темп и куда-нибудь спрятаться. Ворота. Он на полном бегу свернул в них, чувствуя страшную боль в боку, чувствуя, как рвутся, взрываются легкие. Бац, и прямо в объятия мистера Блирни, который сказал с укором:

— Полегче, приятель. И почему бы не надеть трусы и не сделать утреннюю пробежку за городом?



Выходя из двери, мистер Блирни надевал пальто, и когда Чарльз прижал его к стене, правая рука его была еще в рукаве за спиной. Он высвободился и влез в оба рукава пальто.

— Хорошо еще, что я не курил. Иначе выжгли бы себе глаз моей сигарой.

— Пустите меня... наверх,— задыхался Чарльз.— Мне нельзя быть на улице... понимаете, неприятность... только бы присесть... отдышаться.

— Но клуб-то ведь уже закрывают,— с сомнением произнес мистер Блирни.— И он вовсе не наверху, а внизу. Но это неважно. Разве что на несколько минут.

Они спустились по грязным ступеням. На дверях значилось: «Клуб Золотого Персика».

— Золотые персики все разошлись по домам,— заметил мистер Блирни.

Комната смердела перегаром табака и спиртного. Пэт и дурной запах изо рта добавили свой аромат к этой господствующей вони. Чарльз старался перевести дыхание, но здесь не было того, чем можно было бы взбодрить усталую кровь.

— Вот Ада. Директриса,— коротко кинул мистер Блирни.

Жирная особа с копной крашенных хною волос смотрела на него поверх подноса с грязными стаканами.

— Ваш друг, Артур? Не поздно ли для клуба? Лучше возьмите его с собой, а я буду запирать. Условлено, кажется, с одиннадцати до шести.

— Не сердитесь, Ада,— умолял Блирни.— Я сейчас уведу его к себе позавтракать.

— С одиннадцати до шести,— сказала она.— Хорошенько запомните это.

— Выпейте, приятель, и пойдём домой.

Виски было плохое. Чарльз выпил рюмку, и они ушли.

Слуга мистера Блирни на этот раз не был одет в белоснежную куртку. Далеко не безупречной чистоты рукава его сорочки утомительно мелькали взад и вперед, по мере того как он приносил сэндвичи, яичницу и кофе. Чарльз чувствовал, как с невероятной быстротой он оживает; перед концом завтрака он уже вкратце и с большими пропусками рассказал о своем вчерашнем и сегодняшнем положении. Мистер Блирни, достаточно искушенный человек, чтобы сразу понять, как много в этом рассказе умолчаний, был достаточно стар и осторожен, чтобы подавить в себе всякую попытку узнать опущенное. Достаточно он наслушался всяких секретов, с него до конца жизни хватит. Глядя на оплывшее, шишковатое лицо старого лицедея, Чарльз недоумевал, почему этот человек расположен к нему. Может быть, имелось одно-единственное объяснение: основной движущей силой этого человека была добросердечность, которая поглотила все остальное. Если бы не было у него под рукой человека, на которого он мог щедро изливать ее,— он, вероятно, умер бы. Кроме того, между людьми типа мистера Блирни и людьми обычного традиционного склада все время шла необъявленная война. Первые, всегда в меньшинстве, активно стремились поддерживать друг друга против косной, инертной массы, на которую они взирали со смешанным чувством подозрения, покровительственной приязни и презрения. Когда масса реагировала правильно — это была «публика» («публика», черт ее побери, приняла меня сразу с первой реплики); когда масса была неотзывчива — это были просто «они» («их сегодня не расшевелишь», «если их и этим не проймешь, ну и черт с ними»); а при низкой конъюнктуре делали ставку на самые низменные вкусы, которым подвержена масса, состоящая из простаков и дурней («рождаются по

одному в минуту, так что на наш век хватит»). Это непостижимое меньшинство, бессознательно взявшее на себя обязанность породить смятение и потрясение основ нормальной жизни, сознательно обязавшееся привести в равновесие все, что не укладывалось в рамки нормальной работы, этот невидимый «тред-юнион» ожидал Чарльза с того момента, как он не смог укорениться на обрыве потрясенной буржуазии. Он пробовал черную работу; испробовал преступление; пытался быть слугой, а сейчас сидел против мистера Блирни, директора (в числе многих предприятий) и «Клуба Золотого Персика»,— сидел, пользуясь его гостеприимством и ожидая от него совета, как ему выйти из своего трудного положения. С необычайной ясностью, отчасти порожденной усталостью, сознание Чарльза отделялось от тела, сидевшего здесь за столом, и наблюдало со стороны за происходящим, насмешливо выхватывая аллегорические элементы этого моралите.

Молодой человек (Отчаявшийся) вырывается из тюрьмы Социального и Экономического Неустройства; он тащит на своих плечах тяжелый груз того, что именуют Образованием. После схватки с драконом Похоти, в которой ему помогает мнимый друг Преступление, он добирается до иллюзорной крепости Отказа от Надежд. И так далее. Какое из этого получилось бы моралите! Конечно, надо было бы придумать еще какие-нибудь завлекательные имена для всех этих абстракций, но это уж совсем не трудно.

— Как это вам нравится? — воскликнул мистер Блирни.

— Что нравится? — рассеянно спросил Чарльз и, запнувшись, вдруг заметил, что хозяин уже пять минут как о чем-то говорит, а он не слышал из всего этого ни слова.

Очнувшись, он принялся пространно извиняться, ссылаясь на усталость и сумбур в голове после всего пережитого.

— Ладно, ладно, тогда короче,— сказал мистер Блирни, проявляя изумительное терпение.— Всего несколько слов, чтобы вы поняли, в чем дело. Так вот, говорю я, нам в «Золотом Персике» сейчас нужен вышибала. Клуб у нас не для буйнов. Нам еще никогда не приходилось кого-нибудь выпроваживать. Но с некоторых пор Ада жалуется, что ей некому помочь, если кто-нибудь начнет безобразничать; конечно, там есть два официанта, но им платят как официантам, и что с них спрашивать, если они воротят нос от всякого скандала. Одно дело — разносить стаканы на подносе, а другое — давать кому-то по уху и получать сдачи.

Чарльз молчал. Вышибала в кабаке. Ничего не поделаешь, да и что он такое, чтобы привередничать?

— А сама Ада утверждает, что она всего-навсего женщина,— продолжал мистер Блирни.— Я, конечно, принимаю ее слова на веру. Хотя, как говорится, это внушает законные сомнения.

— И за плату? — спросил Чарльз.

Он с большим трудом удержался, чтобы не процедить эти слова, скривив рот, как заправский бродяга. Все это слишком начинало походить на голливудский фильм. Он закурил папиросу на манер Алана Ладда<sup>1</sup>.

— Само собой, за плату, приятель! И больше того — плата натурой, сколько влезет. И никакой поживы для налогового инспектора. Каждый вечер сытный ужин, постель в одной из свободных комнат,— он перешел на скороговорку, словно для того, чтобы скорее перемахнуть через этот пункт соглашения,— и пять кружляков за час дежурства, итого тридцать пять шиллингов в ночь. Это почти столько же, сколько получает сама Ада.

<sup>1</sup> Американский киноактер.

— А за увечья?

— Видите ли,— раздумчиво сказал мистер Блирни, отодвигая свою чашку кофе в самый центр стола,— мы не будем разглашать, что вы у нас на службе. А в случае если кто-нибудь нанесет вам увечье, мы обеспечим свидетелей, которые дадут показания, что затеяли драку не вы, и, как всякий гость нашего клуба, вы можете подать на них в суд. И знаете,— добавил он уже совсем весело,— за какое-нибудь явное увечье, ну, скажем, за потерю глаза, с них можно будет содрать изрядную сумму.

— Ну, лишнее запрашивать я не стану,— заверил Чарльз.

— Значит, заметано, приятель, а? В одиннадцать в клубе. А пока располагайтесь здесь. Советую вам снять ботинки и лечь на этом диване. Надо вам будет привыкать к тому, что спать придется днем.

— Прекрасный совет,— сказал Чарльз.— И, между прочим, спасибо за все.

— К чему благодарить меня, приятель? Мне это самому приятно.

И когда молодой человек по имени Отчаявшийся дошел до замка великана по имени Рэкет, он смело ударил железной рукавицей в ворота. И великан услышал его из своей опочивальни (потому что сам он велел слугам своим по имени Коварство и Путаница показать ему дорогу к замку) и встал, чтобы встретить его со словами: «К чему благодарить меня, приятель?», и молодой человек по имени Отчаявшийся вошел в отведенные ему для отдыха покои и возлег на пышное ложе.

Через двадцать четыре часа Чарльз возвращался после первого ночного дежурства. Он был возбужден и немного озадачен. Ада вовсе не была похожа на особу, подверженную нервическим страхам, но он так и не сумел представить себе иной причины, по которой она могла бы требовать себе вышибалу. Ему рисовались звероподобные верзилы, гангстеры с бритвами наготове или в лучшем случае моряки на побывке, до краев нагруженные буйством и виски. Но ничего подобного! Клиенты «Золотого Персика» были смиреннейшие люди, вроде пассажиров третьего класса какой-нибудь пригородной электрички. В основном преобладали две разновидности: провинциальные растяпы, вроде вчерашнего мистера Свободная Торговля, с острой приправой из завязтых обирал, наркоманов, алкоголиков, и разного рода психопаты, которые в большинстве своем были настолько подорваны излишествами, что не казались ему опасными, даже вздумай они буяннить.

А что касается приманки, на которую слетались завсегдагаи клуба, то Чарльзу не представило особого труда не глядеть на самых жалких и отвратительных. Спешить не было надобности, со временем он, конечно, нарастит вокруг себя раковину, чтобы сохранить остатки своих моральных и эстетических убеждений, или же начисто избавится от них, но до этого ему платили за то, чтобы пресекать всякие бесчинства и не совать нос, куда не следует. Уже в первые два-три часа своего дежурства он не мог не заметить, что, в сущности, клуб был заинтересован в том, чтобы создать иллюзию, что за внешностью скрывается больше, чем было на самом деле. Кроме небольшого бара — прибежища немногих завсегдагаев и посвященных, которые пользовались привилегией заказывать выпивку непосредственно у стойки, а не за тройную плату через официантов,— была еще только одна комната побольше. Называлась она танцевальным залом, и действительно в уголке располагался оркестр из трех музыкантов, который усердно наяривал всякие танцы, но на свободном квадратике паркета размером с носовой платок никто не танцевал. Гуляки угрюмо восседали за маленькими столиками, занимавшими большую часть комнаты, или на плюшевых скамьях по трем ее стенам. Два официанта, каждый из которых давно уже мог бы по-

лучить пенсию по старости, если бы согласился удостоверить при этом свою личность, шаркали, разнося туда и сюда ядовитые напитки по убийственным ценам. Ада сидела за стойкой и болтала с посвященными, которые каким-то образом все оказывались ее родственниками, а Чарльз преспокойно торчал в своем углу, готовый к любым неожиданностям и все еще ощущая себя в роли Алана Ладда.

В такой обстановке легко было создать впечатление, что где-то рядом, за сценой, бушует порок, но вскоре ему стало ясно, что раскаты его так же искусственны, как и у театрального машиниста, создающего с помощью железного листа полную иллюзию оглушительной грозы. «Персики», которых имелось с полдюжины, всегда бывали на посту, и время от времени то одна, то другая из них уходила под руку с избранным ею партнером в один из отдельных кабинетов, — что сейчас же навело Чарльза на мысль ни в коем случае не пользоваться этими кабинетами для дневного отдыха, — но с первого взгляда ясно было, что на одного счастливица, которому удавалось осуществить венец своих желаний, приходилось десятеро, которые были настолько обременены тошнотворными напитками, что уходили скорее для того, чтобы от них освободиться, без всяких покушений на неосуществимый для них подвиг. Удручающее зрелище немощных людей, неспособных развлекаться даже на таком скотском уровне! Это было скопище лиц, с которых глядело на Чарльза разочарование, крах, скука и тщетная попытка обмануть самих себя.

Единственно, кто в этой комнате, казалось, занимался настоящим делом, были трое музыкантов. На пятом-шестом часу дежурства Чарльз, изнывая от скуки и отвращения, подсел к ним в угол с риском оглохнуть от их «музыки». В перерыве между номерами они познакомились. Джимми — пианино, Альберт — кларнет, Фрэнки — гитара. Как только они отходили от своих инструментов, он сразу же переставал различать их, настолько они смахивали на марионеток массового производства: худоба, меловые лица, бобрик высотой со спичку, свободные черные блузы и галстуки пышным бантом. Это были славные ребята, маскировавшие свою трогательную провинциальную наивность шаблонной искусственностью, почерпнутой из чтения «Ритмоторца» и «Синкопы», и изъяснявшиеся на манер героев кино.

— Какого черта торчать здесь днем, дружище! — заявил ему Фрэнки, доставая из кармана новую костяшку и внимательно ее рассматривая. — Днем это скучнейшая дыра. Правда, ребята?

— Хуже не найдешь, — подтвердил Джимми, откидываясь на своем табурете. — Вы держитесь с нами, дружище. У нас знатное логово. Мы вас там мигом устроим. Приведем, поручимся, и дело в шляпе. Классная мебелирашка — не пожалеете.

Альберт тоже подтвердил это энергичным кивком.

— Сущий рай!

— Спасибо, — сказал Чарльз. До тех пор пока он не освоится с их жаргоном, он не решался произносить длинные речи.

И наутро они все вчетвером пошли домой. Трое артистов обменивались какими-то загадочными репликами, явно говоря о Чарльзе, словно его тут и не было, но делали это весьма дружелюбно. Они походили на второклассников, которые решили опекать новичка.

Однажды вечером по дороге в клуб Чарльз зашел на почту в Чаринг Кроссе — посмотреть, нет ли ему писем. Почтовый клерк протянул ему конверт, он сел за стол и распечатал его. Письмо было отстукано на машинке, очевидно продиктовано секретарше. Он прочитал его медленно и внимательно.

Мистер Ч. Ламли,

По возвращении я нашел ваше письмо, но меня изумляет, почему в нем не упомянут тот факт, что, покидая мой дом, вы украли с письменного стола моей жены ценную нефритовую статуэтку. Это был правильный выбор с вашей стороны, потому что я не люблю показной роскоши, и это была единственная ценная вещь в доме; у вас, видимо, есть определенный воровской опыт. Все улики неопровержимо доказывают, что украли вы, так что не трудитесь оспаривать обвинение. Я не намерен передавать это дело в руки закона, потому что понесенный мною материальный ущерб ничто по сравнению с крушением моего доверия к вам, которое ничем не может быть возмещено. Я никогда еще не делал крупных ошибок в оценке людей, хотя должен признать, что мне в моей практике не приходилось еще иметь дело с образчиками обычного уголовного типа. Я не жду и не желаю слышать вас или о вас в будущем.

Сэмюэл П. Брэйсуэйт.

Чарльз трижды перечел письмо. Два раза медленно, а третий — бегло. Потом рассеянно посмотрел перед собой; под веками у него словно перекатывались чугунные плашки. Улики все против вас, Хатчинс, я добьюсь, что вас выгонят, денег как-нибудь раздобудем, вы мне уже стоили немало, он ненавидит вас, — ж д у в с т р е ч и Д е р м а. Рядом с ним сидела какая-то краснолицая женщина с растрепанными седыми волосами и составляла телеграмму. Она поглядела на него с суровым порицанием, и он понял, что его растерянный взгляд остановился на бланке, который она заполняла. Она заговорила с ним оскорбленным тоном:

— Не понимаю, какое вам дело до моей телеграммы!

— Простите, — сказал он. — Это все кетгут. Слишком много кетгута. Она широко и натянуто улыбнулась и искала уголок глаза, есть ли кого позвать на помощь.

— Слишком много кетгута, — сказала она медленно и с одобрительным кивком.

— Слишком, слишком много, — сказал он.

Он поднялся, прежде чем она успела взвизгнуть во всю мощь своей хрипшей на ветру глотки. Выходя, он скомкал письмо в маленький жесткий шарик. Это была дорогая бумага хорошего качества, и жесткие уголки ее царапали ладонь. Он, тщательно целясь, бросил ее в урну и вышел. На улице было холодно.

Он поспешил в клуб. Там его встретило все то же удручающее и удрученное настроение: в углу наяривал и взывал оркестр, клиенты сидели, угрюмо уткнувшись в стаканы. Болезненно ощущая окружающую грязь, Алан Ладд, пораженный в ахиллесову пятку, приступил еще к одному опустошающему, иссушающему мозг ночному бдению. Пора бы уж ему и привыкнуть. Похоже, что это так и останется его последним убежищем. Еще одна катастрофа, разбитый волнами остов выкинут на захламленный берег, и чайки тонут, чертя воду слипшимися от нефти крыльями.

Целых три часа он, ничего не видя, вглядывался во что-то перед собой, наотрез отказавшись от следуемой ему порции тошнотворного пойла, которое разносили неряшливые официанты. Было уже около часа, когда он на несколько минут отлучился. Вернувшись, он заметил, что атмосфера необычно накалена. Оба официанта что-то втолковывали Аде по ту сторону стойки, и один из них с жалобным видом указывал на танцевальный зал.

— В чем дело? — устало спросил он, надеясь, что на этот раз найдется работа и для него.

Он рад был бы любой драке, рад залепить кулаком по чьей-нибудь скуле, легко и без усилия и даже с каким-то злобным наслаждением.

— Бузит там кто-то,— сказал официант постарше и понеряшливее.— Ликер ему, видите ли, не нравится.

Ада ничего не сказала. Она посмотрела на Чарльза и мотнула головой в сторону зала. Он зашагал туда вслед за официантом. Тот подошел к столику, за которым спиной к Чарльзу сидел какой-то человек.

Чарльз остановился за правым плечом сидевшего, не утруждая себя тем, чтобы зайти спереди.

— Говорят, что вам тут что-то не по вкусу,— сказал он.

Клиент посмотрел на него через плечо. Над дорогой сорочкой и модным шелковым галстуком показалась дергающаяся маска картофелеподобного лица.

— Силы небесные, да это вы, Ламли! — вскричал он.— Неужели в этом кабаке только и есть, что это кирш-виши пополам с карлсбадской и по пяти шиллингов за стакан?

— Да нет, печенки здесь у всех в порядке,— сказал Чарльз.— Но чем ворчать, скажите мне лучше, что вы здесь делаете? Последний раз мы виделись с вами на чердаке в добром старом Стотуэлле.

Чарльз присел за стол и ждал ответа.

— В такие места, как вы сами понимаете, я хожу не для собственного удовольствия,— начал Фроулиш, раздраженно ерзая на своем стуле.— На этой неделе мое дежурство по отделу скользких анекдотов. Вот и приходится высиживать в подобных помойках, чтобы собрать свежий урожай.

— «Скажи ясней, разгадок дни прошли»,— прервал его Чарльз. Цитата припомнилась ему со времени собственных «дней разгадок».

— Ну что ж тут не понимать,— сказал литератор, буравя его своими крохотными глазами, которые, сузившись, стали не больше угрей, испростравших его лоб. Его костюм, хотя и весь изжеванный, словно в нем спали, был из очень дорогого материала. — Принесите нам, пожалуйста, два стакана воды, Эразм,— сказал он официанту.— Я хочу пить.

Официант тупо глядел на него и не двигался.

— Вы слышали, что заказал джентльмен? — сказал ему Чарльз.— Два стакана воды из-под крана.

— Так вот,— сказал Фроулиш, когда официант наконец ушел.— Вы, надеюсь, слышали о Теренсе Фраше?

— Нет,— сказал Чарльз.

— Ну, как можно так закоснеть! — кипятился Фроулиш, как будто Чарльз нанес ему кровную обиду тем, что не слышал о Теренсе Фраше.— Да вы когда-нибудь слушаете радио?

— Не обзавелся,— сказал Чарльз.

— Так видите,— сказал Фроулиш,— сейчас Теренс Фраш величайший авторитет по части юмора. Он пишет сценарии для крупнейших радиопостановок. Его слушают миллионы.

— А вы-то тут при чем? — спросил Чарльз.

— Я один из его сотрудников,— серьезно объяснил романист.— Такое дело, естественно, поставлено на широкую ногу. Сейчас, например, мы регулярно поставляем сценарии Флиммеру и Пэнку для их радиочаса «Шутки в среду». В сущности, это программа на полчаса с двумя музыкальными интерлюдиями, по три минуты каждая. Ну еще по минуте для анонса в начале и объявления исполнителей в конце — словом, чистых двадцать две минуты. Если считать по две шутки в минуту, получается сорок четыре в неделю.

Пришел официант и принес два стакана воды. Стаканы были очень грязные. Фроулиш осушил свой одним глотком, а стакан спрятал в карман пиджака.

— Ну и сколько же из этих сорока четырех приходится на вашу долю?

— Ну это, знаете, коллективное творчество,— сказал Фроулиш. Он почему-то был искренне заинтересован в том, чтобы как можно подробнее рассказать о всех деталях своей новой профессии.— Раз в неделю мы собираемся вместе и сколачиваем программу. И у каждого сотрудника есть расписание дежурств и поручений на всю неделю.

— И сегодня ваш черед собирать непристойности?

Фроулиш потянулся через стол за стаканом Чарльза, выплеснул из него воду на пол, а стакан спрятал в другой карман пиджака. При такой привычке он скоро вконец испортит покрой своего костюма.

— Вот именно. Я вам сейчас все объясню. Если бы вы слушали наши программы, вы бы знали, что техника передач требует, чтобы два-три раза смутно упоминались сальные анекдоты из тех, что сейчас в ходу у слушателей. Все юмористы это делают. Публика хохочет, потому что те, кто знает анекдот, польщены тем, что намек признает их такими осведомленными, а другие хохочут, чтобы не отстать. И секрет в том, что успех имеют только ходовые анекдоты сегодняшнего дня — они-то и действуют. Может быть, вы знаете хоть что-нибудь свеженькое? — добавил он и вытащил блокнот.

Чарльз рассказал ему самый непристойный из всех когда-либо слышанных им анекдотов. Он впервые слышал его одиннадцатилетним мальчишкой и часто вспоминал его в юношеские годы, так и не понимая тогда, что он, собственно, значит.

— Нет, он у нас шел на прошлой неделе,— сказал Фроулиш.— Вижу, от вас мало толку.

— А какого черта вам от меня нужно? — воинственно возразил Чарльз. В конце концов его послали выпроводить Фроулиша, и он по-прежнему готов был выполнить то, что ему приказано.

— А вот какого,— сказал Фроулиш, внимательно в него взглядываясь.— У меня на этой неделе еще одно поручение: я должен найти седьмого.

— То есть какого это седьмого?

— Сейчас у мистера Фраша только пять сотрудников. Вместе с ним нас шестеро. А у него, как у большинства творческих работников, свои причуды и суеверия.

— Это что же, насчет счастливого числа семь?

— Ну да, вся эта ерунда,— сказал романист.— Семеро спящих в Эфесе, «Семь видов многозначности». Ну и все прочее. Нам, собственно, еще один человек вовсе ни к чему, но ему вынь да положь, и, насколько я могу судить, все равно кого. Даже вы подойдете,— любезно добавил он.

— Это как же понять, вы предлагаете мне перейти к нему на работу? — с горделивым видом спросил Чарльз.

— То есть как это перейти? Если вы моете здесь посуду, то по этим стаканам видно, что работой вас не утруждают.

— Я здесь вышибала,— сказал Чарльз.— Так что вы полегче. Стаканы поставьте на место. И если подойдет девочка, держите себя в границах.

Из верхнего кармана Фроулиш достал широкую резинку. Растянув, он напялил ее себе на голову так, что резинка приходилась над самыми бровями, потом натянул большим и указательным пальцами и щелкнул себя резинкой по лбу. Чарльз удивился: должно быть, это было очень больно.

— А вы решайте, да или нет, и дело в шляпе,— заревел Фроулиш.

Чарльз перехватил взгляд Ады, глядевшей на него из своего святыща. «Мне в моей практике не приходилось еще иметь дело с образчиками обычного уголовного типа».

— Ладно,— сказал он.

Фроулиш встал. Стаканы нелепо пучили его карманы. Одна из «девочек» подошла к нему и спросила, почему он так рано уходит.

— Видите ли, дорогая,— серьезно ответил он,— от меня вам никакого проку. Я озагадочен.

Они пошли к выходу. Чарльз остановился против Ады.

— О сегодняшней плате для меня не заботьтесь,— сказал он.— Сохраните ее в счет предупреждения.

Она посмотрела на него кисло, но без удивления. Яркая лампочка, свисавшая над самой ее головой, показывала, как небрежно она пользовалась хной. Волосы у корней были грязно-седые.

— Значит, сбегаете,— сказала она вяло.— Такой же прохвост, как и все прочие.

— Прохвост? — сказал он со смешком.— Нет, просто субъект обычного уголовного типа. Так меня только что назвали в одном письме.

Он поднялся по ступеням на улицу. Фроулиш ждал его на мостовой.

Очередное совещание по сценарию было назначено на следующее утро. Готовый ко всему, особенно к неприятному, Чарльз вступил в студию мистера Фраша, следуя по пятам Фроулиша. С характерной для него расхлябанностью романист опоздал на десять минут, и все остальные уже сидели за длинным столом красного дерева. Мистер Фраш, крупный мужчина с внешностью директора стального синдиката, восседал в центре стола. Четыре его подручных, одежда и манеры которых показывали, что они более или менее успешно пародировали типичную внешность провинциального банковского клерка, сидели в почтительном молчании. Теренс Фраш кивнул вошедшим небрежно и с оттенком раздражения по адресу Фроулиша.

— Нашел, мистер Фраш. Вот наш седьмой.

— Хорошо,— сказал шеф.— Но надеюсь, что вы припасли также и ходовые шутки. Сегодня нам нельзя терять ни минуты.

Он кивнул Чарльзу в точности так же, как Фроулишу.

— Полагаю, что мой секретарь уже уточнил с вами всю деловую сторону,— сказал он. (Чарльз еще и в глаза не видел никакого секретаря.)— Для начала низшая из ставок: по сорока фунтов в неделю на первые три месяца. Предупреждение за десять минут с моей стороны. За два года — с вашей. Убедитесь, что перспективы есть, хотя все зависит от вас.

Чарльз уселся рядом с Фроулишем и огляделся. Своей пустотой комната напоминала операционную. Стол красного дерева был единственным предметом обстановки, сделанным из естественного материала, все остальное было из трубчатой стали, имитации кожи и из стекла. Стены были белые, глазированные и напоминали керамические стены анатомического зала или общественной уборной. На них — ни одной картины; только две надписи, каждая в черной рамке, украшали противоположные концы комнат. Одна гласила: «Публика всегда банальна в своих требованиях»; другая: «Требования потребителя никто еще не уловил, и помни — уловить их должен только ты, никто иной!»

— Начнем с отчетов,— отрывисто бросил мистер Фраш.— Кто нес радиodeжурство?

— Я,— ответил рыхлый, болезненного вида юноша с торчащими усами.

— Ну что ж, послушаем, что вы там подцепили.

— Что это еще за радиodeжурство? — прошептал Чарльз Фроулишу.

— А это когда приходится всю неделю слушать передачи, аналогичные нашим, особенно из Америки,— вполголоса объяснил романист.— Вам, конечно, дают стенографистку записывать все подряд, но уж



вам самим приходится приспособлять и редактировать то, что можно подцеп... применить.

— Прошу, тише,— сказал мистер Фраш.

Когда усатый молодой человек закончил свой отчет, наступил черед Фроулиша, и мистер Фраш спросил его:

— Как там на этой неделе насчет изнанки жизни?

— Всего-навсего кисейные занавески. Сплошь кисейные занавески по всему Лондону. Срывать показной фасад надо где-нибудь в провинции. Нужен специальный человек.

— Ничего, обойдемся,— небрежно заметил мистер Фраш.— Не забудьте, что показную сторону систематически исследует только наша фирма. Все прочие довольствуются случайными находками.

— Хотите верьте, хотите нет,— горячо возразил радиodeжурный,— но банда Ходсона до сих пор обсасывает бронзовую гориллу. Невероятно, но факт!..

— Эти молодчики,— сокрушенно заявил мистер Фраш,— готовы стянуть медяк из кружки слепца.

— Да еще перерезать поводок его собаки,— визгливо подхихикнул Фроулиш; он явно нервничал.

— Ладно, придержите язык, Эдвин.— Мистер Фраш строго поглядел на него.— Мы еще не занялись шутками. А когда займемся, нечего выуживать их из Ноева ковчега.

— Это не шутка, я это вполне серьезно,— оправдывался Фроулиш.

— Ну, так за дело,— сказал Фраш.— Тема очередной передачи — уход за грудным младенцем. Полагаю, что нам потребуются шутки примерно в такой пропорции: пять традиционно вульгарного типа, о пеленках и тому подобное, затем я бы хотел дюжину о необычайной сообразительности старшего ребенка, предоставленного самому себе в отсутствие родителей; пять — пререкания супругов перед уходом из дому. Из остальных двадцати двух — шестнадцать о злключениях старшего из ребят с младенцем на руках, но только чтобы не повторялись пеленки: я разумею трудности кормления, взаимное непонимание младенцев, что-нибудь в таком роде, по этой линии, ну а последние полдюжины на общие темы. Не надо стопроцентничать.

— А можно вернуть что-нибудь о кормлении грудью? — спросил кто-то.

— Абсолютно исключается,— веско отрезал мистер Фраш.— Помните, нам надо поддерживать нашу репутацию.

— Вы, надеюсь, включите три обычные высокоинтеллектуальные шутки,— осведомился человек в бархатной куртке и с лохматой бородой.

— Это наш универсант,— прошептал Фроулиш на ухо Чарльзу,— Итон и Тринити-колледж.

— Ну-с, включайте магнитофоны, и начнем,— сказал мистер Фраш.

Один из семерых подошел к стене и включил рубильник. Прежде чем сесть на место, он достал из буфета бутылку виски и семь стаканов и налил всем по изрядной порции.

— Приготовились? Начали! — с неожиданным темпераментом взревел Теренс Фраш.

И сразу же «студия» превратилась в сущий бедлам. Каждый старался перекричать остальных, и голоса то вздымались, то опадали, как набегающая волна. Кто пил, кто расплескивал виски, сминая папиросные окурки о красное дерево стола. Обрывки бессвязных неоконченных фраз отдавались по всей комнате. Все это было для Чарльза настолько неожиданно, что первые десять минут он никак не мог попасть в тон и тупо присматривался к гримасничающим физиономиям своих новых

коллег. Сцена была достойна карандаша Уильяма Блэйка<sup>1</sup>. Фроулиш опять натянул на лоб свою резину и заткнул за нее длинные ровные полоски из красной промокашки, которая лежала перед ним и которую он тут же растерзал. Он напоминал теперь фантастическую вакханку, увенчанную гирляндой из кровавых змей.

— Нашел! — кричал он. — При первых же неполадках с младенцем старший ребенок настраивается на американскую волну и принимает рекламу о пеленках. Комментарии старшего ребенка и реклама вперемешку. Пенится ли рот, когда вы чистите зубы младенцу? Огорчают ли вас морщины на его лице? Сам разглаживай свои морщины, их у меня еще нет, заявляет малыш. Что-нибудь в таком роде.

В общем оглушительном реве никто не слушал его выдумки. Бледный от ярости и унижения, Фроулиш затыкал, как морской лев.

— Пэл Онки был поэт восемнадцатого века, — дудел универсант. — Непременно используйте.

Внезапно Чарльз почувствовал, как кровь ударила ему в голову. Вцепившись в ручки своего кресла, он нелепым лающим голосом, которого сам не узнавал, начал изрыгать в микрофон чудовишные по глупости шутки. Несуразные остроты из репертуара мужской уборной произвольно соскакивали с перебудораженных полок архива его памяти. Его ударило в пот, и он сразу весь взмок. Шум все усиливался. Даже величественный мистер Фраш сорвал с себя воротничок и галстук, и волосы у него свесились на лицо. Чарльз чувствовал, что мозг его скоро не выдержит и взорвется. Среди заключительного залпа вскриков, кашля и судорожного хохота он сбросил пиджак и, свернув в трубку первую попавшуюся газету, стал колотить ею по голове и плечам обалдевшего универсанта.

— Ладно! Хватит! — вдруг закричал мистер Фраш, покрывая всех своим голосом командующего на параде. Наступило молчание. — Приступим к редактированию.

Все спокойно расселись по своим местам, спуская рукава сорочек, надевая снятые пиджаки и нацепляя очки. Фроулиш стянул со лба резинку, полоски красной промокашки разлетелись по всему столу, и он начал собирать и растирать их нервным движением своих коротких пальцев. Поймав многозначительный взгляд мистера Фраша, он сдержал себя и утихомирился.

Магнитофоны были выключены тем же, кто их включал. Среди наступившего молчания и покоя они принялись за работу.

Кончилась осень, наступила зима. Самые желтые, самые упорные листья были сорваны со своих якорей октябрьскими шквалами и усеяли мокрые мостовые, как слезы, отряхнутые с дерева возмездия. Чарльз сидел перед электрическим камином в гостиной своей новой квартиры и смотрел на мистера Блирни, расположившегося по ту сторону ковра.

— Очень милое помещение, коллега, — одобрительно хрипел мистер Блирни. — Как раз, что надо. Вам повезло и как раз вовремя, не правда ли?

— Да, упал на все четыре лапы, — согласился Чарльз.

— Четыре лапы, — отозвался мистер Блирни с напускным возмущением. — А ничего лучше для всего этого вы не могли придумать?

Чарльз курил одну из «черут» своего гостя. Притушив ее о пепельницу, он стал задумчиво разворачивать сигару.

— Конечно, — сказал он. — Мне следовало бы чувствовать себя на седьмом небе, и все же мне все это кажется случайностью, а кого порадует, что жизнь его наладилась из-за какого-то каприза судьбы?

<sup>1</sup> Английский поэт и художник конца XVIII — начала XIX века.

Мистер Блирни так и покатился от хохота.

— Бесподобно, скажу я вам. Бесподобно! Стоило только вам войти в игру, как и вы начинаете толковать все о том же.

— Как и кто?

— Это, надо вам сказать, типическое явление,— уже всерьез принялся объяснять мистер Блирни.— Вот и вы тоже типическое явление. Наше развлекательное дело полно субъектов, которые уверены, что затесались в него случайно, как вы говорите, по капризу судьбы. Какую отрасль ни возьми, всюду то же самое. Спортивные антрепренеры мнят себя сельскими священниками по призванию; фокусники хотели бы быть дантистами. Вы взгляните на меня,— сказал он, морща лицо в жалостную гримасу.— Бедный старый устроитель эстрадных аттракционов, которого отец предполагал сделать садовником-поставщиком.

— А с какой стати? Он что, сам был садовник?

— А то как же. И еще какой! «Пачкать ногтей тебе не придется, Артур,— говаривал он,— не то что мне. Тебе останется только управлять конторой, как настоящему джентльмену». Но я никак не мог сговориться со стариком. Взбунтовался, обрубил причалы и прожил всю жизнь среди развлечений, развлекая не себя, а других.

Чарльз добрался до последнего листа сигары.

— Что поделать, если я вам кажусь типическим явлением,— сказал он.— Как и вы, я тоже оторвался от размеренной, скучной жизни, но не потому, что я особенно брыкался или бунтовал. Я и не воевал против обыденщины, просто она меня не приняла. Я, собственно, никогда и не вступал в нее.

— Никакой разницы,— авторитетно заявил мистер Блирни.— Вы не хотели вступать в нее потому, что не получили от нее, чего хотели.

— А как вы полагаете, чего я хочу? — спросил вдруг Чарльз.

Он ожидал, что мистер Блирни пустится в обычные чувствительные абстракции вроде того, например, что «вы бродяга по натуре, как и все мы, вам нужны яркость и разнообразие, первые роли и отзывчивое сердце под корсажем». Он с вызовом смотрел поверх ковра.

— Так чего же я хочу? — повторил он.

— Нейтральности,— сказал мистер Блирни спокойно и не задумываясь.

Чарльз, не говоря ни слова, посмотрел на него.

— Ну же, коллега, опровергайте меня, если можете,— сказал мистер Блирни.— В нашу лавочку приходит именно тот, кто ищет нейтральности. Кто не хочет участвовать во всей этой глупой катавасии ни на той, ни на другой стороне. Не хочет тратить времени и сил на то, чтобы зубами и ногтями нападать и отбиваться. Хочет жить, как ему вздумается.

Чарльз был смущен и подавлен. Этот старик видел его насквозь. Как безошибочно выбрал он самое определение! До сих пор он ставил себе одну цель за другой, и каждая оказывалась недостижимой: экономически — автаркическая бедность; социально — ничем не нарушимая безвестность; эмоционально — сначала большое чувство, а потом ограниченное и строго отмеренное утешение. А теперь он ценил свое убежище просто потому, что с помощью новоприобретенного богатства оно давало ему возможность быть над схваткой, а кроме того, и достаточный досуг для размышлений, которые оградили бы его от новых безумств.

— Кстати, внизу для вас лежало письмо, коллега,— сказал мистер Блирни, легко перескакивая с темы, которую он исчерпал.— Так я его захватил сюда.

Чарльз разорвал конверт. Толстый лист гербовой бумаги и письмо, отпечатанное на машинке.

Мой дорогой Ламли,

Посылая вам прилагаемый контракт на три года, который вы, надеюсь, подпишете, я рад заверить вас, сколь высоко оценил я вашу работу за те несколько месяцев, которые вы помогали мне. Вы ценный противовес для тех более легковесных (сказал бы я) элементов, из которых состоит наша семерка, и я пришел к заключению, что определенно нуждаюсь в вашем сотрудничестве. Не будете ли вы так добры считать этот контракт совершенно конфиденциальным, поскольку до сих пор я не в состоянии был предложить аналогичные условия ни одному из ваших коллег.

Примите мою высокую оценку вашего труда и пожелания многих лет нашего плодотворного сотрудничества.

Искренне ваш

Теренс Фраш.

— Стаканы и бутылки в буфете, Артур,— сказал Чарльз.— Не останете ли вы их? У меня что-то голова кружится.

— Надеюсь, никаких неприятностей, коллега? — спросил мистер Блирни, наливая четыре стакана виски.

— Наоборот, наоборот,— слабо возразил Чарльз.— Я принят в дело. Он прислал мне договор на подпись.

— Давно пора,— весело воскликнул гость.— Здорово, здорово! И явный резон, чтобы в час «файв о'клока» выпить все это до дна.

Они залпом опрокинули по первому и принялись отхлебывать из вторых, в полном соответствии с принципами мистера Блирни.

— Ну, мне пора,— сказал тот, когда они закончили и второй стакан.— Надо на дневную репетицию. И не извлекайте ваших шуток из унитазов — они подмоченные!..

Оглушительно хохоча, он вышел из комнаты.

Чарльз стоял у окна, глядя на дождливое небо. Нейтральность. Наконец он ее обрел. Непрерывная борьба с обществом, отступление с арьергардными боями теперь закончились вничью. По сути дела, он и сейчас был не ближе к обществу, не больше признан им, чем когда был мойщиком окон, преступником или слугой. Просто общество решило, что ему следует платить, и платить как следует, чтобы извлечь выгоду из его необычного положения. Для его компаньонов по семерке мистера Фраша это была работа как работа. Они работали здесь, как работали бы в промышленности или в коммерции. Но для него это было перемирие, по-видимому ведущее к длительному вооруженному миру. Здесь для противника не могло быть прощения, но ни одна из сторон в ближайшее обозримое время не намеревалась переходить в атаку. Тарклз, Хатчинс, Локвуд, Бёрдж, Родрик — ни один из них не мог бы ни презирать, ни уважать его. Они только смотрели бы на него с беспокойством, качали бы головами и завидовали бы его гонорарам. Ни к чему эта их зависть, но она менее обременительна, чем их презрение или одобрение.

Зажужжал телефон, и голос швейцара проквашал в трубку, что его желает видеть какая-то леди.

— Как ее фамилия? — спросил он.

После короткой паузы та же лягушка проквашала:

— Мисс Флендерс, сэр.

Он не знал никого, ни мужчины, ни женщины, чья фамилия хоть сколько-нибудь напоминала бы это знаменитое имя<sup>1</sup>.

— Пожалуйста, пропустите ее ко мне,— сказал он.

<sup>1</sup> Героиня романа Д. Дефо «Молль Флендерс».

Кладя трубку, он почувствовал, как легкое, быстрое содрогание прошло по всему его телу, словно бездушная пластмасса пыталась предостеречь его: ты не то сказал.

Вероника вошла так непринужденно, словно входила в Дубовую гостиную.

— Я не уверена была, стоит ли называть ему свою настоящую фамилию,— сказала она,— вот я и назвала первое, что пришло в голову. Молль Флендерс. Я как раз о ней читаю.

— Я никак не мог дочитать эту книгу,— сказал он.— Там что, счастливый конец?

— Не совсем. Она не кончается, а просто обрывается. Молль Флендерс становится респектабельной и кается, но это ясно уже с самого начала.

Он смотрел в сторону, стараясь приглушить сознание того, как она красива и как опасна была для него и опять может стать.

— Я не люблю, когда с самого начала ясно, чем все кончится, а вы?— спросил он.

Она подняла темноволосую головку и молча посмотрела на него. Под его черепом кузнечные молоты обрушивали удары на железные наковальни.

— А вы? — настойчиво повторил он.

— А я никогда об этом не думала,— медленно сказала она.— Всегда могут быть неожиданности.

— Какие, например?

— Чарльз, пожалуйста, не будьте таким чужим и неуклюжим. Вы прекрасно понимаете, что я хочу вам сказать. Одно время казалось, что наши,— она помедлила,— наши отношения безнадежны. Казалось, что продолжаться это не может. Но все изменилось, и таким чудесным образом.

Мысленно он перевел это так: Вы теперь богаты, вы обеспечены не меньше Родрика. И вы намного моложе.

— Я не вижу особых перемен,— сказал он упрямо.— В отношениях между нами, хочу я сказать.

Она посмотрела на него спокойно, с видом собственника, укоряя его, заставляя его стыдиться своего глупого колебания.

Он встал и вышел на середину комнаты. Если животное, прирученное или рожденное в неволе, возвращается в свои естественные условия; оно не может выжить. Если это птица, другие птицы заклюют ее, но обычно она умирает сама. Вот она, его клетка, новая, красивая, с кондиционированным воздухом, чистая, с прекрасным видом, новейшей постройки, со всеми удобствами. Пришла Вероника, захлопнула за ним дверцу и звала его в заросли джунглей. Попав туда, он умрет.

Таковы были «против». А «за»?

«За» было то, что она прекрасна, и он любил ее, и принять ее заодно с катастрофой и смертью было не страшно и не трудно, пожалуйста, сделайте одолжение, всякий на моем месте поступил бы так же, и нечего больше об этом. «За» было то, что он не мог вынести, как она небрежно сидит в кресле, разговаривая с ним через всю комнату, когда он знал каждый изгиб ее тела, каждый оттенок ее кожи под ее скромным платьем. Было и еще одно «за»: крутясь, люблю я скудно то, что ненавижу.

Смеркалось. Он пересек комнату и повернул выключатель. Свет внезапно обжег все углы, выделяя все контуры, подчеркивая рисунок мебели и характер их затруднений.

Они поглядели друг на друга тревожно и вопрошающе.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ. ДЖОН УЭЙН И ЕГО ПЕРВЫЙ РОМАН

Когда на сцене лондонского «Корт-тиэтер» труппа «Инглиш стейдж компани» поставила в 1956 году пьесу Джона Осборна «Оглянись во гневе», она была воспринята как произведение, знаменующее рождение нового литературного направления, как манифест литературной группы, получившей в Англии название «рассерженной молодежи». На самом деле направление это возникло тремя годами раньше, когда вышли в свет романы К. Эмиса «Счастливчик Джим» и Д. Уэйна «Спешите вниз».

Английский писатель старшего поколения В. Притчет назвал это новое литературное направление «продуктом социальной революции 40-х годов»; точнее было бы назвать его результатом краха социальных иллюзий, насаждаемых лейбористами. Вскоре после победы лейбористов на выборах 1945 года миллионы простых людей Британии обнаружили обман, и это вызвало у них острейшее разочарование и недовольство.

Волль отчаяния, крик невыносимого отвращения, которые прозвучали в произведениях «рассерженной молодежи» в начале пятидесятых годов, чрезвычайно характерны для тех настроений, которые охватывали в эти годы тысячи молодых англичан. Писатели, принадлежащие к этой литературной группе, отчетливо и гневно выражали свое недовольство современным буржуазным миром, растоптавшим надежды их поколения и не предложившим ничего, кроме водородной бомбы и перспективы страшной истребительной войны. Но хотя критика и обличение современного общества в произведениях «рассерженных» были весьма остры, однако уже с самого начала бунт их оставался пассивным — они были скованы по рукам и ногам теми самыми принципами, против которых пытались восстать, сказалась сила привычек, воспитания.

Как бы то ни было, выступление «рассерженной молодежи» взволновало читающую Англию. Оно вызвало возмущение рутинеров и консерваторов и симпатии прогрессивных литераторов, отнюдь не закрывавших в то же время глаза на ограниченность и противоречивость этого литературного направления.

Однако, осуждая и высмеивая окружающий мир, «рассерженные» не предлагали никакой позитивной программы и поэтому неизбежно должны были зайти в тупик. Перед ними стояла дилемма: либо сделать тот вывод, к которому их, казалось бы, вела логика их критики, пафос их протеста, либо сложить оружие и капитулировать перед миром, который не приобщил их к своим материальным благам, отравив в то же время своими представлениями. Многие из писателей, выразивших умонастроение разочаровавшейся молодежи, — Эмис, Осборн и другие — уже капитулировали. Сложнее путь Уэйна.

Герои первых книг Уэйна «Спешите вниз» и «Жизнь в настоящем» верно воспроизводят характерные черты молодых англичан начала пятидесятых годов нашего века, охваченных недовольством и отчаянием, но творчество Уэйна в целом (как и значение его первой книги) выходит за рамки течения, одним из зачинателей которого шесть лет назад с таким задором и дерзостью выступил молодой писатель.

«Каждый художник — если он, само собою разумеется, не смотрит на себя как на шута, призванного лишь развлекать читателя, — озабочен разрешением проблем, стоящих перед обществом, в котором он существует», — писал Уэйн в одной из своих статей. И замысел его первого романа, вне всякого сомнения, социален. Сюжет этой небольшой по объему содержательной книги несколько эксцентричен, но позволяет Уэйну развернуть широкую картину современной английской жизни, обнаружить зоркость писательского зрения, богатство оттенков своего писательского почерка.

Динамично и напряженно разворачивается в романе история молодого героя — Чарльза Ламли. Спеша все дальше «вниз» и сближаясь все больше с людьми, честно и скромно зарабатывающими свой ежедневный хлеб, — работа в больнице, знакомство с Розой и ее рабочей семьей, — Ламли все отчетливее понимает фальшь и подлость мира, от которого хочет уйти. И основной пафос книги — отвращение к стимулу этого мира — деньгам, покупающим совесть людей и увлекающим их в свои липкие сети: «Деньги! Всюду эта паутина. Нет: тенета, липкие, ловко расставленные. И ты либо паук, с удобством устроившийся посередине или злорадно укрывшийся в засаде, либо муха, жужжащая в цепкой паутине...»

Читатель ошибочно счел бы концовку романа «счастливой развязкой»: «Вот она, его

клетка, новая, красивая, с кондиционированным воздухом, чистая, с прекрасным видом, новейшей постройки, со всеми удобствами»,— говорит Уэйн о своем герое. И, сказав о том, что Вероника «захлопнула за ним дверь и звала его в заросли джунглей», автор подсказывает судьбу Ламли: «Попав туда, он умрет». Деньги, успех, возвращение Вероники — это возвращение ненавистного мира, из которого Ламли однажды бежал.

«Когда я писал «Спешите вниз»,— рассказывает Уэйн,— я разрешал проблему, которая встала передо мной самим,— проблему молодого человека, совершенно не знающего, как приноровиться к жизни, отнюдь не расположенной встретить его с распростертыми объятиями».

Центральный конфликт в романе — это конфликт современных молодых англичан, принадлежащих к малообеспеченным кругам, с тем обществом, в традициях которого они воспитаны, но которое отталкивает их своим циничным равнодушием.

Ламли — человек своего времени. Он с самого начала не питает никаких иллюзий и не приспособляется к буржуазному обществу, как бальзаковский Растиньяк или Пенденнис у Теккерей. Уэйн от имени героя декларирует свое понимание расстановки сил в современном мире, разделяющем людей на «спортивные команды, именуемые классами». Он язвительно заявляет: «Помыкающий цветными саиб не должен проявлять хоть какой-либо человеческой общности с теми, кого он погоняет».

Говоря о «цветных» и «саибах», противостоящих друг другу в непримиримой борьбе, Ламли твердо сознает себя принадлежащим к лагерю первых, и этот мотив очень настойчиво проводится автором через всю его книгу.

Но как бы ни бунтовал Ламли, как бы настойчиво ни искал он правды среди скромных тружеников, он — как и сам Уэйн — не может еще сбросить с себя связывающие его пути индивидуализма.

Уэйн иронизирует по поводу «молодых людей тридцатых годов», потерпевших поражение на своем «пути вниз» якобы потому, что «ими двигало желание слиться с Народом», который они себе представляли весьма туманно. Его герой, ставший мойщиком окон и бросивший тем самым вызов классу, из которого вышел, больше всего обеспокоен тем, как бы не «пустить корни» в новой для него прослойке общества и сохранить призрачную личную независимость, которая якобы может быть утрачена в рабочем коллективе. Именно потому, что сам Уэйн, стоящий за своим героем, настойчиво цепляется за иллюзию личной независимости, Ламли все время ограничивает свой горячий и, бесспорно, искренний бунт и под конец не только срывается, но сам признает причины своего срыва. «В нашу лавочку приходит именно тот, кто ищет нейтральности. Кто не хочет участвовать во всей этой глупой катавасии ни на той, ни на другой стороне»,— говорит увидевшему «успех» герою Артур Блирни. И Ламли-Уэйн, смущенный и подавленный, признает правильность этих слов человека, который «видел его насквозь».

«Нейтральность. Наконец он ее обрел... Но для него это было перемирие, по-видимому ведущее к длительному вооруженному миру»,— говорит за Уэйна Ламли.— Здесь для противника не могло быть прощения, но ни одна из сторон в ближайшее обозримое время не намеревалась переходить в атаку». В этих словах Уэйна разгадка идейного замысла книги о путешествии Чарльза Ламли в «удобную безвестность».

Автор романа «Спешите вниз» еще молод как писатель. В каком направлении пойдет его развитие, принимая во внимание то, что уже написанные им книги значительно отличаются друг от друга, сказать трудно. Но то, что творческое дарование его незаурядно,— это несомненно, как несомненно и то, что все написанное им заслуживает пристального и серьезного внимания.

Уэйн по своим политическим воззрениям очень неустойчив. В его сознании и в созданных им образах уживаются разительные противоречия. Но как бы ни были велики эти противоречия, неустойчивость его взглядов и устремлений, роман «Спешите вниз» — несомненно яркий образец английского реализма наших дней, лаконичного, гневного и выразительного.

**В. ИВАШЕВА.**



# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

В. БОНДАРЕЦ

★

## ЗАПИСКИ ИЗ ПЛЕНА \*

6

**В** начале мая нас отправили в Моосбург — сто пятьдесят человек. О Лешке мы точно ничего не могли узнать, а слухи ходили разные. Одни говорили, что он все же не избежал петли, а другие утверждали самое невероятное — что ему удалось незаметно пробраться в немецкий самолет и перелететь через линию фронта. В то время мы легко могли поверить всему, особенно если дело касалось освобождения из плена.

Моосбургский лагерь разделен на несколько зон. Это громадный лагерь — в нем и русские, и сербы, и французы, и англичане, даже индийцы. Каждый в своей зоне. Основная территория обросла лабиринтом вспомогательных служб: изоляторами, следственными бараками, карцерами, пересылками...

В русских бараках свирепствовал голод — самый обычный голод в самом простом его проявлении: в глазах — жадность, в кишках — голодная боль. Боль не проходила, даже если случалось разок набить живот так, что казалось, он лопнет.

Но рук не хотелось складывать, и люди приспосабливались ко как мог. Прозвела ремесла и меновая торговля: сапожники обдирали с колодок союзки и мастерили из них сандалеты; портные штопали, лицеваля, перешивали ношеное-переношенное старье; где-нибудь в углу шоркал напильник, стучал молоток...

Из русской зоны в общий лагерь проникали «пикировщики» (тоже своего рода профессия), меняли, торговали с иностранцами и добытые продукты к вечеру приносили в свою зону — у входа, конечно, необходимо было дать взятку часовому.

И начинался торг: страстный, неистовый, с божбой и руганью, будто вершились миллионные биржевые сделки, а не купля-продажа двух-трех сигарет или пайки хлеба.

Из зоны в зону беспрепятственно сновал и «деловой люд» — лица, обслуживающие лагерную жизнь: старшины барачков, слесари, повара, дворники... Благодаря им контакт между пленными был полный и надежный, и не успевала какая-нибудь новость залететь в лагерь, как с удивительной быстротой распространялась среди его обитателей, часто обрастая по пути досужим вымыслом.

У сербов, почти не переставая, о чем-нибудь спорили. Но, несмотря на споры, сербы жили дружно. Общались они со всем лагерем, нас, русских, уважали, как старших братьев. Не было случая, чтобы русский, сумевший пробраться в сербский барак, ушел оттуда с пустыми руками. И называли они русских не иначе как «братушка».

Во французских бараках пахло сигаретным терпким дымом и какими-то особыми запахами колониальных специй. Жили по принципу «мой дом — моя крепость». Каждая кроватная клетка отгорожена от соседней фанерками, картонками, дощечками. В клетке — полки и полочки, жестяные консервные банки, приспособленные для самых различных нужд, и еще разная мелкая утварь, вплоть до складных самодельных скамеечек. Бараки походили на ульи, тесно заставленные сотами. Вечерами вокруг барачков, в умывальных и даже в туалетах на самодельных жестяных тага-

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.



ночках французы готовили себе пищу: лагерную картошку приправляли жиром, специями, варили кофе, медленно смаковали, от удовольствия шурились. Жили они «зажиточно»: получали пакеты международного Красного Креста, некоторым даже приходили посылки и письма из дому. И потому к лагерному пайку французы относились почти равнодушно. Суп у них, как правило, оставался. Иногда его передавали в зону к русским.

Индийцам не сиделось в бараках. Они неутомимо сновали вдоль проволок зоны, бойко переговаривались гортанными, чуть сиплыми голосами. Одни из них были пострижены по-европейски, обуты в английские тупоносые ботинки, бегло говорили по-английски. Другие носили длинные, до плеч, волосы, чалмы, ходили босиком, в выпущенных поверх штанов длинных узких рубашках, были менее общительны и очень религиозны. Утром и вечером все они становились лицом на восток и долго самозабвенно молились: то стоя коленями на крошечных ковриках, то простираясь ниц по земле, посылая молитву далекому богу и такой же далекой родине.

Кого только нет в лагере! Но больше всех в нем русских, и живется нам хуже всех. Но сравнительно с другими лагерями в Моосбурге все-таки лучше. Это своего рода громадный перевалочный пункт, где формируются и откуда отправляются во все концы Германии рабочие команды. А пока здесь можно слоняться с утра до вечера без дела. Не так уж плохо. К тому же лагерь так велик, что многие ухитряются отсиживаться в Моосбурге месяцами.

И я тоже мечтаю о том, чтобы как-нибудь задержаться в этом лагере.

В дальнем углу соседнего барака, у окна, сидит человек. На его коленях лежит кусок фанерки с приколотым листком бумаги. Он что-то рисует целыми днями. Отколет один лист, приколет другой, и снова на бумаге появляется чье-то лицо. И только когда гсущаются сумерки, он откладывает в сторону фанерку.

Я не раз подходил к этому человеку, но он не отличался разговорчивостью и лишь изредка бросал на меня исподлобья мимолетные хмурые взгляды.

Но мало-помалу мы все же познакомились.

Владимир Александрович Гамолов оказался профессиональным художником. Ему было за тридцать. Черные поредевшие волосы были на висках серыми, под глазами желтоватая нездоровая отечность.

В течение дня к Гамолову приходили многие. Одни приносили заказы, бумагу и плату: хлеб, консервы, табак. Другие забирали все это и куда-то уносили. Кое с кем он тихо беседовал, и в такие минуты, чувствуя себя лишним, я уходил.

Однажды Гамолов спросил паренька, который все время вертелся возле него:

— Виктор, ты Андрея-сапожника знаешь?

— Знаю. Рябоватый такой, в двадцать девятом бараке?

— Он самый. Так вот, отнеси-ка ему...— И он передал Виктору какой-то сверток.— Да постой. Передай ему записку.

Я бросил случайный взгляд на полоску бумаги под быстро бегущим карандашом и сразу же вспомнил листовку, которая недавно попала мне в руки. Да, сомнений не оставалось: листовку писал Гамолов.

Виктор ушел. Мы остались в углу одни, и я решил, что момент для такого разговора настал. Но как к нему приступить?

— Давайте говорить прямо,— начал я без всякой дипломатии.— Я читал вашу листовку.

Он посмотрел на меня с интересом.

— Допустим. Допустим, что листовку писал действительно я. Ну и что?

— А то, что вы — тот человек, которого я ищу.

— Чтобы продать?

— Чтобы вместе работать.

— Гм... А вопрос о доверии перед вами не возникал?

— Вы мне можете пока не доверять... Но я вам верю. Вот почитайте это письмо.

И я протянул ему зачитанные листки письма немецкого офицера.

Гамолов взял их и неопределенно пожал плечами. Я отошел от него: говорить вроде больше не о чем.

Несколько дней я не подходил к Гамолу. К чему?.. Понадоблюсь — сам позовет. А моя навязчивость может лишь отпугнуть его, показаться подозрительной.

Поздно вечером в тусклом свете единственной лампочки кто-то остановился у моего изголовья. Я чутьем угадал — Гамолов.

— Вы почему не приходите? Сердитесь?

— Нет.

— Тогда, может, поговорим?

Мы сели под стеной барака, закурили.

— Я прочитал то письмо немецкого офицера, — сказал Гамолов. — Интересно. Но, по совести говоря, применения ему я не вижу. Все мы уже достаточно хорошо знаем, что теперешние фрицы — не прошлогодние. Другое дело — пустить бы письмо в массу солдат охраны, но с этим у нас пока туговато. Где вы его раздобыли?

Я рассказал о Лодзинском лагере, о Лешке.

Гамолов слушал меня внимательно. Я чувствовал, что он заинтересован в разговоре. И все-таки его слова оказались для меня неожиданностью.

— Я думал о вашем желании со мной работать. Но хватит ли у вас мужества, выдержки, такта?.. Работа опасная.

— А я и не ищу развлечений. На фронте тоже опасно.

— Там совсем другое. Здесь вы в случае провала ставите под удар не только свою жизнь, но и людей, связанных с вами.

— Я подумал об этом. Что я должен делать?

— Пока не много. — Он передал мне клочок бумаги. — Вызубрите, бумажку уничтожьте, а ее содержание передайте надежному человеку.

Пока меня возили из лагеря в лагерь, во многих местах Германии возникли нелегальные антифашистские организации. Возникла такая организация и в лагере для советских военнопленных офицеров Мюнхен-Перлах. В начале марта 1943 года в одном из барачков этого лагеря с большими предосторожностями собрались участники героической обороны Севастополя: полковник Тарасов, подполковники Шихерт, Баранов, Шелест, майоры Макаров, Озолин, Конденко, Петров, Красицкий, интендант III ранга Зингер, рядовой Кононенко и Петрушель. Они решили создать Братский союз военнопленных. В программу этого союза (БСВ) входило: проведение в рабочих командах саботажей, организация побегов военнопленных, широкая пропаганда против власовцев, агитация среди немецких солдат о неизбежном поражении Германии в войне против СССР, установление связей с немецким подпольем, выявление предателей и агентов гестапо, организация судов военнопленных и по их приговорам физическое уничтожение предателей.

Верные своему однажды выработанному методу содержания военнопленных, гитлеровцы часто перебрасывали людей из лагеря в лагерь, из команды в команду, но именно это как нельзя больше способствовало стремительному развитию БСВ. Вскоре Братство распространилось на всю Баварию, Австрию и дошло до границ Югославии.

Комитет БСВ возник и у нас в Моосбурге. Об этом намекнул мне Гамолов.

До войны я учился в изостудии, мечтал стать художником-архитектором. Как-то сидя рядом с Гамоловым, я попросил у него листок бумаги.

— А что же, пробуйте. Не боги горшки обжигают.

Он тактично не заглядывал мне под руку.

— Любопытно! — Гамолов удивленно поднял брови, рассматривая мой первый портрет. — Неплохо. Ей-богу, неплохо.

И я начал подрабатывать — рисовать и для конвоя и для пленных. Я мог бы ежедневно оставлять у себя продовольствие — плату за труд, но видел, что Гамолов все заработанное передает в лазарет, оставляя себе ровно столько, сколько нужно было, чтобы не голодать, и поступал так, как он.

Однажды, мучимый любопытством, я спросил у него, кто возглавляет нашу группу.

Владимир Александрович посмотрел на меня долгим, тяжелым взглядом.

— Любопытно... Я считал, что достаточно тебя узнал. И я верю тебе. А гвой

вопрос расцениваю как простое отсутствие такта. Никогда, слышишь, никогда никому не задавай таких детских вопросов.

Вид у меня, очевидно, был настолько растерянный и огорченный, что Гамолов, положив на мое плечо руку, примирительно сказал:

— Ничего, не обижайся. Придет время — все узнаешь. Но запомни: чем меньше будешь знать, тем лучше для тебя же.

На другой день он в раздумье сказал:

— У меня есть мысль. Не знаю, как ты отнесешься к ней, но, по-моему, она стóбшая. Я уже примелькался здесь, а вот ты человек свежий. Что, если попробовать тебе пробраться в общий лагерь, к иностранцам?

Я еще не уловил смысла.

— Зачем?

— Рисовать будешь сербов, поляков, французов тоже...

— Да... Но зачем? Работы и здесь хватает...

— Погоди. Хорошая беседа работе не помеха. Тебя обязательно обступят зеваки. Используй момент, завяжи разговор, а дальше пойдет как по-писаному. Ты только слушай да умеи вовремя вернуть нужное слово. Ясно?

Виктор раздобыл для меня одежду «под француза», и через несколько дней я, зажав под мышкой грубую картонную папку, отправился в свой первый рейс к иностранцам. «Провозной» мне дал Виктор. В воротах он сунул часовому пачку сигарет. Тот оглянулся по сторонам, пропустил меня и потом разорался: получалось так, будто мы подошли к проволоке с той стороны и он прогонял нас обратно, не давая приблизиться к зоне, где жили русские.

Деятельность моя среди иностранцев продолжалась недолго. Вскоре я самым неожиданным образом попал в команду, предназначенную для отправки на какое-то строительство. Узнав об этом, я решил было, пока не поздно, перейти на нелегальное положение.

Перейти на нелегальное положение — значило как бы пропасть из лагеря, числиться «в бегах», но оставаться на месте. Баланду и хлеб такой нелегальный получал от товарищей, деливших с ним своей скудной порцией, во время проверок прятался под пол, в специально приготовленное гнездо, или в пустые бочки в тарной кладовой. Затем нелегальному, как правило, удавалось раздобыть другой номер и другую фамилию...

Гамолов отговорил меня.

— Не надо. Крайней нужды в переходе на нелегальное положение нет. Когда потребуется — найдешь способ выбраться. А команда хорошая, в основном те, кто приехал с тобой из Лодзи. Крепкий народ, и тебя знают. Это важно. В числе конвоиров, — продолжал Гамолов, — с вами, вероятно, поедет Эрдман. Запомни: Эрдман. Им занимался один наш товарищ, но не успел довести до дела.

— Значит, оставить меня в лагере все-таки никак нельзя?

— Нельзя. Мы думали. Ну вот как будто и все, что я хотел сказать. Да! Настраивай людей на побег, пусть используют каждую щель. Конечно, и сам не сиди, пробирайся на восток, а если окажется не под силу, иди к чехам или к партизанам в Югославию. Люди и там нужны.

— А ты?

— Пока остаюсь. Не с моими ногами...

Гамолов ходил с трудом. Даже в жаркую сухую погоду жестокая боль терзала его застуженные ноги.

И снова — в который уж раз! — я прислушивался к стуку вагонных колес.

Километрах в восьми от Мюнхена спрятался под соснами Оттобрун — дачный поселок с игрушечным вокзальчиком и сотней домов, разбросанных там и сям под высокими кронами столетних великанов.

Неподалеку от поселка выстроились в ряд бараки. Они огорожены колючей проволокой. В одном — кухня, кладовая и столовая, в двух других — жилье, сапожная мастерская и вечно запертый крошечный медпункт. На пустыре между столовой и проволочным заграждением — бомбоубежище, выложенное поверху пахучим дерном. Над бараками — дощатая сторожевая вышка.

Снаружи, за проволокой, — короткая улочка барачков для иностранных рабочих, а еще дальше, за перелеском, крыши огромных строений, похожих на ангары: механические мастерские и материальный склад. На просторной строительной площадке идут подготовительные работы к сооружению аэродинамической трубы для фирмы Мессершмитта.

Строительство движется туго: немцев мало, а иностранные рабочие соревнуются с нами в завуалированном саботаже.

Вытянувшись в цепь, мы медленно продвигаемся вдоль бетонированной траншеи; за нами грузно раскручивается катушка кабеля. Разматываясь, кабель ложится в траншею, словно огромный удав.

Мы волочим его рывками.

— Хо-о-о... рюк!

В глазах плывут радужные круги.

— Хо-о-о... рюк!

Еще рывок. У кого-то подвернулась нога. И, словно цепь с разорванным звеном, один за другим, придавленные тяжестью, падают все тридцать человек. Кто-то надсадно охнул, кто-то приглушенно вскрикнул...

Выпучив бешеные глаза, к людям бросается мастер.

— Встать! Встать, свиньи!

— Вста-а-аты! — орут в четыре горла конвоиры.

Мелькают приклады. Снова кабель рывками продвигается по траншее, а в воздухе висит надрывная команда мастера:

— Хо-о-о... рюк!

Наконец кабель улегся в траншею, мы стали накрывать ее армированными бетонными плитами. От склада до места работы плиты тащили на себе. Снова тянулась живая людская цепь. Плечи до крови обдирались о ребристые тяжелые плиты.

— Бистро! — надсаживался мастер, и мне вспоминался фельдфебель из Вольгаста, и приходила нерадостная мысль: «Боже мой, как же вы все похожи!»

— Бистро! — подхватывали конвоиры и лупили прикладами по спинам.

— Бистро! Вы, русски свиня!

Впереди меня тяжело переступал рослый Концедалов. Его синяя куртка меж лопаток почернела, длинные волосы болгались взмокшими жгутами. Сбоку к нему подскочил мастер, ткнул кулаком под ребра, размахнулся и...

Плита, соскользнув с плеча Концедалова, чуть зацепила мастера и, разодрав рукав его куртки, опустилась на ногу.

— А-а-а!.. — обхватив руками ступню, заорал мастер. Он раскачивался из стороны в сторону и ныл, выкатив глаза в небо.

Над Концедаловым повис приклад, и в тот же миг мы, не сговариваясь, окружили солдата. Побелев от страха, он отскочил на несколько шагов, передернул затвор, но выстрелить не решился.

Вечером, после работы, сто человек команды выстроились во дворе. Обеспокоенный обер-ефрейтор Штихлер — толстый пожилой астматик — спешно вызвал командофюрера.

Лицо командофюрера было спокойным, но несколько более бледным, чем обычно.

— Я слушаю вас.

Вперед вышел Концедалов.

— Если не прекратите избивания, мы откажемся от пищи и не выйдем на работу.

— Господа офицеры забыли, где они находятся, — спокойно ответил командофюрер. — Вы можете только просить, но не требовать. Можно было бы не поднимать столько шума, а просто доложить мне. Если же вы вздумаете не выйти на работу, я вызову специальный отряд, и многие из вас больше никогда не будут волноваться. Итак!

Люди заговорили все враз. Командофюрер переждал галдеж.

— Улучшить питание я не могу, освободить от работы не в моей власти,— жестко сказал он.— Но побоев больше не будет. Собираться, как сегодня, категорически запрещаю. Это массовый протест, иными словами — бунт. В следующий раз я буду вынужден принять самые крайние меры. Разойдитесь!

Он ушел не торопясь, даже не оглянувшись назад, на продолжавших шуметь людей.

Штихлер, исполнявший обязанности помощника командофюрера по хозяйству, освободил темный чулан и под конвоем двух солдат водворил туда Концедалова.

Мастер же выходил на работу несколько дней, потом явился, опираясь на толстую суковатую палку.

Вскоре мастера заменил тощий унылый немец. Этот больше молчал и отлеживался в дощатом сарайчике, безучастный ко всему, кроме своей язвы желудка, на которую жаловался при каждом удобном случае. Он открыто говорил, что Гитлер — кретин, правительство — шайка воров, а война... Он безнадежно махал желтой рукой.

— Война — дрянная мясорубка. Шайзе!

Когда же мы указывали на лацкан его заношенного пиджака со значком члена фашистской партии, он брезгливо кривил длинные губы, цедил:

— Э-э-э, дрянн! Все дрянн!

Этот немец был нам не ясен: то ли неудачник, которому при дележке ничего не досталось, то ли провокатор, вызывающий нас на откровенность. Так или иначе, но мы старались держаться от него в стороне.

Вскоре работы по прокладке кабеля закончились. Часть пленных перебросили на строительное железнодорожной ветки, других — в механическую мастерскую и на стройплощадку.

Я попал в команду грузчиков.

В одно из воскресений я сидел на своем обычном месте, у окна, и что-то рисовал. За спиной скрипнул пол.

— Работаем?

По голосу я узнал Эрдмана — нашего каптенармуса и переводчика.

— Тружусь помаленьку.

Эрдман навещал меня каждое воскресенье. Он ходил почти всегда неслышно, некоторое время наблюдал из-за плеча за работой, а потом усаживался напротив.

— Ну, ну... Трудитесь.

За окном, развалиясь на прохладном дерне бомбоубежища, отдыхали пленные. Сбросив с себя тряпье, они поворачивались вслед за солнцем, как подсолнухи, и тихо пели.

— Хорошо поют,— помолчав, сказал Эрдман.— Прекрасно поют. Я вот слушаю и вспоминаю Одессу.

— Вы там были?

— Да. Жил там. Бывало, заканчивается день, в порту собираются артелями грузчики, отдыхают, да как затынут песню... Стоишь наверху, слушаешь, и душа замирает. Море тихое, ласковое. По берегу начинают огни загораться... Одесса...— проговорил он задумчиво.— Двадцать лет прошло, а вижу ее, будто вчера уехал.

Худое длинное лицо его помрачнело, он хмурился и заметно волновался.

Наше знакомство с ним состоялось быстро и просто. Так же вот, в одно из воскресений, почувствовав, что кто-то стоит за спиной, я обернулся. Худой сутуловатый ефрейтор смущенно кашлянул.

— Я, кажется, помешал?

— Нисколько. Интересуетесь рисованием?

— Искусство всегда интересно, даже если оно превращается в ремесло. Архитектор Эрдман,— представился он.— Не помешаю?

— Напротив. Я рад знакомству. Садитесь.

Эрдман говорил по-русски совершенно свободно.

Завязался разговор. Через час Эрдман уже говорил со мной, как с хорошо знакомым.

— Мой папаша совершил две роковые ошибки,— рассказывал он.— Первая — та, что, бросив родину, уехал наживать денежки в Россию. Жил там чужаком, и хоть женился на русской, но от этого своим не стал: не прирос к русским душой, считал Россию временной квартирой. Вторую ошибку он совершил спустя двадцать лет. В революцию он потерял все, что нажил, ну, значит, и сиди на месте — терять-то больше нечего! А ему не сиделось, уехал в Германию. Добро бы сам, а то потянул и нас за собой, на этот раз уже нас оторвал от родины. И все равно не нашел того, что искал. Бросился очертя голову в политику. В тридцать четвертом году его как упрятали в Дахау, так и по сей день.

— Погиб?

— Не знаю. Наверное. Я никогда к нему не пылал большой сыновней любовью. Вначале, правда, жалко было, а теперь... Переломанная жизнь получилась, исковерканная, плохая. Мать жалею. Старуха тоскует по России, меня тоже к русским тянет, а мундир на мне немецкий. Архитектор Эрдман — ефрейтор немецкой армии! — Он щелкнул под столом каблуками.— Архитектор... А что можно сейчас строить? Концлагеря? Бомбоубежища?.. Разумеется, я говорю это не для длинных ушей.

— Бойтесь, донесут?

Эрдман рассмеялся.

— Страх перед ближним стал нашей национальной чертой. Просто машинально вырвалось. Думаю, что в гестапо есть уже мой исчерпывающий портрет. Нового к нему не добавите.

— Однако в армию вас взяли.

— Ничего не поделаешь: тотальная мобилизация.

Продолжается каторга.

Нас — восемь человек пленных, конвоир Люк и мастер Гебеле.

Гебеле суетлив, подвижен и криклив не в меру. На крючковой фигуре болтается, как на вешалке, длинный черный пиджак. Из просторного воротника торчит гусиная шея с острым кадыком, и на ней — большая седая голова с огромными ушами. Длинный фиолетовый нос оседлан очками с тяжелыми стеклами. Если их убрать, Гебеле слеп, как летучая мышь.

Мы сгружаем на специальную платформу из шпал десятитонный трансформатор. Старый Гебеле очень боится, что мы его уроним.

— Вы не умеете работать, глупые русские верблюды! Я вас научу! — орет он старческим дребезжащим тенорком.

Наконец-то трансформатор встает на место. Его тщательно зачехляют, и никто не видит, как из спускного отверстия потянулась тонкая бесшумная нить янтарного масла. За ночь оно уйдет сквозь пористый щебень в землю. Внешне все будет нормально, ведь даже спускная пробка осталась на месте, удерживаясь на последних витках резьбы.

В субботу, незадолго до конца работы, к складу подъехал грузовик. После короткой перебранки с Гебеле мастер механической мастерской отобрал из нашей восьмерки четверых и, спешно погрузив их с Люком в кузов, уехал в Мюнхен. Оставшись с подслеповатым Гебеле, мы четверо переглянулись: «Другой такой возможности не будет».

Наконец где-то за стеною склада пробили сигнал на обед. Машина все еще не возвращалась. Гебеле нервничал, черной тенью носился по складу, потом скрылся за стеклянной перегородкой конторки, озабоченно подсел к столу и достал свои бутерброды.

Меня будто в спину кто толкнул. Я свернул за тюки и ящики грузов и, пробираясь между ними, словно по тесному, извилистому лабиринту, направился к двери. Еще шаг, еще несколько секунд и...

Свобо-о-ода!

Бросив взгляд назад, я увидел выскочившего из конторки Гебеле.

— Стой! Куда? Стреляю! Сто-о-ой!

Прыжком перемахнув дорогу, я бросился в молодую хвойную поросль и понесся, не разбирая дороги, не обращая внимания на стегающие по лицу длинные хлысты веток. Впереди трещали кусты, сзади хлопнули четыре пистолетных выстрела.

На стройплощадке не было ни души. Я с ходу втиснулся в прямоугольную горловину железного короба, согнутого в виде большой дуги, коленями и локтями протолкнулся до середины и замер, едва переводя дыхание. В таком положении меня не могли увидеть, даже если бы заглянули в короб.

Снаружи было тихо. Отдышавшись, я несколько успокоился.

В коробе скопилась дождевая вода, воняло мокрой ржавчиной. С опозданием обожгла мысль: «Если в короб пустят пулю — конец. Любой рикошет попадет в меня. А если овчарка?..»

Кто-то, крадучись, подошел, чуть слышно шурша мелкой щебенкой. Громкий шепот позвал:

— Где ты?.. Выходи...

Я узнал своего товарища Корытного.

Часом позже мы все вчетвером собрались и зашагали гуськом по лесу. Шли молча, прислушиваясь к каждому звуку. И когда уже начали меркнуть звезды, сделали привал.

На лесной полянке мы раскурили единственную сигарету и, заговорив о том, куда двигаться дальше, решили: куда бы ни шли, а надо разделиться — вчетвером идти опасно. Корытный и Гранкин пошли в прежнем направлении, на юго-восток, мы с Русановым двинулись в обход Мюнхена.

Под дождем лес потемнел, намокнул. Идти было тяжело. Ноги грузили в рыхлом многолетнем листовом слое, а на глинистых откосах разъезжались и скользили. Одежда прилипла, знобило.

Тяжело опираясь на сосновую жердь, впереди меня, прихрамывая, шел старший лейтенант, штурман Русанов. Двое суток непрерывно моросил обложной дождь, двое суток почти непрерывно двигались и мы. Ни обсушиться, ни отдохнуть.

Наконец на краю неглубокого оврага Русанов остановился.

— Устал. Посидим.

Я молча сел, уперся каблуками развалившихся ботинок в глинистый скат. На плечи давила усталость, тяжелая, как мешок с песком. Тихо, настойчиво шелестел дождь, обволакивая одуряющей пеленой сна.

— Не спи!

Я вздрогнул. Как раз в эту минуту мне казалось, что я лег в теплую постель и с наслаждением вытянул усталые ноги. Но никакой постели. Тот же унылый, сумрачный лес, тот же дождь...

Кряхтя, Саша поднялся, потуже затянул брючный ремешок и, опираясь на палку, сполз по склону. Я за ним. Вновь потянулся нескончаемый мокрый лес. Согнув спины, низко опустив головы, налитые свинцовой мутью, мы шли и шли, смертельно усталые, мокрые и голодные, шли, не останавливаясь, до рассвета. Лес поредел и начал расступаться. За густым молодняком опушки мы увидели желтые побледневшие фонари и под ними ряд колючей проволоки, опоясавшей несколько бараков. Хлопали барачные двери, выпускал заспанных людей. В прозрачном воздухе слышалась русская речь. Молодые парни, скорее даже подростки, сновали между бараками, толкались у длинного желоба умывальника.

Один из хлопцев зашел по нужде за угол.

— Эй, парены! — тихо позвал Русанов.

Юноша оглянулся, испуганно заморгал глазами.

— Что за лагерь? — спросил Русанов.

— Цивильные мы.

— Подойди ближе.

— А чего вам?

— Поесть бы, одеточки. Мы пленные, вчера бежали.

Парнишка постоял в раздумье, потом скрылся за углом, бросив на ходу:

— Подождите.

Чуть погодя вместо него явился другой.

— Здесь опасно. Пробирайтесь вдоль проволоки к оврагу.— Он указал рукой направление.— Заляжьте там. Через час мы придем. Сколько вас?

— Двое...

Час показался нам очень длинным, я уже начал сомневаться в искренности парня.

— Черт его знает, еще приведет полицию.

— Да брось ты,— успокаивал Русанов.

Однако мы все же выбрались из оврага и замаскировались поблизости.

Через некоторое время на противоположной стороне появилось четверо ребят. По едва заметной тропинке они спустились вниз. Кусты прошелестели, качнулись и снова мертво застыли.

— Э-эй! — донесся тихий голос.— Выходите. Где вы?

Мы пробрались к ним.

Глаза их горели жадным юношеским любопытством.

— Бежали? Откуда? Куда?

Ребята принесли две буханки хлеба, кусок какой-то эрзац-колбасы в целлофановой кишке и кое-какую одежку.

Мы переоделись и стали прощаться.

На лацканах наших пиджаков голубели «ОСты», в карманах лежало немного денег и хлебных талонов. Мы шагали по твердой дороге и смело смотрели в глаза случайным прохожим. Теперь мы восточные рабочие, идем в гости к друзьям в соседнюю деревню.

День был воскресный. По пути изредка встречались старики в черных старомодных тройках и крахмальных манишках. Ведя под руку аккуратных старух, они степенно и важно направлялись в кирку.

На окраине какой-то деревни удалось напиться молока. Хозяева с вечера выставляли за ограду усадьбы большие белые бидоны, а на рассвете сборщик отвозил их на сливной пункт.

Потянулись дни и ночи, ночи и дни. Днем мы отдыхали, прячась в лесных чащобах, а ночами шли. На окраинах сел пили молоко и рылись в огородах. Все, что попало, съедали сырым, опасаясь разложить костер: ночью огонь виден издалека, а днем и дымок может привести гостей.

В одну из ночей сквозь густую темень мы увидели вдали красный огонек. Еще через полчаса он увеличился до размеров освещенного окна. Лес черной подковой охватывал одинокую усадьбу.

Будто завороженные, мы смотрели на спокойные лица людей за окном. Неудержимо тянуло к теплу, к засланному голубой клеенкой кухонному столу, за которым ужинали пожилой мужчина и полная женщина.

Мужчина, почесываясь, ушел. Женщина собрала кастрюли, снесла их в подвал. Потом она вернулась, склонилась над духовкой, и рот у меня наполнился слюной: в руках женщины лоснился пирог.

Свет погас.

Через час-полтора мы подкрались к подвальному окну. Я открыл ножом оконную раму и стал спускаться в подвал. Русанов держал меня за ноги. Руки шарили в пустоте, не доставая пола. Вот лягнула под рукой крышка кастрюли. Я замер. Нигде ни шороха. Я спустился еще ниже, нащупал длинную скамью...

Спустя минуту я поднялся в кухню. Осторожно отворил дверцу духовки. По кухне разлился невыносимо вкусный запах сдобы. Боясь загреметь и едва дыша, я вынул и передал Русанову теплые противни.

Выбравшись из дома, мы быстро расправились с яблочным пирогом, вкусным, душистым и еще горячим. Второй такой же остался про запас.

— Непуганые, черти, беспечные.— проворчал Саша.— Спят.

Утром мы набрели на сарай, набитый до самых стропил сеном. Зарывшись в него, мы быстро согрелись. Незаметно навалился сон — крепкий, глубокий.

Ночью мы вышли к Дунаю.

В нескольких километрах выше по реке мерцала россыпь огней Регенсбурга. Где-



то там шагнули через Дунай тяжелые мосты. Перейти по ним через реку было бы просто счастьем: Русанов не умел плавать; но идти через незнакомый город — безумный и ненужный риск. Надо искать что-то другое.

Голодные и злые, мы долго рыскали по берегу и наконец нашли затопленную у берега лодку, прикрепленную к свае цепью с пудовым замком. Рядом стоял покосившийся сарай. В нем нашли весла и уключины, ломик и связку мелкой рыбешки.

Вычерпав из лодки воду, мы оттолкнулись от берега. Лодку сразу стало сносить течением. Русанов неумело выгребал, ржавые уключины с визгом ворочались в гнездах.

Противоположный берег, казалось, был уже совсем рядом, когда прямо в лодку врезался сияющий луч прожектора. Подрожав секунду, он косо упал на противоположный берег, потом, как бы нехотя, скользнул правее и погас.

— Влипли,— чуть слышно прошептал Русанов.

Прошло несколько минут. Снова вспыхнул прожектор. Ослепительный пучок света, чуть подрагивая, медленно шарил по воде, постепенно приближаясь к нам.

— Ныряй! — придушенно просипел Русанов.

— А ты?

— Ныряй, говорю! Спасайся хоть ты, дурень! Ведь обоих схватят!

— Саша!

— Скорей! Ну!

Он почти силой выбросил меня за борт. Вода обожгла, захватило дыхание, ботинки тянули ко дну. Стараясь не всплескивать, я отплывал по течению вниз. Русанов изо всех сил выгребал к берегу. А там уже застучал мотор, взвыл, набирая обороты, и, когда Саша поднялся в лодке, воздух рванула раскатистая очередь.

Усиленная мегафоном, донеслась команда:

— Стой!

Ботинки и одежда неудержимо тянули меня ко дну. Я все чаще погружался с головой, стараясь удерживать дыхание.

В тот момент, когда тело, отказавшись от борьбы, стало оседать в податливую глубину, я вдруг почувствовал под ногой дно. Здесь было мелко.

Я снова оглянулся.

Небольшой катерок, зацепив буксиром лодку, описал широкий круг. Прячась от скользящего луча прожектора, я ушел под воду.

Выбравшись на берег, я долго лежал на холодном песке, выстукивая зубами топропливую дробь. Потом, подгоняемый липким холодом, побрел прочь от берега. Утро застало меня километрах в десяти от Дуная, на дне глубокого узкого оврага, прикрытого с боков чахлам еловым перелеском.

Плотно завинченная зажигалка не пропустила воду. Жарко вспыхнул мелкий сушняк. Сейчас я не думал ни о какой иной опасности, кроме одной — смертельно заболеть.

В овраге я обсушился и, забывшись в тревожной дреме, пролежал до заката, впервые по-настоящему ощутив, что такое одиночество.

Со дня побега прошло около месяца. Одежда моя превратилась в лохмотья, тело было покрыто коркой грязи, щеки заросли, на всех суставах почти постоянно кровоточили ссадины.

Наступила пора безлунных ночей. Я подошел к маленькой железнодорожной станции, приютившейся в просторной долине неподалеку от Карловых Вар. Станция уснула. В узком окне служебного отделения светилась тусклая лампа. Слабо желтели огни семафоров. На путях сонно растянулся длинный товарный состав.

Крадучись, я переходил от вагона к вагону, но все они были наглухо заперты и опломбированы.

Впереди мелькнула чья-то тень, хрустнул щебень. Я прижался к колесу вагона. Чуть погодя тень снова шевельнулась и двинулась вдоль состава. Под ногой у меня звонко перекатился камень. Тень метнулась в сторону. Перемахнув кювет, человек зашумел в низкорослом кустарнике. Я почему-то решил, что это «свой», и, забыв об осторожности, побежал за ним.

Человек затаился, молчал.

— Выходи, друг, не бойся,— позвал я тихо, вкладывая в голос всю свою тоску по человеку.— Выходи, где ты?

Чуть шевельнулись ветви, и придушенный голос выдохнул:

— Здесь...

Рядом выросла темная фигура, выше меня на целую голову.

— Давно бы так. Чего прячешься?

— Да кто ж его знал... Думал — полицаи.

— Ты кто, пленный?

— Не... Работаю тут. Грузчиком. В вагонах продукты. А ты кто?

— Военнопленный. Пробираюсь в Польшу.

— Не дойдешь.

— Что так?

— Ходили наши и не дошли. Кто в Майданек погал, а кого назад привезли полуживого. Живут теперь хуже собаки.

— А ты лучше?

— Я-то?!— удивился парень, но вместо ответа предложил: — Давай пойдем к вагонам.

Мы снова подошли к составу. Парень действовал уверенно. В его руках появился короткий, загнутый на конце ломик. Легко подтянувшись, он сорвал пломбу, откинул накладку и, орудуя ломиком, бесшумно и быстро отодвинул тяжелую дверь. В вагоне блеснул лучик фонарика. Я принял от парня три картонных пакета:

— Все, шабаш.

Дверь накатилась на место, чуть стукнула накладка. Парень достал из кармана ломбир, и все приняло свой первоначальный вид.

— Ну, брат, ты мастер! Так как же? Может, раздумаешь, пойдешь со мной? А?..

— Нет... Я не один ведь, нас четверо. Без меня пропадут ребята. Не могу я их бросить. Вот, бери...

Он сунул мне пятикилограммовую картонку галет, подхватил остальные и скрылся под вагоном.

Утренний заморозок загнал меня в сарай рядом с бревенчатым домом, прижавшимся к самому лесу.

Постройки усадьбы от времени почернели. На чешуйчатой деревянной крыше местами зеленел мох. За стеной тяжело вздыхали коровы, фыркала лошадь.

Со двора слышалась певучая чешская речь, громко тяпал топор, повизгивал барабан глубокого колодца.

Хозяин вывел лошадь. Сипло покрикивая, запряг ее и уехал по дороге вниз.

Широкая, как ворота, дверь сарая раскрылась, вошла невысокая молодая женщина. Подслеповато щурясь со света, она пошарила рукой у стены, взяла вилы, обернулась и наткнулась на меня взглядом.

— Кто? Кто ту е-е?

Выставив вилы перед собой, она сделала шаг назад.

— Не бойтесь. Я русский... Пленный.

Женщина опустила вилы, оглядела меня пристально большими серыми глазами, в которых светился настоящий живой интерес и, кажется, тень участия.

Вскоре передо мной стояла полуведерная кастрюля, над нею клубился душистый пар. Обжигая ладони, я чистил крупную рассыпчатую картошку, набивал ею рот и запивал еще теплым парным молоком.

Женщина молча стояла в просвете двери.

— Спасибо вам,— сказал я, опустошив кастрюлю.

Хозяйской бритвой я сбрил отросшую за месяц бороду, умылся с мылом, натянул на себя толстый свитер, шерстяные носки и чертовой кожи брюки. Все было старое, во многих местах залатанное, но чистое и теплое.

Сердце согрелось чужим участием, жизнь показалась светлее и легче, и все, что ожидало впереди, уже не представлялось таким страшным.

В неглубокую яму я натаскал ворох опавших листьев, зарылся в него и только тогда почувствовал непреодолимую усталость. Листья уже припахивали плесенью — было сыро, но тепло и мягко. Я уснул сразу, точно потерял сознание.

— Стой! Руки вверх!

При чем тут «стой!»? Ничего еще не понимая, я вскочил.

— Руки вверх, ты!

Передо мной стоял коренастый человек. В руках он сжимал ружье, палец лежал на спусковом крючке.

— Ты кто? Русский?

— Да.

— Оружие есть?

— Нет.

— Спиной ко мне! Руки назад!

Этот человек, оказавшийся лесником, привел меня в полицейский участок.

За большим, совершенно пустым столом дремал старик, одетый в заношенный костюл с узенькими погонами полицейского офицера.

— Вот,— сказал лесник,— привел гостя. С вас сорок марок, господин Клемер.

— Да-да, понимаю. Сорок марок за поимку пленного. Да-да... Михель! Михе-е-ель!

Из соседней комнаты вышел второй старик — чуть помоложе, пободрее и пониже ростом.

— Господин Нушке привел пленного. Займемся им. А вы, Нушке, идите отдыхайте. Мы вас вызовем.

Порывшись в глубоком чреве стола, старик Клемер достал несколько листов бумаги и, разгладив, положил перед собой. Начался допрос. Покончив с ним, Клемер сказал:

— В прошлую войну я был в России. Русские добры, и эта доброта вышла им боком... м-м-м... беспечность! К пленным офицерам они относились весьма прилично. Потом пришла революция. Появились другие русские — небритые, грязные, с громкими речами и красными бантами.

Клемер говорил, а второй старик, Михель, сидел у двери — очевидно, чтобы я не удрал,— и, молча соглашаясь, кивал головой.

## 8

Моосбургский лагерь встретил меня вьедливым осенним дождем и потому показался не таким, как в прошлый раз, а тихим и будто вымершим.

В комендатуре заполнили какую-то бумажку, мокрый злой фельдфебель вlepил мне походя две-три здоровенные затрещины, дежурный солдат отвел в следственный барак.

В следственном было переполнено. Под потолком в сизых слоях табачного дыма тлели огоньки лампочек. В полумраке стоял шум голосов, двигались люди, вспыхивали огоньки сигарет, несло паленой резиной. Каждый клочок места был занят, даже в проходах лежали люди.

Я долго искал, где бы присесть, и вдруг наткнулся на Немиру.

— Ты?! Батюшки! — Он всплеснул руками. — И тебя заарканили?

Лева потеснился, уступив мне кусочек нар. Разговоров хватило надолго.

На третий день после нашего побега из Оттобруна в команду приехало большое начальство. В течение нескольких минут в бараках все подняли вверх дном. Пленных обыскали, вытряхнули и перерыли даже матрацные стружки. Многих мимоходом избили и, не найдя ничего подозрительного, уехали так же быстро, как и нагрянули.

Спустя несколько дней после обыска в числе конвоя появился присланный в помощь унтеру обер-ефрейтор Милах. Этот тип с мордочкой грызуна сам никого не трогал, но конвой точно с цепи сорвался: лупить стали ни за что ни про что — еще хуже, чем вначале.

Немира бежал, улучив момент, когда конвоир отошел по нужде за угол. Бежал и в первые минуты даже поверить не мог, что все получилось так просто. Сразу пошел, даже не выбирая направления, лишь бы подальше от лагеря, потом повернул на во-

сток, и все, в общем, было очень похоже на мой собственный путь: то же голодное волчье существование, те же страхи.

На девятый день к вечеру его схватили на окраине деревни, избили и доставили в Моосбург.

— Из Оттобруна сам пришел в Моосбург,— горько шутил Немира, а за унылой шуткой слышались тоска, откровенный страх перед будущим.

— А здесь долго держат?

— По-разному. Суд, карцер — и снова в команду. Всего протянется с месяц. А потом в команде печенки отобьют, и катись на тот свет.

В небольшой комнате комендатуры на длинной скамье вдоль стены сидело человек десять военнопленных. Перед дверью в кабинет коменданта расхаживал часовой. Время от времени он останавливался, выдергивал из кармашка облезший футляр с часами и смотрел на них долго, точно видел впервые. Потом, подавляя зевок, принимался снова ходить: пять шагов туда, пять — обратно.

Часа через два входная дверь рывком открылась:

— Ахтунг!

Через комнату, не глядя по сторонам, твердо прошагал комендант, за ним еще двое: старик в штатском и майор с угрюмым крупным лицом. Обитая дерматином дверь глухо стукнула. Через несколько минут суд начался.

Меня вызвали третьим.

В руках коменданта я увидел свою учетную карточку и листок, заполненный при доставке в Моосбург. Рядом лежали еще какие-то бумажки.

— Переводчик нужен?

— Нет.

— Тем лучше. Фамилия, имя, звание?..

Я отвечал. Комендант слыхал мои ответы с карточкой, потом, отложив ее в сторону, строго посмотрел на меня.

— М-м-да. Тридцать четыре дня — срок немалый. Вы прошли почти пятьсот километров. Четырнадцать суток карцера, три дня перерыва и снова четырнадцать суток.

Я даже не удивился, что так легко отделался за побег. Во-первых, к этому времени побег принял уже массовый характер, и, во-вторых, сама немецкая охрана, администрация лагерей начали побаиваться жестоких репрессий по отношению к военнопленным: дела на фронте складывались далеко не в пользу гитлеровцев. Невольно даже самые тупоголовые заглядывали в будущее: оно не сулило никаких благ тем, кто измывался над пленными. И потому нравы в лагерях смягчались. Конечно, не везде. По отношению к пленным, заподозренным в подпольной политической работе, фашисты по-прежнему были беспощадны. Но об этом я расскажу позднее.

И вот я в карцере. Сквозь наглухо заколоченные окна еле просачивается свет, под потолком и днем желтеют две маленькие лампочки, от этого в помещении стоит желтоватый полумрак. Прямо на голом полу лежат пленные, человек восемьдесят.

Ночь и день поменялись местами. Ночью нападали несметные полчища блох. Они грызли, обжигали тело ядом своих укусов, и ночь превращалась в пытку. Чтобы хоть как-то избавиться от паразитов, пол всю ночь поливали водой, пленные не спали, а собиравшись группами, разговаривали, играли в карты, пересказывали давно прочитанные книги. А как только светало и блохи, нарезвившись за ночь, успокаивались, в карцере наступала тишина.

В эти дни я крепко подружился с майором Петровым. Вокруг него всегда были люди. Петров обладал уравновешенным, твердым характером и острым умом; любой спор он умел направить в нужное русло. Но самое главное, он всегда был в курсе последних новостей с фронтов. Уже тогда я заметил, что, несмотря на изоляцию и строгий режим, он все время поддерживает связь с «волей» — общим лагерем.

Судили предателя. О том, что он натворил, мне рассказал Петров.

В Аугсбурге при машиностроительном заводе работала команда наших военнопленных. Из них организовалась небольшая группа, занявшаяся полезной работой: разными путями они добывали сведения о положении на фронте и соответственно их толковали... Но, как это нередко бывало, в подпольную группу пролез предатель. Он

донес на подпольщиков. Людей похватили прямо с работы, и больше их уже не видели. Предполагают, что их казнили в аугсбургской тюрьме.

Предателя по фамилии Белов схватили вместе с остальными, и в лагерь он не вернулся — его перевели в другую команду. Сначала он чувствовал себя на новом месте вполне спокойно. Но через некоторое время и там стало известно, что он собой представляет. Пытались его отлупить, но неудачно: на шум прибежали солдаты и по указке Белова двоих жестоко избили. На другой день он бежал: жить дальше среди своих было невозможно — раньше или позже прикончили бы. А к просьбам о переводе немцы оказались глухи.

Так Белов очутился в нашем карцере. Здесь его сразу же опознал майор Донцов из аугсбургской команды. А вскоре была получена записка от своих людей из БСВ, подтверждавшая предательство Белова.

Решили его судить.

— Согласен быть членом суда? — спросил меня Петров.

— Разве об этом надо спрашивать?

— Надо! Если это дойдет до немцев — повесят. Понял?

Я дал согласие.

На середину карцера вышел Петров.

— Товарищи! Среди нас есть человек... среди нас есть гад, на совести которого лежит подлое предательство. Шестнадцать человек погибло из-за него в фашистских застенках.

— Кто он?

— Смерть гадине!

— Смерть!

Я видел, как Белов сразу обмяк. Лицо его мертвенно побледнело.

— Я назову подлеца, но никто не должен его тронуть. Мы будем судить его со всей строгостью советской законности. Вот он — Белов.

К Белову рванулись несколько человек, но майор крикнул:

— Стойте! Надо избрать состав суда.

Избрали троих: председатель — Вечтомов, капитан Платонов и я — члены суда. Вечтомов крикнул:

— Белов! Выйди на середину.

Неверными шагами он вышел и встал на небольшое цементное возвышение, предназначенное для железной печки. Вокруг разместились пленные.

— Фамилия?

— Белов.

— Имя?

— Петр Степанович.

— Год рождения?

— 1922-й.

— Когда попал в плен?

— В июле сорок второго, на Волховском направлении.— Голос Белова дрожал, прерывался, от страха ему не хватало воздуха.

— Подсудимый Белов,— продолжал Вечтомов,— обвиняется в том, что он предал советских людей, не пожалевших своих жизней ради борьбы с фашизмом...— Вечтомов умолк и после короткой паузы добавил: — Вот, собственно, и все обвинительное заключение. А о своем гнусном злодействе расскажет нам сам Белов. Ну? Говори все! Чистосердечное признание... В общем, говори!

Лицо предателя сморщилось. Лихорадочно забегали налитые ужасом глаза, длинные тонкие пальцы нервно теребили полу измятой куртки.

— Братцы! Я не виноват, я никого не предавал, это неправда. Клянусь вам жизнью матери — неправда!

— Свидетель Донцов, расскажите все, что вам известно о преступлении Белова.

Донцов рассказал присутствующим все, что я уже раньше слышал. В полумраке карцера снова взметнулись возмущенные голоса.

Белов согнулся, сжался, как затравленная крыса. Глаза его бегали по лицам, дрожащие руки шарили по пуговицам куртки.

— Братцы! Пожалейте! Накажите меня, как хотите, только не убивайте. Я докажу вам, что я неплохой, что... Братцы! Я сам не знаю, как тогда случилось. Я же не думал, что так кончится. Братцы, я...

— Понятно, Белов! Значит, все-таки ты предал людей. Суд уходит на совещание. Подсудимого не трогать!

В умывальной мы совещались недолго. Решение было единодушным: смерть.

— Встать! Именем Союза Советских Социалистических Республик, именем нашей Родины! Бывший младший лейтенант Красной Армии Белов Петр Степанович, 1922 года рождения, за тяжчайшее преступление против советских людей, против Родины, совершившееся в предательстве шестнадцати человек, повлекшем за собой их гибель, приговаривается к смертной казни через повешение. Учтя, что Белов признал свою вину, суд предоставляет ему право самому привести приговор в исполнение.

Услышав приговор, Белов глухо вскрикнул и рухнул на пол. Он ползал, извивался, цеплялся длинными худыми руками за ноги пленных.

— Братцы, простите, братцы-ы...

Двое подхватили его под руки, потянули в умывальную. Он не сопротивлялся, безвольно обвис, волоча непослушные ноги.

Спустя час мы с майором зашли в умывальную. Белов забился в угол, мелко дрожал и смотрел на нас обезумевшими красными глазами.

— Кончай, Белов. Хоть умри-то по-человечески, трус!

...На утренней проверке дежурному фельдфебелю доложили о самоубийце. Он бегом осмотрел труп, молча пожал плечами и распорядился вынести. Следов насилия на трупе не обнаружили, а самоубийство было в лагере явлением не таким уж редким.

Спустя несколько дней Гамолов ухитрился передать мне записку:

«Крепись. Шестого ноября наши заняли Киев».

Случалось, что дежурный комендант «забывал» выпустить из карцера отсидевшего свой срок, и вместо двух недель пленный отсиживал три, а вместо трех — месяц. Обо мне «вспомнили» лишь на тридцать восьмые сутки.

Пошатываясь, точно пьяный, я переступил порог карцера. Низкое солнце больно стегнуло по отвыкшим от света глазам, морозный чистый воздух ворвался в легкие. Сердце билось с перебоями, и, пройдя несколько шагов, я, цепляясь за стену, опустился на землю. В голове шумело, стоящий напротив барак стал почему-то поворачиваться, потом куда-то поплыл, перекоился и вдруг снова встал на место.

Триста метров до русской зоны я преодолел в несколько приемов. В бараке все было так же, как и раньше, даже Гамолов сидел на своем обычном месте и рисовал.

Заметив меня, он быстро поднялся навстречу. Фанерка полетела на пол, рассыпалась карандаши, растушевки. Лицо засветилось радостью.

— Садись! Да черт с ними, подберу! Рассказывай. Есть хочешь? Ешь вот.—Он достал хлеб и банку консервов.— Я тебя быстренько откормлю. Поправишься—и снова к браткам. Итальянцев видел?

— Конвой?

— Нет, зачем же? Просто военнопленные, как и мы.

— Военнопленных?! Итальянцев?! — От удивления я даже поперхнулся.— Ты, верно, что-то путаешь. Союзники Гитлера — и вдруг...

— Враги,— спокойно сказал Гамолов.— От любви до ненависти один шаг. Италия капитулировала...

Из-за койки вышел высокий, немного сутуловатый человек.

— Приветствую сей тихий уголок. О чем спорите?

— Здравствуй! Присаживайся.— Гамолов подвинулся на койке.— Знакомьтесь.

— Капитан Калитенко,— прогудел простуженным басом мой новый знакомый.— Да вы будто с креста сняты! — Он крепко сжал мою руку в широченной ладони.— В рай готовитесь? Ну что же, там неплохо — тепло.

Почти каждый день из Моосбурга отправлялись рабочие команды. В тех случаях, когда команда была большой, ее конвоировала охрана из самого Моосбурга. За небольшими командами вызывали конвой «с места работы». Я был один, кого нужно

было отправить в Оттобрун, и — о великая честь! — за мной прислали специального охранника. Это был Эрдман. В тот день, когда приехал Эрдман, меня в зоне не нашли, — как обычно, я был в общем лагере.

— Собачий сын! — набросился на меня наутро дежурный фельдфебель. — Из-за тебя вчера весь лагерь вверх дном поставили. Где был? Пикировал? К французишкам потянуло?

— Господин фельдфебель, — вмешался Эрдман, — нам пора. — Он постучал ногом по стеклу часов.

— Знаю, знаю! Распишись и забирай эту дрянь. Я бы ему все кости переломал. На моем дежурстве... — И, не сумев отказать себе в удовольствии, фельдфебель подлетел ко мне, ткнул кулаком под ребра. Войдя в раж, отскочил на шаг и размахнулся снова.

Эрдман схватил меня за шиворот и выбросил за дверь.

— Пошли быстро, ты, лодырь!

Отойдя несколько шагов, он сказал, запыхавшись:

— Не спешите, успеем. Еще двадцать пять минут до поезда.

В пути Эрдман предупредил меня:

— В Оттобруне будьте осторожны, особенно избегайте Милаха. Натура у него подленькая, мелочная — впрочем, как у каждого выскочки.

К вечеру пошел густой снег. Когда мы подъехали к Оттобруну, вокзал, крохотная площаденка и задумчиво притихшие сосны были уже покрыты толстым пушистым слоем.

В желтом конусе фонаря плавно кружились лохматые снежинки и, как бы нехотя, ложились на остуженную землю, на бараки, на плечи часового, притопывающего у входа в лагерь. Он насвистывал заунывную восточную мелодию, и по этому свисту я еще издали узнал конвоира Люка.

Увидя меня, Люк протяжно свистнул, выражая этим не то удивление, не то разочарование.

— Приехал, субчик. Ну, как путешествовал? Имей в виду, без выкупа я тебя в лагерь не пушу.

— Да брось ты, Люк, какой выкуп? — вмешался Эрдман. — Он и так больше месяца в карцере блох кормил.

— Выкуп! — заупрямился Люк. — Человека, можно сказать, в родной дом вернули. — Он громко, заливисто захохотал. — Домой, ха-ха-ха, привезли. Дурачье! Не умеешь бежать — сиди на месте!

— Ну давай, давай, Люк, пропускай.

— Не спеши, успеешь. Есть курить?

Эрдман протянул ему пачку сигарет.

— Спасибо. Можно парочку? И сходи-ка, Эрдман, за унтером.

Мы остались одни. Люк подошел ко мне вплотную.

— Ну, что слышно с Востока?

— Не знаю. Ты газеты читаешь?

— Газеты — дерьмо. Если им верить — у русских не осталось ни солдат, ни пушек.

А кто же нас лупит?

Я не узнавал Люка. Раньше это был самый молчаливый солдат, а теперь его словно прорвало. Допекло.

Пришедший унтер молча кивнул и проводил меня в барак. Обошлось без мордобоя.

Мое появление вызвало шумное оживление. Дружная семья пленных обступила меня со всех сторон, посыпались вопросы, от крепких рукопожатий заняла рука.

На работу за проволоку меня не пускали. Подчинен я был непосредственно Эрдману. Занимался уборкой, копался в тряпье, сдавал в ремонт обувь. Один раз в неделю ездил с Эрдманом в Мюнхен на обменный склад, где пришедшее в полную негодность обмундирование обменивали на менее рваное.

На обменный пункт мы приезжали часам к десяти. Как правило, к тому времени уже собиралась очередь. Можно было сесть в сторонке, поговорить.

Однажды мы сидели в небольшом скверике. Мимо сновали озабоченные мюнхенцы, проносились вереницы автомобилей, на балконах и подоконниках висели разноцветные перины.

— У меня к вам по-настоящему серьезный разговор,— сказал я Эрдману.— Но прежде всего — чтобы разговор остался между нами... Это вы можете обещать? — Могу. Что дальше?

— Хочу вас, Эрдман, просить о серьезной помощи.

— Но ведь я и так, сколько могу, помогаю.

— Это очень хорошо. Пара сигарет и кусок хлеба тоже помощь. Но не это я имею в виду. Слово правды взамен геббельсовской лжи — это нам куда важнее.

— Но откуда же мне взять ее, эту правду?

— А приемник?

— Вы хотите, чтоб я...— Глаза Эрдмана округлились в ужасе.

— Вот именно, я прошу вас время от времени передавать мне содержание советских сводок.

— Вы с ума сошли! — искренне возмутился Эрдман.— Это же измена, предательство! Какой я ни дрянной немец, но я честный человек. Вставайте, и к черту эти разговоры!

Схватившись за винтовку, Эрдман вскочил.

— Погодите, Эрдман. Отвести меня в гестапо вы успеете.

— В гестапо?! Вас?! Тьфу! — Он в сердцах плюнул и снова сел на место.

— Вы говорите: измена, предательство! Но кому вы изменяете, если сами не чааете вернуться в Россию? Вы только приблизитесь на шаг к своей мечте. И, наконец, кого вы предадите, сообщив истинное положение дел на Востоке?

Эрдман молчал, перекатывая подошвой ботинка камушек. Потом, подняв на меня острый, серьезный взгляд, отчеканил:

— Давайте прекратим этот бессмысленный разговор. И помните: я ничего не слышал, а вы ничего не говорили. Понятно? Пошли, пора!

Несколько дней мы не разговаривали, и Эрдман, видимо, избегал встреч со мной. Но однажды он вызвал меня в каптерку и, понизив голос, сказал:

— Возьмите, но знайте, что вы ставите под удар не только себя, но и меня и мою мать.

Я крепко пожал его руку.

На странице из блокнота очень тесно, так, что я с трудом разбирал, была записана сводка Совинформбюро. Почерк круглый, женский; в тексте встречались «яти» и твердые знаки.

## 9

В середине марта началась дружная весна. Под осевшим ноздреватым снегом зажурчали звонкие ручьи. Потянуло теплом и особым, неповторимым запахом весны.

В очередную пятницу мы с Эрдманом отправились в Мюнхен. На моих плечах покачивался громоздкий узел тряпья, по икрам Эрдмана колотил приклад закинутой за спину винтовки.

Усевшись в вагон, мы закурили.

— Четыре дня я ишу возможности поговорить с вами...

Эрдман был очень серьезен. Я насторожился.

— Что же такое страшное вы мне приготовили?

— Не я — Милах.

— Милах?! Что?

— Подбирается под вас. Пока только подозрения, но он меня предупредил: слишком на коротке я с вами, надо подальше. Какая-то сволочь есть и среди ваших, иначе откуда бы ему знать все тонкости жизни пленных? А он их знает.

— И о сводках?

— Да, и о сводках знает.

— Скверно, Эрдман. Скверно,— повторил я еще раз и неожиданно для самого себя решил: — Бежать надо... Иного выхода не вижу.



— Бежать? Но куда? Как?

На обратном пути Эрдман несколько оживился.

— Я кое-что придумал. Надо симулировать, ну, скажем, туберкулез. Тогда вас отправят в Моосбург, а там уже постарайтесь затеряться. В другую команду, что ли...

На следующий день, в субботу, я пришел в медпункт. Вела прием старушка Анна-Мария — фельдшер с полувековым стажем. Она относилась к пленным сочувственно, нередко угощала скудными бутербродиками.

Я пожаловался на недомогание, слабость, ночные поты, отсутствие аппетита. Последняя жалоба подействовала особенно убедительно. Старуха сунула мне под мышку градусник, я отошел в сторону, а через некоторое время вернул термометр, потеряв его о полу куртки.

— Тридцать семь и четыре. Приди в следующую субботу.

На следующей неделе все повторилось.

— Не стану скрывать,— сказала Анна-Мария.— По-моему, это начало туберкулеза. Нужно в лазарет. Я сегодня же скажу унтеру.

Спустя несколько дней меня отправили в Моосбург.

Перед отправкой ко мне подошел Эрдман. Он был грустен и серьезен больше обычного.

— Вот закончится война,— сказал он,— вернетесь домой, не забывайте меня, Курта Эрдмана. Пишите или приезжайте. В моем доме вы всегда будете желанным гостем.

И вот в третий раз я в Моосбурге. На Лагерштрассе в ярком электрическом свете толчется разногослая толпа иностранцев.

В приемном покое лазарета полно людей, шумно, накурено. Быстроглазый француз с приклеившейся в углу губ сигаретой опрашивает приехавших и заполняет карточки. Сигарета чадит, дым лезет в глаза, и от этого француз кривится, точно не может подавить брезгливого чувства к стоящим перед ним оборванцам.

Немец фельдшер коротко знакомится с характером жалобы, лениво стряхивает термометр.

Не знаю, то ли я действительно был болен, то ли волновался, но температура поднялась. Градусник показал 38,5°.

— В русский ревир,— распорядился фельдшер.

Тихо. Непривычно тихо. На дворе уже давно рассвело, и странно, что не спешишь строиться на поверку.

Я вспомнил, что уже не в Оттобруне, а в Моосбурге, и снова задремал.

Протопали тяжелые каблуки. Около меня кто-то остановился. Я открыл глаза и увидел солдата.

— Новый?

— Новый,— подтвердил я.

Из-за спины солдата показался белый халат и голова человека в докторской шапочке, надвинутой на кустистые седые брови. У меня дух захватило от радости.

— Андрей Николаевич!

Я видел, как радостно вспыхнули на мгновение глаза военврача. Именно вспыхнули, зажглись на миг. Но тут же, будто не заметив меня, доктор прошел дальше.

«Не узнал,— подумалось мне.— Хотя нет! Я ведь видел, как он обрадовался. Значит, нельзя...»

Обход возвращался. Проходя мимо меня, Андрей Николаевич сухо бросил:

— После завтрака — ко мне на прием.

Разнесли завтрак: по черпаку чуть сладкого желудевого кофе. Я наспех проглотил его и уже через несколько минут стоял у невысокой двери барачной перегородки.

— Да, войдите!

В узенькой каморке за ветхим столиком стоял Андрей Николаевич.

Я остановился, не зная, как вести себя дальше — здороваться или молчать?..

— Здравствуй, чертушка!— Андрей Николаевич вышел из-за стола и сжал меня в своих крепких руках.— Обиделся? Ну, ну, не надо. Там за мной сотни глаз подсматривают — ни охнуть, ни вздохнуть. Садись, рассказывай.

Но рассказать мне не удалось. Он сам говорил и говорил, перебивая себя.

Когда улеглось первое волнение, мы стали беседовать более спокойно и связно.

— Надолго ли сюда? — спросил Андрей Николаевич.

— Не знаю. Теперь от вас будет зависеть. Хитрый туберкулез у меня. Надо бы отлежаться да куда-нибудь забиться в другую команду.

— Ну-ка, разденысь. Хитрый туберкулез... гм... посмотрим.

Начался настоящий осмотр.

— Легкие как звоночек. А вот сердце мне не нравится. Раньше не болело?

— Нет. Никогда.

— Одевайся. Немного покоя, и все будет хорошо. Симулировать тоже надо умеючи. Слушай...— Он рассказал, как я должен себя вести.— Мы с тобою чужие — ясно? Служебное, так сказать, положение, субординация и прочее. Есть там пара словечей,— он кивнул на дверь,— на днях едва выпутался живой. Потом расскажу...

Мы вышли из «кабинета» — доктор впереди, я за ним. Ссутулив спину, он направился к выходу, а я улегся на свою койку.

Ночью прекращались разговоры, но скрипели доски разошедшихся коек, люди стонали, метались в бреду, смеялись, плакали, мучились. Много страданий, много смертей, а помощь?

— Эх люди, люди,— вздыхал Андрей Николаевич.— Просят, требуют. А что я могу дать? Что у меня есть? Паршивую английскую соль запрашиваю, будто для себя лично милостыню. Так ведь не понимают же!

Вскоре я узнал, что и сам Андрей Николаевич тяжело болен.

— Старая песня,— сказал он,— туберкулез. Несколько лет он меня не беспокоил, а теперь вновь открылся.

— И с туберкулезом вы ушли на фронт?

— А что особенного? Я ведь практически был здоров. Вот курю и знаю, что вредно. Покуришь — на душе будто легче станет. А туберкулез?.. Черт с ним! В моем возрасте он не так уж страшен.

— Успокаиваете себя?

— Нет. Зачем же? До победы я дотяну, а потом уж буду жить. Подлежат. Есть вещи пострашнее болезней,— добавил он с горечью.— Вот хоть подлость возьмем. Казалось бы, здесь, в лазарете, так сказать перед лицом смерти, все одинаковы. А присмотришь: сто людей — сто характеров. И среди них попадаются препаришвейшие. Единицы, но гнусные и...— Доктор с досадой махнул рукой.— В общем, слушай. Многие здесь не столько больны, сколько истощены. Дай им нормальную пищу — будут жить. А где ее взять? Надо ловчить, заводить коммерцию, выдирать пищу у иностранцев. Но ведь это лагерь, ла-герь, черт его возьми! Не спрячешься! Одному дашь — другому не дашь, а всем дать нет возможности. Недовольство, озлобление, зависть... Ну, кое-как лавировал — сегодня одного поддержку, завтра другого... И вытягивал людей. А теперь все! Крышка!

Андрей Николаевич прикурнул погасшую сигарету и вновь закашлялся. После приступа он сидел некоторое время молча — отдыхал. Я не торопил его.

— Завелась одна сволочь, и все полетело к черту. И сам я едва выпутался,— продолжал он.— А художника того жаль. Очень жаль.

— Какого?

— Был тут один. Хороший человек. Мы с ним часто разговаривали. Вот так же, как с тобой, сумерничали.

— Вы не о Гамолове говорите?

— Гм-м... Ты его знаешь?

— Знаю, знаю! Что с ним? Андрей Николаевич, бога ради, рассказывайте.

— Да чего вскинулся-то? Я же не сказал, что он умер! Жив.

И он рассказал мне о Гамолове то, чего я еще не знал.

Гамолов впервые появился в реви́ре опухший, чувствовал себя очень скверно: обострился ревматизм, сдавало сердце. Доктор положил его на дальнюю койку, в углу, и он по целым дням молчал, упорно глядя в окно.

Весною ему стало чуть получше. Он начал выходить из барака. Вскоре с Гамоловым сдружились двое молодых ребят. Они приносили фотографии, началась работа, появились продукты. Почти все, что зарабатывал, Гамолов отдавал доктору. «Подкармливайте своих доходяг, ставьте их на ноги...»

Через некоторое время Гамолов выписался в лагерь, но двое его друзей остались в лазарете санитарями. Помощь продуктами стала постоянной. Иногда доктору передавали и сводки Совинформбюро. Он прочитывал их и потихоньку пересказывал своим больным. Все шло хорошо, но вот совсем недавно в реви́р положили бывшего полицая. Ничем он не болел, а просто, как выяснилось, улизнул из команды, где ему крепко доставалось от пленных. Как говорят, бог шельму метит. И в реви́ре полицая тоже избили. Он кинулся искать защиты у доктора, а тот, зная, кто перед ним, не сумел сдержаться и выставил негодя за дверь. Ночью его снова избили.

Спустя два дня, прохаживаясь за баракон, доктор увидел группу немцев, идущих к лазарету.

Тут же, между бараками, Андрея Николаевича обыскали. С него грубо сорвали шинель, халат, прощупали каждый шов, но ничего не нашли. «Одевайтесь! Покажите свой кабинет».

— Ты понимаешь,— говорил он мне,— сердце сразу затарахтело, точно с зарубки сорвалось. На вешалке висела моя куртка. И надо же было так опростоволоситься: забыл я в кармане этой куртки сводку Совинформбюро — только вечером мне ее передали.. Вспомнив об этом, я, как самый радушный хозяин, поспешил вперед, распахнул дверь в барак, потом в свой «кабинет» и, мигом сбросив с плеч шинель, повесил ее на куртку. Они перерыли все, перенюхали каждую бумажку, а к шинели даже не притронулись — ведь ее уже обыскивали! В тот же день тех, с кем я был связан, согнали в первый барак и заперли там, как в карцере: у дверей часовой, пятнадцатиминутная прогулочка.

— А Гамолов?

— И он там. Скверно,— вздохнул доктор,— очень скверно. Изолировали их не просто так. Говорят, передают барону Коршу, иными словами — в гестапо. А от Корша дорог немного: в Дахау или к стенке.. Или черт его знает куда.

Прошел месяц.

Подходил к концу третий год войны. Впереди уже уверенно вырисовывалась победа. А в Моосбурге стало совсем плохо. Уже было известно о провале БСВ. Многих офицеров передали Коршу, и после недолгого следствия их увезли в Дахау. А может, и не туда — никто ничего не знал.

В мае Андрею Николаевичу удалось пристроить меня в рабочую команду, и прямо из лазарета я попал в пересыльный барак.

Перед этим доктор позвал меня к себе. Последний месяц основательно подкосил его. Под тонким вытертым одеялом угловато обозначалось большое тело. Руки были сложены на груди. На впалых висках и землистых щеках густо серебрилась седина.

Далеко-далеко завывли сирены, потом в раскрытое окно вкатились раскаты взрывов, приглушенные большим расстоянием.

— Бомбят.

— Да. Бомбят.

Я выглянул в окно. Там, где темным обрезом заканчивалась стена барака, в небе играли красные сполохи.

— Наверное, Мюнхен.

— Возможно. Садись, посиди со мной. Завтра уедешь, увидимся ли?

— Андрей Николаевич...

— Постой, не спеши. Я не о том, о чем ты думаешь. Погиб Гамолов.

— Что-о?

— Гамолов погиб, говорю.

— Как? Когда?

— Несколько дней назад его и еще одного капитана — забыл фамилию — Ка... Ка...

— Калитенко?

— Ты и его знаешь? Так вот, их «при попытке к бегству»...

— Гамолов бежал?! С его ногами?

— Конечно, не бежал. Просто убили — и все... Вообще положение в лагере страшное. Организацию провалили. Я не удивлюсь нисколько, если завтра схватят и меня, и тебя, и еще кого-то. Многих уже нет. Не хочу предугадывать плохого, но ведь достаточно одному дать показания, и гибнет не один. В общем, тошно на душе, гадко...

Доктор задержал мою руку в своих сухих горячих ладонях.

— Прощай, брат, и попытайся раствориться, стусеваться пока. Вспоминай и обо мне, старом. Выживешь в этой потасовке — загляни в Харьков. Авось, чем черт не шутит, встретимся. Видишь, — он грустно улыбнулся, — все же не думаю помирать.

В пересылке от свеженастанных нар пахло сосной. За стенами буйствовала весна. У просмоленных досок барака пробилась тонкие ростки зелени.

Отправки я ждал с часу на час — лежал на нарах и все думал, думал... Перед глазами стояли лица доктора, Гамолова, Калитенко.

Вошел полицай.

— Эй, к обер-лейтенанту, живо!

Посреди двора стоял дежурный комендант.

— Художник?

— Да.

— Напишешь указатель: «Выход команд».

К коменданту подошел солдат, козырнул и, заглянув в бумажку, назвал мой номер — 18989 — и исковерканную фамилию.

— Куда? — строго спросил его мой «заказчик».

— В комендатуру, господин обер-лейтенант.

— Никаких комендатур. Я дал ему работу.

Солдат почтительно приблизился к офицеру и что-то сказал ему вполголоса.

Лицо обер-лейтенанта исказила злоба.

— Собака! — бросил он мне. — Иди! Марш!

— С вещами! — скомандовал солдат.

Я долго стоял перед большим канцелярским столом и, глядя на барона Корша, видел узкую, сжатую с боков, голову, низкий лоб над выпуклыми дугами бровей, седые с желтизной волосы, аккуратно приглаженные на косо́й пробор. Сухие пальцы с длинными жесткими ногтями катали по настольному стеклу невидимый шарик.

— Ну-с... рассказывай.

Голова поднялась от стола, мои глаза встретились с колючим-взглядом серых глаз Корша, уже подернутых старческой мутью.

— Рассказывай о БСВ.

— О чем?

— Бедняжка, не знаешь! Придумай что-нибудь пооригинальнее. Я тебя спрашиваю о Б... С... В...

— Не знаю, что это значит.

— Хорошо, подсказу: Братский союз военнопленных. Слышал?

— Нет.

— Ну конечно! Никто не слышал, никто не знает! Но ты заговоришь, — кинул он с угрозой. — Заговоришь, никуда не денешься. Щенок! Вон!

За спиной шелкнули каблуки, тяжелая рука опустилась на мое плечо.

— Раус!

В карцере было прохладно и тихо. В полусумраке на полу сидело человек десять, и среди них — майор Петров. Перехватив мой взгляд, он зевнул и отвернулся к стене.

Я понял.

Почти в полной тишине прошло несколько часов. Вечером Петрова взяли, а меня перевели в одиночку.

Тяжело лязгнула металлическая дверь, шелкнула задвижка глазка, и будто захлопнулась крышка склепа. В стене узкого бетонного мешка я разглядел железную койку. Около двери — парашу. Под потолком — горизонтальная зарешеченная прорезь, а за нею деревянный козырек. Под проволочной сеткой — тусклая лампа.

Два шага в ширину, пять — в длину.

Я долго стоял, прислонившись к прохладному бетону стены. Я думал, что начало будет более страшным — побои, пытки, мучения... Значит, это еще впереди. Откинул койку и присел. Сразу же открылась задвижка глазка.

— Встать!

Я вскочил. Койка с лязгом захлопнулась.

— Не садиться! — прокричал в очко голос. — Не ложиться!

Я ходил, стоял, снова ходил — пять шагов туда, пять обратно — и не мог опуститься даже на пол: неумолимый голос кричал: «Встать!» А в очко просовывалось тупое пистолетное дуло.

За деревянным козырьком проголубела и погасла полоска неба. А я все ходил и ходил, натываясь от усталости на стены...

Потом я снова стоял перед столом Корша.

— Ну как? — спросил он, прищурившись.

— Плохо.

— Тебе никто не мешает сделать лучше. Давай-ка поговорим об организаторах БСВ.

— Никого я не знаю.

— Ничего, ничего, скоро узнаешь, — зловеще пообещал Корш, и меня снова увели в одиночку, и снова тянулись бесконечные часы болтанки от стены к стене.

Временами в камеру наползал желтый туман, в глазах все сливалось и опрокидывалось: я засыпал на ходу и падал. Откуда-то издали долетало:

— Встать!

Пинками меня поднимали, и все продолжалось, как прежде: я бродил от стены к стене, едва переставляя отекавшие, точно свинцовые, ноги.

Через трое суток под проволочной сеткой камеры зажглась огромная лампа. На ночь откинулась койка. Из коридора перестали кричать «встать!», и я мог лежать. Но это было невозможно. Проклятый свет резал глаза, даже когда я ложился вниз лицом. Он, казалось, пронизывал голову насквозь, и ни на секунду нельзя было от него скрыться, отдохнуть. Свет доводил до иступления, до припадков бешенства.

Меня уже не выводили из камеры. Корш сам заглядывал ко мне на несколько секунд и коротко спрашивал:

— Ну-с, надумал?

Но вместо барона я почему-то видел темное, расплывчатое пятно.

— Ничего я не знаю...

Лязгала дверь, и адский свет продолжал заливать крохотную камеру. Воздух накалился. Железо койки было теплым, липким.

— В Дахау тебя обдерут до костей, — обещал Корш. — Там ты скажешь и то, чего действительно не знаешь. Отца продашь и смерти будешь просить, как милости. Там обломают...

## 10

Темный прямоугольник в полуосвещенный коридор открылся. В нем, прищурившись, стоял надзиратель.

Полудремотное отупение исчезло, я вскочил и казенной скороговоркой выпалил:

— Камера № 17. Военнопленный № 18989, все в порядке!

Широкая маска лица надзирателя плыла, и за нею плыл я, чувствуя, что валюсь набок.

— Выходи! Быстро! С вещами!

На дворе я совсем ослеп.

В непроглядной темноте желтели фонари. Позже глаза освоились, и я понял, что не так уж темно: край неба чуть светлел. В предрассветной тишине погуливал свежий ветерок.

В лагерной канцелярии дежурный офицер обмерил меня сонными глазами.

— Этот?

— Так точно!

— Обыскать!

Содрав с меня одежду, солдаты опасно и настороженно, будто в моих тряпках могла быть спрятана адская машина, прощупали каждый шов. А офицер тем временем смотрел мои рисунки. Он брал двумя пальцами листок, вертел его перед близорукими глазами и, мне казалось, даже нюхал, посапывая коротким носом.

Обыск закончился. Дежурный зевнул, потянулся и, вынув из ящика стола плотный серый конверт, вручил его пожилому унтеру.

Щелчок каблуков, пинок в спину, и мы зашагали по асфальту. За спиной остались «Шталаг Моосбург VII-A» — прерванные связи, верные люди...

Темный от выпавшей росы асфальт тянулся вдоль леса. Сзади послышался характерный щелчок передернутой пистолетной накладки. Затылок мгновенно напрягся, заныл. Неожиданной и нелепой казалась смерть в это раннее спокойное утро.

Я не выдержал напряжения, оглянулся.

— Иди, иди, не бойся. Твоя пуля — в Дахау.

Унтер поравнялся со мной. Мрачно улыбнувшись, он подбросил пистолет на руке, потом не спеша вложил в кобуру.

В вагоне поезда он заметно нервничал, орал на приближавшихся пассажиров, поминутно хватался за оружие. Даже немцы и те удивленно пожимали плечами. Усевшись поодаль, они настороженно рассматривали опасного русского.

После шумной пересадки в Мюнхене и еще получаса пути в тряском вагоне дачного поезда за окном черным по белому проплыла короткая надпись: «Дахау».

Станция маленькая. Направо, через пустырь, блестящей накатанной лентой легла дорога. Широкая стрела со свастики указывала нам путь.

Мы дошли до странно вытянутого плоского темно-серого здания с уродливой аркой. Над аркой высилась шестизэтажная сторожевая надстройка. Это брама, главный вход в концлагерь. Крупные и четкие буквы, словно в насмешку, оповещали: «Работа дает свободу».

Хороша свобода! Пройдя эту браму, человек лишался всего, и если умирал, то карточка его просто переставлялась из одного ящика картотеки в другой, с ярлыком «Тод» — «Мертвые».

...В провонявшем лизолом предбаннике здоровенный гориллоподобный малый, обмакнув в ведро мочальный квач, провел им по волосистым местам — будто огнем опалил.

Чуть не воя от боли, я бросился к крану, но сильный подзатыльник заставил пробежать мимо. Минут через пять тот же тип втолкнул меня в огромный, на несколько сот душевых рожков, мочный зал и поставил передо мной ведро воды. Я быстро погрузил в него руки, а выдернул их еще быстрее — кипятком.

Снисходительно улыбнувшись, банщик швырнул мне крохотный кусочек мыла и указал на кран.

— Мица! Бистро!

Нулевой выстригли ото лба до затылка «штрассу», швырнули полосатую одежду, а еще через минуту, едва коснувшись ногами ступеней, я вылетел из бани головой вперед и плашмя растянулся на жестком, как бетон, дворе.

Рысью пересекли Аппельплац. Громыкнула калитка карантинного блока № 15. Писарь заполнил формулярную карточку, и спустя короткое время я уже ничем не отличался от других заключенных: на кармане куртки и на брюках, повыше колена,

красовались матерчатые красные треугольники и над ними белые полоски с моим номером. Русский! Об этом говорила и полоса на голове, и буква «R» на треугольнике. Красный цвет треугольника означал, что я политический заключенный, а имя мое отныне — 70200!

Оглушенный всем происшедшим, я пробирался в угол тесного, забитого людьми двора в поисках места.

— Здорово! — раздалось над ухом.

От неожиданности я вздрогнул. Рядом стоял капитан Калитенко. Жив! Он смотрел поверх моей головы куда-то в сторону и тихо, почти не разжимая губ, сказал:

— Спокойно. На шею не бросайся, к знакомым не подходи...

Проводив его глазами, я повернул в другую сторону.

К концу дня нашелся повод для «знакомства». С холодно вежливым выражением лиц, подобающим едва знакомым людям, мы вели будто бы ничего не значащий разговор.

— Что нового в Моосбурге?

— Ничего хорошего. Там ведь были уверены, что вас с Гамоловым расстреляли. Гамолов где?

— Убили... Но что же все-таки в Моосбурге?

— Не знаю. Все притихло, молчит. Карцер забит, Корш свирепствует. Вот и все. Петров или уже здесь, или привезут на днях. Знаешь его?

— Нет. И тебя не знаю. В лагере уже около сотни наших. Будешь встречать — обходи стороной. Тут подслушивают, подсматривают, в общем — дело дрянь.

Постепенно Калитенко рассказал мне все, что ему было известно о провале БСВ.

Двадцать пятого апреля во время бомбежки в Мюнхене сгорело здание гестапо со всеми следственными документами и архивами. Следствие по делу БСВ началось вновь — повторился круг чудовищных пыток в гестаповских застенках.

Больше других пострадал Озолин. Еще летом 1943 года, когда БСВ совместно с немецкими антифашистами начал готовиться к вооруженному восстанию, он был назначен руководителем будущих повстанческих отрядов. Озолин разработал план создания боевой организации, примерные сроки готовности к выступлению, распределил ближайшие задания отрядам. Военнопленным отводилась основная роль в освобождении заключенных из концлагерей и тюрем и овладении военными объектами Мюнхена. Из Мюнхена восстание должно было переброситься в другие города Германии и в страны, ею оккупированные.

Написанные Озолиным документы были переданы в лагеря и рабочие команды. Тайно формировались отряды, запасались оружием, медикаментами... И вдруг все рухнуло.

На первом же допросе Озолину предъявили все эти документы.

Чтобы направить следствие по нужному им пути, гестаповцы пустили слух о его предательстве. Проверить это было невозможно, но на всякий случай пленные стали сторониться его. Озолин лежал в ревире. Остатки жизни в изуродованном теле поддерживались гестаповцами в интересах следствия: иногда с ним устраивали очные ставки. И это сбывало с толку остальных: кто же он все-таки — герой или предатель?

— Моя песенка спета, — закончил свой рассказ Калитенко. — Шабаш! Теперь только вопрос времени. Закончится следствие по делу — и к стенке.

Мы долго молчали. Собственно, и говорить-то уже было не о чем.

Вскоре жизнь столкнула меня со старшиной блока горбатым Юлиусом. Над его красным треугольником чернела двузначная цифра — ветеран Дахау, а лет ему могло быть и сорок и шестьдесят — не поймешь. Совершенно голый череп старшины лоснился атласной коричневой кожей, а формой походил на длинную дыню.

Иногда лицо Юлиуса казалось правильным, даже привлекательным, но внезапно на него словно надевали какую-то злобную, отталкивающую маску. В такие

минуты казалось, что он вот-вот пустит в ход плеть или в лучшем случае свои костлявые длинные руки. Но я ни разу не видел, чтобы Юлиус дрался. А кричал он страшно: визгливо, истерично, и вязкая пена склеивала уголки его рта.

Однажды после утренней поверки Юлиус несколько раз кряду выкрикнул мой номер. С непривычки я просто не сразу сообразил, что зовут именно меня.

— Ты что, оглох?

От толчка меж лопаток я кубарем полетел вперед, растеряв с ног колодки.

Юлиус сверлил меня тяжелым взглядом.

— Ты № 70200?

— Да.

— Я тебе продую уши, — бросил он с угрозой. — Пойдем!

Я пошел за Юлиусом в глубь блока. Сердце испуганно заколотилось: допрос...

В комнате не было никого, кроме толстого писаря.

— Говоришь по-немецки?— Лицо Юлиуса разгладилось, сбросило злобную маску, стало почти приветливым. Глаза смотрели спокойно, изучающе.

— Да, говорю.

— Ты и в самом деле художник или только по карточке?

Врать так уж врать до конца.

— Да, художник,— ответил я твердо.

— А это нарисуешь?

С фотографии на меня смотрело девичье лицо в затейливых светлых кудряшках.

Испуг прошел: значит, еще не допрос. Я твердо знал, что его не избежать, но такова уж натура человека — страшное хочешь оттянуть.

— Нарисую. Только у меня ведь ничего нет.

— А это?— Юлиус показал на бумагу и карандаш.— Бери и рисуй. Но если врешь, что художник, — из блока пойдешь прямо в крематорий. Понял? Иди пока да зазубри свой номер и не лови мух, когда зовут. Не зевай! Здесь уши-то быстро поотбивают. Иди!— Он подтолкнул меня к выходу.

Немного спустя я встретил Калитенку.

— Ну что?

— На работу нанимают.— Я облегченно вздохнул.

Выслушав меня, Калитенка рассмеялся.

— Не бойся Юлиуса. Он добряк, но любит страху нагнать. Иногда даже баландишки нам подбрасывает, а сам делает вид, будто ему ничего не известно. Грозит, срет — тысячи глаз кругом, иначе ему никак нельзя.

Два или три дня я сидел взаперти. По несколько раз на день заходил Юлиус. Стоя за моим плечом, он наблюдал, как на бумаге возникало изображение женщины. А я работал со всем доступным мне прилежанием.

Юлиус довольно цокал языком, крутил головой. Он приводил многочисленных знакомых, показывал им портрет, и лицо его при этом становилось почти молодым.

Юлиус заметно «подтаял». Он часто подсаживался ко мне, расспрашивал о Советском Союзе, о войне, о моей личной жизни, а иногда скупно рассказывал о себе. Постепенно у нас зародилось некое подобие доверия. Оказывается, Юлиусу было всего лишь тридцать восемь лет. Из них десять он провел в Дахау.

Мюнхенский рабочий, он был арестован еще в 1933 году, вскоре после поджога рейхстага. Почти год просидел в Берлине, в гестаповской тюрьме Моабит, и, уже искалеченный на всю жизнь, попал в Дахау.

Перед заходом солнца — вечерняя поверка.

Потом открываются двери барака, и босиком в полосатом нижнем белье заключенные бочком проходят мимо старшины штубы<sup>1</sup>. Стоит ему заметить грязные ноги или слишком отросшую бороду, как короткая, долгим употреблением отполированная дубинка с хрустом опускается на голову провинившегося.

Но этим дело не кончается. Прощтрафившихся оттягивают в сторону, затем выстраивают во дворе блока, и старший держит перед ними бессвязную речь о пользе

<sup>1</sup> Штубе — комната.



гигиены. Закончив говорить, он проверяет, все ли обуты в тяжелые буковые колодки с короткой брезентовой союзкой. В них вся важность момента.

Заключенные двигаются гуськом по кругу. Темп движения все возрастает, переходит на бег. Колодки слетают с ног, и заключенные выбегают из строя, нагибаясь за проклятой колодкой, и в тот момент получают дубинкой по спине.

Иногда наказание разнообразится двухчасовым мытьем под холодными струями воды. При этом старшина всегда находит причину огреть дубинкой по посиневшим ребрам.

Наконец разукрашенных свежими шишками и синяками штрафников пропускают в комнату. До утра наступает тишина, а утром по крику «подъем» полусонные люди очумело валятся с трехэтажных коек друг другу на головы, лишь бы выскочить из помещения и не попасть под дубинку штубового.

Поздно вечером в притихшей спальне раздался резкий оклик Юлиуса:

— № 70200!

Я поспешно скатился с койки. Юлиус молча ушел за свою загородку, усадил меня на табурет, сам пристроился на койке напротив.

— Вот так... — Он пожевал губами. — Ты боли боишься?

— А что? — От догадки у меня перехватило дыхание. — Боюсь.

— Не надо бояться. Будут бить — распусти мышцы, не сжимайся: так больнее. И запомни намертво: признаешься в малом — заставят признаться в большом. Завтра к шести утра пойдешь на допрос.

Он сунул мне пайку хлеба и кусок колбасы.

— Съешь. Силы понадобятся. Ну иди, иди...

Широкие светлые окна забраны прутьями решетки, на ступенях у входа — эсэсовец.

Добрых три часа я стоял в коридоре у двери с подозрительными черными пятнами. Меня поставили лицом к стене, руки по швам. За спиной хлопали двери, бухали тяжелые каблуки армейских сапог. Иногда по линолеуму протаскивали что-то тяжелое, оставлявшее за собой запах свежей крови. Из кабинета в коридор проникали голоса, тяжелая возня, крики...

— Следующий! — слышалось из-за двери.

Чья-то жесткая рука схватила меня за шиворот, втокнула в кабинет. Я растянулся, больно ударился головой обо что-то твердое и с трудом поднялся на шаткие ноги.

На фоне широкого светлого окна за большим канцелярским столом сидел эсэсовец в расстегнутом мундире. Он улыбался, обтирая платком жирную складчатую шею. Жестом приветливого хозяина указал на стул.

— Садитесь, пожалуйста.

Это был капитан Бах — начальник следственного отдела. Весь вид его говорил: «Что ж поделаешь, я тут ни при чем». Он словно сочувствовал, но за сочувственной улыбкой в узких прорезях глаз прятались зловещие огоньки. Исчезнет улыбка — появится зверь.

Длинные пальцы Баха перебирали стопку каких-то бумаг, пододвинули ко мне сигареты, потом побарабанили по краю стола.

— Только что отсюда вывели майора Петрова. Вы его узнали?

— Нет... не знаю.

— В Моосбурге вы вместе сидели в карцере.

— В карцере много сидело...

— Так. Ну, хорошо. Тогда расскажите мне, кто входил в состав моосбургского комитета Братского союза военнопленных? Учтите: чистосердечное признание уменьшит вашу ответственность.

— Мне ничего не известно.

— Нензвестно? — рявкнул следователь. — Бреешь!.. Ганс!

За моей спиной скрипнул стул. Огромный рыжий детина подошел к столу, бережно сложил газету, снял китель и аккуратно повесил его на вешалку за столом.

— Обработай!

Ганс кивнул, поправил на плечах подтяжки, приблизился ко мне, на ходу засучивая рукава тонкой белой рубашки.

Следователь уселся поудобней, закурил сигару.

Голова, казалось, разлетелась от страшного удара сверху. Стальная лапа подняла меня с пола, и я тут же полетел в угол, головой задев какую-то металлическую штангу.

Ударов и боли я уже больше не слышал, будто зашитый в толстый матрац. Сознание вернулось от ледяной воды, стекавшей по голове за воротник. Резкий запах нашатыря рванул легкие. Приступ кашля вызвал рвоту.

— Лучше сказать правду. — Бах издали улынулся. — Зачем лишние муки?.. Назови членов комитета, и тебя больше никто не тронет.

В голове стоял красный туман. Жирная морда следователя двоилась.

— Я.. ничего... не знаю...

Все началось сначала.

Обратный путь в блок и остаток дня были сплошной цепью мук, прерываемых тугостными провалами воспаленного сознания, словно я уходил с головой в затхлую жижу и, задыхаясь, тонул. К вечеру сознание вернулось, а через день вызов в гестапо повторился.

— Здравствуйте! — приветливо кивнул следователь. — Как себя чувствуете? Не нужна ли помощь?

Страх не было. Только под ложечкой щемило, как перед прыжком с большой высоты.

— Ну, вот что: не будь мальчиком. Незачем тебе терпеть напрасные муки. Понял?

— Понял.

— Вот так-то лучше. — Он приготовил листок бумаги, снял с пера ворсинку. — Мы знаем имена организаторов БСВ в Перлахе. Это уже не интересно. А вот кто организовал БСВ в Моосбурге? Шахов, Платонов, Гамолов? Кто еще?.. Петров?

— Я этих людей не знаю. Первый раз слышу.

— Тупой русский скот! — Короткий, ошеломляющий удар свалил меня со стула. — Он не знает! Сволочь! Большевистское отродье... Озолин тоже не знал... Ганс, давай!

Подталкиваемая Гансом, в кабинет вкатилась госпитальная тележка на высоких шинах, прикрытая суконным одеялом.

В грязную тощую подушку вдавилась человеческая голова — угловатый череп, плотно обтянутый желто-зеленой кожей с густой порослью на давно не бритых щеках. Следователь нагнулся над тележкой.

— Посмотри, Озолин, внимательно! Узнаешь этого типа?

Озолин устало поднял веки, открыв огромные горящие глаза. Эти глаза гипнотизировали, угнетали выражением невыносимой муки.

— Узнаешь? — требовательно повторил следователь.

Взгляд Озолина потускнел, затуманился набежавшей слезой.

— Узнаешь?!

— Нет, не знаю...

— Посмотри внимательно, — уговаривал следователь. — Ты должен его знать!.. Ну?

Глаза больше не открылись. Голова слабо качнулась из стороны в сторону, хриплый голос повторил:

— Не знаю.

— Убрать!

Двое эсэсовцев легко выкатили тележку с Озолиным.

Несколько минут следователь задумчиво ходил по кабинету — от стены к стене.

— Ну что ж... — Он повернулся ко мне. — Продолжим. Какое участие в БСВ принимал майор Петров?

— Да никого я не знаю. Бессмысленно...

— Молчать? — перебил он меня.

— ...мучить невинного человека. Убейте лучше...

— Убить?! Ха-ха-ха! Я обещал тебе смерть медленную, мучительную. Ганс, на кобылу его!

Палач поволок меня в угол и, как мешок, бросил на жердевый настил высокого топчана. Через секунду от жгучей боли к горлу подступила тошнота, на сознание напозла серая дымка, но я еще слышал далекий голос следователя:

— Назови членов комитета!.. Молчишь?

Что-то очень тяжелое обрушилось на поясницу. Казалось, тупой топор врубился в спину. Палящий огонь разлился по телу. Я закричал, захлебываясь своим криком, а может, кровью. Удары с каждой секундой становились все тупее. Свет померк, потом вдруг вспыхнул ярко, ослепительно, и в момент этой вспышки в мозгу пронеслось облегчающе и четко: «Все».

Меня все время покачивало, уносило куда-то вдаль. Иногда доносились обрывки фраз, иногда меня поворачивали на мягкой мшистой подушке — тогда пахло хвоей и чем-то еще, непонятным и приятным.

В яркий, солнечный день сознание вернулось. На верхнем ярусе койки было тихо, светло, и я не сразу осознал переход к реальной жизни.

Рука нащупала шероховатый край бумажного матраца. Нет... Это уже не бред. За светлым прямоугольником окна толклись полосатые хефтлинги<sup>1</sup>. Значит, все по-прежнему, только я стал больным, разбитым.

И сразу вспомнился допрос.

— А-а, ожил?.. Вот хорошо! Молодец...— Голос прозвучал задушевно, мягко. Повернув голову, я увидел Генриха Краузе — немца политзаключенного.— Лежи, лежи, потом наговоримся.

Он исчез, а спустя несколько минут передо мной стоял Юлиус. Беззубый рот его растянулся в улыбке, теплой и доброй.

— Тихо, тихо...— Он осторожно пожал мою руку.— Теперь пойдешь на поправку.

Юлиус оказался прав. Через несколько дней я, цепляясь за кровати, уже ходил по барраку.

Краузе почти не оставлял меня одного. В обществе этого замкнутого и молчаливого человека было не так уж весело, но ухаживал он умело. Мы могли часами лежать молча, и только в одном случае Генрих бывал разговорчивым: когда речь заходила об Испании. О ней он рассказывал интересно, с большим душевным подъемом, и в рассказах его неизменно присутствовал командир Интернациональной бригады генерал Матраи.

В моем углу, кроме нас с Генрихом, жили еще двое: высокий старик с гвардейской выправкой — словенец Урбанчич — и хорват доктор Кунц. Спорили они, даже по пустякам, до иступления.

Годы не согнули Урбанчича, только высушили да покрыли череп белым пухом. Когда он сидел, свесив в проход длинные тощие ноги и упершись в край койки руками, мне представлялся старый усталый кондор, растерявший оперение, но еще сильный. В противоположность ему доктор Кунц был аккуратным, благообразным мужчиной.

Их арестовали в один вечер — на банкете у доктора Кунца — и бросили вначале в тюрьму, а потом в Дахау, даже не объяснив причины ареста.

Урбанчич любил пофилософствовать.

— Интересные бывают повороты в жизни, — говорил он однажды, гипнотизируя меня своими неподвижными глазами. Он тщательно подбирал русские слова, отчего речь тянулась медленно, как тяжело груженный воз. — Даже когда человеку очень трудно, и то интересно жить, ожидать...

— Ха! Интересно!.. — Кунц вскинулся, как боевой петух. — Пригвоздят к стенке, как жука булавкой! Это, по-твоему, интересно? — В гортанной сербской речи слышались одни согласные, точно в горле перекачивались гремящие шарики.

— Если и шлепнут такого жучка, как ты, — тоже не велика печаль. — Урбанчич коротко хохотнул, а Кунц обиженно отвернулся.

— Вот вы, капитан, — продолжал старик, — еще совсем недавно были советским офицером. Я — крупный собственник, капиталист. По идее мы враги. Но судьба поставила нас на одну доску, подравняла, примирила. А ведь в революцию меня, пожалуй, расстреляли бы?

<sup>1</sup> Заключенные.

— Пожалуй, — ответил я ему в тон, — если бы добровольно не расстались с награбленным добром.

— Награбленным? — удивился он. — По-моему, нажитым...

— ...Чужим трудом?

— Но моим умом! Впрочем, зачем я вас спрашиваю, что было бы со мной в революцию. Я это и так знаю. Попадись я вам в те годы... А вот как бы со мной поступили сейчас?

Я не совсем понял смысл вопроса.

— Как то есть сейчас?

— Ну, вот если бы в Дахау пришли русские?

До этого Урбанчич длинно и скучно рассказывал мне, как он, будучи подполковником, служил в чешском корпусе, как корпус сдался в плен русским и потом поднял мятеж против молодой Советской России.

— Под Пермью, — рассказывал он, — легла ваша Третья армия и своей гибелью спасла Советы. Соединись мы с англичанами, все пошло бы по-другому: через два-три месяца от красных осталось бы только печальное воспоминание. Сейчас — другое дело. Сейчас Россия держит за горло Германию. Старые друзья! — Он хихикнул. — Германия скоро перестанет дергаться. Как тогда со мной поступят?

Урбанчича беспокоила лишь его собственная судьба. На все остальное ему было наплевать.

— Думаю, что все будет зависеть от того, как вы сейчас будете вести себя, а не как вели раньше. Вероятнее всего, вас просто отправят в Люблян.

Урбанчич заметно успокоился. Помолчав немного, он твердо заявил:

— Как бы ни было, но лучше уж с русскими, чем с гуннами. Ослепла Европа!

— А вы давно прозрели?

Он неопределенно пожал плечами.

— Как и все... Гитлер сам прилежно старается пролить как можно больше света на свое ничтожество.

Испугавшись собственной смелости, старик тревожно оглянулся вокруг. В это время тоскливо завывали сирены.

— Воздушная тревога!

Прошла еще неделя. На допросы больше не вызывали — видимо, следствие подошло к концу. Настроение было подавленное, обреченное.

В первых числах июля заключенных по делу БСВ начали сортировать. Часть перевели в 30-й блок, часть в блок смертников — 27-й. Таких набралось человек около ста. Кое-кого увезли в Маутхаузен, а иных оставили в карантинных блоках. А двадцать первого июля 1944 года лагерь притих, скованный смертельным ужасом. Многих политзаключенных немцы эсэсовцы погнали в крематорий. За глухим кирпичным забором исчез и Генрих Краузе.

Юлиус и другие немцы замерли в тоске ожидания приближающейся гибели.

Но вскоре кровавый разгул в Дахау стих. Жизнь потекла по прежнему руслу, хотя все были взвинчены, насторожены и подавлены.

Юлиус делал вид перед начальством, что он старается изо всех сил — бросался на людей, как цепная собака, и даже стал пускать в ход свои длинные руки-грабли, чего раньше никогда не делал.

— 70200! — прокатилось однажды по двору.

Я опрометью бросился на зов. Юлиус топал ногами и истерически орал:

— Грязная свинья! За тобой посылать надо!

Сердитым тумакон он втолкнул меня в дверь. В комнате не было ни души.

— Хватит сидеть в карантине. Разыщешь во второй штубе шестого блока штубового Кристиана. Скажешь ему, что ты от меня. Понял? — Он строго посмотрел мне в глаза и уже мягче добавил: — Он знает, как с тобой поступить.

— Спасибо, Юлиус.

— А-а, брось, пожалуйста! Рот держи на замке. Когда понадобится, тебя найдут. Иди! Сколько раз тебе говорить, сумасшедшая голова... — Он снова перешел на визг, и я кубарем вылетел во двор блока.

Даже за воротами я слышал его визгливый голос.

В двенадцатом часу дня 4 сентября во дворе лагерного крематория казнили 93 человека по делу БСВ.

День казни выдался погожий, мягкий. Из 27-го блока — последнего пристанища смертников — строем вывели группу осужденных, согнанных туда из разных блоков в последние дни, в основном накануне вечером. Перед брамой на Апельплаце строй оцепили двойным кольцом конвоя, по численности почти равным числу осужденных. Солдаты нацелили автоматы в безоружных людей, измученных чудовищными допросами, пытками и ожиданием смерти, которое тянулось месяцы.

Оберштурмбанфюрер Войс — начальник лагеря, — открыв тонкую коричневую папку, зачитал распоряжение имперской службы безопасности: расстрелять. Вызывал каждого по фамилии. Услышав из строя ответ, ставил птичку и вычитывал дальше.

Строй разделили на три группы. В первую попали самые рослые, самые сильные.

Их увели. Сзади и с боков шел дополнительный наряд конвоя с собаками.

Уходившие махали руками — прощались. Кто-то запел «Интернационал», и все подхватили его, несмотря на то, что конвой пустил в ход приклады. Пели так, как пели когда-то в строю: во всю силу легких, гордо вскинув головы, крепко держась друг за друга. Последний путь, будто нарочно, пролегал вдоль проволочного ограждения — последние сотни шагов до крематория они проделали на виду у всего лагеря.

Заключенных позагоняли в блоки, но мы выглядывали в окна, махали руками, криками подбадривали товарищей и от бессилия им помочь — плакали. Вышки заежились стволами пулеметов, поставленных дополнительно.

Минут через пятнадцать от крематория, приглушенная расстоянием, донеслась длинная автоматная очередь, за нею еще и еще...

Увели вторую тридцатку. За нею третью... Все было кончено.

— Подъем! Подъем!

Голос был скрипуч, словно дергали несмазанную дверь.

— Подъем!

Полуслепые спростонья, ничего еще не соображая, люди очумело валились с верхних коек в проход, суматошно бросались в умывальную, брызгали в лицо водой, поспешно натаскивали на себя полосатое тряпье.

Влив в себя кофейную горьковатую бурду, мы выстраивались перед блоком на поверку. Начальство бегало, как ошпаренное. Считали, подравнивали, сбивались, покрикивали, щедро раздавали зуботычины. Потом выводили на Апельплац. Люди стояли, вытянувшись, боясь перевести дыхание. Слабые падали. Но остальные все же стояли, не шелохнувшись, ибо движение после команды «смирно» — тяжкий грех, наказуемый на «кобыле» палками.

Наконец проносилась команда:

— На работу!

Начинался каторжный день.

Мы работали в подвале, где стояло основание огромной печи для обжига фарфора. В подвале было жарко, точно в преисподней. Над нашими головами — большое круглое корыто, в которое накладывалась сырая фарфоровая масса. Мы крутили колеса привода. От этого в корыте перекачивались тяжелые валы, переминали массу. Четыре тысячи оборотов колеса на один замес! Полдня тупой, изнуряющей работы. И жара! Иногда кто-то из нас падал — тогда на голову лилась теплая вода, а напарник отдыхал, привалился к стене.

А потом снова: «гррр-гррр, грр-грр» — гыргали шестерни. Шаг вперед, шаг назад. Колесо делало оборот, отполированная труба рукоятки шла кверху, а потом я толкал ее книзу.

К концу работы я выбивался из сил до полного изнеможения, по пути в лагерь едва тащил ноги.

Но однажды это кончилось.

— Номер 70200!

— Яволь!

— К профессору, живо! — Капо Мюллер проводил меня тычком под лопатку.

Кабинет профессора на втором этаже. Там море света. На окнах тяжелые портьеры, низкие кожаные кресла, на огромном рабочем столе — вороха бумаги, тускло поблескивающий старой бронзой литой письменный прибор и высокий свечной канделябр.

Я был уже там однажды, и профессор не показался мне зверем, хотя говорили, он собственноручно убивал заключенных.

— Войдите! — ответил он на мой стук.

Не оборачиваясь, профессор продолжал возиться у небольшого вертлюга, на меня не глянул.

Минут пять я стоял у двери. Тело по привычке пыталось качнуться вперед-назад, ладони еще сохранили жаркое тепло полированной рукоятки колеса.

— Ну, что скажешь?

— Господин профессор, капо Мюллер...

— Знаю. Передашь ему, что я перевожу тебя в художественную мастерскую. Фарфор расписывал?

— Нет.

— С натуры рисуешь?

— Да.

— Учился где?

— В Харькове.

— А, Харьков? Это хорошо. Иди!

Так я оказался в художественной мастерской фарфоровой фабрики рейхсфюрера СС Гимmlера.

Главным лицом на фабрике был профессор скульптор Ратингер, сравнительно молодой, рослый здоровяк с бычьей шеей и толстыми руками мясника. Казалось чудом, что из этих рук выходили легкие, изящные фигурки.

Ближайшим помощником профессора был капо Мюллер — бандит с полувековым стажем и десятками «мокрых» дел. Этот старик, с головой, будто обшитой седым бобриком, с острым взглядом и нервными руками, говоривший на десятке языков, в том числе и по-русски, раздражался до бешенства и тогда легко мог убить, задушить, столкнуть в печь...

А между тем именно он просил Ратингера о моем переводе в художественную мастерскую. Впрочем, просил его об этом Юлиус.

В воскресенье вместо черпака брюквенной похлебki заключенным рабочего лагеря выдавали по литру макаронного супа с мясом. Его ожидали в течение длинной недели, и, когда приближался желанный час, все с нетерпением вертели в руках алюминиевые миски.

Потом на Лагерштрассе появлялись одиночные фигуры заключенных с табуретками. Робко оглядываясь, они направлялись к бане и, видя, что полиция не препятствует, устремлялись к ней бегом. За первыми, «разведчиками», из блоков выходили целые толпы. С табуретками над головами люди мчались, будто на штурм, обгоняли друг друга и неслись дальше с устрашающими, свирепыми лицами. У двери бани образовывалась давка и суматошная толча.

Свежему человеку все это показалось бы странным и непонятным. А дело было просто: люди спешили на концерт симфонического оркестра.

Существование этого оркестра я даже не пытаюсь объяснить. Во всяком случае, фашисты умели сочетать дикую жестокость с сентиментальностью.

В течение нескольких минут баня заполнялась до отказа. Становилось душно, по лицам стекали струйки пота. С потолка и сотен душевых рожков время от времени срывались крупные капли. Но люди терпеливо ожидали и час, и два.

Затем появлялись музыканты, рассаживались, настраивали инструменты. Слушатели в набитом до отказа «зале» затихали, обменивались короткими репликами, жалели скрипача, повешенного на прошлой неделе, гадали, как будет играть новичок. Состав оркестра менялся, как и состав слушателей, и каждый думал: «Может, этот концерт — последний?»

На помост выходил важного вида человек в каторжной робе. Дирижер с европейским именем. По «залу» перекатывались рукоплескания, человек кланялся, за стеклами очкв в широкой роговой оправе близоруко шурились глаза.

Начиналась музыка, и будто раздвигались стены бани, исчезала проволока. Это были единственные минуты, когда можно было забыться.

Очень болела нога. Посредине ступни вздулся нарыв, зелено-фиолетовый, как недозревшая слива. Ходить было уже невозможно, но, припрыгивая и опираясь на кусок нестроганой рейки, я все же потащился на работу.

Работать я не мог — боль грызла ногу. Перед обеденным звонком пришел Мюллер, злой как черт.

— Идем! — кивнул он мне. — Приготовь морду.

В кабинете метался Ратингер. Полы его халата развевались. Мимоходом он пнул ногой табуретку, да так, что, кувыркнувшись в воздухе, она гулко ударилась о стену.

— К черту! — Он подлетел ко мне. — Почему скрыл, что ты офицер? Почему, сволочь?

Я сразу оглох от тугого удара.

— Отвечай здесь за каждого идиота! Ваша протекция, Мюллер! Вы понимаете, что это значит? На фарфоровой фабрике господина Гиммлера работает большевистский офицер! Анекдот! Гнусный анекдот!

Мюллер стоял в стороне и бросал на меня многообещающие взгляды.

— Чтобы духу его здесь не было. Убирайся! Убирайтесь оба! Вон!

Утром, едва успев доковылять с поверки до блока, я сразу же напоролся на эсэсовца из службы труда. Он стоял на Блокштрассе и, видимо заметив меня издали, поджидал.

— Подойди, подойди, — поманил он пальцем. — Что с ногой? — В вопросе не было зла, скорее даже участие.

— Нарыв, господин ротенфюрер.

— Покажи! — Он слегка нагнулся.

Стоя на одной ноге, я вывернул ступню второй.

— Так, так, хорошо...

Ошеломляющий удар снизу в челюсть отбросил меня в сторону, на камень, и сквозь дурманную муть я увидел, как эсэсовец потянулся рукой к пистолету. Что-то холодное кольнуло в сердце и тут же растаяло, прокатилось горячей волной и схлынуло: рука солдата поправила кобуру, и он зашагал дальше, даже не взглянув в мою сторону.

Я с трудом поднялся. В голове гудело, саднило разбитое о камень плечо. Выглянув из штубы, ко мне заспешил Юлиус. Я сделал шаг ему навстречу и неожиданно для себя обрадовался: боли в ноге больше не было — нарыв прорвался.

— Не было бы счастья, так несчастье помогло, — улыбнулся Юлиус.

После изгнания с фарфоровой фабрики я попал в команду электромонтеров, хотя знания мои в этой области не выходили за рамки выключателя.

Начальник электромастерской инженер Апель, узнав, что я рисую, спросил:

— А чертить вы умеете?

Наученный горьким опытом, я ответил уклончиво:

— Совсем немного.

— Прекрасно! Большого и не надо. До меня затеряли схемы освещения чуть ли не всех зданий. Будете ходить, зарисовывать где что есть, а потом наносить на синьки. Идет? — Он хитро заглянул мне в глаза. — До конца войны хватит.

За мастерской электриков была небольшая комната с зарешеченным окном, близоруко глядящим в кирпичную стену крематория. В комнате стояли два конторских стола и чертежная доска. За одним столом — пузатым, бюрократическим — сидел пан Қорек, за другим я «обрабатывал» свои чертежи.

Исподволь подкралась осень. А когда стало холодно и люди совсем перестали выходить, к дизентерии присоединился сыпной тиф.

В узких дворах карантинных блоков вырастали штабеля трупов. Их раздевали, складывали, как дрова, к большим пальцам ног привязывали картонные бирки с личными номерами. И люди, которые до последней минуты надеялись, что окажутся сильнее смерти, остекленевшими глазами глядели в небо.

В карантин приходили новые партии заключенных, и он перемалывал и проглатывал их, словно исполинский людоед. Крематорий чадил день и ночь, но не справлялся — трупы скапливались на широком дворе, терпеливо ожидая своей очереди.

Команду крематория набирали из штрафников. Их отлично кормили, давали вино, табак, приводили к ним женщин, но они все равно долго не выдерживали. Их приходилось сменять каждый месяц: отработавших свой срок сжигали, а вновь прибывшие принимались отсчитывать дни своего месяца.

Но и в Дахау шла борьба.

В бане работал Слава Вечтомов — замечательный, мужественный парень. Он первым из заключенных встречал новичков, узнавал новости с воли и распространял их по лагерю.

В дезкамере работали трое наших офицеров, они доставали белье, одежду. Часть из этого шла в носку, часть обменивалась на продукты питания, этим поддерживались истощенные, больные люди.

В кибелькоманде старшим был моряк-севастополец Николай — фигура в лагере примечательная и единственная. Атлетическим телосложением он выделялся из тысяч заключенных, и поэтому его избрал для своих опытов начальник лазарета доктор медицины Рашер. Николая четыре раза замораживали, и четыре раза могучий организм возвращался к жизни.

Его друг Алексей работал на кухне. С каждым рейсом он ставил на платформу два-три лишних кибеля баланды, а Николай доставлял их в лазарет и другие места, где остро нуждались в помощи. И помощь подспевала вовремя, спасала сотни жизней.

В лагерной канцелярии чья-то верная рука переставляла наши карточки в нужные команды. Шла огромная борьба за жизнь людей, без убийств и взрывов, но повседневная, упорная и опасная.

В складах, в сапожной и портняжной мастерских, во всех службах лагеря работали наши люди и, нечего греха таить, тащили отовсюду, что могли, обменивали, продавали.

В обиходе заключенных были лагерные марки — разноцветные, смотря по достоинству, прямоугольники бумаги с красными треугольниками. На марки один раз в месяц продавали сигареты из расчета одна сигарета на сутки и иногда — очень редко — молоко.

Территория, занятая фашистскими войсками, сокращалась неумолимо. Уже были заняты Бухарест, София, Белград, завершалось окружение Будапешта.

В Дахау все чаще стали прибывать эшелоны заключенных из лагерей, оказавшихся в непосредственной близости к фронту. Эшелоны возили долго — неделями. И когда привозили в Дахау — половина людей была мертва, а остальные имели ровно столько сил, чтобы дойти до крематория или карантина.

Но случалось и так, что в вагонах живых не оставалось, трупы успевали разложиться.

С осени начали работать «тодтранспорты». Большой автомобильный прицеп нагружали трупами, вручную отвозили в крематорий, сбрасывали, возвращались за новой партией необычного груза. Работали они преимущественно ночью.

Но конец войны приближался все явственнее, все ошутимее.

Бомбежки стали ежедневными. Воздушные тревоги почти не прекращались.

Из заключенных комплектовали бомбкоманды. Они собирали и взрывали неразорвавшиеся бомбы и часто гибли вместе с конвоем и солдатами-подрывниками.

С утра до самого вечера высоко в небе проплывали серебристые косяки эскадрилий, наполняя воздух тугим гулом. А к югу от нас, там, где лежал город, земля тяжело ворочалась, охала, стонала, и над нею вздымались облака черно-красного дыма. В эти моменты наши бараки, за семнадцать километров от Мюнхена, вздрагивали, в окнах тонко звенели и трескались стекла.



Немцы зарывались в землю, рассредоточивали цехи заводов даже по жилым домам. Фирма Мессершмитта одну из своих бесчисленных мастерских поместила в лагере Дахау.

Из Дахау многих немцев «освобождали». Это означало, что, выпустив их из заключения, на них здесь же, за воротами лагеря, надевали военную форму СС. Отказ от такой «свободы» был равносителен самоубийству.

В первую очередь забрали «благонадежных» — уголовников; потом часть политзаключенных, отбывших сроки не менее пяти лет, — таких, видимо, считали «перевоспитанными». Спешно обмундировав, их отправляли на Восток.

В эти дни я снова встретил Юлиуса.

— Здорово, художник! Как жизнь?

— Как в сказке: чем дальше — тем страшнее.

Юлиус рассмеялся.

— Это верно. Слыхал, в СС забирают?

— Как же, знаю. Тебя не берут?

— Нет, ростом не вышел.

Он оглянулся по сторонам, взял меня под локоть, увлек вперед по Лагерштрассе.

— Начальник лагеря получил приказ Гиммлера уничтожить политзаключенных немцев, всех русских и всех евреев, независимо от их подданства... Но это еще не сейчас. Время и место уничтожения начальник должен выбрать, когда крах окажется неизбежным. Ты передай это своим друзьям. Еще посмотрим, кто кого! — Юлиус подмигнул и, отделившись от меня, затерялся в толпе.

По ночам с севера все отчетливее доносилась канонада. Из Аугсбурга привезли команду заключенных, и они утверждали, что случилась задержка еще на день. — они были бы на свободе.

— Скоро! Остались считанные дни!

Работы прекратились, режим ослабел, лагерь гудел, клокотал. По темным углам расправлялись с разного рода сволочью.

На русских все глядели с надеждой, будто только от нас и ждали освобождения.

Последние дни апреля 1945 года мы жили на Апельплаце. Разбитые на сотни, сидели рядами. И спали также сидя, в рядах. Еду получали тут же, на площади.

По живым коридорам между сотнями шныряли лагерполицаи. Одни корчили гримасы, похожие на виноватые улыбки, пытались заигрывать, беспомощно разводили руками — дескать, мы ни при чем. Другие, наоборот, с мрачной злобой раздавали удары дубинкой.

Десять тысяч заключенных, перепоясанных от плеча к бедру скатками одеял, ожидали эвакуации.

В ночь на 28 апреля к воротам подошел конвой с автоматами, пулеметами, служебными собаками, пузатыми рюкзаками за спинами.

Колонна заключенных начала выходить из лагеря — будто вытягивали по асфальту огромную цепь. Ее звенья — сотни. Они продвигались к воротам, вливаясь в общий строй.

На севере, теперь уже за нами, почти не переставая, гудела оружейная канонада. В небо вскидывались быстрые вспышки. Над крематорием стояло багровое зарево — спешили ликвидировать штабеля трупов, а издали похоже было, что это горел сам крематорий.

На первом же километре начали повторяться давно знакомые картины. Люди падали. Упавших мимоходом добивал конвой.

В темноте серело полотно асфальта, стучали, отдаваясь в ушах, автоматные выстрелы, а в конце пути, притаившись в ущелье, нас ожидала смерть: в этом уже нельзя было сомневаться.

Ночью свернули с асфальта в лес. Остановились на отдых — отдых по пути к смерти! Но тело ныло, и ни о чем уже не думалось, и не было сил тронуться с места.

Я упал на пахнущую дерном землю и мгновенно уснул, будто провалился в бездонную тьму. И вдруг сквозь черную, глухую пелену сна до меня донесся громкий, настой-

чивый стук, точно колотили палками по железу — рассыпчато, четко, над самым ухом.

Еще не проснувшись, я понял: автоматы.

Стреляли везде. Справа, слева, впереди. Трещали автоматы, и не понять было, откуда, куда стреляют. Меж стволов с тонким свистом проносились трассирующие пули. Осыпалась срезанная пулями листва.

Рядом, между корнями дерева, чернела яма. Мы скатились в нее, залегли, едва переводя дыхание.

— Что за черт?

— Не пойму. Палят в белый свет!

Внезапная автоматная трескотня стихла, стало слышно, как барабанил по кронам деревьев начавшийся дождь. Вдоль опушки перекликались часовые.

Едва рассвело, убитых стащили в кювет у дороги.

В лесу была дневка.

Тишина рождала какие-то еще не ясные надежды. На юго-западе, в той стороне, куда через лес уходила дорога, гремели орудия, и в особенно тихие минуты оттуда доносились приглушенные далью длинные пулеметные очереди.

Погода разгулялась. В просветы между тучами врвалось солнце. В середине дня выдали хлеб.

Люди приободрились: если бы гнали на убой, не дали бы хлеба. Пополз слух, будто комендант передаст нас американцам. Это походило на правду. Идти уже было некуда. Впереди гремел бой.

Солнце стало склоняться к западу. Окруженный свитой больших и малых фюреров, по дороге прошел комендант. Конвой забегал; строили, подгоняли, но на этот раз уже не пересчитывали.

Двинулись в путь.

Колонна медленно выплывала за опушку. Начался крутой спуск. С горы были видны черепичные крыши. За деревней стреляли.

По спуску нас погнали бегом. Когда голова колонны миновала мост, мы вдруг увидели, что конвой возвращается назад. Наши люди по ту сторону реки уже были свободны. Некоторое время они по инерции шли еще строем.

Но вот строй стал рассыпаться, растворяться в кустах, в ближайшем лесу...

Поняв, что произошло, мы понеслись к мосту со всех ног, позабыв и об усталости и о гнетущем бессилии. Встречные эсэсовцы не очень спешили подниматься на гору. Некоторые отстегивали погоны, другие тут же, у дороги, доставали из рюкзаков гражданские одежды. Им было не до нас.

Настил моста гудел, как огромный бубен, а сердце, казалось, разрывалось, не будучи в силах вместить в себя счастье освобождения.



# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

АЛЕКСАНДР СМЕРДОВ

★

## ВОЛОСТЬ ПОЭТОВ И ФИЛОСОФОВ

1

**О**сенью прошлого года, направляясь на знаменитую гидростройку Саньмынься на Хуанхэ — Желтой реке,— мы решили свернуть в сторону от железнодорожного пути, в глубь провинции Хэнань, и побывать в какой-нибудь из хэнаньских деревень, прославившихся в этом году на весь Китай своими невиданно обильными урожаями.

В Чжэнчжоу, центре провинции, нам посоветовали проехать в уезд Дэнфын, расположенный на отрогах хребта Фунюшань, из которого мы, не заезжая в Чжэнчжоу, можем снова выбраться к железной дороге на древний Лоян и продолжать путь к Саньмынься.

Между прочим, когда я употребляю местоимение «мы», то почти всегда разумею под ним себя и моего постоянного спутника, хорошего товарища и необычайно усердного сотрудника — молодого переводчика Тан Му-вэня, ставшего как бы «китайской» стороной моего собственного «я». И когда я что-либо рассказываю об увиденном в наших совместных путешествиях по Китаю или передаю чьи-нибудь слова от первого лица, то почти всегда следует иметь в виду, что говорим мы это вдвоем, хотя случается, что видит и понимает многие вещи каждый из нас по-своему.

Через несколько часов езды на автомашине по старой торной дороге, извивающейся то среди лёссовых холмов, до самой вершины разделанных ступенчатыми террасами полей, то по долинам, сверкающим зеркалами водохранилищ и сеткой каналов, мимо селений, часто напоминающих издали стрижиные гнездовья в лёссовых откосах, мы прибыли в старинный городок — центр уезда Дэнфын.

В уездном партийном и народном комитетах, как всюду в Китае, где бы ни доводилось бывать, мы были встречены и приняты с тем открытым радушием и заинтересованностью, подготовленностью к душевной беседе и полной осведомленностью о жизни уезда, которые при всей тонкой и скромной церемониальности китайского гостеприимства сразу придают встрече и знакомству деловитость и целенаправленность.

— Правда, летний, да и осенний урожай у нас по всему уезду уже убран, сейчас идет сев и посадка зимних культур,— сказал заведующий отделом пропаганды уездного комитета партии товарищ Хао Лань-чжу, человек средних лет, с теплым шарфом на шее, все время покашливающий в ладошку.— Хотим в нынешнем году значительно увеличить и зимне-весенний урожай. Все это вы можете увидеть и в самых ближних, в часе ходьбы отсюда, деревнях, но интересней, конечно, в более отдаленных, высокогорных селениях, где и природа суровой и условия потрудней, чем здесь, в долине... Выбирайте сами — по времени, каким вы располагаете... Нынче у нас в деревнях, особенно горных, большой урожай стихов и песен, пожалуй, такого еще никогда не бывало со времени Освобождения,— добавил он спокойно и деловито, так же, как говорил об урожае полей.— А это ведь вам тоже должно быть интересно как корреспонденту «Литературной газеты»... У нас уже собрано по уезду много стихов и песен, сложенных крестьянами всех возрастов. В нашей уездной ассоциации работников литературы и искусства состоит около восьмисот стихотворцев-любителей из деревень, из народных коммун.

Тут выяснилось, что и сам товарищ Хао тоже пишет стихи еще с армейских лет и возглавляет местную ассоциацию работников литературы и искусства.

Мне становилось понятнее, почему товарищи в Чжэнчжоу рекомендовали нам поехать в уезд Дэнфын.

— Но, как говорит наша пословица, лучше один раз посмотреть, чем сто раз услышать,— прервал начатый было рассказ о литературной жизни уезда товарищ Хао.— Лучше вам самим побывать, например, в волости Бэйиньпо, в народной коммуне «Вэйсин», познакомиться там с людьми, посмотреть, чем они занимаются, как живут...

— А может быть, все-таки лучше в Сяньгуаньмяо, хотя это и немножко дальше, чем Бэйиньпо, там не только стихотворцев, а и других интересных людей и дел не меньше,— предложил баском другой работник укома — молодой, широколицый, в очках и крохотной кепочке на большой, наголо остриженной голове, показавшийся мне поначалу очень уж серьезным и официальным.

— Товарищ Сюй так говорит потому, что сам из волости Сяньгуаньмяо. И хотя он уже больше года работает здесь, в уездном комитете, считает Сяньгуаньмяо самым лучшим местом во всей Поднебесной,— покашливая, рассмеялся товарищ Хао.

— Я там не был уже больше месяца, а вы знаете, как быстро меняется жизнь в нашей горной деревне! — всплеснув сокрушенно руками, горячо воскликнул товарищ Сюй, как-то сразу стряхнув с себя всю солидность и официальность.

— Что же, если у наших уважаемых гостей есть время побывать и в Бэйиньпо, и в Сяньгуаньмяо, и в других деревнях — это будет очень хорошо,— ответил ему товарищ Хао и, обращаясь ко мне, продолжал: — Но если вам и не удастся добраться до Сяньгуаньмяо, то Сюй-тунчжи расскажет столько о своей волости, что только поспевай записывать... Он хотел бы вас сопровождать в Бэйиньпо, если вы позволите... Знает он и эту волость хорошо.

Как мог я не хотеть такого гида и собеседника!..

Товарищ Сюй поднялся, широко заулыбался, и мы обменялись с ним через стол рукопожатием.

— Перед дорогой надо выпить чаю,— сказал он, указывая приглашающим жестом на дверь в другую комнату, хотя за беседой мы уже опорожнили по нескольку чашек освежающего зеленого чаю. По опыту я уже знал, что приглашение «отпить чаю» означает обильный обед со всеми деликатесами местной, дэнфынской, главным образом рафинированной кулинарии.

За обедом товарищ Сюй возобновил разговор о Сяньгуаньмяо и своих земляках, да так интересно и живо, что я уж было взялся за свою записную книжку. Но тут нам вежливо напомнили, что нас дожидается укомовский «газик» и пора отправляться в Бэйиньпо...

## 2

Как почти каждое старинное китайское селение, деревня Бэйиньпо, расположенная на склоне горы Цишань вдоль берега горной речки Инхэ, обнесена довольно высокой глинобитно-каменной стеной. Из-за стены этой видны причудливая пагода и башенка, украшавшая хоромы бывших властителей деревни, чешуйчатая черепица фанз да темные вершины старых кипарисов.

По всей лицевой стороне стена до уровня полутора-двух человеческих ростов побелена известью и расписана крупными иероглифами, картинками и плакатами, очевидно своих же доморощенных художников, главным образом на темы «Даяоцзиня» («Большого скачка») — подъема урожайности и благосостояния деревни.

Мы подъехали к главным воротам, видимо недавно сделанным заново, увенчанным традиционной пагодообразной, ярко раскрашенной аркой, на карнизе которой алыми метровыми иероглифами начертано было слово «Вэйсин»<sup>1</sup> — название народной коммуны. На самой арке, на створках ворот и на стене по обе их стороны был в разных видах изображен устремленный к Солнцу, Луне и звездам спутник — то в виде шара, на котором восседал дюжий, смеющийся во весь рот крестьянин с огромной охапкой рисовых колосев, то в виде стрелообразной ракеты, оседланной двумя людьми, олицетворяющими народы Китая и Советского Союза. Был на стене, у главного въезда в

<sup>1</sup> Вэйсин (кит.) — спутник Земли.

Бэйиньпо, крупно написан и повсеместно встречающийся сейчас в Китае девиз народной коммуны: «Один для всех, все для одного»...

В воротах нас встретила большая группа людей со всеми трогательными изъявлениями и ритуалом деревенского гостеприимства и дружелюбия, особенно искреннего и горячего по отношению к советскому человеку.

— Здравствуйте, дорогой советский товарищ... Мы очень-очень рады видеть вас в нашей деревне Бэйиньпо,— к несказанному моему удивлению торжественно и пылко заговорил по-русски один из встречавших, совсем молодой человек, подвижный, улыбочивый, в зеленой трикотажной майке с отпечатанными на ней типографским способом — на груди и спине, как принято в китайской физкультурной форме,— крупными иероглифами и цифрами, указывающими на вид спорта, каким занимается обладатель майки, и порядковый номер, под которым он участвует в состязаниях. Через плечо у него был перекинут ремешок фотоаппарата, под мышкой рулон разноцветных бумажных листов.

— Я культработник нашей народной коммуны «Спутник», зовут меня Чжан Го-мин... Два года назад окончил отделение русского языка педагогического института в Лояне... Извините, что плохо говорю по-русски, мало практики, только немножко преподаю русский язык в нашем народном университете,— сразу отрекомендовался и охарактеризовал себя товарищ Чжан.

Слов нет — встретить в отдаленной горной деревне человека, говорящего по-русски, очень приятно. Обрадовался этому и мой переводчик Тан Му-вэнь: со своим пекинским диалектом он особенно испытывал затруднения, соприкасаясь с местными наречиями во время наших путешествий по Китаю...

Поименно перознакомившись с официальными лицами Бэйиньпо — представителями руководства коммуны «Вэйсин», народного комитета, партийной ячейки — и поочередно обменявшись долгими рукопожатиями, поклонами и улыбками со всеми встречающими, мы вошли в деревню. Нас ввели в еще одни ворота, и перед нами открылся довольно просторный четырехугольный двор, посыпанный крупнозернистым красным песком и окруженный еще более густо и ярко, чем ворота, расписанными стенами, похожий на открытый летний театр. Это сходство подчеркивалось расположенной в глубине беседкой традиционного китайского стиля, напоминавшей, однако, сцену. С потолка ее спускались три больших красных шара фонарей и гирлянды бумажных флажков и цветов; на задней, увитой плющом решетчатой стенке висел большой портрет Мао Цзэ-дуна, а посередине стояло возвышение, похожее на пьедестал.

— Это наш Вэньсююань — Двор литературы,— обводя рукой вокруг, пояснил культработник товарищ Чжан, очевидно по общему полномочию взявший на себя обязанности гостеприимного хозяина. — А это,— указывая на помост-беседку, сказал он с некоторой торжественностью,— наша суншитай, трибуна для чтения стихов. Сюда может взойти любой из наших стихотворцев, чьи стихи будут признаны лучшими на устном состязании. Чаще всех на суншитай поднимаются вот эти наши товарищи: поэт и лекарь дядюшка Бай Гуй-юн...

Из толпы выделился, смущенно прикрывая темной сухой ладонью большезубый улыбающийся рот и кланяясь, сутуловатый, но еще крепкий старик с авторучкой, заткнутой за ворот его черной крестьянской рубашки, и тетрадкой, свернутой в трубочку, в другой руке...

— А это из молодого поколения — передовик, Герой Труда волостного масштаба Чжань-юань, по фамилии тоже Бай,— продолжал культработник, указывая на юношу в такой же, как у него, зеленой занумерованной майке, с несколькими ленточками и эмалевыми значками, очевидно трудовыми и спортивными отличиями, на груди.— И вот еще — Цзюй-пан, он хотя и учится в первом классе начальной школы и знает еще не много иероглифов, но стихи у него получаются, по общему мнению, неплохие. Иди же сюда, Цзюй-пан, не стесняйся...

Утирая на ходу рукавом нос, из-за чьей-то широкой спины показался представитель самого юного поэтического поколения Бэйиньпо — щекастый, востроглазый, с вихром на темени, в пионерском галстуке и тоже с тетрадкой и авторучкой, заткнутой только не за ворот рубашки, а за поясок синих холщовых штанишек с заплатами на коленях.

— Состязания стихотворцев у нас происходят почти каждый вечер; ведь многим хочется подняться на сунштай, а стихи и песни у нас в деревне теперь сочиняют почти все. Мы подсчитали, что примерно семьсот жителей Бэйиньпо имеют свои стихи и песни,— говорил культработник Чжан, и окружающие одобрительными улыбками и кивками подтверждали его рассказ.— Но много пишется у нас и статей, целых «дацзыбао», стенных газет, в которых члены народной коммуны излагают свои мысли о жизни и работе, высказывают свои критические замечания и пожелания нашим руководителям и отдельным членам коммуны. Для этого тут у нас устроена Вэньчанфын — Стена статей,— пожалуйста, познакомьтесь сами...

Мы подошли к Вэньчанфын. Стена по обеим сторонам главных ворот, защищенная от непогоды и солнца навесом из соломенных циновок, была в несколько ярусов заклеена листками рукописей и рисунков с подписями.

— А вот на этой стене мы попросим уважаемых гостей и друзей оставить свои стихи на память о вашем незабываемом посещении,— под поощрительный гул окружающих с обворожительной любезностью пригласил нас товарищ Чжан к другой стене, видимо низко не сомневаясь в том, что на свете не может быть грамотных людей, не умеющих писать стихи. И, как бы в подтверждение этого, он развернул перед нами рулон бумаги, который таскал под мышкой. Это были стихотворные автографы почетных посетителей «Вэйсин», начиная с маршала Чжу Дэ, недавно побывавшего на Хэнани.

Тут же передо мною был разостлан на столике чистый лист цветной бумаги, появились чашечки с тушью и кисточки — отступать было некуда! Скажу по правде, никогда мне еще не доводилось испытывать таких «творческих мук» и ощущения ответственности, как при сочинении этого четверостишия,— под накаленными дружелюбным любопытством десятками взыскательных глаз собратьев по перу из деревни Бэйиньпо, во Дворе литературы. Когда четверостишие было написано, конечно крупными русскими буквами, и совместными усилиями культработника Чжана, моего переводчика и почти всех присутствовавших при этом здешних стихотворцев переведено и прочитано на китайском языке, состоялось торжественное приобщение меня к ордену стихотворцев Бэйиньпо... По всеобщему настоянию мне пришлось подняться на подмости вместе с тремя лучшими стихотворцами «Вэйсин» — дядюшкой Баем, статным Чжан-юанем и необычайно поважневшим Цзюй-паном, где мы и были запечатлены культработником Чжаном на фотопленку...

Правление народной коммуны «Вэйсин» помещалось рядом с Двором литературы. В маленькой комнате, куда нас привели, конечно, не хватило бы места для всех желающих принять участие в беседе, но оказалось, что и это было уже предусмотрено. Многих из встречавших нас ждали свои дела — рабочий день был в самом разгаре. Заместитель председателя коммуны и секретарь партячейки, извинившись, что вынуждены из-за срочных дел нарушить обычай гостеприимства, и предупредив, что могут быть здесь при малейшей надобности в них, удалились, уведя за собой почти всех остальных людей.

В подобном же тоне извинился и самый юный из маститых стихотворцев Бэйиньпо — Цзюй-пан, сказав, однако, что расстается с нами ненадолго: приготовит только уроки да позанимается с соседкой бабушкой Ба-инь — он ее шеф по ликвидации неграмотности и повышению культуры...

В комнате, за столом, на котором нас уже ожидали неперменные при всякой беседе термосы с кипятком, сигареты и леденцы на блюдечках, остались мы — приехавшие,— культработник Чжан и почтенный Бай Гуй-юн.

Товарищ Чжан, развернув перед собою исписанный листок, тотчас приступил к собеседованию, начав его по-русски, но, видя, что ему все равно не обойтись без моего переводчика, перешел полностью на родной язык.

— Наша горная деревня Бэйиньпо насчитывает двести семнадцать дворов, в том числе восемь крупных и двадцать мелких бывших помещичьих хозяйств. Население — больше тысячи ста человек. За последние два-три года оно увеличилось почти на треть — за счет роста рождаемости и сокращения смертности детей и стариков. Не только до Освобождения, но даже и до проведения земельной реформы и кооперирова-

ния в 1954 году большинство жителей Бэйиньпо, за исключением землевладельцев и богатых крестьян, больше, чем земледелием, занималось добычей каменного угля из горы Цишань, разноской и продажей его по всему уезду Дэнфын. А того, что давали крестьянам поля, часто не хватало даже на уплату аренды за землю и воду и многих других повинностей...

— Хэ, сколько я этого горячего камня перекопал и передробил своим кайлом, ползая на карачках под землей! Сколько корзин его перетаскал на своем горбу! — включился в беседу дядюшка Бай, задумчиво опершись морщинистой коричневой щекой на голую по локоть, жилистую, костистую руку. — Еще от далеких предков досталась нам песня о жизни и вековой судьбе бедняка. — И дядюшка Бай вдруг запел надтреснутым, хрипловатым голосом заунывную, как осенний ветер в ущелье, песню:

Ай-ёо, копаем, копаем в горе Цишань камень горячий,  
Таскаем, таскаем его в корзинах, на коромыслах, —  
Черны, как уголь, наши руки, сгорблены спины...  
Чем больше копаем, чем дальше таскаем —  
Тем бедней, голодней и бессильней становимся, ай-ёо!

— В те времена в Бэйиньпо, — продолжал культработник Чжан, — главным утешением в жизни бедняков был опиум, многие его курили. Голодный и усталый углекоп или батрак, оставляя часто голодную семью, таскал заработанные гроши в опиумокурильню или лавочку, а их в деревне — не меньше десятка...

— Было так, было. И со мной бывало, — подтверждал кивками дядюшка Бай, прихлебывая кипяток из кружки.

— В самой деревне и за ее стеной, в горах Фунюшань, действовало несколько буддийских и даосских храмов, не считая фамильных кумирен в усадьбах богатей. И сюда бедняк должен был аккуратно заносить свои медяки, чтоб сжечь перед буддами благовонную палочку или жертвенные бумажки, символизирующие собой деньги, отправляемые в загробный мир. Грамотных людей во всей деревне было всего двенадцать человек, и те, конечно, были не из простых крестьян...

— Да, да... Так вот и жили до самого Освобождения, — подтверждал дядюшка Бай.

Он кивал своей совсем голой головой с несколькими лишь белыми нитями на затылке — там, где когда-то, наверное, росла черная жесткая косичка, — и продолжал вpletать в рассказ культработника свои думы о жизни.

— Но вот пришел к нам в горы Фунюшань Председатель Мао. Народная власть дала мне целых три му хорошей земли, и я стал свободным крестьянином. А что видел я, кроме этой земли? Глаза как будто и открылись на белый свет, но ничего не вижу, наделен ушами, а ничего не слышу — неграмотен...

— Школа для крестьянских детей открылась в Бэйиньпо в первый же год народной власти. Сразу же началась и ликвидация неграмотности среди взрослых крестьян. Но только когда уже окреп наш сельскохозяйственный кооператив, когда в Бэйиньпо начались такие великие преобразования жизни и всем стало ясно, что без знаний нельзя дальше идти вперед, — только тогда начался в деревне «Большой скачок» в культуре, в ликвидации неграмотности...

### 3

В зимние, более свободные от полевых работ месяцы 1957 года Бэйиньпо превратилась в один большой класс начальной школы: каждый хоть чуть грамотный человек, начиная с малыша-первоклассника, освоившего первую сотню иероглифов, стал в деревне учителем; все жители деревни, разве что за исключением самых престарелых и немощных, не отрываясь от своих обыденных дел и забот, прилежно, целыми семьями в своих фанзах, группами в бригадах и звеньях кооператива принялись одолевать иероглифы.

Чтобы увидеть свет новой жизни,  
Надо с корнем вырвать вековую тьму...

Этой песней начинался трудовой день в Бэйиньпо, и это были первые слова, которые научились читать и писать жители этой горной деревни.

Почти в каждом доме завели по пяти-шести хорошо выструганных из дерева или сделанных из черепицы «досок грамоты»; они висели у ворот, посредине двора, возле кухонного очага, в комнате, в скотном сарайчике или курятнике. Выходя рано поутру из дому или возвращаясь с работы, каждый должен был на дощечке у ворот проставить число разученных в семье знаков — шло соревнование между дворами; домохозяйка, возясь у очага или над корытом, кормя детишек, улучала минутку, чтобы повторить написанный на «доске грамоты» заданный ей домашним учителем урок; укладываясь спать, сообщая всей семьей закрепляли на доске освоенные знаки или выписывали из учебника первые слова. «Досками грамоты» служили и лессовые обочины дорог, на которых свои первые иероглифы писали кнутвишем или посохом погонщики мулов и осликов, носильщики удобрений, тачечники и пастухи. Все без исключения стены в деревне вскоре сплошь покрылись самыми разнообразными каллиграфическими упражнениями и даже стихами и изречениями наиболее преуспевших в грамоте. Разве напасешься бумаги, если вся Бэйиньпо принялась писать, да почти круглые сутки! Оказалось, что учиться интересно и этим можно заниматься за любым делом: скажем, ноги вращают водосливное колесо на поливном поле, а голова и руки в это время могут быть заняты тетрадкой с новым уроком и даже книжкой с картинками и крупными подписями. Как это раньше уходило столько времени без пользы для культурного развития!.. Теперь уж вся Бэйиньпо запела новую звонкую частушку:

На плече мотыга или коромысло,  
Под мышкой книга или тетрадь,  
Руки и ноги заняты работой,  
Голова так и кипит от учения!..

Да что за работой учиться, можно учиться и в более трудных случаях жизни. Вон, к примеру, семья середняка Гао Син-аня: когда жене его Юн-лань пришла пора разрешиться третьим малышом, она потребовала от супруга, чтобы тот помог ей использовать это свободное от работы время на учение. И за полтора-два месяца она выучила около тысячи знаков, теперь частенько можно видеть, как эта женщина кормит своего малыша грудью, уткнувшись в газету или книжку.

У тетушки Нью Сяо-жу — шестеро детей; двое старших ходят в школу, она взялась вместе с ними учиться грамоте и скоро не только догнала, но и обогнала своих ребят да с помощью первых нескольких сотен иероглифов написала и стихи про свою прошлую и нынешнюю жизнь, а сейчас ее стихи частенько появляются и на стенах Двора литературы...

Так в Бэйиньпо и появилось несколько сотен стихотворцев — почти в каждом из двухсот семнадцати дворов, а во многих были и целые поэтические семейства, как, например, в семье старого Бая, где, кроме него самого, стихи складывают и сын, и невестка, и внучата-школьники. И дело тут, наверное, было в том, что даже и в прежнее, темное время стих и песня в Бэйиньпо, как и всюду в китайской деревне, извека были самой излюбленной частью крестьянской речи, выражали сокровенные думы и переживания земледельца, его невзгоды, радости и молитвы. Но через рифмованные, звучные народные песни «миньгэ» и двустихия «дуйцзы» — старинные и новые, через звонкие частушки неграмотный человек легче проникал и в затейливую вязь китайского письма; первые иероглифы глубже и прочней западали в память, если они связывались со стихом и напевом. И, конечно же, первые сотни иероглифов куда лучше укладывались в столбики или строки любимых частушек и песен и сами собой выливались стихом или частушкой из светлеющей и растроганной души человека, собственными словами, которые теперь можно было не только громко произнести или запеть, но и написать своей рукой. «Доски грамоты» превратились в «доски стихов и песен», стены — в рукописные страницы поэтической летописи новой жизни Бэйиньпо. Тогда и был создан Вэньсюэюань — Двор литературы.

— Жил, как говорится в одной из наших сказок, в давнюю-давнюю старину на Хэнани стихотворец — простолюдин Ма Жун, — продолжал свои размышления вслух дядюшка Бай, то попыхивая трубочкой с длинным чубуком, то пощипывая белые волос-



ки на темном морщинистом подбородке.— И увидел он однажды такой сон: будто б набрел он в лесу на дерево, покрытое пышным, как облако, и ярким, как парча, цветением. Ма Жун сорвал и съел несколько цветков с этого дерева. Проснулся — и почувствовал, что знает на память все лучшие, когда-либо и кем-либо на этом свете сложенные и написанные стихи, что постиг он суть поэзии и отныне сам может сочинить такие стихи, каких еще никто не слышал и не читал... Вот такое же, что и с Ма Жуном, случилось и со мной, да, наверное, и со многими людьми у нас в Бэйиньпо, только не во сне, а наяву, на нашей общей земле. Уже на склоне лет пришел я к могучему, с каждым днем все ярче расцветающему дереву нашей новой жизни. И вдыхая аромат его весеннего цветения, отведав его первых плодов, вошел я в сад поэзии, и стихи сами запросились из души... Вот послушайте-ка, я вам сейчас скажу стихи про себя и про Лян Хао — был такой ученый врачеватель, лечивший, говорят, всех людей лишь за одно доброе слово...

Поглядеть на меня, так совсем я старик,  
А душа во мне день за днем все моложе.  
Как засохший, совсем было сникший вяз,  
Под дождем благодатным я ожил и зеленею.  
Всю я жизнь учился у мудреца Лян Хао,  
Да ведь он лишь к восьмидесяти годам  
Сдал в столице экзамен и стал чжуаньюанем<sup>1</sup>,  
Чтобы жизнь дожить чиновником маленьким...  
Я лишь к шестидесяти грамоте выучился,  
Но за год сложил сто стихов и песен,  
Теперь я сам учу людей,  
И величают меня в Бэйиньпо лекарем и поэтом...

— И опять-таки,— продолжал дядюшка Бай,— речь идет не обо мне одном: это же может сказать о себе почти каждый из пожилых людей нашей деревни, а уж о молодых-то и говорить нечего, они-то все должны стать стихотворцами и учеными людьми, только не переставай учиться и учиться. Учение — это ведь как лодка на быстром течении: вверх ее вести нелегко, а чуть перестал грести — мигом отнесет назад. Так и в учении — чуть перестал учиться, забудешь и то, что уже успел постигнуть. Это я особенно для молодых говорю... Мне вот, бывает, маленькие мои внуки мешают заниматься стихами и уроками, так я от них то в подпол укроюсь, то куда-нибудь на Суншань повыше заберусь...

— Послушать вас, Бай-сяньшэн<sup>2</sup>, так получается, что у нас в Бэйиньпо все люди, став грамотными, только тем и заняты, что сочиняют стихи да распевают песни,— вежливо-шутливо вмешался в беседу культработник Чжан, почувствовав, видимо, что старый говорун начинает отклоняться от главной темы и дает слишком одностороннее освещение жизни.— Конечно, Бэйиньпо называют «щицунь» — «деревней поэтов», но ведь нам присвоено и звание «чжуаньцзяцунь» — «деревни специалистов»...

— Верно, верно вы говорите, товарищ Чжан, очень уж я увлекаюсь поэзией, так что забываю иной раз об очень важных вещах,— добродушно согласился дядюшка Бай и снова продолжал говорить стихами:

На Вэньхуашань — Гору культуры — грамота подняла  
Сотни и тысячи простых земледельцев,  
Сделала их героями и передовиками труда...

— Нет, я, кажется, совсем разучился разговаривать без стихов и песни... Уж лучше рассказывайте вы, товарищ Чжан,— под общий смех сдался старик.

— Да, надо обязательно рассказать советскому товарищу о вашем университете специалистов, об опытных полях и лабораториях, о ваших изобретателях и мичуринцах — это же очень интересно,— посоветовал и товарищ Сюй, наш укомовский гид.

<sup>1</sup> Чжуаньюань (кит.) — «первый кандидат» — «ученое» звание в старом Китае, получаемое после сдачи экзамена на ученость, дававшее право на занятие должности низшего чиновника.

<sup>2</sup> Сяньшэн (кит.) — вежливое обращение к старшим, буквально значит «раньше меня рожденный».

— А может быть, уважаемые гости желают все это посмотреть и на ходу продолжать беседу? — сказал культработник и положил перед нами листок, исписанный столбиками цифр, названий и фамилий.— Мы подготовили план ознакомления с хозяйством и культурой нашей народной коммуны «Вэйсин»...

Когда я попытался переписать в свою тетрадь перевод предложенной мне справки-плана, оказалось, что только на это понадобилось не менее получаса. Планом предусматривалось ознакомление гостей более чем с двумя десятками хозяйственных, бытовых и культурных учреждений народной коммуны.

Товарищ Чжан каждый пункт плана сопровождал пояснениями:

— В нашем университете сейчас учатся шестьсот семнадцать человек с начальным образованием. Семьдесят два из них уже достигли уровня «среднего специалиста» в различных отраслях труда, и все они являются одновременно и преподавателями...

За учебными заведениями в плане следовали выставки прошлого года урожая, местных лекарственных средств, изобретений и достижений передовиков труда, детский сад и ясли, дом для престарелых ветеранов труда, общественная столовая и новая баня, Двор танцев и песен, театр самодеятельной оперы.

Конечно, все эти немножко возвышенные и многозначительные наименования и обозначения следовало понимать в приложении к масштабам Бэйиньпо и представлениям горных жителей, но, так или иначе, даже для беглого ознакомления с укладом новой жизни горной деревни дня, которым мы располагали, безусловно бы не хватило. Сообща порешили мы осмотреть хотя бы выставки, на которых, вероятно, концентрированно и наглядно отражены главные черты нового облика и жизненного уклада Бэйиньпо.

Мы вышли из правления коммуны и, миновав несколько старых внутренних стен и ворот, очутились в довольно обширной усадьбе, судя по всему принадлежавшей раньше то ли местному феодалу, то ли просто крупному землевладельцу. Усадьба состояла из расположенной четырехугольником галереи маленьких низких помещений, обращенных во двор решетчатыми, заклеенными бумагой окнами и придавленных к земле одной рубчатой черепичной кровлей с обычными лепными драконами, фениксами и буддами на коньках и загнутых кверху углах крыши. Посреди двора росли вековые кипарисы и туи, пережившие, наверное, не одно поколение владельцев старого поместья.

Первый небольшой зал, куда мы вошли, был заставлен моделями и образцами сельскохозяйственных машин и орудий, стены до потолка увешаны чертежами каких-то механизмов и приспособлений, самодельными картинами, изображающими ирригационные сооружения и устройства. Нас встретил молодой человек в обычной крестьянской одежде, которого нам отрекомендовали специалистом по технике товарищем Ма.

— Здесь выставлена часть работ наших изобретателей и рационализаторов,— начал пояснения товарищ Ма.— Почти все выставленные в моделях и чертежах новые или усовершенствованные сельскохозяйственные машины и орудия уже изготовлены в натуральную величину, испытываются или широко применяются в нашем хозяйстве...

Конечно, тут не было тракторов и комбайнов, машины и орудия чаще всего состояли из деревянных и грубойковки железных частей, самодельных шестерен и подшипников, но это были совершенно новые, доселе невиданные в горной деревне орудия труда, заменяющие извечную мотыгу. Творческая мысль крестьян — изобретателей и рационализаторов — билась над разрешением самых насущных задач, вставших перед молодым коллективным хозяйством деревни Бэйиньпо, но она была смело устремлена в завтрашний его день, когда в Бэйиньпо придут и многосильные стальные двигатели и электрическая энергия. Тут было представлено несколько разных конструкций плугов для глубокой вспашки с буйволовоу, конной и тракторной тягой, сеялок, рисопосадочных агрегатов и машин для внесения удобрений в почву и довольно сложное приспособление для резки корнеплодов, рассчитанное пока на использование привода, вращаемого мулом или осликом, но с дальним загадом на моторный привод. Впрочем, был тут и «комбайн», но только совсем особого, трогательно-жизненного назначения,— похожая на карусель восьмиугольная беседка на колесах: восемь стульчиков для малышей с полным набором всего необходимого для ухода за каждым, включая эмалированный горшочек под сиденьем, разные ребячьи забавы, словом, все, что надо в тече-

ние целого дня в коллективном быту восьми питомцев детского сада. Управляется этот «комбайн» всего одной нянюшкой-старушкой, сидящей в центре этого сооружения, легко передвигаемого с места на место...

— В этом году слушатели нашего университета и просто крестьяне-передовики сделали более ста изобретений и усовершенствований в нашей земледельческой технике,— продолжал свои обстоятельные пояснения товарищ Ма, учитель одной из трех средних школ Бэйиньпо.— За год «Большого скачка», особенно после создания народной коммуны, наши земледельцы дали сотни ценных предложений по подъему всего хозяйства коммуны и повышению урожайности. Комсомольцы Чжан Гуан-и и Бай Туй, например, создали уже около трех десятков усовершенствованных и новых типов сельскохозяйственных орудий и приспособлений, часть которых отправлена в Пекин, на Всекитайскую выставку сельского изобретательства и научной работы передовиков-опытников...

Глядя на эти, конечно далеко не совершенные, но по-китайски хитроумные и удивительно экономные самоделки, нельзя было не проникнуться глубоким уважением к самозабвенному упорному труду деревенских самоучек-изобретателей. В этих самодельных и, может быть, технически наивных творениях, так же как в стихах и песнях вчера еще неграмотных жителей затерянного в горах селения Бэйиньпо, сказался вечно живой, неиссякаемый родник китайского народного ума и таланта, практичности и целесообразности, бережливости и непередаваемого трудолюбия, которые уже много веков поражали весь мир в волшебных поделках китайских мастеров, а сейчас потрясают все человечество в невиданно мощных деяниях и замыслах сегодняшнего Китая. И еще думалось о том, какие чудеса изобретательности, творческой пылкости и смелых трудовых достижений покажут миру завтра ум и руки тружеников народной коммуны «Вэйсин». А что будет, когда в Бэйиньпо хлынет электрическая энергия, придет трактор или локомотив? Какие тогда урожай и плоды будут собирать со своих террасных полей земледельцы «Вэйсин»?..

Кое-что из этих плодов мы увидели, когда перешли в помещение, где была выставка урожая года «Большого скачка». Клубни батата величиной с хороший арбуз, дающего по полсотни тонн с му — одной шестнадцатой гектара,— тыквы весом в сорок килограммов каждая, земляной орех — арахис — с урожайностью более пятидесяти центнеров с му, гибрид хурмы и абрикоса, отягощающий каждое дерево полутонной ало-золотистых сладчайших плодов... Были тут образцы и чумизы, и кукурузы, и хлопчатника, и других злаков и плодов сказочной урожайности и невиданных мною раньше сочетаний природных качеств. Все это было выращено и выведено на маленьких опытных участках горных полей отдельными пытливыми и увлеченными новаторами и изыскателями. Ну как, видя людей, сделавших все это, было не поверить, что скоро такие плоды будут произрастать на всей обновленной, глубоко перепаханной земле «Вэйсин»?!

— Сто восемь разных болезней мы можем лечить у себя в Бэйиньпо, и вот этими лекарственными средствами, которые мы добываем в горах Суншань, на наших полях, в воде и в земле.— Этими словами, произнесенными вполне академическим тоном, встретил нас в третьем «зале» почтенный дядюшка Бай в своих подвязанных веревочкой очках, успевший облачиться ради торжественного случая в явно ни разу не надеванные белый докторский халат и шапочку.

Маленькая комнатка была до отказа заполнена пучками, снопиками, связками высушенных трав, цветов, веточек, корней бог знает какой лекарственной флоры. На полках, в ящичках, в стеклянных банках разложены были рога, кости, копыта, когти разных знакомых и неведомых, вероятно диких млекопитающих, черепахи панцири, сушеные и вяленые останки пресмыкающихся, насекомых и множества других тварей, обладающих целебными свойствами. От всего этого собрания целебных средств исходили такие мощные и густые миазмы, что обычные аптекарские ароматы в сравнении с ними показались бы едва уловимым дыханием полевого цветка.

— У нас в деревне, кроме фельдшера, учившегося в городе, есть своих двадцать три лекаря, включая и молодых, которые еще учатся в нашем университете. Это специалисты по самым разным болезням: сердца, живота, головы, рук, ног, зубов и других недугов. Мы лечим и лекарствами, и иглоукалываниями, и прижиганиями, словом,

всеми средствами нашей народной медицины,— вдохновенно развертывал свиток своих медицинских познаний дядюшка Бай.— Есть у нас и свой «корень жизни», не женьшень, а просто «шень», потому что корень не похож на «жень» — на человеческое тело,— но силу имеет тоже немалую. Вот я хочу подарить гостю на память один «шень».— Дядюшка Бай протянул мне еще свежий, видимо недавно выкопанный и чисто промытый желтоватый корешок, похожий на речечный...

Глава народной медицины и школы врачевания Бэйиньпо собирался, видимо, углубиться в дальнейшие подробные пояснения и рецептарии, но тут снова вмешался пунктуальный товарищ Чжан и пригласил нас следовать дальше, опасаясь, что мы не заполним и столь урезанного плана нашего знакомства с жизнью и делами народной коммуны.

А мне, признаться, хотелось еще вернуться и в осмотренные уже «залы» этой очень скромной выставки глубочайших и многообещающих перемен и свершений, происшедших в жизни старинной горной деревни; задержаться еще и тут — в непривычно духовитой аптеке дядюшки Бая, где сосредоточено столько еще не разгаданных наукой, да, вероятно, не познанных и самими врачевателями, чудодейственных целительных средств, тысячелетнего опыта самой старой народной медицины и фармакопеи. Прожив два года в Китае, многое перевидав в разных его краях, я испытывал почтительный интерес и к аптеке и к самому лекарю, лишь год назад освоившему свою первую тысячу нероглифов...

День этот мы закончили снова во Дворе литературы, освещенном закатными и уже не такими жгучими лучами. Двор был до отказа заполнен людьми всех возрастов, пришедшими сюда провести обычный вечерний досуг и отдых, а сегодня, наверное, и для того, чтобы познакомиться с заезжим «суляньжэнем» — советским человеком. Вероятно, не без связи с последним обстоятельством была определена и программа вечера.

Началась она выступлением воспитанников детского сада. Десятка три неразлично одинаковых, как пионы на одной клумбе, пунцовошекних карапузиков, в одинаковых синих штанишках, с обязательным разрезом сзади, цветастых ватничках с белыми нагрудниками, с одинаковыми, перевязанными красным шнурком хохолками на стриженных головенках, завели хоровод. Под аккомпанемент собственного пения (понятного, вероятно, только их хормейстеру-воспитательнице, гибкой дезушке с длинными косами), барабанчика и медных тарелок, которыми действовали с великим усердием и вдохновением два четырехлетних крепыша, хоровод исполнил не что-нибудь, а танец-пантомиму «Полет красных спутников и ракет»...

Вслед за этим уморительно-забавным «полетом» на «сцене» как бы произошло разительное смещение веков и время будто пошло вспять — на середину двора вышли несколько исполнителей, каждому из которых было, наверное, не меньше лет, чем всем, вместе взятым, предшествующим участникам представления. Это были тоже одинаково одетые в черные телогрейки и шаровары старинного крестьянского покроя, почти все одинаково лысые или с остатками седин на висках и затылках, согнутые тяжким земледельческим трудом старцы и старушки на крохотных козьих копытцах — «золотых лотосах». Нетрудно было догадаться, что это обитатели дома для престарелых ветеранов труда, одиноких и совсем уж немощных стариков, взятых коммуной на полное обеспечение.

— Вот тот, что поближе к нам,— сказал сидевший у меня за спиной культработник Чжан,— это дядюшка Гао. Ребенком он был отдан задолжавшими родителями в рабы здешнему помещику и оставался батраком почти до самой земельной реформы. Рядом с ним — вдова Цуй Фын-инь, мать двух воинов армии Чжу Дэ, не вернувшихся с войны, и бабушка трех студентов, которые учатся в Пекине и в Тайюани. А дальше — бывший нищий Ма Вэнь-чжан. Между прочим, он сейчас сочиняет много стихов, хороший шошуды-рассказчик...

Старики, выстроившись попарно в две шеренги, глуховатым хором начали песню-речитатив, перемежаемую согласными выкриками припева — «ий-эй-хо, эй-е». Пение сопровождалось плавными движениями на месте, похожими и на китайскую физкультурную зарядку и на молитву,— они взмахивали руками, глубоко склонялись, раска-

чивались, старцы при этом брали за руку своих партнерш, каким-то чудом державшихся на своих изуродованных слабых ступнях.

— Вот, знаете, обижаются, когда мы их просим не утомлять себя выступлениями. Говорят, что они тоже должны хотя бы так участвовать в жизни и в общей борьбе за социализм,— добавил пронизательный товарищ Чжан, видимо уловив что-то в моем взгляде.— А поют они сейчас такую песню:

Чем суше земля и горячей небо,  
Тем упорней и дружнее надо трудиться и бороться...  
Сегодня на общем поле не надо жалеть сил и пота,  
Чтоб завтра жизнь стала сладкой, как мед...

Видимо, первое и второе выступления были устроены с одним расчетом: близко уже было время отхода на ночной покой и самых юных и самых старых участников концерта. Те и другие, очень довольные исполненным долгом и облаканные всеобщим одобрением, удалились со Двора литературы...

Сплошь молодая и очень сыгранная труппа деревенского театра показала в костюмах, гриме и с оркестром один из своих спектаклей, старинную хэнаньскую оперу по еще более древнему роману о путешествии буддийского монаха-паломника из Китая в Индию за священными буддийскими сутрами — молитвами и поучениями. Но это старое содержание оперы оказалось лишь прологом: древнего паломника в его оранжевой хламиде и разных противоборствующих ему в пути химерических чудищ на «сцене» сменили вполне реальный, крестьянского вида паренек, героически справлявшийся своей бамбуковой дубинкой с вполне, так сказать, типичными чернородыми пузатыми мандаринами, плюгавым, злобно ощеренным воякой в чанкайшнстском мундире, сухопарым господином в картонном цилиндре. В конце концов герой встречается с молодым русоволосым богатырем в красной рубахе, шапке с красной звездой, серпом и молотом, который вручает герою большую красную книгу. Пьеса называлась теперь «Путешествие в Москву за истиной» и, по всей видимости, родилась во времена освободительной войны в Китае...

Главную же часть сегодняшней программы составило, конечно, состязание «ши-жэньмэнь» — стихотворцев. Желавших обнародовать свои новые творения было сегодня, по-видимому, больше, чем обычно, потому что товарищу Чжану пришлось составить список выступающих, по которому он и вел соревнование. С удивительной непосредственностью и артистической свободой, даже с видимым азартом один за другим выходили на подмостки престарелые, пожилые и совсем юные деревенские стихотворцы и читатели, пели, а иногда сопровождали мимикой и плавными танцевальными движениями традиционные двустихия, частушки, присказки и изречения, наполненные теперь новыми думами, переживаниями, мечтаниями земледельцев, тружеников горной народной коммуны «Вэйсин». Вслед за пятнадцатилетней Су-цзяо, в характерной китайской манере, пичужьим голоском трогательно спевшей сложенную ею песенку сборщицы хлопка, на подмостки взобрался старенький, совсем старенький дедушка Ма, бывший нищий, и задал перцу «американским чертям» и «тайваньским мертвецам»; потом статный звонкоголосый Бай Чжань-юань в зеленой майке с почетными знаками передовика на груди горячо и уверенно читал стихи о ветре с Востока, который осилит дряхлеющие ветры с Запада; за ним прытко проковыляла своими «крючками» ножками седовласая тетушка Чу-инь и напевно произнесла четверостишие о Председателе Мао, «чь глаза, как звезды, светят в горах Фунюшань...». Мне не успевали переводить и передавать приблизительное содержание прозвучавших здесь стихов и песен — прямо-таки вешним паводком хлынуло на нас поэтическое вдохновение жителей Бэйиньпо, коммунаров «Вэйсин»...

И припомнилась мне тут недавно списанная в городе Сиань с каменной плиты древней кумирни Куйсинлоу — храма буддийского божества поэзии Куй Сина — молитва какого-то древнего стихотворца: «...молю Небо помочь вскарабкаться туда, где обитают феникс и дракон...» (то есть на вершины божественного вдохновения и поэтического совершенства), «...молю помочь достигнуть в стихотворении такого же умения и меткости, какими владел великий лучник Ян Юй-сай, попадавший своей стрелой со ста шагов в ивовый листок...»

Стихотворцам Бэйиньпо не надо было молить небеса о ниспослании неземного вдохновения и постижения неземных высот поэзии — они запросто и уверенно всходили на свою скромную суншитай и произносили неприязнательные, идущие из глубины взволнованной и просветленной простой души свободного трудового человека слова о земной жизни, которую сами они и творили.

Поэзия спустилась с недосягаемых небес  
 Прямо в ладони трудового человека.  
 Каждый из нас теперь вдохновенней,  
 Мудрей и сильнее великого Су Дун-по...

Вот так прямо один из молодых стихотворцев Бэйиньпо вызвал на соревнование и в поэзии и в жизни самого бессмертного Су Дун-по!<sup>1</sup>

Да что великий Су, стихотворцы «Вэйсин» дерзновенно замахиваются даже на самих небожителей и святых древних будд. И не кто другой, как семилетний Цзюй-пан, взошел на суншитай, шмыгнул носом и, чуть шепелявя, кинул вызов богам:

Эй вы, глиняные боги-куклы!  
 Сколько веков вы сидите в фанзах и кумирнях,  
 Сколько предки и мои родители  
 Перед вами денег жертвенных и свеч сожгли,  
 Сколько вам поклонов и молитв досталось?!  
 А хоть раз вы наделили милостью кого-нибудь,  
 Хоть кому-нибудь от вас перепадало счастье?!  
 Больше мы не верим вам и не боимся вас,  
 Убирайтесь-ка с насиженных местечек, будды!..

— Ай-я! Говорит прямо как у нас, в Сяньгуаньмяо, восьмидесятилетний дядюшка Жуй-сю, честное слово! — восторженно воскликнул сидевший рядом со мною товарищ Сюй, выслушав стихотворение малыша Цзюй-пана.— А вы знаете, что сделали люди здесь, в Бэйиньпо, и у нас, в Сяньгуаньмяо, с глиняными домашними буддами? Наверное, малыш Цзюй-пан в связи с этим и свой стишок сочинил... Ну, я расскажу вам об этом потом...

Конечно, выступил со своим новым стихом и Бай Гуй-юн, и был этот стих посвящен нашему приезду, его, наверное, и написал он в своей тетрадке, когда мы беседовали в комнатке правления коммуны.

Много тысяч ли, горы и реки преодолев,  
 Из Москвы в Бэйиньпо, на Цишань, к нам приехал друг...  
 Чем же мне, старому, его угостить и приветить?  
 Вот стихи свои немудреные перед ним кладу —  
 Самое сладкое и любимое блюдо моей души...  
 Мост золотой и яшмовый — мост нашей дружбы —  
 Между Москвою и Бэйиньпо мы строим,  
 Будем часто друг с другом на нем встречаться...

Уже луна поднялась над горами, когда мы покидали Бэйиньпо. Провожали нас все, кто был во Дворе литературы, дружной хоровой песней, ставшей гимном народной коммуны «Вэйсин».

Бэйиньпо, Бэйиньпо, ай-я,  
 Бэйиньпо богата ныне высокими урожаями,  
 Бэйиньпо богата стихами и песнями...

Неся на плечах мотыги и коромысла,  
 В руках тетрадки и книги,  
 Дружно идем в поля, на работу, ий-эй-хо...

Труд и учение слились воедино.  
 Читая и думая одновременно,  
 Творим стихи и свое счастье, ий-эй-хо!..

<sup>1</sup> Су Дун-по — древний китайский поэт, прославившийся также как выдающийся строитель-ирригатор. Ему приписываются, в частности, сохранившиеся поныне дамба и мост на озере Сиху в Ханчжоу.

Долго в горной ночной тишине эхо провожало нас этим многоголосым припевом:

Бэйиньпо, Бэйиньпо, ай-яа, нй-эй!..

— А все-таки очень жалко, что нам не удалось побывать в Сяньгуаньмяо! — сокрушенно вздыхая, сказал товарищ Сюй, когда мы, отужинав в той же комнате уездного комитета, где были утром, собирались разойтись на отдых, условившись пораньше встретиться и побеседовать перед отъездом из Дэнфына.

Лицо и глаза товарища Сюя выражали такое искреннее огорчение, что я задержал его руку в своей и предложил:

— А может быть, мы еще посидим немножко, если вы не устали?

— Ай-я, как можно отрывать покой у гостей! — замахал он руками, но видно было, что делает это больше по требованию правил гостеприимства, нежели по велению души.

— Вот вы в Бэйиньпо что-то хотели рассказать в связи со стихами маленького Цзюй-пана о буддах,— напомнил я.

— О, это большой разговор, много надо рассказывать. В «Вэйсин» мы только-только подошли к этому, когда беседовали о специалистах, о народном университете, смотрели выставку, слушали стихи. А вот у нас в Сяньгуаньмяо это можно было увидеть прямо в самой жизни, в делах и душах людей. Я говорю о новых знаниях, которые пришли к нам вместе с грамотой.

— Может, мы все-таки присядем и вы немножко расскажете? — Во мне уже говорило неутолимое журналистское любопытство, а переводчик мой Тан, привычно угадав это, со вздохом протерев очки, уселся за стол и педантично разложил перед собой записную книжку и словарь.

Товарищ Сюй снова было бурно запротестовал, но, видимо, уже не в силах одолеть своего желания поделиться глубоко волнующими и давно занимающими его мыслями о милой сердцу Сяньгуаньмяо наконец уступил, уселся напротив нас и неожиданно... запел. Придав своему баску высокие, переливчато-тонкие ноты, на которых поются старинные крестьянские песни Хэнани, он затянул какой-то уныло-протяжный, психожий на буддийскую молитву напев...

#### 4

На голове моей шапка без верхушки,  
Тело мое багуа прикрыто —  
Спасаясь в них от палящего зноя,  
Зимой от леденящего холода...  
Ночую в кумирнях, с буддами рядом,  
Питаюсь милостынею небесной  
И непрестанно молю богов:  
— Скорее возьмите меня на Небо!..

— Вы, наверное, думаете, что я вам спел молитву какого-нибудь монаха-подвижника: ведь «багуа», что значит «восемь полос»,— это одеяние священнослужителей, состоящее из восьми длинных кусков желтой или красной материи, которыми тело укутывается от головы до пят; ночевки в соседстве со святыми, пища, даруемая богами, жажда поскорее попасть на Небо — все как будто связано со священными канонами... На самом деле это песня нищих и бедняков, которая еще недавно пелась всюду, и в нашей волости тоже. И все в ней надо понимать наоборот: шапка без верхушки — это небо, которым только и мог бедняк покрывать свою голову; багуа — горькая игра слов: «гуа» означает и лохмотья, еле прикрывавшие наготу бедняка; бродяга-кули или бездомный, безземельный батрак мог найти приют и отдых лишь в развалинах древних пагод, на голых плитах буддийского или даосского храма, а их, кстати сказать, только в нашей волости Сяньгуаньмяо сохранилось едва ли не десяток. Под этим кровом голодного и изможденного бедняка, может, и посещали не менее сладостные и утешительные, чем опиум, сновидения о будущем небесном блаженстве... А вопль о скорейшем переселении на небеса исторгался из души бедняка нестерпимым желанием покончить с тяготами земного своего существования... Где же еще, как не

на небе, было искать ему избавления от земных мук, если вся его жизнь и судьба были связаны с надеждой на милости небес и богов, от них зависело быть или не быть урожаю, они насылали на землю потопа и засухи, мор и несчастья... В этой песне выражалась, можно сказать, философия жизни и смерти китайского крестьянина-бедняка. Со дня рождения человеку вдальбивали в голову заповеди небес и заветы святых предков, которым повинуются все живущее, истины и законы земного бытия, непреложные для каждого смертного, учения Сакья-Муни, Лао-цзы, Конфуция и многих других вероучителей. Прежде всего каждый простой человек должен был с материнским молоком впитать в себя главную истину Конфуция о четырех китайских добродетелях и следовать ей всю жизнь — преданность и повиновение низшего высшему, почтительность младшего к старшему, терпеливость, верность священному обету... Эти добродетели частенько вбивались в душу бедняка через его спину и пятки — сотней-другой ударов бамбуковой палкой на помещичьем дворе или в долговом суде. Бывало нередко, что и головы, в которые не вмещались эти великие заповеди, запросто расставались с телами недостойных... И во всех случаях жизни бедняк должен был знать лишь одну молитву: «Амитофо, амитофо, амитофо!» — «Господи, помилуй, господи, прости!..» Обо всем этом я вспоминаю для того, чтобы стало понятней то, что сейчас происходит в нашей деревне Сяньгуаньмяо...

До Освобождения в нашей волости на несколько тысяч жителей было всего тридцать пять грамотных людей, конечно, только из богатых и родовитых семейств. Крестьянину-то, пожалуй, тогда грамота и не нужна была: свои пожитки и прибыли он мог подсчитать на пальцах, всяческие же поборы и повинности за него хорошо подсчитывали чиновники и землевладельцы...

Так вот, к весне прошлого года в Сяньгуаньмяо, так же как и в Бэйиньпо, вся молодежь и крестьяне среднего и пожилого возраста ликвидировали неграмотность, остались только престарелые и немощные старики и старухи, да и из них многие сейчас учатся у себя на дому или в начальной школе вместе с внуками и правнуками.

Словом, к весне прошлого года Сяньгуаньмяо, так же как и Бэйиньпо, вышла в самые передовые по грамотности и по культуре не только в уезде Дэнфын, но и по всей Хэнани. Как и в Бэйиньпо, запели у нас люди «песню грамотных»:

Стали мы все грамотными,  
Можем сами записывать свои трудодни,  
Книги читать и сами писать дацзыбао —  
Кого похвалить, кого и покритиковать...  
Чтобы «Большим скачком» устремиться вперед,  
Надо грамоту в дело пустить —  
Наукой и техникой овладеть...

Весной открылась в Сяньгуаньмяо первая на Хэнани «школа специалистов», в которой начало учиться больше шестисот молодых и пожилых активистов, передовиков труда из кооперативов волости. Главными предметами в школе, конечно, были политграмота, агротехника, ботаника, химия — в первую очередь нам нужны были эти знания, чтобы быстрее двинуть вперед свое хозяйство, повышать урожайность. Учиться начали сразу и по книгам и на опытных участках в поле, преподавали у нас и образованные люди, приехавшие к нам жить и работать из города, и наши опытные земледельцы. Но ведь теперь всякому ясно, что стать настоящим специалистом в любом деле нельзя без закалки своей идеологии, без правильного понимания всей жизни. Начали изучать в школе художественную литературу, коллективно читали и разбирали книги «Как закалялась сталь», «Поднятая целина» и книги наших китайских писателей о борьбе за Освобождение, о новой жизни и народных героях. Очень такие книги помогают в воспитании и перевоспитании наших людей, учат, как надо бороться и строить социализм. Так подошли мы и к науке о всей жизни — к начаткам философии. Но тут оказалось потрудней, чем с художественной литературой. Конечно, Конфуция-то кое-кто из наших стариков, из старых интеллигентов, знал, да разве Конфуций мог нам объяснить новое сотворение мира?! Наоборот, надо было сокрушить его заповеди и поучения, мешавшие нашим людям быстрее, смелее перестраивать жизнь. А о новой, социалистической философии имел некоторое представление в волости только один человек — товарищ Гао Цянь-хай, секретарь волостного парткома, при-



бывший к нам недавно из центра провинции в порядке движения «вниз, в массы». Он изучал философию три месяца в партийной школе, в Чжэнчжоу. Товарищ Гао вел занятия с кадровыми работниками волости, с людьми более подготовленными, чем большинство слушателей нашей школы, только вчера освоивших первую тысячу иероглифов, впервые взявших в руки книгу, кисточку или авторучку, еще не расставшихся со многими старыми предрассудками и заветами предков. Однажды товарищ Гао пришел к нам в школу и сказал, что хочет попробовать провести беседу на тему «Первичность материи и вторичность сознания».

Вышел на кафедру, положил перед собой большой обломок камня и спрашивает:

— Все видят и знают, что это такое?

— Хэ-хэ, как не знать — камень...

— Такого камня на горе Суншань сколько хочешь...

— Из него фундаменты под нашими фанзами сложены...

— И дамба на водохранилище...

— Вот видите, как хорошо мы знакомы с этим камнем, сколько о нем знаем,— сказал товарищ Гао.— Так вот этот самый камень существует на свете независимо от того, знаком он вам или нет, знаете ли вы о нем что-нибудь или не знаете. Существует он, наверное, с той поры, когда не только на Суншане, а и на всей земле еще не было человека. Это вот и есть материя, то есть все то, что существует, живет, развивается, умирает и снова рождается вокруг нас, да и мы сами — люди. А то, что мы видим этот камень, что знаем о нем,— это и есть наше сознание, которое рождается в нашей голове. Не было бы этого камня, не было бы нашего Суншаня, мы с вами, наверное, ничего бы и знать о них не могли, не так ли? Значит, материя-то существовала и существует еще до появления сознания, порождает наше сознание. Правильно тут сказано, что из этого камня можно построить хорошую дамбу, а из сознания-то ее не построишь,— это ведь тоже каждому ясно? Вот и встает вопрос: из чего же создавал Бодисатва наш Суншань, если у него не было ничего, кроме желания создать его? Но чтоб что-то построить из этого всем нам знакомого камня, никак не обойдешься и без сознания, без знаний,— ведь надо, прежде чем строить, обдумать и рассчитать, спроектировать то, что хотим построить...

После того, как товарищ Гао подробно разъяснил все по теме своей лекции, ответил на вопросы, он снова вернулся к камню, который принес с Суншаня, и к дамбе на нашем водохранилище на реке Инхэ. Рассказал о том, что в горах начались сильные летние ливни и с гор скоро должны хлынуть потоки, которые могут угрожать и полям и дамбам нашего водохранилища, особенно глинистым, земляным,— не стоит ли заблаговременно укрепить их этим самым суншаньским камнем? Тут уж разговор перешел на важное практическое, общее, хозяйственное дело. Договорились, что завтра же большая группа молодежи, слушавшей эту лекцию, и те, кого она сможет увлечь за собой, отправятся на Суншань заготавливать камень для укрепления дамбы.

Примеры для усвоения начатков философии жизнь нам подавала на каждом шагу и почти каждый день, особенно в отношении противоречий. Мы делали упор на сознание людей, помогали им самим разобраться в жизни. Думается, что наши споры и беседы сыграли свою роль в том, что волость даже с превышением выполнила план централизованных закупок излишков зерна...

Конечно, наши занятия довольно мало походили на ту науку, которую изучают в пекинских или шанхайских университетах, хотя мы свою школу в Сяньгуаньяо тоже называем теперь народным университетом. Наука помогает нашим людям, вчера еще темным, вековечно придавленным к земле феодальным гнетом, нуждой, стихийными бедствиями и суевериями, распрямляться сегодня в свой полный человеческий рост, смелее смотреть вперед, освобождаясь от былого страха и раболепия перед властью Неба и неведомых сил природы. Истины новой жизни — истины социализма — должны познаваться в самой повседневной нашей борьбе и труде. Так мы понимаем теперь науку...

Мы познакомились и с учением великого русского преобразователя природы Мичурин, с его прямо-таки волшебными опытами над растениями и плодами. Конечно, и у нас в Китае еще в старину нашими предками выращивались всякие чудеса — и деревья, и цветы, и плоды, но не на крестьянских клочках, а в садах и беседках пра-

вителей и богачей, для их услады и развлечения. Да и сейчас можно увидеть у нас на полях и в садах немало интересных растений и плодов, выведенных и выращенных нашими земледельцами-трудолюбивыми. Но Мичурин-то говорит не об отдельных опытах, а о целой революции в природе. Всем нам в душу запали его слова: не следует ждать милостей от природы, мы сами должны их взять у нее,— так ведь у него сказано?.. Это же прямо для нас, китайских земледельцев, сказано, ведь сколько веков мы слезами и кровью вымаливали у небес, у своей природы урожай на своей старой и тощей земле, сколько натерпелись от ее стихий — засух и наводнений, градобоев и ураганов. А теперь, когда и земля вся наша, когда народная власть, Коммунистическая партия научили нас обуздывать, подчинять себе стихийные эти силы, заставлять их служить народу,— вот теперь-то и наступила пора взять у природы ее милости и блага.

И началось у нас в Сяньгуаньмяо такое движение, такое наступление наших земледельцев на природу, что всего и не расскажешь...

Взять, к примеру, нашего мичуринца Фан Юй-гуна... Тут я вот что должен прежде сказать. Очень многие жители Сяньгуаньмяо носят одну фамилию — Фан, которая, наверно, идет еще от дальних предков, когда-то пришедших сюда, на северные склоны Суншаня. Чтобы не перепутались люди, придется дальше называть их по имени. Но и тут могут быть совпадения, да иногда и очень интересные. Вот, к примеру, Фан Юй-гун. Небось вам приходилось уже слышать это имя — Юй-гун. Говорят, что в старину у нас на Хэнани, даже где-то поблизости от Сяньгуаньмяо, жил бедный старик земледelec Юй-гун, который своими руками и мотыгой передвинул мешавшие его полю три высокие горы. Наш молодой Юй-гун хотя и не передвинул еще Суншань, но если присмотреться к тому, что он уже сделал и собирается сделать со своими помощниками, то можно подумать, что речь идет о том, сказочном Юй-гуне...

Пшеницу у нас в Сяньгуаньмяо всегда сеяли осенью, в октябре, то есть на озимь, урожай собирали в мае. Наш Юй-гун выпросил в правлении кооператива немножко хороших сортовых семян и начал зимой в своей фанзе опыты с ними. Переменял, прогревал их, потом проращивал в ящиках с землей, а в феврале, когда еще стоят у нас холода и в горах лежит снег, Юй-гун посеял эти семена поглубже, в тот слой почвы, который не промерзает зимой. Пospела эта пшеница в мае, то есть наравне с посеянной в октябре, и урожай одинаковый с озимой! А это же великое дело — экономия времени три с половиной месяца; если осенью почему-либо не успеем управиться с посевом озимой пшеницы, так остатки можно посеять в феврале, на участках, предназначенных под летние культуры, урожай же будем собирать одновременно. Такой же опыт проделал Юй-гун с чумизой, и результат еще радостней: отличный урожай — три тысячи цзиней<sup>1</sup> с му!..

Секретарь волостной комсомольской ячейки Фан Ся-у, читая в газетах о том, как советская молодежь осваивает целину, задумал и у нас в Сяньгуаньмяо развернуть это движение. С несколькими своими друзьями, среди которых была совсем еще девочка, но уже заядлая опытнича Сю-луань, забрался он на самую вершину Суншаня, которая считалась совсем непригодной для земледелия. Выбрали там один уступ и в свободное от работы время принялись его вскапывать и дробить. Натаскали туда корзинками земли из расщелин и трещин, подвели воду из горного ручья да и посеяли там пшеницу. Многие посмеивались над этой затеей, а старики даже возмутились: вольничает молодежь, безрассудно переводит и труд и семена — мыслимо ли на такой высоте, почти на голом камне и ветродуде что-нибудь вырастить?! Правда, в прошлом по великой нужде в каждой крупной земле пробовали некоторые безземельные бедняки сеять на этих крутизнах, но если и удавалось кому с такого «небесного» поля снять каких-нибудь двадцать — тридцать цзиней урожая, то считалось это чудом, милостью богов. Чаше же несчастные посевы выдувало дочиста горными ветрами, смывало ливнями. Особенно негодовал и хулил затею комсомольцев известный у нас ворчун — дядюшка Фан Фань: уж он-то за свои восемьдесят лет и мотыгой и голыми, скрюченными от вечной возни с поливкой и навозом руками переворочал немало всякой земли, правда не своей, а помещичьей, но и в коллективном хозяйстве он не последний мастер урожая. Могли бы посоветоваться с ним эти сопляки, прежде чем зате-

<sup>1</sup> Цзинь (кит.) — мера сыпучих тел, равна примерно 0,6 кг.

вать свои фокусы... Комсомольцы только улыбались учтиво на воркотню и плевки дядюшки Фаня, которыми он частенько провожал их на Суншань, и продолжали ползать по своему «поднебесному» полю. Они-то были твердо уверены, что возьмут силой и знаниями у природы то, что хотят. Словом, вырастили они на своем участке такой урожай — тысяча восемьсот цзиней с му! — что даже самые старые жители Сяньгуаньмяо не жалели своих ног, чтобы забраться на вершину Суншаня, подивиться и полюбоваться «поднебесной» пшеницей.

Пришел туда в конце концов и дядюшка Фань, долго-долго сидел у рослой и густой пшеницы, в молчаливом раздумье посасывая свою погасшую трубочку... Теперь, если бы вы поглядели на гору Суншань, то увидели бы, что до самой макушки покрыта она террасами, как пчелиными сотами,— полями нашей народной коммуны «Дунфын» (что означает «Восточный ветер»), — возделанными нашими юйгунцами... С той поры стали мы замечать, что дядюшка Фань вроде даже начал ухаживать за комсомолкой Сюлуань, той самой, что вместе с подругами юйгунками выращивала «поднебесную» пшеницу, подружился и с другими молодыми опытниками, стал посещать занятия в народном университете.

Всегда люди знали, что дерево грецкого ореха дает плоды только на тринадцатом году своей жизни. А наши мичуринцы взяли да к старому, многолетнему корню этого дерева прирастили молоденькие деревца — отводки — и уже через три года получили с них первый урожай орехов. Или заметили юйгунцы нынче весной, что батат что-то плохо развивается: цветет пышно, а клубни почти не наливаются, мелкие и худосочные. У бобов же, наоборот, сильно разрослись корни, а цветение и стручкование замедлилось. Значит, у батата больше сил в стеблях, а у бобов — в корнях, как раз вопреки тому, что надо тому и другому, чтоб дать хорошие плоды. Наши опытники скрестили батат с бобами, и родилось на поле новое растение — на корневище крупные, упитанные, как поросята у хорошей матки, клубни батата, а на ботве увесистые, ядерные бобовые стручки... Есть, знаете ли, такой алый цветок, у нас он называется «фэньсиньхуа» — «недотрога», еще называют его «цидасяо» — «девичьи ноготки», потому что его лепестками деревенские девушки украшают свои ногти. Пожалуй, только этим и полезен фэньсиньхуа. Так вот, кому-то из мичуринцев пришло в голову породнить «недотрогу» с хлопчатником, и что же получилось? Коробочки хлопчатника стали наполняться не только белым, как обычно, но и розовым пушком-волокном. Значит, будет у нас скоро и натурально красная хлопчатобумажная ткань.

Да мало ли еще других удивительных, прямо-таки чудесных перемен произошло и происходит в жизни, в людях, в природе Сяньгуаньмяо, заставляющих не только дядюшку Фаня, но и других старых людей как бы снова рождаться и заново познавать весь окружающий мир. Конечно, далеко не всем приходится это по душе, потому что новые знания поколебали и разрушили в душах людей многие извечные основы старой веры, священные заветы предков. Хотя у нас в Сяньгуаньмяо много людей, особенно молодых, которые уже почти освободились от старых верований, предрассудков, и таких людей с каждым днем становится все больше, однако сильно еще и многобожие. Среди наших верующих есть и буддисты, и даосисты, и конфуцианцы, есть и христиане, католики, протестанты, обращенные в эту веру миссионерами с Запада. Но и сейчас у нас никто никому не мешает, не запрещает придерживаться той веры, какая ему по душе, молиться в том храме, какой ему нравится. Народная власть даже помогла верующим восстановить и поправить некоторые древние, не очень-то сберегавшиеся прежними правителями пагоды и кумирни. Между этими многими верованиями и храмами издавна шли глухая междоусобица и споры, но теперь у всех у них появился один сильный и молодой противник — наша революционная философия. На стороне ее были сама новая жизнь и свободный дух народа. И вот пришла пора, когда два эти течения столкнулись в открытом поединке. Начался этот спор между верующими и неверующими внутри крестьянских дворов, в семьях, на полях и в бригадах кооперативов, а потом разлился многолюдной и жаркой дискуссией по всей волости. Неверующие почти-точно просили каждого из верующих, преимущественно людей преклонных лет, какому бы культу они ни поклонялись, а также проповедников и священнослужителей изложить главные каноны и заповеди, раскрывающие и подтверждающие их верования, и показать, как их божества помогали в прошлом и помогают ныне жителям, труженикам

Сяньгуаньмяо. Насчет старины, прошлого, им было легче говорить — мало ли живет в народе разных, вызывающих священный трепет в простых крестьянских душах рассказов и песнопений о чудесах и великих деяниях небожителей, будд и святых предков; в каждой фанзе есть свой семейный каменный, медный, а чаще всего глиняный будда, а иногда и несколько семейных святых, которым за совершенные некогда для очень отдаленных предков благодетельные продолжали поклоняться, возносить молитвы и возжигать жертвенные курения все последующие поколения. А что уж говорить о храмах — там, кроме Сакья-Муни, Амиты, Бодисатвы, Лао-цзы, Конфуция и Христа, прямо-таки тесно от тысяч разных будд, и за каждым числится какая-нибудь высокая добродетель, которой должны следовать смертные, или божественный подвиг, свершенный для людей. Попробуйте-ка проверьте, было ли это когда-нибудь на самом деле!.. Когда же надо было доказывать, что божественная воля и провидение и сейчас управляют всем земным существованием и людьми, тут даже самым умудренным, искусным проповедникам было трудновато спорить с любым из наших слушателей, потому что на стороне верующих были только древние сутры да отвлеченные «истины», а неверующие выдвигали против них живые, рукотворные, неопровержимые факты и истины нашей жизни и науки, достижения труда строителей новой жизни. Наши пропагандисты рассказывали людям о научных законах развития общества и природы, о том, как сейчас наш народ под руководством партии и своего народного правительства побеждает вечные стихии природы, еще недавно считавшиеся проявлением божественной воли и небесных сил, совершенно необоримых человеком. А живые факты каждый мог видеть у нас в Сяньгуаньмяо — это и водохранилища на Инхэ, навсегда избавившие наши поля от засухи и наводнений, и опытные участки юйгунцев, на которых выращены такие урожаи, каких никогда не видывали наши земледельцы, такие новые злаки и растения, какие раньше приняли бы за божественное чудо, словом, еще много всего, что сейчас рождается, расцветает в нашей горной деревне...

...Уже пегухи прокричали свою вторую и третью «стражу»<sup>1</sup>, и осенним рассветом заголубела сверху застекленная, большей частью заклеенная бумагой решетчатая стена комнаты, где мы сидели при свете двух керосиновых ламп, а товарищ Сюй увлеченно рассказывал одну за другой и все более интересные и яркие свои живые истории о людях и событиях в Сяньгуаньмяо. Товарищ Сюй был не только отличным рассказчиком, но и шошуды и артистом. Усталость и переполненность впечатлениями этого дня, однако, сказывались: мы с Таном записывали их все короче, конспективней. Между тем истории эти заслуживают того, чтобы их передать с теми живыми подробностями, какие запечатлела память...

## 5

Восьмидесятилетний Фан Жуй-сю, из середняков, имевший раньше клочок своей земли и осла, известен был в деревне своим молчаливым трудолюбием, строгим соблюдением старых крестьянских семейных обычаев и почитанием священных заветов. Он не жалел последнего медяка, чтобы в дни поминовения предков сжечь благовонную сандаловую палочку, жертвенные бумажные «деньги» в кумирне или перед домашними буддами.

Дядюшка Жуй-сю уже давно жил одиноко в своей фанзе: два его сына не вернулись с войны, а старуха померла несколько лет назад; еще в кооперативе старому Фану было предложено перейти на «пять обеспечений» (полное обеспечение), а когда создалась народная коммуна «Дунфын», поселиться в доме для престарелых, но старик молчаливо отмахнулся от этих почетных предложений и продолжал исправно выходить на полевые работы, как правило, раньше всех в бригаде или звене и, покряхтывая да поскрипывая своим согбенным сухим телом, допоздна возиться то с рассадой, то на прополке или подкормке посевов. От обучения грамоте он отказался, сославшись на ослабевшее зрение и память, так это и было на самом деле, но частенько захаживал к нам на занятия в университет; темный, как высушенный гриб, в своей соломенной шляпе, он присаживался на корточки где-нибудь в сторонке и молча прислушивался к беседе;

<sup>1</sup> Ночь с древних времен в Китае делилась на «стражи» — пять двухчасовых отрезков с семи часов вечера до пяти часов утра.

старческая дрема часто клонила его голову к раздвинутым коленям, так что трубка вываливалась из его двух уцелевших зубов...

И вот уже более года соседи не замечали, чтоб старый Жуй-сю заглядывал в кумирню, и из его фанзы не доносилось больше аромата жертвенных курений.

Когда в Сяньгуаньмяо разгорелась дискуссия между верующими-многобожцами и неверующими слушателями нашего народного университета, на этих горячих и долгих сборищах появился и дядюшка Жуй-сю, как всегда молчаливый, думающий какую-то свою стариковскую думу, не выпускающий из сморщенного рта каменного наконечника длинного чубука своей трубки. И вдруг однажды, после выступлений таких же пожилых, как он, защитников Сакья-Муни и Лао-цзы, поднялся с корточек дядюшка Жуй-сю, подавая тем самым знак, что он хочет высказаться. К всеобщему удивлению, дядюшка Жуй-сю произнес, наверное, первую и самую длинную в жизни речь на людях.

— Семьдесят лет, с малолетства и до прошлого года, веровал я в будд и силы небесные, старался всегда следовать всем законам и заповедям святых предков. Кто скажет, что это не так? — начал старый Жуй-сю, опираясь обеими руками на кленовый посошок. — А сколько я за свою жизнь сжег жертвенных денег и благовонных свечей в кумирнях и перед своими домашними буддами — этого и не перечесть. Но вот что-то не помню я, чтоб хоть раз в жизни будды как-нибудь откликнулись на мои молитвы, помогли мне в нужде или вызволили меня из беды, а этого у меня всегда было и в фанзе и на поле больше чем достаточно. Пусть кто-нибудь из бедняков да из середняков расскажет про будд что-нибудь другое. Кому хоть раз в жизни прямо в руки или в рот перепала небесная милость?.. Амитофо, амитофо! Помилуйте, боги, бедного земледельца от еще горших бед и гнева своего — только об этом мы и могли молить будд... А что теперь происходит в нашей жизни у всех у нас на глазах? Председатель Мао говорит нам: стройте свою жизнь сами, не надейтесь на будд и небо, не бойтесь их гнева и напастей, берите у земли, у природы все, что надо для жизни и счастья людей... Поглядите-ка, сколько перемен произошло у нас в Сяньгуаньмяо, как жизнь посветлела и потеплела. И хоть мы еще не богачи, но все сыты и не боимся за завтрашний день. Если уж и будет трудно, так всем вместе, а вместе-то, сообща, легче и беду одолеть. Вот у меня нет ни сыновей, ни внучат своих, но не одиноким я доживаю свой век: кооператив, а теперь вот народная коммуна — это и есть большая и дружная моя семья, и я в ней не последний человек... И тут уж будды совсем ни при чем... Так вот, на закате своих дней я хочу все-таки заставить их, своих старых будд, что стоят у меня в фанзе и у могил моих предков, хоть немножко расплатиться за все жертвы, какие я им принес, за все мои молитвы. Хочу заставить их послужить не только мне, но и всей нашей народной коммуне, — отдаю я своих будд на удобрение... Благодарю всех за то, что выслушали мои стариковские слова...

Фан Жуй-сю низко поклонился на все четыре стороны и сел снова на корточки.

Надо пояснить, в чем тут дело. Еще осенью позапрошлого года по всей провинции Хэнань началось широкое движение за повышение урожайности на полях, особенно зерновых культур. С созданием в Сяньгуаньмяо народной коммуны борьба за высокий урожай развернулась еще шире и горячее — глубокая вспашка всей земли, закладка местных удобрений в таких масштабах, что надо было использовать все, что могло усилить плодородие почвы, подкармливать посевы. А давно известно, что старая, обработанная, прокаленная глина, глиняные изделия, глинобитные постройки — это неплохое удобрение, укрепляющее и структуру почвы. Земледельцы уже вложили в поля все, что можно было из этого вида удобрения найти в деревне. Фан Жуй-сю предложил для этой цели своих глиняных будд. А их в деревне действительно полно в каждой фанзе, у могил предков и даже на полях и дорогах.

Конечно, речь старого Жуй-сю вызвала целый переполох и большой шум среди верующих, да и некоторых неверующих: молодежь, многие сознательные из пожилых членов народной коммуны дружно одобрили и поддержали это смелое предложение; другие расценили его как неслыханное святотатство и оскорбление памяти предков. А некоторые кричали, что старый Жуй-сю просто выжил из ума или в него вселился черт и что довела старика до этого новая философия...

На следующий день утром дядюшка Жуй-сю вынес из своей фанзы трех разного размера глиняных будд, на глазах у соседей и ребятни раздробил святых на камен-

ной плите молотом и, насыпав их прахом две корзины, согнувшись в три погибели под бамбуковым коромыслом, но с просветленным лицом, торжественно принес «священное» удобрение на ближнее поле. Вслед за ним из других дворов с такой же ношей на плечах или с тачкой направились на поля многие молодые и старые жители Сяньгуаньямя — активисты и рядовые члены народной коммуны «Дунфын». За несколько дней в деревне было ликвидировано больше полутора тысяч глиняных будд личного пользования и заготовлено немало ценного удобрения. Если посмотреть на это дело поглубже, то можно сказать, что вместе с буддами из многих фанз и дворов, да и из сознания, из душ сотен земледельцев были выселены тысячелетние предрассудки и вечные владыки еще недавно темной и полуголодной горной деревни, выходящей сейчас на светлую и просторную дорогу новой жизни. Конечно, никто не понуждал никого из верующих таким же образом, как дядюшка Жуй-сю, кончать со своими домашними святынями и своими верованиями, никто не тронул будд в храмах, которые еще посещаются многими людьми по вековечной привычке. Кое-какие будды из тех, с которыми их владельцы хотели разделаться, были по общему уговору сохранены как произведения народного мастерства и памятники старины — в скором будущем откроется в народной коммуне «Дунфын» свой исторический музей...

Вскоре в Сяньгуаньямя произошло еще одно, пожалуй более значительное, событие, тоже связанное с использованием многовековых святынь деревни в новой ее жизни, на благо всему народу...

Прибыл из города в Сяньгуаньямя первый генератор, который жители прямо-таки на руках вознесли в горы. Но тут встал вопрос: где и как установить генератор — нужны для него крепкий фундамент и новое большое здание. Сразу же их не построишь, да и дороговато обошлось бы это сооружение, а уж так не терпелось всем поскорее пустить в ход пятисоткиловаттного красавца богатыря. Товарищ Сюй не мог вспомнить, кому первому в Сяньгуаньямя пришла в голову эта мудрая и смелая мысль — не попробовать ли использовать под электростанцию один из старых храмов, буддийских и даосских, которых, как уже говорилось, в Сяньгуаньямя и его округе сохранилось несколько; только в один или два из них в дни поминовения предков и праздники заходили старушки и старики совершить жертвенные воскурения, пощептаться с молчаливыми святынями. В одном-двух храмах жили старые служители, изредка устраивавшие большие моления. Конечно, не об этих действующих храмах шла речь, а о давно пустовавших и заброшенных, но еще достаточно сохранившихся. А ведь эти храмы выстояли не по одной сотне лет, выдержали паводки и горные обвалы и даже землетрясения — значит, фундаменты, стены и кровли у них вечной прочности. Руководители волости пригласили инженера из города осмотреть один-другой храм, посоветовались с местными специалистами-строителями — все считают, что вполне можно временно установить генератор в одном из них, конечно, кое-что в нем переделав и укрепив. Остановились на кумирне, построенной, как говорили некоторые знатоки истории и монахи, одним из правителей Хэнани века три назад на склоне Суншаня в честь божества долголетия. В храме сохранились только деревянные изваяния этого святого да пузатого и грозного будды-правителя и высеченные на каменных плитах письма с пожеланием миллиарда лет жизни этому земному владыке. Конечно, руководители коммуны не стали решать вопрос о храме без совета с народом, поставили его на рассмотрение созданного с этой целью волостного собрания народных представителей. Обсуждение предложения не заняло и пяти минут — решение было принято единодушно под рукоплескания и клики одобрения. И вот будду-правителя стащили с его каменного трона, выселили из его трехсотлетней темной обители и превратили ее в храм света и энергии для живых, для строителей новой жизни...

— День пуска электростанции, — закончил товарищ Сюй свое повествование, — был у нас в Сяньгуаньямя таким народным праздником, таким людским торжеством, какого, наверное, никогда не видывала на своем долгом веку ни эта кумирня, ни все древние буддийские и даосские храмы Суншаня... Вот к таким переменам в душах, в сознании наших горных земледельцев, да и во всей жизни Сяньгуаньямя, привели наши новые дела последних лет...

---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Профессор П. МАСЛОВ

★

## ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

**В** своих московских выступлениях вице-президент США Никсон затронул ряд вопросов, касающихся уровня жизни в его стране.

Конечно, господин Никсон прав в том, что Америка очень богатая страна. Еще бы! Америке очень повезло. На ее территории никогда не было военных разрушений и вообще военных действий, если не считать войну за независимость в позапрошлом столетии и гражданскую войну прошлого века. Америке повезло и в другом отношении: она щедро наделена естественными ресурсами — уголь, лежащий чуть ли не на поверхности земли, рудные ископаемые, прекрасные водные пути. И люди, начавшие разработку этих естественных богатств, были в те времена, можно сказать, цветом рабочей силы Шотландии, Германии, Польши и многих других стран, — эти люди, гонимые из Европы голодом, оседали в прошлом веке в Америке. И, наконец, отсутствие феодальных пут открывало «зеленую улицу» быстрому капиталистическому развитию.

Теперь США вышли на первое место в капиталистическом мире, особенно когда международные условия сделали их мировым банкиром.

Господин Никсон говорит: критика капитализма устарела потому, что капитализм стал иным. Конечно, капитализм сейчас другой, чем сто лет назад. Но что это меняет по существу? Будь то собственность отдельных лиц или собственность корпораций, девиз остается тот же: у кого мало, у того отнимается и малое, у кого много, тому и дается многое.

Мы здесь не будем останавливаться на всем известных вопросах о поляризации доходов в США — о том, какую действительно долю национального дохода получают трудящиеся массы. Выступления господина Никсона заставляют задуматься о другом: в чем же заключается различие в доходах американских и советских трудящихся? Правильно ли будет попросту поставить примитивную арифметическую задачу: установить, у кого доходы выше?

### О НЕКОТОРОЙ СУММЕ СЛАГАЕМЫХ

На первый взгляд понятие «доход семьи» не требует никаких дополнительных разъяснений. Но стоит лишь повнимательнее присмотреться, и становится очевидным, что это весьма сложная категория, где находит выражение сплетение многообразных экономических и социальных элементов. Тут просто арифметикой не обойдешься.

Рассмотрим не очень ясный для многих вопрос: что представляет собой доход советской семьи и в чем его особенности.

При социализме рост производства неизбежно ведет к увеличению потребления общества. Непрерывное повышение благосостояния народа — одно из важнейших требований программы строительства коммунизма в соответствии с законом общественного развития.

Если вы хотите проследить за уровнем благосостояния трудящихся при социализме, то прежде всего надо обратиться к динамике национального дохода, который является очень важным обобщающим показателем. В отличие от условий капитализма, в социалистических странах национальный доход полностью идет в распоряжение общества

и растет гораздо более высокими темпами. Так, например, в 1957 году национальный доход в СССР увеличился по сравнению с 1913 годом более чем в 20 раз, а в США — только в 3,2 раза.

Удовлетворение потребностей общества совершается за счет доли национального дохода, поступающей в народное потребление.

В условиях капитализма уровень жизни семьи рабочего целиком определяется заработной платой, а у крестьян — продажей на рынке продукции их хозяйства. В капиталистическом обществе каждый предоставлен самому себе, государство не заботится о повышении уровня жизни населения.

В условиях Советского Союза заработная плата не единственный источник дохода семьи: пенсии, пособия, выплаты по больничным листам, стипендии, премии и так далее также составляют вместе с заработной платой денежный доход каждой семьи. Это во-первых. Во-вторых, семья получает от государства ряд услуг и жизненных удобств, которые не носят денежной формы. Речь идет, например, о предоставлении мест в санаториях, о содержании детей в детских учреждениях.

Конечно, рабочие и служащие частично оплачивают эти услуги, но по сравнению с тем, что платит государство, это совсем ничтожная часть всех расходов. Обычно профсоюз берет на себя большую часть стоимости путевок в дома отдыха.

Допустим теперь, что трудящийся, покупая путевку, полностью ее оплачивает. Казалось бы, тем самым возмещены затраты государства на содержание домов отдыха. На самом деле это не так. Путевка в санаторий стоимостью в 1200 рублей за 24 дня считается у нас очень дорогой. Однако содержание медицинского и обслуживающего персонала, лечебное оборудование, гостиничный режим и многое другое — все это требует немало денег. Поэтому пребывание больного в санатории обходится государству дороже, чем в больнице (там это стоит около 50 рублей в сутки, не считая питания). Что касается стоимости пребывания ребенка в яслях или детском саду, то место здесь обходится государству в 500—600 рублей в месяц, родители же оплачивают не более одной пятой части расходов.

Помимо этого, значительные средства государство тратит на обучение детей в средней и высшей школе. Обучение одного студента в вузе, например, стоит 750—1000 рублей в месяц, не считая стипендии.

Все эти виды бесплатных или почти бесплатных государственных услуг не связаны с размерами заработной платы. Поэтому, естественно, особое значение они имеют для низкооплачиваемых и в известной степени содействуют выравниванию уровня жизни. Так, для работницы, получающей, скажем, 500 рублей в месяц, бесплатное или со значительной льготой пребывание ребенка в яслях представляет собой серьезную добавку к заработной плате. То же можно сказать и о бесплатном лечении, особенно в больнице.

Таким образом, «веер заработной платы» еще не говорит о дифференциации доходов советских семей. Распределение совокупных доходов, включающих и разные формы государственных дотаций, показывает совсем иной «веер». Поэтому судить об уровне жизни и о различиях в уровне жизни советских рабочих по одной заработной плате нельзя.

Реальный доход семьи складывается из многих частей, которые можно расположить по следующей схеме.

Денежная часть, куда входят: заработная плата, денежные дополнительные доходы (премии, стипендии, пенсии, пособия, прочие виды) и пособия и дотации предприятия и профсоюза (на путевки, на детские учреждения, премии натурой, прочие виды). Безденежная часть, которая состоит из безденежных дополнительных доходов (доплаты из государственного бюджета на обучение в начальной и средней школе, на обучение в вузе, повышение квалификации, дотация по квартире).

Отсюда видно, что заработная плата хотя и главная часть, но все же лишь часть семейного дохода. Поэтому партия и правительство ставят задачу повышения именно реального дохода трудящихся, то есть увеличения конкретных материальных и нематериальных благ, которые получают трудящиеся не только путем покупки товаров на заработную плату, но и в виде помощи, услуг в широком смысле.

Счевидно, что реальный доход семьи в той части, которая выражается в денежных



поступлениях (заработная плата, пенсия и так далее) определяется двумя факторами: уровнем цен и числом иждивенцев. Чем ниже цены, тем выше реальный доход семьи. Последовательное снижение цен за последние годы на многие товары содействовало повышению уровня жизни.

Понятно также, что чем больше иждивенцев приходится на одного работающего, тем ниже получается душевой доход на семью. Поэтому, когда государство берет на себя содержание престарелых (пенсия) и учащихся (стипендия), оно тем самым превращает иждивенца в так называемого самостоятельного члена семьи, то есть в имеющего самостоятельный источник дохода. Это очень существенный фактор в вопросе благосостояния советских людей.

Услуги со стороны государства (или, точнее, те расходы, которые непосредственно входили бы в семейный бюджет, если бы их не брало на себя государство) не выражаются в денежных поступлениях в семью, но, несомненно, являются составной частью реального дохода. Это становится особенно наглядным, если принять во внимание следующие соображения.

Всегда считалось, что чем выше процент расходов на питание от общей суммы затрат семьи, тем ниже уровень жизни. Об этом упоминает В. И. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России»: высота процента расходов на пищу «свидетельствует о низком жизненном уровне и составляет наиболее резкое отличие бюджетов х о з я и н а и р а б о ч е г о». Считать этот процент надо ко всем расходам семьи. В этом суть.

В условиях капитализма рабочий платит из своего бюджета и за обучение детей, и за лечение, и за страхование на случай безработицы, родов и старости. Если считать процент расхода на пищу только в сумме расходов, которые непосредственно несет наш советский рабочий, то получается величина, несопоставимая с такими же процентами у рабочих капиталистических стран. Ясно, что для сопоставления надо исчислять процент расходов на пищу ко всем затратам на жизнь, в том числе и к тем, которые принимает на себя государство. В этом случае статистика представляет нам интересные и поучительные данные: до революции рабочий расходовал в России на питание и жилище не менее 70 процентов своего бюджета (или заработной платы, что было одним и тем же); ныне эти расходы в бюджете советского рабочего (а бюджет, как мы видели, не совпадает с заработной платой), как уже указывалось в нашей печати, составляют около 40 процентов.

Отсюда можно сделать такой вывод: повышение этой доли семейного дохода представляет собой особый путь роста жизненного уровня населения страны социализма. В своем докладе на XXI съезде партии Н. С. Хрущев показал, что доля материальных и духовных благ, поступающая в распоряжение членов общества бесплатно, имеет важнейшее значение в развитии коммунистического принципа распределения.

## ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ

По мере продвижения нашего общества вперед все больше потребностей людей будет удовлетворяться исходя из коммунистических принципов распределения. Заработная же плата, в собственном смысле слова, если даже и будет абсолютно повышаться, то относительно ее роль в бюджете семьи будет снижаться.

Именно рост общественных фондов имел в виду Маркс, когда он писал: «Эта доля сразу же значительно возрастает по сравнению с тем, какова она в современном обществе, и будет все более возрастать по мере развития нового общества».

Таким образом, под общественными фондами следует понимать часть национального дохода, предназначенную для распределения не по труду, а по потребностям, то есть в соответствии с коммунистическим принципом распределения.

Что означает понятие «коммунистический принцип распределения»?

В форме заработной платы часть национального дохода (то есть того, что вновь создано в промышленности и в сельском хозяйстве в данном году) распределяется по труду: каждый получает здесь в соответствии с тем, что он заработал своим трудом. Коммунистический же принцип распределения заключается в том, что население получает блага и услуги в соответствии с потребностями. Возникает потребность, скажем,

в лечении — человека лечат. Его лечат бесплатно и учат бесплатно с малых лет, ему дают жилье и предоставляют возможность пользоваться всеми коммунальными услугами.

Конечно, такое наделение граждан по потребностям — вопрос пока еще не сегодняшнего дня. Потребности в жилищах, клубах и многом другом еще ждут полного удовлетворения, но дело к этому идет, и идет семимильными шагами. В государственном бюджете расходы на социально-культурные мероприятия не исчерпывают общественные фонды, так как создание предназначенной для этого части национального богатства (капитальное и жилищное строительство) проходит по другим статьям.

В этом смысле намеченные семилетним планом расходы государственного бюджета на социально-культурные мероприятия — 360 миллиардов рублей — не полностью показывают размеры общественных фондов, предназначенных для населения. Это и понятно, если учесть, что финансы не могут дать полного отражения ни объема национального дохода, ни его распределения, ни той части национального богатства, которая расходуется в соответствии с коммунистическим принципом распределения. Так, дотации государства по квартирной плате, расходы по строительству новых жилищ и по капитальному ремонту старых не относятся к социально-культурным мероприятиям. Это «невидимая» форма доходов граждан, дар, который по существу надо присоединить к реальному доходу семьи. Ниже мы вернемся к этому вопросу.

Как известно, семилетним планом предусмотрено, что выплаты и льготы со стороны государства составят в среднем около 3 800 рублей на работника в год. Если сюда присоединить стоимость строительства жилищ, культурно-бытовых и медицинских учреждений, то общая сумма в дополнение к заработной плате каждого работника составит не менее 4 600 рублей в год. Если в семье два работника и один или два иждивенца (случай, наиболее распространенные), то, естественно, семья получит еще больше дополнительных доходов.

Уже к концу семилетки удельный вес общественных фондов в бюджете семьи значительно возрастет. Чем больше наше общество будет приближаться к коммунизму, тем большее место будет занимать та часть национального дохода, которая распределяется по потребностям, то есть удельный вес общественных фондов, распределяемых индивидуально, в доходе отдельных семей будет возрастать.

Рост этой части доходов семьи будет опережать рост заработной платы. Распределение по потребностям будет развиваться быстрее, чем распределение по результатам труда. Такова одна из важных черт переходного периода от первой ко второй стадии коммунизма.

Особо следует отметить тенденцию, которая намечается в бюджете колхозной семьи. Как мы видели, удельный вес общественных фондов повышается в личном бюджете рабочего; подобно этому намечается резкое увеличение той части доходов колхозника, которая поступает из общественного хозяйства. Роль подсобного приусадебного хозяйства снижается. Из общественного фонда колхозов многое уже распределяется не только по труду, но и по потребностям.

Удовлетворение потребностей за счет общественных фондов возможно в двух направлениях: коллективное пользование (благоустройство, культурные и зрелищные предприятия) и индивидуальное (лечение, обучение, пенсионное обеспечение, пособия и стипендии, дотации по квартирной плате; премии сюда не относятся, так как они связаны с распределением по результатам труда). Часть общественных фондов полностью удовлетворяет потребности населения — лечение, обучение, пенсии и пособия. Расходы на эти цели производятся автоматически, по мере возникновения каждой отдельной надобности. Вместе с тем есть первоочередные потребности, которые удовлетворяются из тех же фондов, но пока еще по мере возможности, — жилища, воспитательные учреждения. И все усилия государства направлены на скорейшее удовлетворение и этих нужд. Об этом свидетельствует наш семилетний план. Жилищную проблему предполагается решить, как указано было на XXI съезде КПСС, в исторически кратчайший срок — в течение десяти—двенадцати лет. Последние постановления правительства о школах-интернатах и детских учреждениях говорят о том серьезном внимании, которое уделяется этой далеко еще полностью не удовлетворенной нужде.

О жилищных условиях — этом самом болезненном вопросе нашего быта — нужно сказать отдельно.

### ГЛАВНОЕ ИЗ ГЛАВНЫХ

Многие семьи у нас испытывают жилищную нужду. Здесь в значительной степени сказывается огромный ущерб, нанесенный жилому фонду страны в период Великой Отечественной войны. Известно, что фашистскими захватчиками полностью или частично было разрушено и сожжено свыше семидесяти тысяч сел и деревень и более тысячи семисот городов. Партия и правительство приняли все возможные меры для восстановления жилого фонда.

В нашей стране решение жилищной проблемы облегчается отсутствием частной собственности на землю. Государство может наиболее рационально планировать жилищное строительство.

Иное дело в условиях капитализма. Частная собственность на землю и земельная рента выступают здесь как непреодолимая преграда рациональному использованию строительных площадей. Достаточно сказать о надписи «private» на иных английских улицах, достаточно вспомнить о причинах строительства целого лабиринта небоскребов в Нью-Йорке: в условиях, когда несколько слоев золотых монет не оплачивает цены площади, на которую монеты наложены, строительство может идти только вверх, к небесам. Уродливые формы коммерческих казарменных построек 1912—1913 годов в русских городах («доходные дома») объясняются тем, что наибольшую прибыль извлекали из коечно-каморочных помещений; самый высокий доход был с «углов»; рабочая семья снимала комнату за сотню целковых в год и от себя сдавала углы другим семьям, сама так же ютась по углам. Это была самая распространенная форма коллективной аренды. Если владелец сдавал углы, ему приходилось платить промысловый налог.

Гримасы капиталистической собственности на землю в городах особенно заметны были в Москве. Запутанные переулки между улицами Воровского и Горького — нелепое наследие прошлого. Посмотрите на угол Кузнецкого переулка и Петровки, где сейчас находится Министерство речного флота. Только тот, кто был в Музее истории и реконструкции Москвы, может знать, откуда произошел этот небывало срезанный угол дома, образующий площадку в 24 квадратных метра тротуара. История этого угла — скорбная история купеческой Москвы. Владелец дома Хомяков специально срезал угол дома и огородил площадку, чтобы продать ее городу за баснословную сумму — двадцать тысяч рублей золотом, то есть дороже постройки самого дома.

Пути частной собственности на землю разорваны, и Советское государство может строить дома там, где удобнее, и так, как удобнее для населения.

Несмотря на отдельные случаи затянувшегося строительства, в целом рост жилого фонда в СССР идет очень высокими темпами. В среднем каждые полторы минуты одна семья в городах и рабочих поселках получает новую квартиру. Однако для полной ликвидации нехватки в жилье еще потребуется немало времени.

В настоящее время (по данным 1957 года) государство предоставляет гражданам СССР в наем без малого триста двадцать два миллиона квадратных метров жилой площади. Съемщики квартир заключают договор с государством. Этот договор может быть расторгнут только в случае, если съемщик будет портить квартиру, поэтому квартира, предоставленная трудящемуся, поступает практически в бессрочное пользование семьи. Плата за квартиру очень низка, при этом «символические» ставки квартирной платы дифференцированы в зависимости от заработка съемщика. Так как квартирная плата совершенно не окупает не только стоимости постройки, но и эксплуатационных расходов, то большие средства на содержание жилого фонда и его ремонт выделяются из государственного бюджета. Это часть тех самых общественных фондов, о которых мы выше упоминали.

Вот любопытный расчет стоимости стандартной квартиры в новом доме на Подмосковном шоссе (дом № 5)<sup>1</sup>. За квартиру в 34 квадратных метра жильцы платят 56 рублей 78 копеек в месяц. Расходы домоуправления на уборку, освещение подъездов, лестниц, двора, лифта и прочего составляют 2 рубля 78 копеек за метр, на квартиру в целом — 94 рубля 50 копеек. Стоимость постройки дома такова, что три амортизации в пятьдесят лет на каждый метр ложится 3 рубля 12 копеек в месяц. Иначе говоря,

<sup>1</sup> Исходные данные приведены в «Московской правде» от 7 августа 1958 года.

стоимость амортизации квартиры составляет 106 рублей 8 копеек. Жильцы, как сказано в жировке, платят 56 рублей 78 копеек. Таким образом, стоимость дотации из государственного бюджета составляет по этой квартире 143 рубля 82 копейки, что составляет на каждый метр 4 рубля 23 копейки.

В 1957 году доходы от квартирной платы и других поступлений по государственному жилому фонду выразились в Москве в среднем на один квадратный метр в 1 рубль 75 копеек, эксплуатационные же расходы равнялись 2 рублям 32 копейкам, а с учетом капитального ремонта — 4 рублям 31 копейке за квадратный метр. Иначе говоря, жильцы не доплачивают на каждый квадратный метр 2 рубля 56 копеек. За них платит государство. Если же считать только квартирную плату (обычно 1 рубль, во всяком случае не более 1 рубля 32 копеек), то дотация государства составляет не менее 3 рублей. Это не считая стоимости всяких подводок к дому, спрятанных глубоко под землей. Часто эти подводки, особенно в новых кварталах, дороже самой постройки дома.

В общем же трехрублевая дотация за квадратный метр жилья вырастает в целом по стране в величину, близкую к 11 миллиардам рублей в год.

Конечно, это расчет примерный, так как, к сожалению, у нас нет таких подсчетов — учесть издержки по эксплуатации всего жилого фонда очень трудно из-за его пестроты. Каждый город — это конгломерат построек, возраст которых колеблется в пределах до ста лет.

В текущем семилетии намечено построить в городах и рабочих поселках жилых домов общей площадью 650—660 миллионов квадратных метров (или около 15 миллионов квартир). Это почти равно городскому жилому фонду 1956 года и в 2,3 раза больше, чем построено в предшествующем семилетии. Если расходы государства на социально-культурные мероприятия составят в 1965 году 360 миллиардов рублей и если по-прежнему считать дотации по жилью по 3 рубля за квадратный метр и полагать, что общая жилая площадь составит приблизительно миллиард квадратных метров, то сумма составит уже около 363 миллиардов рублей.

Из расчета 10 рублей за доллар получается, господин Никсон, свыше 36 миллиардов долларов!

### ФАКТОР, КОТОРЫЙ НЕ СБРОСИШЬ СО СЧЕТОВ

Мы подробно остановились на тех жизненных ресурсах, которыми располагают наши трудящиеся и которых не имеют рабочие капиталистических стран. Конечно, организованные в профсоюзы рабочие стачечной борьбой могут добиться высокой заработной платы, и заработная плата у многих организованных рабочих в США действительно высока. Но разве возможны были бы в Америке такие ассигнования из бюджета на социально-культурные мероприятия, которые существуют у нас? Нет, даже такая богатая страна, как Америка, не смогла бы практически выделить такие суммы из своего государственного бюджета в 95 миллиардов долларов, не переделав коренным образом всю свою финансовую систему и в первую очередь отказавшись от бремени 63 миллиардов долларов на вооружение.

А у нас ассигнования эти растут, и растут гораздо быстрее, чем заработная плата. В этом одно из коренных отличий социалистической системы от капиталистической.

В нашей семилетке поставлена задача — повысить общий объем расходов государства на выплаты и льготы в 1965 году до 360 миллиардов рублей. Это более чем в полтора раза превышает затраты 1958 года. Такой рост социально-культурных расходов государства связан в первую очередь с увеличением числа пенсий. Сейчас на иждивении государства находится примерно двадцать миллионов пенсионеров. Вице-президент США Р. Никсон упоминал о пенсиях в США, но не сказал, сколько там пенсионеров. Отдельные пенсии ничего не говорят, надо знать, как эти пенсии влияют на жизненный уровень.

По статистике распределения доходов известно, что в США одних только нищих стариков, числящихся «без дохода или с неизвестным источником», один миллион, а из четырнадцати миллионов лиц старше 65 лет только 53 процента живут на социальное

страхование<sup>1</sup>. Если выделить самых обездоленных, получающих менее 500 долларов в год, то есть находящихся уже за «физиологическим порогом», то их окажется около четырех миллионов.

Теперь коснемся другой важнейшей статьи расходов из общественных фондов. Это расход на детей. У нас пять миллионов детей воспитываются в яслях, детских садах и домах, три миллиона триста тысяч учащихся получают государственную стипендию. Ежегодно в пионерских лагерях бывают свыше пяти с половиной миллионов детей. Этим форм общественной заботы о детях не знают Соединенные Штаты, так же как и другие капиталистические страны.

Прибавьте сюда три с лишним миллиона взрослых, которые лечатся и отдыхают в санаториях и домах отдыха за счет средств социального страхования и колхозов. Около семи миллионов многодетных и одиноких матерей получают государственные пособия. Все это вместе и дает представление о том, куда расходуются общественные фонды.

Нельзя игнорировать еще один важный фактор, определяющий уровень жизни советского народа. Это уверенность в завтрашнем дне. Если бы американский рабочий относился к грядущим дням так, как относятся к своему будущему наши рабочие и служащие, он прослыл бы беспечным, и общественное мнение его бы осудило. Для трудящихся в капиталистической стране уверенность в завтрашнем дне зависит от сбережений. Неумолимая логика действительности заставляет рабочих в странах капитала во что бы то ни стало сокращать текущие расходы (а следовательно, сжимать, обуздывать потребности), чтобы иметь минимальный фонд на случай безработицы и в старости. К этому же побуждает рабочего и частичная занятость — излюбленное предпринимателями средство смягчения острых противоречий труда и капитала. Нет ничего выгоднее для владельца фабрики, как нанять одного рабочего на три дня в неделю, а потом на столько же времени нанять другого. В этом случае рабочее место дает много больше продукции, чем обычная работа одного человека шесть дней подряд. Почему? Просто потому, что рабочий будет стремиться усиленным трудом обеспечить заработок, чтобы кормить семью все семь дней недели. Норма эксплуатации резко возрастает. К тому же создается видимость, что число безработных становится меньше. (Кстати, о частично занятых и о занятых не на своих работах господин Никсон ничего не упоминал. Но он не может отрицать, что это явление типично для американской действительности.)

При полной занятости рабочий вынужден довольствоваться небольшим заработком и пополнять, если есть возможность, свой бюджет из сбережений, накопленных им путем известных, влияющих на психику лишений. В буржуазных условиях с малых лет воспитывается скопидомство. Школьники уже в начальной школе наклеивают марки сберкасс на специальные книжки, которые им выдают, поощряя соревнование в накоплениях. Психология мелкого и жадного накопителя — обычное явление и у ребенка, и у подростка, и у юноши. Часто такие настроения вытесняют другие интересы, помыслы и рефлексы. Из ребенка вырастает обыватель со всеми свойствами этой породы людей — плоский кругозор, индивидуализм, отсутствие общественных интересов.

В отношении чиновников дело обстоит и проще и в то же время психологически сложнее. Казенная служба дает в дальнейшем пенсию, но работники частных компаний, где нет пенсий, получают более высокие оклады. У служащих бывают эмеритарные кассы: отчисляется часть жалованья, которая впоследствии выплачивается в виде накопленной суммы, заменяющей пенсию.

Советский рабочий не испытывает необходимости откладывать на «черный день». Он знает, что такого дня у него не будет, что ему не грозит безработица, что по достижении определенного возраста государство обеспечит его пенсией. Поэтому, как правило, денежные накопления у советских граждан предназначаются прежде всего для покупки предметов длительного пользования. Иными словами, все восемь десятков миллиардов, которые хранятся в наших сберегательных кассах, — это просто дополнительный потребительский фонд населения, «горячие деньги», как говорят в Америке, подвижные средства, то есть накопления, в любой момент поступающие в торговый оборот страны. Да,

<sup>1</sup> См. Научные записки Московского финансового института, вып. IX, М. 1957, стр. 161. Это данные четырехлетней давности, но позднейших специальных исследований не было.

господин Никсон, в переводе на доллары это ни много ни мало — восемь миллиардов, по вашему счету десять рублей за доллар.

Но дело не только в деньгах. Надо учитывать психологическую сторону вопроса. Конечно, наша твердая уверенность в завтрашнем дне создает душевное равновесие, которого лишены рабочие капиталистических стран. Отсюда разные условия для состояния нервной системы человека и, следовательно (при современных взглядах на роль нервов!), различные сроки изнашиваемости человеческого организма. Известно, что в капиталистических странах рабочему, достигшему сорокалетнего возраста, трудно удержаться на работе, так как предприниматель стремится заменить его молодым рабочим с неизношенным организмом. Только защита профсоюзов мешает непрерывному увольнению пожилых. Вновь же найти заработок старому, особенно малоквалифицированному, рабочему невозможно. Отсюда частые случаи самоубийства в преклонном возрасте.

Надо сказать и о другом. Человек живет не только сегодняшним и завтрашним днем. Человек живет перспективами. Предстоящее определяет настроение сегодняшних дней. В самой природе нашего нового общественного строя заложены тенденции к улучшению условий жизни, к расширению круга удовлетворяемых потребностей. Нет ощущения риска, нет игры шансов, нет сознания того, что личной жизнью управляют законы Монте-Карло, законы случайности. «У всех равные шансы перед судьбой», — утверждают американцы, каждому свойственно везение и невезение. Пусть так (оставляя в стороне случаи, когда судьба predetermined наследственной ответственностью). Но участие в этой игре миллионов людей не может создать уравновешенной психики, ибо игра интересов — это громадный расход нервных клеток и про-топлазмы.

Психологическая сторона и условия «амортизации» организма — серьезные факторы, определяющие уровень жизни. Они не поддаются денежному выражению, так же как не поддается материальной оценке и самый результат: удлинение жизни трудящегося, увеличение его работоспособного возраста и рост культурного уровня.

Возникает все же вопрос: есть ли обобщающий показатель, который мог бы объективно отразить условия жизни населения страны? Да, такой показатель есть. Это самый достоверный, объективный, беспристрастный и надежный свидетель. Это показатель смертности. Вот соответствующие данные для 1956 года. В СССР число умерших на тысячу человек населения составило 7,5 человека, в США — 9,4, а в Англии — 11,7.

Показатель высоты смертности никогда не обманывает. В свое время Маркс отметил, что чем ниже заработная плата, тем выше смертность. В наше время можно поставить вопрос шире: чем благоприятнее условия жизни населения в целом, тем ниже и смертность.

Рождаемость в Советском Союзе тоже выше, чем в других странах. Сдвиги в этой области наблюдаются и в других социалистических странах. Мы не приводим этих данных, чтобы не загромождать текста.

Все это говорит о многом. Пусть на свою заработную плату американский квалифицированный рабочий сегодня имеет возможность купить товаров больше, чем наш, у него и производительность труда выше. Но условия жизни там определяются только тем, что он покупает. Услуг «купить» рабочий в США уже сможет несравненно меньше, чем наш рабочий, а некоторые виды услуг ему вообще недоступны. И лечение там недоступная для большинства роскошь. И книги. И учение. У нас каждый ребенок при склонности может учиться в районной музыкальной школе. Практикуется ли обучение музыке в рабочих семьях Америки? Во всяком случае, в известном образцовом бюджете Геллера расходов на это (да и на лечение) нет.

### ПО ПОВОДУ ТОГО, ЧТО НЕ ЕДИНЫМ ХЛЕБОМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК

При капитализме в основу благосостояния кладется личный доход семьи, будь то предприниматель, рабочий или фермер. Доля рабочих и предпринимателей в национальном доходе определяется в борьбе соотношением их классовых сил.

Социализм стремится не только поднять уровень жизни каждого члена своего общества, но и повысить благосостояние коллектива. Отсюда — общественный фонд в

национальном доходе. Это вытекает из самой сущности социалистического строя, и это соответствует и душевному складу наших поэтов людей. Конечно, коллективистские **навыки** у нас присущи еще не каждому, некоторые люди в смысле психики стоят по пояс в прошлом. Но бесспорно одно: с каждым последующим поколением эти навыки будут расти, и в коммунистическом обществе уже окончательно личные интересы не смогут быть отделены от интересов общественных, индивидуалистическое понимание экономической жизни исчезнет.

Выходцам из капиталистического мира непонятны психологические мотивы хозяйственной деятельности, связанные с общественными побуждениями. Они пытаются измерить их, как говорится, на свой аршин. «Местные поселенцы,— писал однажды английский капитан об Игарке,— считают себя акционерами всех местных предприятий и всего поселка». Да, если так понятнее, мы действительно все считаем себя «акционерами» громадной фирмы под названием Народное Хозяйство Советского Союза. Это психологическое сознание принадлежности к коллективу возникает сразу после обобществления предприятий. Вся история развития нашей социалистической промышленности есть история развития коллективистского самосознания, сознания принадлежности к одной великой семье советских народов. Именно этим сознанием объясняется возникновение и развитие всех форм социалистического соревнования. Даже на заре индустриализации, когда не было механизмов и люди много работали вручную, помыслы были направлены на улучшение общего дела.

Высшая форма социалистического соревнования сейчас — бригада коммунистического труда. Провозгласить себя такой бригадой не означает бросить громкую фразу. Это значит определить точные и строгие нравственные правила. Нашими философами и экономистами еще не разработана теоретическая сторона нового явления — социалистического соревнования,— и практика его пока является как бы его теорией.

Когда господин Никсон упоминал о положении рабочих и о кратковременной безработице, получалось впечатление, что он как бы защищал право на труд. Однако так говорили все и всегда, так говорили, вероятно, еще Рамзес II и Хеопс. Не надо обижаться на аналогии,— вот Бисмарк, враг профсоюзов, 1 мая 1884 года в одной из речей заявил: «Да, я безусловно признаю право на труд, но при этом я нахожусь не на почве социализма, а на почве прусского земского уложения». О каком праве трудящихся может идти речь в условиях антагонистического общественного строя? О праве на существование?

В капиталистическом обществе, в силу природы вещей, рост благосостояния одного связан с разорением другого. Какие бы идеологические костыли ни подставлять дряхлеющему капитализму, процесс обогащения одних за счет разорения других будет идти своим чередом.

Всесторонне развитая личность как цель, общественная организация как средство — вот та практическая формула прогресса, которой движется вперед советский народ. Поэтому и психика советского человека иная, чем у жителя капиталистической страны.

Отсюда и разное восприятие действительности, отсюда и разная духовная жизнь.

Не единым хлебом жив человек, сказал господин Никсон, имея в виду духовные ценности.

Но развитие индивидуализма — это неизбежное зло капитализма, источник, обильно питающий грубейший практицизм и угрожающий национальной культуре оскудением животворных духовных сил, порывов и интересов. И разве мы не видим этого на множестве примеров?

Таковы некоторые мысли, которые приходят в голову после чтения московских выступлений вице-президента США Р. Никсона.



---

В. РОЖИН

★

## КАЖДОМУ ПО ТРУДУ

1

**В** прошлом году наши колхозы и совхозы произвели более восьми миллиардов пудов зерна. Но когда давнишняя мечта стала явью, жизнь предъявила уже новые требования: к концу семилетки нам нужно производить зерна не меньше десяти-одиннадцати миллиардов пудов в год! Это в два с лишним раза больше валового сбора зерна в 1953 году.

Такой размах закономерен. Растет социалистическое хозяйство, и вместе с тем развиваются его потребности: увеличивается спрос на продукты питания для людей, все больше требуется фуражного зерна, повышенный спрос предъявляет промышленность на сельскохозяйственное сырье, расширяются требования в порядке общественного разделения труда в лагере социализма.

Перед сельским хозяйством ставятся задачи поистине огромные. Огромные, но выполнимые.

У нас имеется все необходимое для их выполнения. Мы богаты землей, как никакая другая страна. Наши колхозы и совхозы вооружены передовой техникой, которая из года в год наращивается по количеству и улучшается по качеству, принимая на себя все более широкий круг трудоемких работ. В достатке — сознательные и опытные кадры колхозников. На каждый колхоз в среднем приходится около пяти специалистов с высшим и средним образованием, а на совхоз — и того больше; такой насыщенности квалифицированными кадрами не знали прежние крупные помещичьи хозяйства, ее нет и на современных фермах США. Помогает развитию сельского хозяйства и советская передовая наука. Мы то и дело узнаем о новых достижениях наших биологов, агрохимиков, представителей других научных областей.

Решения XXI съезда партии предусматривают высокие темпы дальнейшего роста сельскохозяйственного производства, повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции. В этом отношении серьезную, большую помощь колхозам и совхозам призвана оказать экономическая наука. Между тем экономисты-аграрники все еще подвергаются острой критике за отставание с разработкой коренных вопросов колхозного строительства, за недостаточную связь с практикой. И нужно прямо сказать: это заслуженная критика.

Нельзя вести многоотраслевое, крупное артельное хозяйство, не изучая себестоимости продукции и рентабельности отраслей, отдельных культур, видов скота. Нельзя быстрее, успешнее выполнить задание семилетнего плана о повышении производительности труда в колхозах в два раза, если не измерять уровня производительности труда, не следить за его динамикой. Без основных элементов экономического анализа невозможно правильно поставить хозрасчет в колхозах, подойти к установлению экономически обоснованных цен на колхозную продукцию, составить целесообразные нормы выработки и расценки по оплате труда колхозников. Во всем этом нужны твердые и ясные научные рекомендации, а их пока еще недостаточно.

В свете всего этого радует и обнадеживает тот факт, что на недавнем расширенном заседании Ученого совета Института экономики Академии наук СССР с участием экономистов-аграрников из союзных республик и практиков колхозного производства



были поставлены и по-деловому обсуждены жизненные вопросы дальнейшего развития общественного хозяйства колхозов в период развернутого коммунистического строительства.

Следуя указаниям великого Ленина, наша партия всегда держала в центре внимания организаторскую работу, неустанно воспитывая свои кадры в духе ленинских принципов. Именно этим во многом объясняются те значительные успехи в сельском хозяйстве и во всей советской экономике, которые достигнуты советским народом в последние годы.

В наши дни, по мере продвижения советского общества к коммунизму, все большее развитие получает социалистическая демократия, в решении государственных вопросов принимают активное участие миллионные массы людей. Это еще выше поднимает значение организационно-хозяйственной работы вообще, в частности в дальнейшем подъеме колхозного производства. «Мы еще недостаточно используем созданные уже возможности и хорошую материальную обеспеченность сельского хозяйства,— говорил Н. С. Хрущев на июньском Пленуме ЦК КПСС.— Главный недостаток — в слабости организаторской работы. Чем, как не слабостью организаторской работы, можно объяснить тот факт, что у нас наряду с колхозами, которые на 100 гектаров производят 150—170 центнеров мяса, есть колхозы, которые производят 2 центнера мяса на 100 гектаров земли».

После трех десятилетий совершенствования колхозного строя в нашей стране, после исторического сентябрьского Пленума ЦК партии (1953), явившегося рубежом в истории колхозного строительства, после решений партии и правительства, определивших целую систему мер, направленных на подъем колхозов,— после всего этого многое уже утряслось, отлилось в правильные формы, стабилизировалось. Но идти вперед, расти, мужать — это значит находиться в постоянном движении. Такова диалектика жизни. И есть еще в нашем сельском хозяйстве немало вопросов, задержка в решении которых теперь становится уже тормозом дальнейшего развития.

Мы остановимся лишь на двух проблемах, имеющих большое экономическое и социальное значение. Первая — это наиболее эффективные возможности подъема экономически слабых колхозов, упорядочение здесь оплаты труда. Вторая — ликвидация неоправданно резкой дифференциации оплаты труда колхозников в различных природно-экономических зонах страны.

## 2

Буквально рядом с тысячами передовых, стремительно шагающих вперед колхозов имеется немало отстающих, плохо использующих свои возможности. Они не выполняют обязательств перед государством, не осуществляют в должном темпе расширенное воспроизводство, не обеспечивают колхозникам необходимого уровня оплаты труда за счет артельного хозяйства. И суть дела тут не всегда только в людях, руководителях и организаторах труда колхозной деревни,— во всяком случае, сейчас мы имеем в виду не эту сторону вопроса.

В сельскохозяйственном производстве большую роль играют почвенно-климатические различия и различия в местоположении. Эти факторы обуславливают неодинаковые затраты живого труда и материально-денежных средств на производство единицы продукции, различный доход с гектара обработанной земли.

Под самой Москвой раскинулись поля колхозов Раменского района. Одинаковые ли они для сельскохозяйственного производства? Далеко нет. Одни колхозы расположены на песчаных почвах, которые требуют большого количества органических и минеральных удобрений, чтобы получить средний урожай, другие — на плодородной пойменной земле и при значительно меньших затратах дают более высокий урожай. По данным Всесоюзного научно-исследовательского института овощного хозяйства, в колхозах этого района урожайность овощей на суходольных землях в 1958 году составила 65,3 и на пойменных — 152,9 центнера с гектара. Такое же положение и в соседних районах Московской области: в Бронницком соответственно — 55,7 и 157,7; в Ленинском — 98,1 и 239,8; в Воскресенском — 28,4 и 203,4.

Затраты труда колхозников на обработку гектара земли, засеянной овощами, примерно одинаковы как на суходольных, так и на пойменных землях. Но при разной уро-

жайности и одинаковых реализационных ценах на продукцию доходность, получаемая с гектара земли, а вместе с тем и вознаграждение за труд колхозникам весьма различны.

Покажем это в более крупном плане, где частные случаи нивелируются в большом числе показателей. Таким примером может явиться расчет Всесоюзного научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства относительно себестоимости производства зерна в разных природно-климатических зонах страны. В колхозах Северного Кавказа себестоимость одного центнера зерна в 1954—1956 годах составила 44 рубля, а в колхозах Центральной нечерноземной зоны — 140 рублей. Государственная закупочная цена в 1958 году установлена для Северокавказской зоны 65 рублей и для Центральной нечерноземной — 85 рублей. Нетрудно подсчитать, что в первом случае колхозы получают по 21 рублю чистого дохода с каждого центнера зерна, проданного государству, а во втором — по 55 рублей убытка. Аналогичное положение с мясом и молоком. И это не удивительно: при дорогих кормах нельзя ожидать дешевой продукции.

Сказались ошибки в хозяйственной политике, проводившейся до сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953), когда непосильные заготовки по ценам ниже себестоимости ослабляли экономику колхозов; непомерная централизация планирования колхозного производства сковывала инициативу и творческие возможности.

Нужно ли вспоминать об этом теперь, когда многое уже устранено и исправлено? Думается, нужно, потому что исправлено не везде и не полностью, и это особенно сказывается на отстающих колхозах.

В экономически слабых колхозах постройки, инвентарь плохие, поголовье скота недостаточное, удобрений мало, урожайность низкая, задолженность кредиторам большая и непосильная. Все это не создает равных по сравнению с более мощными хозяйствами условий для производства, не приводит к единообразию себестоимости продукции, реализуемой по единым зональным ценам, не обеспечивает одинаковой рентабельности колхозного производства.

Этим и порождаются коренные причины экономического отставания колхозов.

Если экономическую политику всегда можно повернуть в нужную сторону, то изменение природно-климатических условий — дело весьма трудное и длительное. Можно повысить плодородие земли, но пока что мы не в состоянии регулировать выпадение осадков и заморозки, чувствуем затруднения в борьбе с суховеями и так далее.

Дальнейшее укрепление колхозов кадрами квалифицированных и опытных руководителей и специалистов остается и впредь делом первостепенной важности. Но экономически слабые колхозы нуждаются не только в этом. Им нужна действенная, практическая помощь со стороны руководящих, сельскохозяйственных и планирующих органов.

Речь идет о перестройке артельного хозяйства с таким расчетом, чтобы развились в первую очередь более эффективные и рентабельные в данной зоне отрасли и культуры, о более широком развертывании подсобных предприятий и промыслов для полноценного использования производимой продукции и выравнивания годового графика колхозного труда, наконец, о дополнительной экономической помощи в таких формах, которые способствовали бы повышению трудовой активности колхозников и на этой основе росту их артельного хозяйства.

Беда в том, что во многих колхозах трудовые ресурсы используются далеко не полностью. Это старый, наболевший вопрос, требующий к себе более пристального внимания, чем было до сих пор. Корни такого явления надо искать в организации производства, в структуре отраслей, а главное и решающее — это заинтересованность колхозников в артельном труде.

Ведь не секрет, что во многих экономически слабых колхозах создалось положение, при котором даже наиболее общественно активные колхозники не могут отдать весь свой труд артельному хозяйству. Почему? Да только потому, что оно не обеспечивает их материально. В этом случае колхозник во главу угла ставит заботу о своем подсобном хозяйстве, которое нередко превращается в основной источник существования. А приводит это к нежелательным результатам. Например, в колхозе «40 лет

Октября» Миньярского района, Челябинской области, в июле 1958 года работали 116 человек, привлеченных из города, в то время как 114 трудоспособных колхозников в это время занимались в своем подсобном хозяйстве. В колхозе имени Ленина Белоомутского сельсовета, Луховицкого района, Московской области, в 1957 году из ста тысяч трудодней, начисленных по всему колхозу, тридцать две тысячи были выработаны лицами, привлеченными со стороны,— рабочими шефствующих предприятий, студентами и школьниками.

Переброска рабочей силы из городов в колхозы на помощь в проведении сельскохозяйственных работ обходится недешево. Но и не в одном этом дело. Когда рабочие в ущерб своему производству идут работать на колхозные поля, а колхозники — на свои огороды, это не способствует делу дальнейшего укрепления колхозов. Труд колхозников, направленный не на развитие общественного производства, а на усиление личного подсобного хозяйства, не приближает нас к решению важной задачи, поставленной декабрьским Пленумом ЦК КПСС (1958), чтобы путем дальнейшего развития артельного хозяйства и более полного удовлетворения за его счет личных потребностей колхозников постепенно двигаться к сокращению их подсобного хозяйства.

### 3

Во многих колхозах, особенно Средней Азии и Закавказья, колхозники получают на выработанный трудодень по тридцати — сорока рублей и больше. Это превышает заработок рабочих совхозов и даже квалифицированных рабочих промышленности. На первый взгляд — отрадное явление. Так ли? При ближайшем рассмотрении оказывается, что повышенная оплата труда колхозников производится вовсе не в силу его высокой квалификации или интенсивности. Дело тут в другом — в распределении на трудодни части дополнительного чистого дохода, полученного за счет особо благоприятных природно-климатических условий, близости рынков сбыта и баз снабжения или же использования условий, созданных за счет капитальных вложений государства,— ирригации, мелиорации и т. п., или, по терминологии политической экономии, за счет дифференциальной ренты I и II.

И это имеет свои отрицательные стороны: колхозники, получая в избытке все им нужное за небольшое число выработанных трудодней, снижают трудовую активность, а их руководители мирятся с этим по той простой причине, что не ощущают недостатка в рабочей силе. Ведь в такой мощный колхоз всегда потоком идут люди со стороны. И мало кто задумывается над тем, что сосредоточение рабочей силы в одних колхозах при недостатке ее в других приводит к снижению производительности общественного труда в целом, затрундяет подъем экономически слабых колхозов.

Далее. Как известно, существуют поощрения работы колхозников на отдельных привилегированных культурах. В результате за выработанный трудодень или установленную дневную норму выплачиваются различные суммы. Нередко можно встретить такое положение. В годовом отчете колхоза значится выдача в среднем на трудодень, скажем, по десяти рублей, а начинаешь разбираться, видишь, что фактически по этой мере ни один колхозник не получал: одним из них пришлось по двадцати рублей на трудодень, потому что были заняты на льне или конопле, другим — всего лишь по два рубля, так как были посланы на «общие» работы. Сошлюсь на конкретный пример. В колхозе «Заветы Ильича» Брюховецкого района, Краснодарского края, в 1958 году на «общий» трудодень было выдано по восьми рублей двадцати копеек, а на «конопленный» — тридцать девять рублей!

Не приходится удивляться тому, что на работы с повышенной оплатой колхозники так и стремятся, а от работ, оплачиваемых по «общему» трудодню, уклоняются. В итоге некоторые поздние культуры — картофель, овощи — местами остаются на зиму необранными, сенокосы — нескошенными, скот не обеспечен кормами.

Деление колхозных работ на «выгодные» и «невыгодные» приносит вред. Это мешает выполнению всего комплекса колхозных работ, без которого нельзя правильно вести хозяйство.

В последнее время многие колхозы переходят к новой, более прогрессивной форме оплаты труда колхозников. За счет собственных средств они устанавливают гарантированную денежную оплату за норму выработки, без начисления трудодней, и ежемесячно выплачивают ее. Такой порядок влечет за собой повышение трудовой активности и рост производительности труда, имеет большое организующее значение.

На основе гарантированной денежной оплаты труда и умелого руководства работой колхоз «Красный партизан» Белгородского района и области, находящийся в равных почвенно-климатических условиях с другими колхозами района, наглядно опережает их по производственно-экономическим показателям. В этом колхозе всего лишь 180 трудоспособных, а он успешно справляется с обработкой такой же площади, что и колхоз «Красный Октябрь», где работают 580 колхозников. Мало того, и по урожайности и по доходности «Красный партизан» значительно опережает «Красный Октябрь», хотя последний отнюдь не отсталый колхоз в районе.

Успех дела особенно ярко показывает такой синтезирующий показатель, как валовая продукция на одного трудоспособного, участвовавшего в ее производстве. В колхозе «Красный Октябрь» в 1958 году она составила 7,5 тысячи рублей, а в колхозе «Красный партизан» — 30,3; оплата трудодня соответственно — 6,8 и 13,3 рубля; среднегодовой доход трудоспособного колхозника — 2 570 и 6 029 рублей. А ведь еще в 1954 году оба эти колхоза имели одинаковые отравные показатели: выдавали на трудодень по три рубля с полтиной.

Принципиальное отличие гарантированной денежной оплаты труда от начисления трудодней заключается в том, что колхозники получают заработанные деньги полностью и своевременно, знают, за что они работают. Иное дело при трудодне, там все загадка: сколько получишь за свой труд, когда — становится ясным лишь в конце хозяйственного года. Конечно, при новой системе оплаты на долю руководителей приходится забот больше. Раньше трудодней можно было начислять сколько хочешь, в них никогда недостатка не было, а вот денег зачастую не хватает, чтобы оправдать данную гарантию. Председатель колхоза «Красный Октябрь», о котором уже шла речь, Никита Павлович Дылев, говорит:

— Рубль заставляет думать и творчески подходить к решению производственных задач каждого колхозника, специалиста, руководителя. Делать все приходится более экономно и производительно. После перехода колхоза «Красный Октябрь» на гарантированную денежную оплату труда заметно улучшилось использование рабочей силы: там, где работали пять человек, теперь работают три, а то и два, причем лучше справляются с делом.

Но осуществление гарантированной денежной оплаты труда требует довольно высокого уровня экономического развития хозяйства.

А как же быть в экономически слабых колхозах, где нет ни реальных надежд на получение значительных текущих доходов, ни основательных перспектив на скорое образование специального фонда оплаты труда, создаваемого путем соответствующих стчислений из доходов колхозов при их распределении? Можно ли в них устанавливать гарантированную денежную оплату труда колхозников и на каком уровне?

Расчеты и практика показывают, что для экономически слабых колхозов дело это все же не под силу. Исходя из реальной средней оплаты труда за ряд лет, они могут установить и фактически обеспечить его гарантированную оплату лишь на низком уровне, который, естественно, не вызовет трудового подъема. А когда колхозы пытаются установить такой минимум на более высоком уровне, то оказывается, что они не в состоянии его выплачивать. В Киргизии, в Кара-Суйском районе, колхоз имени Ленина установил такую форму оплаты, но провести ее — силенок хватило лишь на два месяца. То же самое получилось и в колхозе имени Сталина Шилутского района, Литовской ССР. Естественно, что такая «гарантия» ничего хорошего не приносит.

Получается какой-то заколдованный круг. В экономически слабых колхозах материальная заинтересованность колхозников в артельном труде невысока. Ее обязательно нужно поднять. Средством для этого может служить прогрессивная форма оплаты труда. А чтобы перейти, скажем, на гарантированную оплату, хозяйство колхоза должно быть достаточно сильным. Как же выйти из этого положения?

На наш взгляд, на какой-то период времени наиболее действенным средством подъема экономически слабых колхозов явилось бы установление определенного, твердого минимума оплаты труда колхозников, гарантированного государством. Уровень этого минимума, очевидно, должен приближаться к размеру фактической оплаты труда в средних колхозах.

Таким образом, колхознику за его работу в артельном хозяйстве гарантировалась бы твердая плата. Это, конечно, способствовало бы повышению трудовой активности, что в свою очередь повело бы к подъему артельного хозяйства. По нашим приблизительным расчетам, отдача труда колхозниками общественному хозяйству увеличилась бы примерно на один миллиард трудодней. Этот дополнительный труд при правильном его использовании мог бы дать продукцию в таком объеме, что ее стоимость в первый же год перекрыла бы дополнительные затраты на выплату гарантированного минимума. При этом надо учесть, что потребность в государственных средствах на выполнение этой гарантии постепенно снижалась бы по мере экономического подъема отстающих колхозов.

Откуда же взять нужные средства?

Они могут быть получены в самом же колхозном секторе нашего сельского хозяйства, путем изъятия добавочного чистого дохода, образующегося у колхозов, работающих на лучших по плодородию или более удобно расположенных землях.

На этот счет в Основном законе о социализации земли, подписанном В. И. Лениным, говорится буквально следующее: «Излишек дохода, получаемый от естественного плодородия лучших участков земли, а также от более выгодного их расположения в отношении рынков сбыта, поступает на общественные нужды в распоряжение органов Советской власти».

С таким же основанием могут и должны быть изъяты в общественный фонд, в известной части, чистые доходы, получаемые колхозами с земель, подвергнутых коренному улучшению путем вложения государственных средств на ирригацию, мелиорацию и т. п.

Возьмем для примера колхоз «Москва» Октябрьского района, Таджикской ССР. Немногим более двадцати лет назад земли, занимаемые этим колхозом, представляли собой голую, выжженную солнцем, бесплодную пустыню. Но вот государство провело крупные ирригационные работы, построило оросительную систему, вооружило первоклассной техникой, и колхоз стал развиваться и процветать. Только за последние три года колхоз построил более полусотни добротных хозяйственных помещений, электрифицировал, телефонизировал и радиофицировал хозяйственные центры бригад и животноводческих ферм. Систематически повышает оплату труда колхозников: в 1953 году выдал на выработанный трудодень по 24,5 рубля, в 1956 году — 29,2, в 1957 году — 36,8 рубля. На мероприятия по социальному обеспечению и улучшению быта колхозников израсходовал в 1956 году 742 тысячи рублей, в 1957 году — 1700 тысяч рублей. Благоприятные условия, созданные природой и государством, обеспечивают колхозу высокорентабельную работу: на каждый затраченный рубль в хлопководстве он получил прибыли в 1956 году 2,9 рубля и в 1957 году — 5,3 рубля.

Будет ли справедливым, если часть дополнительного чистого дохода, получаемого этим колхозом (а подобных колхозов немало), изъять в государственный фонд и перераспределить в пользу экономически слабых колхозов, работающих на худших землях и потому, несмотря на все старания, несущих убыток от производства? Несомненно, да! Иного ответа быть не может. Ведь государственные средства могли быть вложены в обводнение не Вахшской долины в Таджикистане, а, скажем, Кулундинской степи Алтая, в осушение Барабинской низменности или болот Белоруссии. Результат был бы примерно тот же, но дополнительный чистый доход получался бы другими колхозами. И этот доход частично должен передаваться государству.

Не вдаваясь в подробности о формах и методах изъятия части чистого дохода в колхозах, работающих в особо благоприятных условиях, можно сказать, что такими формами должны явиться большая дифференциация закупочных цен на продукцию, реализуемую колхозами, и подоходного налога, взимаемого с них государством.

Такое изъятие части дополнительного чистого дохода (дифференциальной ренты) не должно означать приостановления роста общественного хозяйства артелей и личного материального уровня колхозников. Суть в том, что темпы этого роста должны идти прежде всего в пользу отстающих колхозов, подтягивания их к уровню средних и передовых.

Как все это может выглядеть практически?

Нам представляется, что надо создать специальный государственный фонд помощи экономически слабым колхозам за счет изъятия части дополнительного чистого дохода колхозов, пользующихся особо благоприятными природно-климатическими условиями, удобным местоположением или землями, подвергшимся коренным улучшениям за счет государства. Средства из этого фонда должны направляться в колхозы, работающие на худших землях и потому терпящие убытки от своего производства.

Конкретные формы помощи вырисовываются в следующем виде.

Экономически слабым колхозам могли бы предоставляться государственные кредиты на покрытие сезонных разрывов в суммах, недостающих для выдачи колхозникам установленной оплаты труда по гарантированному минимуму. Нужно сказать, что эту роль в последние годы в известной мере выполняют авансы заготовителей под сдачу колхозной продукции. Такая форма помощи для колхозов, близких к среднему уровню, может оказаться достаточной.

Другой и важнейшей формой помощи экономически слабым колхозам за счет специального государственного фонда могло бы явиться прямое финансирование хозяйственного строительства и приобретения основных средств производства. Причем это финансирование должно осуществляться в таких размерах и темпах, которые позволили бы уже в ближайшие годы подтянуть экономически слабые хозяйства к среднему по стране уровню оснащенности колхозов основными средствами.

Данная система государственной помощи решала бы одновременно две важные задачи: во-первых, помогала бы поднимать экономику слабых колхозов, а во-вторых, способствовала бы на практике усилению общенародной формы собственности.

И еще вот что важно. В связи с тем, что капитальные затраты пошли бы за счет специального государственного фонда, экономически слабые колхозы на известный период могли бы полностью или частично освободиться от необходимости отчислять в неделимые фонды соответствующие средства; их можно было бы переключить на увеличение фонда оплаты труда колхозников и таким образом довести ее до установленного гарантированного минимума в большинстве экономически слабых колхозов.

И, наконец, для особо слабых колхозов, экономику которых окажется невозможным поднять посредством описанных выше форм помощи, на первое время может потребоваться прямое денежное субсидирование за счет специального государственного фонда на покрытие разрыва между уровнем, оплачиваемым колхозникам за счет доходов колхозов, и гарантированным государственным минимумом.

Необходимо также освобождение баланса экономически слабых колхозов от непосильной задолженности.

Большую роль в подъеме экономики отстающих колхозов смогла бы сыграть такая мера, как изменение порядка обложения государственным подоходным налогом. Дело в том, что существующий ныне налог с колхозов называется «подоходным» формально, по существу он является налогом с оборота, потому что взимается финансовыми органами независимо от того, получил ли колхоз чистую прибыль или имеет убыток. Надо сделать так, чтобы налог этот стал действительно подоходным и прогрессивным, взимался с чистого дохода колхозов. Это заинтересовало бы и финансовые органы в повышении рентабельности артельных хозяйств.

Может возникнуть такой вопрос: а в принципе правильно ли будет, если государство возьмет на себя прямую поддержку денежными средствами экономически слабых колхозов?

На это, думается, следует ответить так: смотря по тому, чем объясняется экономическое отставание колхозов. Если оно результат беззаботного отношения к артельному хозяйству со стороны самих колхозников и их руководителей, то в этом случае нужно оказать организационную помощь в исправлении такого ненормального положения. Если же экономическое отставание является следствием обстоятельств, не за-

висящих от колхозов (работа на худшей земле, в зоне неблагоприятного расположения или других объективных причин), то государство должно помочь этим хозяйствам и создать нормальные условия для рентабельного ведения их производства.

Обратимся к практике работы государственных промышленных предприятий и совхозов. Разве у нас всегда и все предприятия находились на одинаковом техническом уровне при равно благоприятных условиях обеспечения сырьем, энергией, рабочей силой и были рентабельны, собственными накоплениями осуществляли расширенное воспроизводство, а доходами — своевременную оплату труда рабочих и служащих по установленным тарифам? Конечно, нет. Одни из них приносили чистый доход, а другие давали убыток и пользовались дотацией из казны. Но их производство было необходимо для общества, и они не закрывались. Благодаря помощи государства эти предприятия постепенно превращались из убыточных в прибыльные. Почему не поставить колхозы в такое же положение?

Колхозы, как и промышленные предприятия, получают государственный план продажи своей продукции в определенном количестве, по установленным ценам и выполняют его независимо от того, выгодно это им или убыточно.

При существующем порядке, когда государственные закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию колхозов устанавливаются по средним условиям производства дифференцированно для различных природно-экономических зон, часть колхозов, работающих на худших землях, отдаленных от пунктов сбыта и снабжения, и находящихся в худших производственных условиях, неизбежно попадает в положение, когда приходится реализовать некоторую продукцию ниже себестоимости. Получаемые при этом убытки покрывались и покрываются иногда за счет других, рентабельных отраслей производства, а чаще за счет неполной оплаты труда колхозников или за счет ослабления основных фондов колхозов. Естественно, что при таких условиях колхозы не могут как следует вести свое хозяйство. Для этих колхозов нормализация оплаты труда колхозников имеет исключительно важное значение. Таким средством, по нашему мнению, и может явиться установление гарантированного минимума оплаты труда колхозников, обеспечиваемого при помощи государства.

Здесь могут напомнить о том, что, мол, колхозная форма собственности еще не является общенародной, государственной. Это верно, однако она ведь тоже социалистическая, а колхозники, как и рабочие государственных предприятий и совхозов, — равноправные граждане Советского Союза со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.

## 5

Социалистической системе производства присущ экономический закон распределения по труду. В Конституции СССР записан основной принцип социализма: «От каждого по его способности, каждому — по его труду». Каждый трудящийся должен получить долю общественного продукта в зависимости от количества и качества выполненной работы: равную оплату за равный труд, более высокую оплату за квалифицированный, более производительный и тяжелый труд.

Работники государственных предприятий и учреждений в отношении заработной платы поставлены в более или менее равные условия на всех предприятиях и во всех союзных республиках. Колхозники находятся в особом положении. Оплата их труда далеко не одинакова не только вследствие различия их трудового вклада в артельное хозяйство, но и в силу различных природных условий, в которых они работают.

Не хотелось бы докучать читателю цифрами. И все же, думается, надо их привести: они яснее всяких слов рассказывают о том, где и как работают и что за это получают.

Если взять оплату трудодня колхозника в 1958 году в среднем по СССР за 100, то по Российской Федерации индекс составит 88, по Средней Азии — 170,3, Закавказью — 164,3, Казахстану — 137,4, а по западным районам страны — 82,3. В то же время выработка трудодней в колхозах идет в другом направлении: в колхозах Средней Азии она составляет 84,6 процента от общесоюзной выработки, в Закавказье — 62,9, а в колхозах РСФСР и Казахстана она превышает общесоюзный уровень — соответственно 113,9 и 118,4 процента.

Мы видим, что уровень оплаты трудодня наиболее высок в колхозах Средней Азии и Закавказья; в то же время именно здесь наименьшее количество трудодней, выработанных в артельном хозяйстве. Что же отсюда следует? А то, что за относительно небольшое количество трудодней при высокой оплате труда колхозники этих районов получают более солидные, чем в других зонах, средства для обеспечения своих потребностей.

В колхозах Казахстана повышенному уровню оплаты труда сопутствует и повышенная трудовая активность колхозников. Колхозы Украины и Молдавии приближаются к средним показателям по выработке трудодней и оплате труда.

Уровень оплаты труда в колхозах РСФСР, Белорусской и Литовской союзных республик значительно ниже общесоюзного; в колхозах наших западных республик выработка трудодней несколько пониженная, главным образом за счет Белоруссии и Литвы. Объясняется это просто: вследствие низкой оплаты труда колхозники вынуждены восполнять бюджет своей семьи доходами от личного подсобного хозяйства и заработками на стороне.

Члены артелей в РСФСР, Белоруссии, Литве получают на выработанные трудодни в среднем в два с лишним раза меньше, чем колхозники в Средней Азии и Закавказье.

Здесь надо оговориться. Мы оперируем трудоднями, но читатель может сказать, что трудодень не выражает одинакового количества труда, так как нормы выработки определяются каждым колхозом самостоятельно и они различны. Это будет справедливое замечание. Однако, как известно, учета в рабочих днях и часах в колхозах не ведут. Практикуемые же некоторыми экономистами и статистиками переводы трудодней в рабочие дни по коэффициентам ЦСУ, полученным на основе выборочного обследования или же по данным учета колхозами «выходов колхозников на работы», где каждый выход хотя бы на час-два приравнивается к рабочему дню,— не дают гарантии в большей точности. Кстати сказать, они не изменяют закономерностей приведенных соотношений.

Чем же оправдать такие резкие колебания в оплате труда колхозников? Может быть, чисто объективными условиями, вызванными климатическими особенностями и жизненными потребностями разных районов нашей огромной страны? Нет, это не так, ведь в районах Севера, Северо-Запада и Нечерноземного центра нужда в калорийной пище, добротной одежде, жилье и топливе выше, чем, скажем, в благословенных теплых краях, а вот уровень оплаты труда колхозников ниже.

Говоря о больших разрывах в оплате труда колхозников между отдельными союзными республиками и природно-экономическими зонами, нужно иметь в виду, что внутри их эта дифференциация еще более жесткая.

Примеры неоправданной пестроты в оплате труда, вызванной причинами, не зависящими от самих колхозников, можно найти в любой области. Все это говорит о неотложной необходимости проведения серьезных мер, направленных на некоторое выравнивание оплаты колхозного труда вообще, подтягивание ее в экономически слабых колхозах к среднему уровню в частности.

## 6

Проблемы, о которых здесь ведется разговор,— подъем экономически слабых колхозов, выравнивание оплаты труда путем перераспределения части дополнительного чистого дохода колхозов, работающих в особо благоприятных природных условиях,— не являются «новостью». В нашей печати они были поставлены наиболее остро и широко крупным экономистом, академиком С. Г. Струмилиным. В своей статье «Некоторые проблемы дальнейшего развития колхозного строя», опубликованной в № 5 журнала «Вопросы экономики» за 1958 год, ученый говорит: «Вся земля, обрабатываемая колхозниками, представляет у нас всенародное достояние, и если на одних участках она уже по своим природным качествам дает много больше, чем на других, то и эти излишки продукции на таких участках следует рассматривать как всенародное или, во всяком случае, всеколхозное достояние... Ни один из колхозов не повинен в том, что доставшаяся ему земля много хуже, чем в большинстве других колхозов». Каждое слово здесь — жизненная правда. Но мало сказать правду, нужно найти правильные пути воплощения ее в живую действительность.



Академик С. Г. Струмилин считает, что «объединение отдельных колхозов в единую систему в каждой области, республике и по всему СССР обеспечивало бы им прежде всего широкие возможности взаимопомощи... позволило бы выравнивать в порядке коллективной взаимопомощи и природно-экономические условия хозяйства в различных районах страны... В связи с этим в колхозной системе хозяйства пришлось бы договориться не только о нормах гарантированной оплаты труда во всех колхозах, но и о безобидном распределении накоплений в целевые фонды разного назначения в зависимости от различного уровня производительности труда и рентабельности отдельных хозяйств».

По нашему мнению, изъятие части чистого дохода, полученного колхозами в силу особо благоприятных природно-климатических и иных условий производства, и перераспределение его внутри колхозного сектора в пользу экономически слабых колхозов, работающих на худших землях, значительно легче выполнить при помощи сложившейся государственной системы сельскохозяйственных, плановых, финансовых и сбыто-снабженческих органов, чем через систему колхозов. Надо учитывать и то обстоятельство, что предложенная С. Г. Струмилиным форма объединения — Колхозсоюз — добровольная организация, в которую колхозы могут вступать, если считают это выгодным, а могут и не вступать. Какую же выгоду сулит экономически мощным колхозам вступление в Колхозсоюз, если идея его создания построена на изъятии доходов из мощных колхозов для перераспределения в пользу экономически слабых колхозов?

На этот счет не лишне прислушаться к отзывам практических работников. Председатель колхоза «Ания-Едаси» Харьюского района, Эстонской ССР, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда А. Ю. Сарап, учитывая, что создание подобного фонда возможно только за счет экономически сильных колхозов, говорит: «Мы не можем признать этот способ наиболее целесообразным в разрешении вопроса, так как в этом случае лучшие колхозы должны взять более слабые колхозы на свое иждивение. Несомненно, это вызовет у колхозников серьезные возражения». А С. М. Гусак из колхоза имени Кирова Херсонского района и области прямо заявил: «Мы согласны с созданием межколхозного денежного фонда в масштабе республики и в масштабе страны — на случай неурожая или других стихийных бедствий, но не на случай, чтобы богатый колхоз вывозил бедных. Хотя мы идем, как говорят, всем лагерем социализма к коммунизму, но нельзя выбивать инициативу из рук дерзающих. Кто дерзает, тому надо давать дорогу, чтобы он дерзал дальше».

И все же при наличии некоторых расхождений в путях и методах решения поставленной проблемы нельзя не согласиться с академиком С. Г. Струмилиным в главном — в том, что подъем экономически отсталых колхозов и в известном смысле слова выравнивание условий работы для всех колхозов — дело исключительной важности и срочности. Повторяем, средства для этого могут быть получены в самом колхозном секторе нашего социалистического сельского хозяйства.

## 7

Коснемся коротенько тех возражений, которые могут быть выставлены против основного нашего предложения — установления твердого минимума денежной оплаты труда колхозников экономически слабых колхозов, гарантируемого государством.

Введение твердого минимума, возможно, будет кем-либо расценено как проявление некоторого рода иждивенчества и «собесовщины». Это, конечно, не так. Ведь имеется в виду не безвозмездная помощь, а плата за труд, целесообразно вкладываемый в общественное производство, в результате которого будет создана дополнительная продукция.

А не приведет ли введение гарантированного минимума к растранижированию трудней, а вместе с тем и государственных средств на их оплату? Такая опасность действительно существует. Но выход есть и здесь. Чтобы не допустить возможности приписки трудней или норм выработки, надо, во-первых, улучшить работу по нормированию и тарификации и усилить контроль за правильным их применением, во-вторых, создать правильную систему учета и контроля в колхозах. Этот вопрос, кстати отметим, касается всех колхозов.

Нам могут сказать: установление твердого минимума оплаты труда колхозников экономически слабым колхозам, гарантированного государством, означало бы превращение их в разновидность совхозов. С этим также согласиться нельзя. Колхозы, которые будут пользоваться таким минимумом, не теряют своей кооперативной сущности ни в смысле управления, ни в смысле распределения доходов. Тут уместно сослаться на практику некоторых стран народной демократии, где государственный гарантированный минимум оплаты труда членов производственных сельскохозяйственных кооперативов успешно применяется. Он применялся и у нас в отношении трактористов МТС и положительно сказался на закреплении их и повышении трудовой активности.

Да и нет экономической целесообразности в переводе слабых колхозов на совхозное положение. Интересную и поучительную работу провел Институт экономики Академии наук Латвийской ССР. Исследования, проведенные его научными сотрудниками, показали, что совхозы, образованные на базе экономически слабых колхозов, во второй год их хозяйствования дали прирост продукции по сравнению с тем, что давали поглощенные ими колхозы, на 25 миллионов рублей. Но зато дополнительные производственные затраты на эту продукцию составили 47 миллионов рублей! В результате единица продукции в этих совхозах обошлась государству значительно дороже, чем при производстве в колхозах. Это также следует учитывать при решении конкретных вопросов о путях подъема экономически слабых колхозов.

Твердый минимум оплаты труда колхозников, гарантированный государством, может быть установлен не для всех областей страны, а лишь для тех, где сельскохозяйственное производство затруднено в силу особо неблагоприятных природно-климатических условий. Зачем, например, такой минимум распространять на Ставропольский край, если в нем имеется лишь один колхоз, который выдал в 1958 году меньше пяти рублей на трудодень? Надо полагать, местные организации сумеют поднять его экономический уровень своими силами и средствами.

Размер гарантированного государством минимума оплаты труда колхозников может быть дифференцирован в зависимости от трудности работы и прожиточного минимума, связанного с природными условиями. С ростом экономики колхозов и возможностей государства он может изменяться.

Самый факт расходования государственных средств на оплату труда в отстающих колхозах неизбежно заставит местных руководителей более глубоко изучать экономику каждого колхоза, отыскивать пути повышения рентабельности их работы.

\* \* \*

Гарантированная оплата труда колхозников, осуществляемая в экономически слабых колхозах при помощи государства, является именно тем средством, которого недостает в системе мероприятий, проводимых государством по подъему таких хозяйств. Ее нельзя рассматривать как некое универсальное средство, способное самостоятельно решить проблему подъема экономически слабых колхозов. И в то же время без гарантированной оплаты труда, по нашему мнению, нельзя добиться полноценного участия колхозников в артельном труде, значит нельзя и рассчитывать на нормальное ведение хозяйства артели, на доброкачественное и своевременное выполнение всего круга сельскохозяйственных работ. Только сочетание всех мер, проводимых партией и правительством по дальнейшему подъему колхозов, с нормализацией оплаты труда колхозников, с оздоровлением баланса и укреплением основных фондов экономически слабых колхозов может дать желаемый эффект — вывести экономически слабые колхозы на путь быстрого подъема.

Колхозное производство, и прежде всего в экономически слабых колхозах, требует закрепления на работе колхозников, особенно молодежи. Решение этого вопроса тесно связано с твердой оплатой труда, повсеместной нормализацией социального обеспечения колхозников и пвышением уровня культурной жизни на селе.

Гарантированную оплату труда колхозников надо считать вполне закономерной категорией социалистического общества, которая, разумеется, требует дальнейшего совершенствования и укрепления на обозримый период социалистического строитель-

ства. Государственную помощь экономически слабым колхозам в осуществлении гарантированного минимума оплаты труда колхозников следует рассматривать как меру временного порядка. Размеры этой помощи будут постепенно сужаться по мере экономического подъема слабых колхозов, по мере их способности осуществлять эту гарантию своими собственными силами и средствами.

Наряду с возможно быстрым установлением гарантированной оплаты труда колхозников, осуществляемой в экономически слабых колхозах при помощи государства, необходимо развитие и совершенствование основных экономических рычагов государства по регулированию колхозной экономики. Здесь надо иметь в виду прежде всего осуществление на деле правильного планирования колхозного производства применительно к лучшему использованию природных условий; эквивалентный обмен между городом и деревней; установление государственных закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию с учетом ее стоимости; налоговое обложение колхозов исходя из размера получаемой ими чистой прибыли; приспособление кредитов к особенностям колхозного производства; научную разработку экономически обоснованных норм и расценок по труду.

Подъем экономически слабых колхозов и выравнивание оплаты труда колхозников при общем ее повышении — необходимые условия успешного движения всего колхозного фронта по пути развернутого строительства коммунистического общества, осуществления закона социализма: от каждого по способностям, каждому по труду, слияния двух форм социалистической собственности в единую коммунистическую.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. КОНСТАНТИНОВ

★

## БЕДЫ ОПИСАТЕЛЬСТВА

**П**овесть начиналась с того, что молодой человек, ничем не примечательная внешность которого была описана чуть ли не на двух страницах, вышел из дому и направился к трамвайной остановке. Было раннее утро, и все, что мог сообщить о нем автор, было предложено вниманию читателя — свежесть воздуха, и лужи, оставшиеся после поливки тротуара, и запах листвы в скверах. О каждом шаге молодого человека автор рассказывал, не чураясь подробностей. Он как бы вооружился камерой с круговым обзором и, ни на секунду не закрывая затвора объектива, фиксировал все вокруг: дом с поврежденной штукатуркой — и распускаявшиеся листья, окно возлюбленной — и мусор в совке дворника. Всему нашлось место. Так шел молодой человек, и так рядом с ним шло описание всего того, что мог видеть он или пожелал видеть автор, — так шли страницы. К исходу энной герой стоял на трамвайной остановке, но фиксирующее устройство в руках автора не переставало работать. К тому времени, когда молодой человек, взявшись правой рукой за поручень трамвая, левую ногу занес на первую ступеньку и одновременно сунул левую руку в карман, где были заблаговременно приготовлены три монеты, каждая достоинством по десять копеек, причем одна была чеканки сорок восьмого года, другая пятьдесят второго, третья пятьдесят седьмого, — читатель закрыл книгу, так и не узнав, что молодой человек следовал на встречу самому замечательному событию своей жизни.

Такой повести, к счастью, нет. Но есть, к сожалению, немало подобных ей. Бесцельное описание по принципу: «Вижу забор — пишу забор» — стало, пожалуй, одной из самых серьезных бед многих книг,

о чем справедливо и горячо говорят и читатели и сами писатели.

В большом комплексе качеств, из которых складывается любое произведение искусства, видное место занимает необходимость, обязательность в нем того или иного героя, сюжетной линии, картины, сцены, эпизода. В истинно художественном творении не должно быть ничего лишнего — это положение Аристотелевой эстетики справедливо и сегодня. Все, что не обязательно для творения, проявляет себя чисто описательским элементом — оно не входит в замысел, не «работает» на него; истинно художественная струя проходит где-то мимо, описательство стоит «возле» замысла, но никогда не раскрывает его.

Только ли количественно измеряется то, что мы подразумеваем под описательством, только ли числом строк, абзацев, страниц и глав, отданных автором тому или иному предмету, явлению, событию, оно определяется? Можно ли установить, что зимнему пейзажу не по чину занимать более страницы, а для картины грандиозного сражения допустима целая глава? Короче говоря, есть ли здесь какие-либо нормы, даже не нормы, а нормативы, пусть самые приблизительные? Как было бы просто художнику, имея перед собой эту табличку и исписав положенное число строк, сказать самому себе с непрекращаемой уверенностью: «Стоп, дальше у меня пойдет описательство». Конечно, таких норм нет, и слава богу, что быть их не может.

Описательство рождается не из количества знаков письма, определяется не количеством. Никому не придет в голову упрекнуть М. Шолохова в описательстве за то, что многие страницы его книг отданы картинам природы, живописанию облика ге-

роев: это обусловлено сущностью его произведений. Художественные миниатюры М. Пришвина, посвященные родной природе, казалось бы, на первый взгляд есть не что иное, как описание. А сколько в них человечности, глубокой мысли, больших чувств!

Но если описательство — категория качественного порядка, обнаруживающая себя только в системе всего произведения, то, может быть, корни его настолько скрыты, что борьба с ним вообще не представляется возможной? К счастью, это не так. Описательство — всегда ошибка идейного отбора, оно плод пороков отбора, и его результат может сказаться и в замысле, и в фабуле, и в сюжете, и в лирических раздумьях автора — во всем, что определяет строй произведения.

Трилогия Евгения Федорова «Каменный пояс» — «Демидовы», «Наследники», «Хозяин каменных гор», — охватывающая жизнь России на протяжении более чем ста пятидесяти лет, пользуется популярностью, в общем заслуженной. Но нельзя не видеть, что чем дальше развивается повествование, тем ощутимее просчеты автора в отборе материала. Особенно это заметно в последней книге трилогии. Она завершается словами: «Хозяином Каменного Пояса был, есть и будет во веки веков трудящийся русский человек! Только он подлинный хозяин и творец на этой дивной земле». В этих словах, по-видимому, выражена сквозная, центральная идея произведения. Но странное дело! Слишком уж слабо подчинено ей содержание последней книги трилогии.

Значительная часть книги отдана изобразительности жизни Николая Демидова и светлейшего князя Потемкина. Сколько бы ни было приключений и знакомств у отпрысков рода Демидова, все это описано чрезвычайно подробно: их прихоти и привычки, туалеты и времяпрепровождение. Десятки страниц занимает описание сватовства Анатолия к Матильде, детально обрисованы все подробности их семейной жизни. Здесь показано и то, как пытался утешиться Демидов, и то, как утешалась Матильда. Все эти картины, сцены, детали не имеют, по-моему, ничего общего с тем замыслом, который несравненно более ясно и сильно был выражен в первой, наиболее удавшейся книге трилогии. Разоблачение демидовских «последней» настолько увлекло автора, что превратилось в само-

цель. В связи с этим теряется принцип отбора материала, произведение утрачивает пропорции, соразмерность частей, в общую кучу валится без разбора все добытое из исторических источников и рожденное творческой фантазией автора: судьба крепостных людей — и «судьба» бриллианта, история развития промышленности Урала — и скандальное происшествие в доме свиданий.

Что и говорить, не легкое, не простое дело проследить судьбу нескольких поколений. Но здесь-то отбор фактов, событий, эпизодов особенно важен! И литература знает не один пример, когда требовательный, взыскательный художник решал задачу такого отбора целенаправленно и экономно. Достаточно вспомнить «Дело Артамоновых» М. Горького — книгу, ни на одной странице не сбивающуюся на простое описательство. Этого, к сожалению, нельзя сказать про «Каменный пояс».

И дело, повторяю, не просто в растянутости, в разбухшем объеме произведения. Беда в качественном проигрыше, в измельчании замысла, лишившем третью книгу повествования энергичной, активной, художественно запечатленной мысли.

Может быть, о «Каменном поясе», книге, вышедшей несколько лет тому назад, и не стоило бы говорить, если бы она многократно не переиздавалась в том же виде. Совсем недавно три массивных тома романа были снова предложены читателю — и снова сотнями страниц, отданных мелкому, незначительному. «Каменный пояс» Е. Федорова был более чем либерально встречен критикой, писателю не сказали во всеуслышание о его недостатках — и за этим романом появились еще два: «Ермак» и «Большая судьба», также отмеченные печатью описательства, с теми же промахами и просчетами.

Можно, пожалуй, говорить о каком-то историко-описательском «направлении», сказавшемся, к общему несчастью, в целом ряде книг, а ведь у нашего исторического романа сложились славные традиции, он любим читателем. Для сторонников этого «направления» история — лишь канва, по которой самыми причудливыми узорами вышивается все, что попало под руку литератору, что добыто им в исторических разысканиях или рождено его фантазией. Исторические фигуры с ног до головы увешиваются побрякушками всякого рода, любое лицо, близкое этим фигурам, служит лишь

поводом для дальнейшего броска в «исследования» по мелочам, для детальнейшего описания частных, не работающих на идею.

Я помню, с каким живым интересом читал роман Н. Задорнова «Амур-батюшка», хотя отчетливо видел и в нем некоторые необязательные куски и эпизоды. Но вот появились две книги романа «Капитан Невельской» («Советский писатель», 1958), и я с трудом узнал того же Николая Задорнова, с трудом узнал его героев, по горло погруженных в пучину, говоря словами Энгельса, мелочной детализации. Нет эпизода, картины, на которых не «застревал» бы автор. Вот движется к Камчатке экспедиция Муравьева — и читатель посвящается в то, какие грузы навьючены на коней, сколько получает повар генерал-губернатора, что окружает племянниц Варвары Григорьевны Зариной: их дом, их туалеты, их вкусы и привычки, малейшие оттенки настроения и т. п. «Она рассыпала лепестки цветка, который держала в руке, поднялась, сделала реверанс и бесшумно проскользнула в своих модных туфельках без каблуков с тупо обрубленными носочками мимо груды мебели. Опустив плечо, она мягко налегла на большую медную ручку и, отворивши дверь, исчезла. Сестра, тоже сделав приседание, проскользнула за ту же узкую белую дверь, украшенную мелкой резьбой с позолотой».

Вот Невельской уже на берегах Амура — и Н. Задорнов считает нужным посвятить читателя во все тонкости его торговых и меновых операций, и «посвящение» это растягивается на многие страницы.

Чуть ли не десяток страниц занимают родословная и послужной список Врангелей; графа Нессельроде читатель впервые видит за завтраком, знакомится с туалетом этого вельможи, его гастрономическими вкусами, — самое название главы «Маленький бисквит и рюмка малаги» не оставляет на сей счет сомнений. О жене графа — покойнице Марии Дмитриевне — сказано так много, что, право, хватило бы на характеристику любого лица, активно действующего в романе. Так ли нужен был для общего замысла всего произведения и подробнейший экскурс в историю неудачного сватовства Пехтеря к будущей жене Невельского? Почему почти ни одно из жилищ любого героя повествования не остается без подробнейшего описания? Почему, наконец, автор не отпускает своего

героя ни на минуту, покорно следуя за ним по всем дорогам? Их очень много, этих «дорожных» глав, они так и названы: «Отъезд из Петербурга», «По дороге в Охотск», «Обратный путь», «Обратное плавание», «Дальняя дорога» и т. д. Но разве каждое передвижение по карте раскрывает нам и движение души персонажей?

В романе Н. Задорнова много интересных деталей. Но далеко не всегда эти детали работают сильно и зримо на общий замысел. Порой они становятся частицами того зыбучего песка, в котором тонет повествование.

Я не хочу ни на йоту поставить под сомнение роль художественной детали в произведении (об этой роли несколько лет назад убедительно писал М. Щеглов). Детали, сцементированные общим замыслом, не только сила, но и двигатель всего того, что несет произведение. Детали «вроссыпь», сами по себе, — балласт.

К сожалению, с теми или иными элементами описательства в прозе последнего времени мы сталкиваемся довольно часто. И не только в прозе исторической.

Одна из самых опасных тенденций описательства, подкарауливающая художника почти на каждом шагу, — это ненужные отступления и неоправданно растянутые переходы. С этой тенденцией встречаешься, пожалуй, чаще всего.

«...Мы много времени затрачиваем на так называемые «переходы» от одной сцены к другой, от одного мотива к другому, а между тем, — писал А. Фадеев, — такие переходы вовсе не нужны, это — мусор в художественной прозе». Очень часто такой переход при всей своей ненужности и необязательности отнимает у художника гораздо больше времени и места, чем самый эпизод или сцена, которым он предшествует. Я остановлюсь только на одном примере.

В романе Е. Ратнера «Авторитет» («Советский писатель», 1959), рассказывающем о латышском колхозном крестьянстве в начале пятидесятых годов, есть такой эпизод. Честный, преданный колхозник Эдуард Габалинь сталкивается с проходимцем — председателем колхоза Бутисом — и его покровителем из районного начальства — Силакактынем. Это острое столкновение не приносит Габалиню немедленной победы — напротив, его травят, ему угрожают. Жена Габалиня, Дайна, сперва ничего не знает, но в тот же день ей все становится извест-

ным. «Навстречу вдруг Дзидра Скармане—жена младшего сына Карлиса. Дайна, конечно, не могла догадаться, что та специально поджидала ее.

Для Дзидры не было большего удовольствия, чем принести кому-нибудь самую огорчительную новость. Это еще в школе за ней водилось. Она первой ухитрялась узнать, о ком из учеников плохо отозвался учитель, кто получил за письменную работу двойку, и с радостным лицом спешила сообщить потерпевшему... И если видели, что Дзидра шныряет возбужденными глазами, кого-то разыскивая, сразу говорили: «Сейчас ворона начнет каркать». С годами это карканье превратилось в страсть. Правда, став взрослой, Дзидра научилась скрывать свою радость, когда приносила кому-нибудь огорчение или горе... Кроме того, у Дзидры были особые счеты с Дайной». Здесь автор приступает к длиннейшему отступлению. Оказывается, Дзидра до замужества жила по соседству с Габалинем, свылклась с мыслью, что станет его женой, а Эдуард не обращал на нее должного внимания. Описывается с мельчайшими подробностями, как на деревенском балу Эдуард встретил впервые Дайну, как она выглядела в этот вечер и с кем танцевала, как зародилось и у юноши и у девушки первое чувство, как протекали их встречи, как они открылись друг другу, как неистовствовала Дзидра и какими кознями пыталась отравить жизнь молодым... Все это занимает больше десятка страниц. «Что же касается самой Дзидры, то она не упускала ни единой возможности, чтобы своим змеиным язычком не задеть Дайну и Эдуарда. И вдруг такой случай, как все эти неприятности, посыпавшиеся на голову Габалиня! Могла ли она отказать себе в удовольствии запустить в Дайну поглубже свое ядовитое жало?» Итак, пока Дзидра приближается к ничего не знающей жене Эдуарда, читатель осведомлен во всем при помощи длиннейшего перехода, цель которого была объяснить, почему Дзидра, верная своей привычке, не могла не упустить случая принести человеку огорчение... На первый взгляд в этом переходе раскрыты какие-то стороны отношений Дайны и Эдуарда, какие-то побудительные мотивы в поступке Дзидры. Но вот роман прочитан, и видно, что весь этот переход совершенно не нужен, он снижает темп повествования, ослабляет его накал. Чувства Дайны и Эдуарда раскрываются автором достаточно зримо в на-

стоящем, в том, что происходит на страницах романа сейчас, а Дзидре суждено будет сыграть свою отвратительную роль лгуни и сплетницы в более серьезной коллизии, где ее натура проявится сильнее и резче.

Тенденция описательства, сказывающаяся в ненужных отступлениях и переходах, проявляется не только по причине авторского многословия, неумения крепко организовать материал. Часто она вызывается и недоверием к читателю, боязнью, что он сам не поймет чего-то, что ему будет неясно без «перехода» та или иная картина. Именно тогда появляется дурная, мелочная детализация. Именно тогда, если автору нужно изобразить встречу двух героев, он начинает «от печки» — с того, что герой, прежде чем выйти на улицу, проснулся, умылся, оделся, почистил ботинки и т. д.

В прозе нашего времени есть такие произведения, в которых стоит лишь появиться герою, как тут же излагается и его предыстория — и тогда, когда она совершенно необходима, и тогда, когда абсолютно не обязательна. Мы часто узнаем утомительные подробности детства, юности, отрочества персонажа, которому было суждено в развитии действия подать лишь чашку чаю другому герою и после этого навсегда исчезнуть со страниц книги. Особенно губительна эта тенденция для зачинов, завязок повествования. Действие стоит на месте, хотя читатель миновал уже многие страницы и даже главы, действие не может развиваться быстро и энергично, потому что оно вязнет в предыстории всех героев, которые встретились читателю на первых страницах произведения. Стены «первых комнат» повествования зачастую сплошь увешаны, пользуясь чеховским выражением, ружьями, которые никогда не выстрелят, о которых, более того, никто никогда и не вспомнит.

Таким композиционным стандартом, почти неминуемо ведущим к описательству, стала и наивная однолинейность повествования. Если уж автор взялся за одного героя, то он не преминет сказать о нем все, причем сказать сразу, не откладывая, не заботясь о том, что в это время другие герои бездействуют, постепенно исчезая из памяти. Подобная однолинейность ведет к статичности образа, лишает его живых связей с другими образами. А когда наконец эти связи возникают, когда автор решается

хоть на минуту оставить одного героя для того, чтобы перейти к другому и также сразу все рассказать о нем, оказывается, что рисуемые им картины есть не что иное, как дублирование, повторение того, что уже было рассказано. Сколько раз мы встречали в прозе последнего времени такой дубляж!

А ведь одно из великолепных свойств классических произведений литературы заключается в том, что в них все живописуется единожды и с наибольшей силой выражения. Классик может, конечно, не раз и не два остановить внимание читателя на той или иной черте героя, но он не только подготавливает новые обстоятельства, ее раскрывающие, но и обязательно чем-то дополнит, «развернет» эту черту, покажет ее в развитии, в новых проявлениях.

Заметить в произведении сцены равнозначные, иной раз даже стилистически аналогичные — несложно. Механическое повторение всегда лежит на поверхности повествования. Но есть дублирование другого рода, когда сильно нарисованная сцена, ярко обнаженная черта характера делают совершенно излишними описания, ее, казалось бы, подготовляющие.

Роман Е. Ратнера грешит не только ненужными переходами от одного мотива к другому. В той же степени автор дублирует им же сказанное и, как бы не доверяя читателю, с непонятной настойчивостью, порою переходящей в назойливость, твердит одно и то же.

В романе одно из видных мест занимает Якобсон, широко известный в районе председатель колхоза. Это энергичный, умный человек, много сделавший для родного колхоза. Но постепенно его начинает увлекать «показуха», он потворствует лстецам, начинает требовать «особых условий» и в конце концов превращается в зазнавшегося руководителя, находящегося под крылышком сильных покровителей. Все эти черты Якобсона достаточно хорошо и убедительно раскрыты в живых картинах повествования, в действиях Якобсона, его встречах и столкновениях с другими героями. Но, будто не доверяя себе или читателю, Е. Ратнер, видимо, считает необходимым даже не подчеркивать, а просто повторять все это. «Вместо того чтобы идти на поле, он ехал на очередное совещание, стремясь попасть в президиум, оказаться рядом с начальством. Вместо того чтобы размышлять о колхозных делах, он размышлял над очередным

выступлением. Он научился произносить речи, но разучился по-настоящему руководить артелью...». «Якобсон не думал уже о том, как работают люди на полях, перед его глазами вырисовывались проценты, он видел заголовок в газете. Пусть он будет не нов, но разве придумаешь лучше: «Учитесь у товарища Якобсона!» Это цитаты не из одного куска — они разделены повествованием почти в сотню страниц. «Да и имеет ли право он, председатель одного из первых в республике колхозов, не выступить на заседании, не передать своего опыта, не выдвинуть своих практических предложений? Его потому и зовут во все районные организации, что он нужен всюду, что в любом месте он не только послушает других, но и сам свое полезное слово скажет». Эта цитата уже из третьего места, а сколько можно было бы найти их еще!

Когда встречаешь в произведении что-то лишнее, думаешь и о том, чего этому произведению недостает, что могло бы с пользой для всего романа или повести занять место, используемое так нерасчетливо. Не избавиться от этих мыслей и при чтении романа Е. Ратнера «Авторитет». Писателем нарисованы некоторые запоминающиеся картины, созданы интересные характеры. Но стихия описательства, захлестывающая многие страницы романа, возникла, может быть, и потому, что автор сузил круг им же нарисованных событий.

В романе Е. Ратнера нет попытки разобраться в сложной обстановке, создавшейся в нашей деревне в послевоенные годы. Для того чтобы осуществить перелом в сельском хозяйстве, понадобились исторические решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС, работа всей партии и страны. А Е. Ратнер не показал, что же, кроме нерадивости или зазнайства отдельных работников, тормозило развитие колхозов. Построив весь роман исключительно на личных качествах своих героев, обойдя молчанием объективные обстоятельства, он сам себя обрек в ряде случаев на мелочное описательство вместо проникновения в суть дела.

Есть еще один чрезвычайно распространенный вид описательства — описательство «по поводу».

У иного автора заметно, например, открытое предпочтение, которое он отдает определенному кругу вещей, предметов, явлений, событий. Следует сразу же оговориться: у каждого писателя есть любимые идеи, образы, явления, к которым он с наибольшим



одушевлением обращается и в которых, как ни в чем другом, проявляется его сила. Это естественно, без этого нет творчества. Но при нарушении чувства меры здесь неизбежно возникает описательство. Очень часто оно рождается не только из любви автора к определенному кругу предметов или явлений, но и из плохо скрытого стремления пощеголять своей эрудицией в том или ином вопросе. У всех свежи в памяти, например, повести, романы и рассказы, переполненные описаниями чисто производственных, технологических процессов, описаниями, в которых было много узкоспециальных терминов и т. д.

Для читавших трилогию А. Коптяевой «Иван Иванович», «Дружба», «Дерзание» очевидна любовь автора к своим героям, заинтересованность писателя в их благородном и сложном деле, которое А. Коптяева рисует со знанием и умением. Но, пожалуй, еще в первой книге трилогии писательница потеряла чувство меры — дело ее любимого героя так увлекло ее, что произведение начало невольно смещаться в сторону медицинских проблем, чисто медицинского описательства. Уже из первой книги трилогии читатель имел достаточно широкое представление о том, насколько умен и талантлив Иван Иванович как хирург и ученый. Во второй книге, «Дружба», насыщенной описанием бесчисленных фронтальных операций, эти качества героя еще более широко... нет, не раскрыты — продублированы: показано то же, что и раньше, но в иной обстановке. Третья книга, «Дерзание», рисует хирурга на вершине его творческого пути. В «Дерзании» описаны не одна операция, не две, не три, иные целиком, иные частями. Но не только Иван Иванович обрисован в профессиональной обстановке. Есть еще интересные, талантливые хирурги, и А. Коптяева не может удержаться, чтобы не показать и их работу. Так в роман приходят описания грудных, полостных операций, операций по соединению бедренных костей, глазные операции, операции по пересадке тканей, челюстно-лицевые и т. п. Перечень их мог бы украсить послужной список самой прославленной хирургической клиники. Но нужно ли все это в таких количествах в романе?

Там, где писательница стремительно бросается в медицину, она уходит от литературы. «Путь зонда намечен в правое предсердие, из него в правый желудочек сердца, а затем в устье легочной артерии. Надо

установить, отчего у ребенка нарушено кровообращение. Если есть отверстие в сердечной перегородке, то слегка вращаемый мною зонд попадет из правого предсердия в левое, чего не должно быть в норме, или из правого желудочка в левый, чего тоже не должно быть. Если ничего такого не случится, а зонд остановится в устье легочной артерии, то, значит, она всему виной, значит, она сужена. Тогда здесь необходима операция для создания нового притока крови в легкие. Какая именно операция, мы это сейчас выясним. Без нее ребенок обречен на гибель от кислородного голодания. Такие дети доживают, самое большое, до пятнадцати-шестнадцати лет». Это лекция? Да, лекция, ее читает Иван Иванович, исследуя ребенка. Но ее читает хирург, ученый, а не герой романа — в этом вся беда. Ивана Ивановича — человека в этой лекции нет. А когда писательница, чувствуя чужеродность специального медицинского материала, пытается его «оживить», за такие оживления становится порой как-то неловко... «Следя за прикреплением ее (трубки.— Ю. К.) к трехходовому крану, который соединяет зонд то с системой, откуда поступает в вену физиологический раствор и раствор гепарина, предупреждающий свертывание крови, то со шприцем, вводящим контрастное вещество для снимка, Иван Иванович с тяжелым чувством вспомнил о новых сплетнях, переданных ему Варей». Здесь все как будто на месте, но фраза, в которой объединены технология исследования и воспоминание о сплетнях, звучит как пародия.

Описательство «по поводу», как, впрочем, и описательство любого порядка, не такая уж безобидная, как кажется на первый взгляд, вещь. Читателя может на каких-то этапах увлечь развивающееся изложение писателя. С тем большей горечью убеждается он, что оно не имеет отношения к замыслу, сюжету и характерам героев.

Различные «виды» описательства легко уживаются один с другим, переходят друг в друга. Там, где писателю изменяет вкус, где он теряет чувство меры, — там закономерно появляются необязательные куски, эпизоды, сцены. Когда с этим сталкиваешься в произведениях начинающих авторов, это еще хоть как-то объяснимо. Но такие срывы допускают иногда и опытные литераторы. В этих случаях необязательность описательного материала особенно очевид-

на — так она дисгармонирует со всем строем того или иного произведения.

Описательству нельзя объявлять борьбу «по частям», сначала выкорчевывая описательство в сюжете, потом в обрисовке характеров и т. д. Фронт борьбы с описательством должен быть достаточно широк, охватывать все произведение, с первой и до последней строки. И командовать этим фронтом надлежит самому писателю, принимая командование не тогда, когда произведение уже вышло в свет, а тогда, когда только начал складываться его замысел, начали формироваться основные сюжетные линии, проясняться характеры.

Эстетическая почва описательства — натурализм с его пренебрежением к образному постижению действительности. Это не значит, что описательство вообще исключает образность, — встречаешься подчас и с весьма красочным, ярким изображением отдельных сторон явления, выпадающим, однако, из общей системы творения, его строя, живущим своей обособленной жизнью.

А ведь с точки зрения целого любой образ, сцена или картина оправданы и необходимы только в одном-единственном месте. И то, что было ценно всего несколько страниц назад, может в другом месте оказаться простым описательством или натуралистической подробностью. Описательство — это не только необязательность изображения вообще, но и необязательность его в каждом данном, конкретно взятом случае.

Неверно полагать, что описательство может проявляться только в так называемых второстепенных элементах произведения — пейзажных зарисовках, сюжетных переходах и т. д. В истинно художественных произведениях все внутренне необходимо, а в произведении с нечетким, невыверенным замыслом все кажется лишним, необязательным.

Описательство всегда неглубоко, хотя часто претендует на глубокомыслие. Какими бы благими намерениями ни задавался писатель, если он будет скользить по поверхности событий, явлений, характеров, он неминуемо скатится к описательству. Можно нашего современника с ног до головы обрядить в аксессуары нынешних дней. Можно заставить его пользоваться сверхзвуковыми самолетами, телевизорами новейшей марки, воспроизводить его беседы о сущности кибернетики и беспредметности абстрактного искусства, но, не углубясь в человеческий характер, не «схватив» в нем закомерно-

стей духа времени, выраженных в чертах морального облика, культуре и интеллекте, никогда не уйдешь от описательства, выраженного явно или скрыто. Вместо облика и образа человека будет фигурировать набор внешних средств, антураж, и только. Примеры общеизвестны.

Мы не исчерпали, разумеется, всех возможных — и встречающихся в практике — «вариантов» описательства. Не последнее место среди этих вариантов занимает, например, стремление к мнимой эпопейности, к пусть поверхностному, информационному, но зато широкому «охвату» все новых и новых, часто не связанных ни с замыслом, ни с сюжетом, сторон жизни — такому «охвату», при котором может рассыпаться композиция, но уж зато автора никто не упрекнет в том, что он что-то «недоотразил». Но в конце концов «классификация» описательства не столь важна. В каком бы «виде» оно ни выступало, всегда количественная диспропорция частей переходит в качественную, сказывается на произведении в целом.

И что толковать об отдельном неправомерно затянувшемся эпизоде или даже неоправданной сюжетной линии с несколькими героями — это еще не самая большая из бед. Самое опасное — когда в се произведение построено по принципу пустого описательства, когда бесформенность самого замысла обрекает литератора на заведомую неудачу, как бы он ни изошрялся в деталях, ни оживлял искусственно сюжет.

Такую книгу, как говорил Н. С. Хрушев на Третьем съезде советских писателей, «хочешь прочитать, а глаза смыкаются. Хочешь прочитать, потому что говорили об этой книге товарищи, читавшие ее, хочешь иметь свое мнение о ней, но читается она с трудом, глаза снова закрываются. Потрешь их, начинаешь опять читать, опять смыкаются глаза. Чтобы все-таки прочитать книгу, берешь иной раз булавку, делаешь себе уколы и тем подбадриваешься, чтобы прочитать книгу до конца».

Эшелоны бумаги и тонны типографской краски, миллионы часов ненужной работы полиграфических машин и людей, стоящих за ними, составляют самый наглядный вещественный, но еще не самый страшный памятник описательству. Самое страшное в описательстве то, что оно, помимо воли автора, становится активной силой, искажает замысел произведения, деформирует его,

подчас приводя читателя к выводам, прямо противоположным тем, которые предполагались автором.

Натурализм и описательство — эстетические антиподы социалистического реализма. Они могут схватывать только частные стороны явлений, они проходят мимо ведущих связей и закономерностей, они питаются только тем, что лежит на самой поверхности, и органически враждебны анализу. А ведь обобщение проявляется уже в отборе.

Отбор — категория не только вкуса, но и мировоззрения. В отборе сказывается в конечном счете идейная позиция художника. Чем она четче, тем строже отбор, ее выражающий, тем безошибочнее воздействует она на читателя.

Описательство же развращает читателя, прививает дурной вкус, приучает к верхоглядству, к поверхностному восприятию литературных произведений. Недаром люди, воспитанные на низкосортной литературе, не могут приучить себя к чтению книг глубоких, серьезных, требующих работы мысли; недаром они часто проходят мимо подспудных, но важных деталей в произведениях

истинного искусства: их приучило к этому обилие в иных книгах деталей описательных, ненужных для целого. Описательство рождается большей частью там, где существует пренебрежение к литературному мастерству, где есть тайная надежда, что актуальность «вывезет», что обращение к современности амнистирует любые недоделки, любую спешку. Это заблуждение весьма распространено, но очень наивно: произведение, перегруженное описательными подробностями, просто не доходит до сердца и разума читателя.

И как больно видеть подчас талантливые произведения современных писателей, отдавших ненужную дань описательству, затративших силы и энергию, талант и время на пустые, отвлекающие от целого страницы, куски, главы.

Есть разные виды балласта. Без некоторых не могут пускаться в плавание корабли и подниматься в воздух аэростаты. Описательство — тот балласт, который тянет на дно, сковывает движение.

Беды описательства одолимы. С ними нужно только бороться. Всегда и везде. Всеми видами оружия.



Г. ЛЕНОБЛЬ

★

## У ИСТОКОВ „ПОЛТАВЫ“

**К**ак рождаются великие произведения искусства? На какой почве вырастают художественные замыслы, которые превращаются затем в гениальные образы, запоминающиеся миллионам людей? Разумеется, единообразного, стандартного ответа на подобные вопросы ждать нельзя. Бесспорным является, что каждое подлинно великое произведение искусства, помимо черт, обусловленных принадлежностью к определенной эпохе, определенному литературному направлению, методу, стилю и т. д., обладает своим, индивидуально неповторимым художественным обликом. Без этого не мыслимо никакое произведение искусства. Но естественно вместе с тем, что индивидуально неповторимы и пути создания таких творений. И как заманчива и увлекательна задача хотя бы «одним глазом» заглянуть в творческую лабораторию художника, с тем чтобы — пусть частично — разобраться в сложной и почти всегда скрытой от нас «предыстории» того великого, что им сделано! Как много это может дать исследователю и читателю!

Среди крупнейших произведений Пушкина особой своей судьбой выделяется написанная в 1828 году «Полтава». Спустя два года Пушкин дал к своей поэме чрезвычайно интересный комментарий в заметке, которую он напечатал затем с некоторыми сокращениями в альманахе «Денница» на 1831 год. С этого как раз мне и хотелось бы начать свой рассказ.

В заметке этой, с одной стороны, настойчиво подчеркивается зрелость «Полтавы». В художественном отношении Пушкин ставит ее гораздо выше, чем прежние свои поэмы. Но, по-видимому, такую высокую оценку в глазах поэта она заслужила не только чисто литературными своими качествами. Об этом свидетельствует, в частности, то особенное раздражение, с каким он встретил нападки на «Полтаву» реакцион-

ной части критики. Уже по самому тону его отповеди этим критикам чувствуется, как болезненно он был ими задет. Показательно, что для вящего их посрамления Пушкин собирался было в черновом наброске своей заметки сослаться даже на мнение литературных авторитетов (как будто для таких критиков, как Булгарин, оно могло иметь значение!): «Самая зрелая из всех моих стихотворных повестей та, в которой все почти оригинально (а мы из этого только и бьемся, хоть это еще не главное), «Полтава», которую Жуковский, Гнедич, Дельвиг, Вяземский предпочитают всему, что я до сих пор ни написал, «Полтава» не имела успеха».

С другой стороны, в пушкинской заметке о «Полтаве» обращает на себя внимание заключительная ее фраза, в окончательный текст не вошедшая: «Полтаву» написал я в несколько дней, долее не мог бы ею заниматься и бросил бы все». Это как бы непроизвольно вырвавшееся признание, понятно, содержит лишь намек на то, в какой творческой атмосфере создавалась «Полтава», но намек в высшей степени красноречивый.

Разумеется, понимать Пушкина чересчур уж буквально было бы неправильно — «несколько дней» продолжались примерно недели три. Первая песнь «Полтавы» была закончена 3 октября, вторая — 9 октября и третья — 16 октября 1828 года; на одном же из первоначальных набросков первой песни стоит дата «5 апр[еля]». Но общей картины необыкновенного творческого волнения, в каком вырастала «Полтава», эти уточнения не меняют.

В свое время напряженность, с которой писалась «Полтава», пытались объяснить тем, что Пушкину якобы нужно было написать такое произведение (как «благодарность государю за оказанное покровительство») и он — сознательно или бессоз-

зательно — принуждал себя над ним работать. Вряд ли имеется сейчас необходимость в развернутой полемике с этой точкой зрения, хотя бы и соответственно модернизированной. Если даже и допустить, что столь выдающееся произведение, как «Полтава», могло возникнуть под давлением такого рода соображений, и если этим объяснять, что Пушкин должен был написать свою поэму в несколько дней (так как далее, подразумевается, должно быть, он не в состоянии был бы выдержать подобного насилия над собой), — если принять все эти предположения, рисуящие, к слову сказать, великого поэта в крайне сомнительном свете, то совершенно непонятным будет, почему же Пушкин так ценил «Полтаву» и так негодовал на отношение к ней критики. Надо полагать, следовательно, что последние строки пушкинской заметки должны быть осмыслены по-другому.

Особое душевное состояние Пушкина во время создания «Полтавы», не позволившее ему работать над этим произведением с такою же тщательностью и неторопливостью, как, скажем, над «Борисом Годуновым» или «Евгением Онегиным», является фактом бесспорным. Однако это особое состояние Пушкина, как мы видели, несколько не помешало ему создать произведение, отличающееся высокими художественными качествами и — что в данном случае особенно важно — несущее на себе печать зрелости. Естественно, что в этой связи встает вопрос о путях Пушкина к достижению зрелости, которая, очевидно, определяется не просто ростом поэтического мастерства, а требует затраты огромных душевных сил, достается ценой мучительных подчас переживаний. Само собой разумеется, что для более глубокого понимания «Полтавы» стнюдь не безразлично знание обстоятельств, при которых (и благодаря которым) эта поэма была написана. Чем точнее нам удастся установить, какой сложный и трудный путь подвел Пушкина к «Полтаве», тем яснее станут для нас и причины необычайной творческой взволнованности Пушкина сюжетом, легшим в основу «Полтавы», и то, что Пушкин хотел сказать и сказал своей поэмой.

## 1

К какому времени относится зарождение замысла «Полтавы»? Сам Пушкин, как известно, первую мысль о «Полтаве» связы-

вал со своими впечатлениями от «Войнаровского» К. Ф. Рылеева, в частности от образа Мазепы в этой поэме.

«Прочитав в первый раз в Войнаровском сии стихи:

Жену страдальца Кочубея  
И обольщенную их дочь,

я изумился, как мог поэт пройти мимо столь страшного обстоятельства.

Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальнойю. Но в описании Мазепы пропустить столь разительную историческую черту было еще непростительнее».

Отдельное издание «Войнаровского», в которое впервые вошло цитированное двустишие, Пушкин получил 7 апреля 1825 года. Поэма Рылеева чрезвычайно заинтересовала великого поэта, и он вскоре сообщил автору свои замечания о ней — сперва через Дельвига, навестившего в это время Пушкина в Михайловском, а затем, после отъезда Дельвига, и письменно. Эти не дошедшие до нас замечания были, по видимому, преимущественно критического характера, что видно, между прочим, из пушкинского письма к Рылееву, написанного во второй половине мая 1825 года: «Думаю, ты уже получил замечания мои на Войнаровского. Прибавлю одно: везде, где я ничего не сказал, должно подразумевать похвалу, знаки восклицания, прекрасно и проч. Полагая, что хорошее писано тобою с умыслу, не счел я за нужное отмечать его для тебя».

Сообщил ли Пушкин Рылееву свое мнение относительно «разительной черты», пропущенной последним в описании Мазепы? Для исследователя «Полтавы» вопрос этот представляет немалый интерес. К сожалению, с полной уверенностью ответить на него нельзя; однако кое-какие косвенные данные позволяют предположить, что Рылееву были известны соображения Пушкина по поводу Мазепы и его отношения к дочери Кочубея.

Сохранилось несколько черновых набросков и планов Рылеева, посвященных Мазепе. Для нашей темы особое значение имеют план пьесы и программа, опубликованные в 1888 году В. Якушкиным, и второй, более полный план драматического произведения, появившийся в печати лишь в 1938 году (публикация Н. Чулкова).

Трактовка Рылеевым образа Мазепы в этих набросках, как не раз отмечали комментаторы, чрезвычайно близка к трактовке его же образа в «Полтаве» Пушкина. Но на объяснении причин такой близости комментаторы не останавливались, хотя она весьма примечательна: ведь в «Войнаровском» Мазепа был изображен совсем в другом свете, чем в «Полтаве».

Вот характеристика Мазепы, которая дана в плане, опубликованном Якушкиным: «Мазепа. Гетман Малороссии. Угрюмый семидесятилетний старец. Человек властолюбивый и хитрый; великий лицемер, скрывающий свои злые намерения под желанием блага к родине».

Большой интерес, однако, представляет для нас второй план драмы о Мазепе, опубликованный Чулковым. Бросается в глаза не только идейная, но и сюжетная близость этого плана к пушкинской «Полтаве» — особенно в части, касающейся романтической линии поэмы. В нем говорится об оплеухе, данной Мазепе Петром; о радости Кочубея, когда он узнает о намерении гетмана отложиться от москалей; о соглашении между Кочубеем и Искрой; о доносе на Мазепу, отправленном в Москву; о суде над Кочубеем и Искрой и их казни; о помешательстве Матрены Кочубеевой после смерти отца и т. д. и т. п.

О времени написания как этого, так и других набросков Рылеева точных сведений нет. Но скорее всего они написаны после окончания его поэмы. То обстоятельство, что во всех вариантах плана драмы фигурирует Войнаровский, хотя для развертывания ее сюжета он совершенно необязателен, нельзя не признать симптоматичным. Очевидно, Рылееву важно было указать на связь между двумя своими произведениями — уже написанным «Войнаровским» и еще только задуманным «Мазепой». Отметим, что Пушкин в «Полтаве» также упомянул Войнаровского, по сюжету ему не нужного, подчеркнув тем самым связь своей поэмы с поэмой Рылеева.

Сходится ли, однако, такая датировка планов Рылеева с тем, что нам известно относительно эволюции его взглядов на Мазепу? Известный исследователь творчества Рылеева В. И. Маслов дает в своей книге «Литературная деятельность К. Ф. Рылеева» иную датировку этих планов. Охарактеризовав образ Мазепы в «Войнаровском» как образ бесспорно положительный, Маслов пишет далее, ссылаясь на думу «Петр

Великий в Острогожске»: «Первоначально (до создания «Войнаровского». — Г. Л.) поэт, по-видимому, держался противоположного взгляда на Мазепу: в думе «Петр Великий в Острогожске» (1823 г.) он относится к нему подозрительно, называет «свирепым вождем» и упрекает, как этот гетман «смел клясться в искренности» Петру I. Недружелюбное отношение видно и в некоторых черновых набросках и планах Рылеева; но постепенно... эта точка зрения на Мазепу стала сменяться, и последний из «хитрого и властолюбивого лицемера» превратился в глазах Рылеева в искреннего патриота и защитника свободы своей родины».

Изображенная Масловым смена взглядов на Мазепу основана на недоразумении: дума и поэма Рылеева вовсе не принадлежат к разновременным периодам его творчества; напротив, они задуманы были, а отчасти и осуществлены, одновременно. В мае 1823 года Рылеев представил Вольному обществу любителей российской словесности думу «Первое свидание Петра Великого с Мазепой» (первоначальное название «Петра Великого в Острогожске») и начало поэмы «Войнаровский», выразительно озаглавленное «Ссылный».

Преувеличено Масловым и различие в отношении Рылеева к Мазепе в думе и в поэме: ни о какой противоположности рылеевских оценок говорить тут не приходится. Если в «Петре Великом в Острогожске» дана безусловно отрицательная характеристика Мазепы, то в «Войнаровском» дается лишь условно положительная характеристика украинского гетмана. Войнаровский говорит о нем в поэме:

Не знаю я, хотел ли он  
Спасти от бед народ Украйны,  
Иль в ней себе воздвигнуть трон,—  
Мне гетман не открыл сей тайны.  
Ко нраву хитрого вождя  
Успел я в десять лет привыкнуть;  
Но никогда не в силах я  
Был замыслов его проникнуть.  
Он скрытен был от юных дней,  
И, странник, повторю: не знаю,  
Что в глубине души своей  
Готовил он родному краю.

Таким образом, идеализацию Мазепы в «Войнаровском» вряд ли следует рассматривать как поэтическое выражение подлинных исторических воззрений Рылеева. Но, понятно, такой подход к историческим фактам, когда ради нужного автору вывода, ради «нравоучения» они произвольно изменяются и искажаются, должен был вы-

звать критику Пушкина. Слишком «свободное» обращение с историей вызвало возражения и со стороны некоторых других современников Рылеева, в частности П. А. Катенина, заметившего в письме к Н. И. Бахтину от 26 апреля 1825 года: «всего чуднее для меня мысль представить подлеца и плута Мазепу каким-то Катоню».

Рылеев чутко прислушивался к критике Пушкина, хотя и признавался (в письме от 12 мая 1825 года), что об ином ему «хочется поспорить...» Благодаря Пушкина за его «прямодушные замечания на Войнаровского», Рылеев в первой половине июня 1825 года писал: «Ты во многом прав совершенно...» Вполне вероятно, что именно замечания Пушкина на «Войнаровского» побудили Рылеева вновь возвратиться к образу Мазепы и попытаться воссоздать его в соответствии с данными истории.

Что же касается поражающего сходства ряда моментов в планах Рылеева и в «Полтаве» Пушкина, то проще и естественнее всего такое сходство объяснить прямым влиянием пушкинских замечаний, в которых указывалось на упущенные Рылеевым художественные возможности.

Если дело действительно обстояло так, то получается, что в апреле 1825 года у Пушкина не только появилась первая мысль о «Полтаве», точнее, о ее романической линии,— получается также, что эта мысль высказывалась им, и притом в весьма развернутом виде.

Но как бы то ни было, в творчестве Пушкина мотив этот сперва отражения не получил. К разработке сюжета о Мазепе и Марии Кочубей он обратился лишь тогда, когда для него стал художественно актуальным образ Петра I.

## 2

Уже в первом своем отклике на «Войнаровского», тогда еще опубликованного лишь в отрывках, в письме к А. А. Бестужеву от 12 января 1824 года, Пушкин указывал, что «Рылеева Войнаровский несравненно лучше всех его Дум, слог его возмужал и становится истинно-повествовательным, чего у нас почти еще нет». Аналогичные высказывания мы находим также и в пушкинских письмах 1825 года.

Трудно, однако, допустить, чтобы Пушкин уделял столько внимания поэме Рылеева, руководствуясь одними только литературными соображениями и интересами. «Войнаровский», бесспорно, произведение

талантливое, но бесспорно вместе с тем и то, что оно не отличается большой поэтической самостоятельностью. Одному из корреспондентов Пушкина, Н. Н. Раевскому-сыну, подражательные элементы в «Войнаровском» дали даже повод заявить, что «Войнаровский» — произведение мозаичское, составленное из кусочков Байрона и Пушкина». Возникает поэтому вопрос: не затронул ли «Войнаровский» Пушкина более остро, более — если позволительно так выразиться — интимно? Нет ли в «Войнаровском» чего-либо, что было бы созвучно тем размышлениям и переживаниям, которые волновали Пушкина в 1824—1825 годах?

Следует учесть здесь одну особенность Пушкина: он очень часто и чрезвычайно легко проводил параллели между своим собственным положением и положением людей, так или иначе заинтересовавших его, будь то личные его знакомые или же исторические личности. По справедливому замечанию одного исследователя, Пушкин охотно «примеривал» на себя чужие судьбы. Но при этом поэт ни в какой мере не отождествлял себя с теми, с кем он себя, подчас крайне настойчиво, ассоциировал.

Особенно много материала для подобных ассоциаций давали «неправые гонения», жертвой которых Пушкин был в продолжение чуть ли не всей своей сознательной жизни. Еще в бытность свою в Одессе Пушкин рассматривал себя как «ссылочного невольника». Но, разумеется, ссылка в Михайловское была для него несравненно тяжелее одесской ссылки. «Михайловское душно для меня», «мочи нет хочется к Вам», «мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство»,—то и дело мелькает в его письмах друзьям. Изображение ссылки Войнаровского в поэме Рылеева не могло при таких обстоятельствах не вызвать у Пушкина множества ассоциаций.

Известно, что едва ли не больше всего Пушкину понравилась в «Войнаровском» сцена с палачом. «У него (то есть у Рылеева.— Г. Л.),— писал Вяземскому 25 мая 1825 года Пушкин,— есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого я бы дорого дал». Н. А. Бестужеву, который видел замечания Пушкина на «Войнаровского», запомнилась выразительная надпись, сделанная поэтом на полях книги против эпизода с палачом: «Продай мне этот стих!» Но о палаче Пушкин думал порой в Михайловском не только как о персонаже художественного произведения.

В конце октября 1824 года между Пушкиным и его отцом, Сергеем Львовичем, произошло исключительно резкое столкновение, в результате которого Пушкин решил просить о переводе его в одну из крепостей. Уже когда это дело улеглось, поэт писал Жуковскому: «Мне жаль, милый, почтенный друг, что наделал эту всю тревогу: но что мне было делать? я сослан за строчку глупого письма, что было бы, если правительство узнало бы обвинение отца? это пахнет палачом и каторгою». Такая настроенность Пушкина должна была, безусловно, отразиться на восприятии им «Войнаровского».

О мыслях и чувствах, которыми Пушкин был охвачен в то время, когда он читал и перечитывал «Войнаровского», — в детальных замечаниях фиксируя свое отношение к этой поэме, — наглядно свидетельствует его поэтическая работа. Он был занят весной и в начале лета 1825 года в основном двумя произведениями: во-первых, он продолжал работать над трагедией «Борис Годунов» (начатой в конце 1824 года); во-вторых, он написал — не раньше апреля и не позднее июня 1825 года — элегию «Андрей Шенье». На этой элегии необходимо остановиться подробнее, так как произведение это носит, без сомнения, автобиографический характер.

Как известно, Андре Шенье — поэт, с которым Пушкин сопоставлял себя неоднократно. Но очень важно подчеркнуть, что сопоставление это шло отнюдь не в литературном плане. О литературных позициях Шенье Пушкин писал: «Никто более меня не любит прелестного André Chénier — но он из классиков классик — от него так и несет древней греческой поэзией»; «романтизма в нем нет еще ни капли». Сопоставлял себя Пушкин с Шенье потому, что считал свою судьбу, свою политическую биографию сходными с судьбой и политической биографией французского поэта. Недвусмысленно это вывлекло в письме к Вяземскому в ноябре 1825 года: «Грех гонителям моим! И я, как А. Шенье, могу ударить себя в голову и сказать: Il y avait quelque chose là...<sup>1</sup> извини эту поэтическую похвальбу и прозаическую хандру».

Что именно Пушкин хотел сказать своей элегией явствует из его письма к тому же Вяземскому от 13 июля 1825 года: «Читал ты моего А. Шенье в темнице? Суди об нем, как езуит — по намерению». «Андрей

Шенье», следовательно, — это вытекает, нам кажется, из признания самого автора — произведение двуплановое, причем второй, скрытый план его имеет, очевидно, для поэта большее значение, чем первый, явный.

Непосредственное политическое содержание элегии в особых комментариях не нуждается. Как и всюду у Пушкина, безусловное принятие и высокая оценка Великой французской революции сочетаются в ней с полным непониманием и резким отрицанием якобинской диктатуры. Такое отношение к французской революции характерно было и для большинства декабристов.

Но, изображая якобинцев врагами «вольности» и «закона», Пушкин в то же время настойчиво уподоблял их представителям русского самодержавия. Этой аналогии он оставался верен и в двадцатых и в тридцатых годах. Ею следует объяснить, в частности, и крылатое словцо Пушкина, который в 1834 году, в разговоре с великим князем Михаилом Павловичем, с нескрываемой иронией заявил своему изумленному собеседнику: «Все Романовы революционеры и уравниатели» («tous les Romanof sont révolutionnaires et niveleurs»). Несомненно, что здесь говорится о революционерах якобинского типа; это подтверждается и ответом Михаила Павловича: «Спасибо: так ты меня жалуешь в якобинцы! благодарю, voilà une réputation que me manquait» («...вот-репутация, которой мне недоставало»).

В «Андрее Шенье» расшифровать намеки на русскую действительность для читателя, хоть сколько-нибудь знакомого с иносказаниями вольнолюбивой поэзии двадцатых годов прошлого века, большого труда не составляет. Знаменитые строки:

Где вольность и закон? Над нами  
Единый властвует топор.  
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами  
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!

доставившие Пушкину столько неприятностей (так как после восстания декабристов их удалось очень легко и очень убедительно применить к Николаю и его окружению), целят, конечно, не только в Робеспьера и Конвент. Эти строки, о чем говорилось уже в пушкиноведении, прямо адресованы Александру I и указывают на конкретные обстоятельства его «избрания» в цари. Убийцей Александр назван потому, что он являлся в глазах Пушкина отцеубийцей; палачами его приближенные названы потому, что их руками было осуществлено

<sup>1</sup> Здесь кое-что было... (франц.)



убийство Павла I. Что такое толкование пушкинской элегии не является произвольным, показывает письмо поэта к П. А. Плетневу от 4—6 декабря 1825 года, написанное сразу же после получения известия о неожиданной и загадочной смерти Александра в Таганроге: «Душа! я пророк, ей-богу пророк! Я Андрея Шенье велю напечатать церковными буквами во имя отца и сына etc». Единственное «пророчество» в элегии — это возглас Шенье:

Падешь, тиран!

Наиболее ясно раскрыл Пушкин, кого он имеет в виду, в том месте элегии, где А. Шенье обращается к самому себе со словами:

Умолкни, ропот малодушный!  
Гордись и радуйся, поэт:  
Ты не поник главой послушной  
Перед позором наших лет;  
Ты презрел мощного злодея;  
Твой светоч, грозно пламенея,  
Жестоким блеском озарил  
Совет правителей бесславных;  
Твой бич настигнул их, казнил  
Сих палачей самодержавных;  
Твой стих свистал по их главам:  
Ты звал на них, ты славил Немезиду;  
Ты пел Маратовым жрецам  
Кинжал и деву-эвмениду!

Воспел кинжал, как известно, не только Шенье, но и Пушкин; сознательное, быющее в глаза заимствование отдельных выражений и оборотов из пушкинского «Кинжала» должно было подсказать читателю, от чьего имени (и по чьему адресу) идут на самом деле процитированные только что строки.

Таким образом, в основе своей, «по намерению» автора, «Андрей Шенье» является произведением не только и не столько о Франции конца XVIII века, сколько о России последних лет царствования Александра I. Поэт, выведенный в этом произведении, — не только и не столько Андре Шенье, выступивший против «Маратовых жрецов», сколько сам Пушкин, в цензурно неуязвимой форме заявивший о своем непримиримовраждебном отношении к русскому самодержавию. Но сопоставление с Шенье и параллель между Романовыми и якобинцами нужны были Пушкину не для того лишь, чтобы получить возможность в гневных, страстных стихах обрушиться на Александра I и «ареопаг остервенелый» царских временщиков. Сближая себя с Андре Шенье и рисуя последние часы ожидающего казни французского поэта, Пушкин тем са-

мым—впервые в своем творчестве—отчетливо показал, что он и для себя не считает исключенными плаху и палача. Отсюда особая эмоциональная окрашенность элегии.

### 3

Свою оценку личности и деятельности Петра I Пушкин дал впервые в так называемых «Заметках по русской истории XVIII века» 1822 года. Он охарактеризовал тогда Петра, как «северного исполина», который «не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон». Однако до воцарения Николая I Петр, по-видимому, особого внимания Пушкина не привлекал. Творческое воображение его занимали в этот период совсем другие страницы русской истории, связанные с Вадимом, вестником Олегом, Владимиром и Мстиславом, Борисом Годуновым и Григорием Отрепьевым, Степаном Разным и Емельяном Пугачевым.

Поворот к теме Петра после 1825 года наблюдался не только у одного Пушкина. Вторая половина двадцатых годов прошлого века вообще характеризуется огромным усилением общественного внимания к колоссальной фигуре Петра со стороны передовых русских людей, недовольных положением дел в тогдашней Российской империи.

Разгром восстания 14 декабря подорвал веру многих сторонников идей декабризма в возможность революционного преобразования России. Средства разговорчиков оказались слишком ничтожными по сравнению с «необъятной силой правительства» (выражение Пушкина в поданной Николаю I записке «О народном воспитании»). Но это не означает, что декабристы и близкие к ним круги совершенно отказались от мысли о хотя бы частичном претворении в жизнь своих программных требований. Многие декабристы, посаженные в Петропавловскую крепость Николаем I, принялись усердно убеждать нового императора в настоятельной необходимости серьезных реформ, в губительности для России политики Александра I.

Декабристы предложили Николаю I целый ряд проектов по улучшению и переустройству государственного механизма России. Они питали, в особенности до суда над ними, немало иллюзий относительно

но действительных намерений Николая. Возникновению этих иллюзий (свидетельствующих, конечно, прежде всего о недостаточной идейной стойкости и политической последовательности, вполне естественных у декабристов как дворянских революционеров) способствовал тот факт, что Николай, «царь-актер», по картинному определению П. Щеголева, при допросах некоторых из заключенных прикидывался чуть ли не их единомышленником.

Вот откуда у декабристов настойчивые ссылки на выдающихся деятелей прошлого, на идеальных — по представлениям того времени — правителей государства, причем чаще всего, понятно, им вспоминался образ «беспирмерного из царей гениального Петра». С чрезвычайно характерным письмом обратился к Николаю А. А. Бестужев: «...мне отраднее теперь верить благодати путей Провидения... Я не сомневаюсь по некоторым признакам, проникнувшим в темницу мою (подчеркнуто мною.— Г. Л.), что Ваше Императорское Величество посланы Им залечить беды России, успокоить, направить на благо брожение умов и возвеличить отечество. Я уверен, что Небо даровало в Вас другого Петра Великого... более чем Петра, ибо в наш век и с Вашими способностями, Государь, быть им — мало». Верноподданныческий тон этих нарочито восторженных фраз не должен затемнить в наших глазах подлинного их смысла: «другим Петром Великим» Николай признается лишь в том случае, если он «направит на благо брожение умов» и «возвеличит отечество», то есть, подобно Петру, примется за огромную работу по преобразованию России, совершаемую, разумеется, в желательном декабристам плане.

Пушкин не знал и не мог знать об этих письмах декабристов к Николаю I. Однако его знаменитые «Стансы» 1826 года порождены тем же, в сущности, кругом идей и настроений, что и письма декабристов. Так же, как и они, «в надежде славы и добра», Пушкин указывал Николаю на пример Петра. Но у находившегося на свободе поэта, потрясенного каторгой «120 друзей, братьев, товарищей», прибавлялся еще один, крайне важный для него момент: в образ Петра он вводил как существеннейшую черту его характеристики то, что Петр был «памятью... незлобен». Действительная степень петровской незлобivosti при этом сознательно им преувеличивалась.

Значительную роль в развитии взглядов Пушкина на Петра сыграла, несомненно, знаменитая беседа его с Мицкевичем у монумента Фальконе в Петербурге в 1828 году. Несколько позднее, в начале тридцатых годов, Мицкевич описал эту знаменательную беседу в стихотворении «Памятник Петру Великому». Пушкин откликнулся на стихотворение Мицкевича в «Медном всаднике», где, не вступая в прямую полемику, дал свою трактовку образа Петра, в корне отличную от трактовки польского поэта.

Свою страстную ненависть к русскому царизму — ненависть к Александру I и Николаю I, как носителям мертвящей, тиранической силы, подавляющей и польский и русский народы, — Мицкевич переносил и на Петра Великого. Никакой принципиальной разницы между Петром I, Александром I и Николаем I он не усматривал. Петр был в его глазах лишь основоположником Российской империи, ставшей ко времени Мицкевича тюрьмой народов; ни малейшего положительного содержания в деятельности первого русского императора он поэтому не признавал. В «Памятнике Петру Великому» Мицкевич свое понимание и свою оценку Петра развил от имени Пушкина. Но несомненно, что для Пушкина самый подход Мицкевича к разрешению проблемы Петра был неприемлем.

Из этого, однако, не следует, что Мицкевич целиком придумал свой разговор с Пушкиным.

Мог ли Пушкин говорить Мицкевичу о «тиранстве» Петра? Бесспорно, мог. В публицистических и исторических набросках Пушкина эта тема разрабатывалась неоднократно. Но, разумеется, по Пушкину, проблеме Петра она отнюдь не исчерпывалась. Он различал в деятельности Петра две стороны, которые, как он считал, находились в явном противоречии друг с другом. Зародыш такого взгляда на Петра можно найти еще в «Заметках по русской истории XVIII века» 1822 года; с не допускающей никаких кривотолков точностью он был сформулирован в 1835 году в подготовительных текстах к «Истории Петра»: «Достоинна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по край-

ней мере для будущего,—вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика.

НЗ (Это внести в Историю Петра, обдумав)».

Так обстоит дело с историческими воззрениями великого русского поэта. Каково же соотношение их с изображением Петра в художественном творчестве Пушкина? Воплотил ли Пушкин в своих художественных произведениях все то, что он знал и мог бы сказать о Петре I? Думаем, что ответ на этот вопрос должен быть дан отрицательный: Пушкин не воссоздал, да и не стремился воссоздать, образ Петра во всех его противоречиях. Как показывает приведенная только что запись, даже в 1835 году Пушкин мысль о разности «между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами» собирався внести лишь в «Историю Петра» — в «Историю», эта оговорка имеет очень большое значение, но никак не в поэзию. Как поэт, Пушкин добивался другого — возможно рельефнее выявить те качества Петра, благодаря которым он смог совершить свой исторический подвиг и

придал мощно бег державный  
Рулю родного корабля.

Споры с Мицкевичем должны были, думается, укрепить Пушкина в его взглядах на историческую роль Петра I. Как отклик на беседу у памятника Петру, звучат в эпилоге «Полтавы» строки:

В гражданстве северной державы,  
В ее воинственной судьбе,  
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,  
Огромный памятник себе.

Глубоким смыслом исполнено здесь взятое из словаря декабристов определение: «гражданство». Дело, которое отстаивал Петр, «гражданство северной державы», не отождествлялось Пушкиным с тиранией современного ему самодержавия. Своей выразительной формулой Пушкин как бы подчеркнул отрицаемую Мицкевичем историческую прогрессивность дела Петра.

С великим польским поэтом Пушкин говорил не только о Петре, но и о Мазепе. Этот второй обмен мнениями между поэтами имел место, по-видимому, значительно позднее, чем первый,—уже тогда, когда «Полтава» писалась или даже после ее окончания. О беседе их рассказал в своих мемуарах Кс. Полевой, но, к сожалению,

очень коротко, мимоходом: «При мне [в гостинице Демута] Пушкин объяснял Мицкевичу план своей еще неизданной тогда «Полтавы» (которая первоначально называлась «Мазепою») и с каким жаром, с каким желанием передать ему свои идеи старался показать, что изучил главного героя своей поэмы. Мицкевич делал ему некоторые возражения о нравственном характере этого лица».

Под главным героем поэмы Пушкина Полевой подразумевает, конечно, не Петра, а Мазепу. Не удивительно, что Мицкевич, который с такой враждебностью относился к Петру, к его антагонисту подходил гораздо сочувственнее. В своих возражениях Пушкину относительно характера гетмана он мог опираться не столько на исторические источники, сколько на литературные произведения — «Войнаровский» Рылеева и «Мазепу» Байрона. Последний как раз в этот период имел на Мицкевича необычайно сильное влияние.

Однако образ Мазепы, созданный Байроном, был отвергнут Пушкиным так же, как и образ Мазепы, созданный Рылеевым. Рылеева Пушкин критиковал за «своевольное» искажение исторического лица. Что же касается байроновского Мазепы, то он оказался для Пушкина неприемлемым вследствие полной своей неисторичности. В заметке о «Полтаве» 1830 года Пушкин писал: «Байрон знал Мазепу только по Вольтеровой «Истории Карла XII». Он поражен был только картиной человека, привязанного к дикой лошади и несущегося по степям. Картина, конечно, поэтическая, и за то посмотрите, что он из нее сделал. Но не ищите тут ни Мазепы, ни Карла...»

Надо думать, таким образом, что, споря с Мицкевичем и о Петре и о Мазепе, Пушкин выдвигал один и тот же аргумент — историю. И Пушкин и Мицкевич остались каждый при своей точке зрения. Об этом, думается, свидетельствуют и подарки, которыми перед отъездом Мицкевича за границу обменялись в 1829 году поэты. Пушкин подарил Мицкевичу экземпляр «Полтавы», вышедшей в свет в последних числах марта 1829 года. По весьма вероятной догадке М. А. Цявловского, в ответ на этот подарок Мицкевич со своей стороны подарил Пушкину Собрание сочинений Байрона в одном томе на английском языке, на котором по-польски написал: «Байрона Пушкину посвящает поклонник обо-

их — А. Мицкевич» (эта книга сохранилась в личной библиотеке Пушкина).

Общеизвестно, как высоко ценил Пушкин Мицкевича. Беседы и споры с ним по вопросам, затронутым на предыдущих страницах, естественно, не могли пройти и не прошли для Пушкина бесплодно. Они побуждали великого русского поэта развить и уточнить свои взгляды на Петра и оказали несомненное влияние на обрисовку его образа в «Полтаве».

## 4

В исследовательской литературе много раз подчеркивалось, что во время создания «Полтавы» Пушкину упорно сопутствовала мысль о декабристах, или, точнее, о разгроме декабристского движения и казни Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского. То, что между «Полтавой», с одной стороны, и событиями 14 декабря 1825 года и 13 июля 1826 года, с другой стороны, существует какая-то связь, можно считать сейчас бесспорно установленным. Сложность заключается, однако, в том, чтобы правильно истолковать характер этой связи. Это тем более сложно, что простым читательским восприятием (по крайней мере теперь, по прошествии ста тридцати лет) такая связь совершенно не улавливается.

Необходимо поэтому прежде всего проверить, какие имеются объективные основания полагать, что Пушкин, создавая свою поэму, вообще думал о восстании 14 декабря и расправе, учиненной Николаем после подавления восстания.

Основания для этого у нас следующие.

Во-первых, в «Полтаве» частично развиваются, частично переосмысливаются мотивы, взятые из «Войнаровского» Рылеева. Невозможно допустить, чтобы Пушкин, работая над произведением, столь тесно связанным с поэмой Рылеева, не задумывался при этом над судьбой ее автора — одного из наиболее выдающихся руководителей декабристского движения.

Во-вторых, работа Пушкина над образом Петра в «Полтаве» является непосредственным продолжением его работы над «Стансами», в которых Петр сопоставляется с Николаем. Трудно предположить, чтобы Пушкин в процессе писания «Полтавы» позабыл об этом своем многозначительном сопоставлении, сделанном именно в связи с декабрьским восстанием.

В-третьих, в черновиках посвящения «Полтавы» мы находим строки:

[Что ты единая святыня]  
[Что без тебя свет]  
[Сибири хладная пустыня].

Поэт говорит здесь, очевидно, о том, чем был бы для него мир без той, к которой обращено посвящение. И для того, чтобы охарактеризовать свое собственное положение, он вспоминает о положении сосланных декабристов.

И, наконец, последнее. Черновики первой песни «Полтавы» испещрены многочисленными рисунками, изображающими в различных вариациях казнь декабристов. В пушкинских рукописях такое стечение рисунков — и притом на тему, столь болезненно воспринимавшуюся Пушкиным, — представляет, без сомнения, случай уникальный.

Таковы факты, в которых нам следует разобраться, — в первую очередь для уяснения психологии творчества Пушкина, а затем и для более полного раскрытия идейной и художественной проблематики его замечательного творения.

Пожалуй, о мыслях и настроениях Пушкина, владевших им, когда он приступал к «Полтаве», с особой наглядностью говорят как раз изображения казненных в черновиках поэмы. Эти изображения были впервые опубликованы А. М. Эфросом и вошли в его книгу «Рисунки поэта».

По мнению Эфроса, переживания Пушкина, отразившиеся в его рисунках на полях «Полтавы», — прямой результат двух «дел», которые возбудило против него николаевское правительство: дела о «преступном отрывке» из элегии «Андрей Шень», тянувшегося с сентября 1826 года по июль 1828 года, и дела о «Гаврилиаде», возникшего во второй половине 1828 года. Переживания эти, как указывает исследователь, сказались и в некоторых пушкинских стихотворениях.

«Если в конце мая (1828 года.— Г. Л.) Пушкин пишет элегически-усталое: «Дар напрасный, дар случайный...», то роковой август приносит уже сигнальные строки: «Снова тучи надо мною — Собралися в тишине...» Они определенны, но их метафорическое проявление внутренней тревоги не дает представления о действительном состоянии Пушкина, когда ожидание оказалось реальностью и дело стало разворачиваться. Только сейчас, сопоставляя не-

сколько строк из его стихотворений конца 1828 года с этими тремя рисунками «Полтавы», мы можем утверждать, что Пушкин чувствовал себя в таком же положении, в каком были декабристы во время следствия. Он переживал это мучительно. Он внутренне, по-настоящему, объединял теперь их судьбу со своей. Видимо, самочувствие его порою доходило до такой потрясенности, что он даже примеривал — как это делал не раз и в других случаях — судьбу пяти смертников к себе. Эти рисунки черновиков «Полтавы» надо сопоставить с настойчивыми мыслями о виселице, которые мы встречаем в интимных стихах этой поры к Е. П. Полторацкой («Когда помилует нас бог,— Когда не буду я повешен...») и к Ек. Н. Ушаковой («Вы ж вздохнете ль обо мне,— Если буду я повешен?»), чтобы через внешнюю полусутливую строк зазвучало настоящее, глубоко пережитое чувство обреченности и позорной смерти».

Приведенные соображения нетрудно было бы подкрепить рядом дополнительных аргументов. В частности, цитированный выше вариант посвящения «Полтавы» также показывает, насколько родственными поэту казались его судьба и судьба декабристов.

Надо заметить, однако, что анализ А. М. Эфроса объясняет лишь, как изображения виселицы и повешенных связываются с личными переживаниями Пушкина в 1828 году. Но вопрос о том, почему эти рисунки появились именно среди черновиков «Полтавы», а не в какой-либо другой рукописи 1828 года, остается открытым.

Правда, А. М. Эфрос пишет далее, что чувство обреченности у Пушкина «искало себе выхода и получило исключительную яркость в описании томления и казни Кочубея». В какой мере с этой никак не мотивированной догадкой можно согласиться — будет ясно из дальнейшего. Здесь же отметим, что в каком бы состоянии духа Пушкин ни описывал казнь Кочубея, для понимания происхождения рисунков с телами повешенных оно ничего не дает. Томление и казнь Кочубея изображены Пушкиным во второй песне «Полтавы», а фигуры смертников он вырисовывал, работая над первой песней поэмы.

Следовательно, ассоциативные нити, соединяющие рисунки и текст, должны быть объяснены другим образом.

Приглядимся более внимательно к тому тексту, который Пушкин сопровождал своими рисунками.

На листах с двумя изображениями виселицы и несколькими силуэтами висящих тел вчерне набросаны строки, характеризующие Марию и ее любовь к Мазепе. Вот вид, который это место приняло в окончательной редакции:

Зачем так тихо за столом  
Она лишь гетману внимала,  
Когда беседа ликовала  
И чаша пенилась вином;  
Зачем она всегда певала  
Те песни, кои он слагал,  
Когда он беден был и мал,  
Когда молва его не знала;  
Зачем с неженскою душой  
Она любила конный строй,  
И бранный звон литавр, и клики  
Пред бунчуком и булавой  
Малороссийского владыки...

На другом листе рядом с рисунком — три трупа, повисшие на одной перекладине, — мы находим наметки будущих строк: «В толпе казаков...— Презренных девою несчастной...— Когда же вдруг меж казаков — Ее поступок огласился...— И беспощадная молва — ее стыдом...— Над ним старинные права — Мария сохранила...» И эти строки, как читатель видит, имеют прямое отношение к характеристике Марии.

Стало быть, отсюда можно заключить, — если принять за исходный пункт «автобиографизм» пушкинских рисунков в «Полтаве», — что Пушкин путем сложных ассоциаций от раздумий над образом Марии переходил к раздумьям над собственной своей судьбой, которую затем он сравнивал с судьбой декабристов.

Но допустимо ли — хотя бы гипотетически — приписывать Пушкину такого рода ассоциации? Да и какой в них смысл? Что общего между дочерью Кочубея и поэтом?

На первый взгляд действительно мысль о таком сближении должна показаться парадоксальной. Но, понятно, руководствоваться нужно не тем, что нам лично кажется парадоксальным или естественным; руководствоваться следует представлениями самого Пушкина, поскольку мы их в состоянии выяснить. В данном случае это нам доступно, так как параллель между поэтом и девой творчеству Пушкина отнюдь не чужда.



значение. Она позволяет более глубоко понять и содержание «Полтавы», раскрывая связь идейно-художественной проблематики этой поэмы с проблематикой других пушкинских произведений и в числе их «Андрея Шенье».

В «Андрее Шенье» друг другу противопоставлены, как мы видели, «обычная колея», «проторенная дорога» личного счастья, жизнь «для любви, для мирных искушений», с одной стороны, и путь политической борьбы, путь исторического действия, «где ужас роковой, где страсти дикие», с другой стороны. Первый путь при этом всемерно идеализируется; о втором поэт пренебрежительно отзывается как о «низком поприще с презренными бойцами». И все же он выбирает этот второй путь, ведущий к плахе. Когда в силах поэта казнить своим стихом «сих палачей самодержавных» — поступить иначе было бы непростительным малодушием.

Так вскрывается в «Андрее Шенье» неизбежная, с точки зрения Пушкина, в условиях «жесточкого века» противоречивость и антагонистичность частной жизни и истории. Однако отказ от безмятежного личного счастья является в этой элегии добровольным; возможность выбора оставалась за поэтом.

В «Полтаве» противоречие между частной жизнью и историей приняло иной вид. Помыслы Марии — хотя она в ответ на признания Мазепы и восхищается тем, как к его сединам пристанет царская корона, — это только помыслы о личном счастье. Но ей приходится бороться за свое счастье, оно достается ей — в первой части поэмы — ценою разрыва с отцом и матерью. Если бы частная жизнь и история были отделены друг от друга так, как это изображено в «Андрее Шенье», то рассказ о Марии не имел бы в поэме продолжения (или, вернее, не было бы и самой поэмы, потому что именно в этом «продолжении» Пушкин и видел ее сущность). Но в «Полтаве» частная жизнь и история теснейшим образом переплетаются: любовник в Мазепе уступает гетману, и гибель Марии предстает как — пусть незаметное, но закономерное — следствие столкновения гигантских исторических сил.

По сравнению с «Андреем Шенье» пушкинское представление о противоречиях действительности приобрело в «Полтаве» новый, более конкретный и более трагический смысл.

Чрезвычайно, однако, характерно для Пушкина, что он не ограничивался одной лишь констатацией этих противоречий; он настойчиво искал исхода и видел его в самой истории, в поступательном движении России вперед. К исторической точке зрения он апеллировал в тяжелые дни суда над декабристами, когда в начале февраля 1826 года писал Дельвигу: «Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира». К исторической точке зрения он апеллировал и в «Полтаве», вводя в поэму колоссальный образ Петра.

## 5

Связь, обнаруженная нами между «Полтавой» и «Андреем Шенье», равно как и то обстоятельство, что «Полтава» писалась в 1828 году, когда затянувшееся дело о «преступном» отрывке из «Андрея Шенье» приняло явно неблагоприятный для Пушкина оборот, заставляют нас обратить особое внимание на текстуальные и стилистические совпадения в обоих пушкинских произведениях. Их не так мало; но наибольшее значение из них имеет автореминисценция из «Андрея Шенье» в одной из основных сцен «Полтавы» — сцене казни Кочубея и Искры.

Описание этой казни в поэме Пушкина:

И вот  
Идут они, взошли. На плаху,  
Крестясь, ложится Кочубей.  
Как будто в гробе, тьмы людей  
Молчат. Топор блеснул с размаху.  
И отскочила голова.  
Все поле охнуло. Другая  
Катится вслед за ней, мигая.  
Зарделась кровию трава —  
И сердцем радуясь во злобе,  
Палач за чуб поймал их обе  
И напряженною рукой  
Потряс их обе над толпой,—

обычно сопоставляют (вполне обоснованно, разумеется) с соответствующим местом из «Войнаровского»:

Вот, вот они!.. При них палач!  
.....

Вот их взвели уже на плаху,  
Кругом стенания и плач...  
Готов уж исполнитель муки;  
Вот засучил он рукава,  
Вот взял уже секиру в руки...  
Вот покатилась голова...  
И вот другая!.. Все трепещут!  
Смотри, как страшно очи блещут!..

Но необходимо в этой связи припомнить также и строки «Андрея Шенья»:

Я плахе обречен. Последние часы  
Влачу. Заутра казнь. Торжественной  
рукою  
Палач мою главу подымет за власы  
Над равнодушною толпою.

В «Полтаве» Пушкин как бы объединил два изображения казни. Для того, чтобы ярче нарисовать картину расправы с Кочубеем и Искрой, он не ограничился подробностями, взятыми из поэмы Рылеева, повешенного Николаем, он прибавил к ним еще одну потрясающую деталь из своей собственной «автобиографической» элегии.

Факт, бесспорно, знаменательный! Зная обстановку, в которой возникла «Полтава», мы вправе предположить, что Пушкин, создавая эту сцену, ассоциировал казнь Кочубея и с казнью декабристов и с участью, которой он избежал в прошлом, но которую, видимо, в минуты отчаяния он считал для себя возможной в будущем.

Основным виновником гибели Кочубея и Искры в «Полтаве» (как и в истории) выступает Мазепа, для которого Пушкин не жалеет гневных эпитетов. «Злодей», «злой старик», «старец дерзновенный», «Иуда», «изменник русского царя» — с теми или иными видоизменениями повторяется на протяжении всей поэмы. Но казнь Кочубея последовала не только вследствие «холодной дерзости» Мазепы; известная доля вины за нее ложится и на Петра, «предубежденного» в пользу гетмана. Тут мы тоже с большой степенью вероятности можем говорить об ассоциативном подтексте у Пушкина, поскольку, как мы указывали раньше, работа Пушкина над образом Петра в «Полтаве» является непосредственным продолжением его работы над «Стансами», в которых Петр сопоставлялся с Николаем.

Казнь Кочубея — это очень отчетливо выявлено в «Полтаве» — была явной и неоспоримой ошибкой Петра, ошибкой, которую Петр потом постарался исправить и загладить. Несомненно, что Пушкин (в особенности во второй половине двадцатых годов) и казнь декабристов считал также ошибкой Николая, в добрые намерения которого ему хотелось верить, а не закономерным актом общей реакционной политики царя. Потому-то и могла так часто, по всякому удобному и неудобному поводу, появляться у Пушкина надежда, что царь

«того и гляди... наших каторжников простит».

Однако — чего не понимали в прошлом ни реакционные пушкинисты, ни «вульгарные социологи» — такое умонастроение не было у Пушкина сколько-нибудь прочным. Не видя возможностей для действительного изменения положения вещей, Пушкин предавался порой иллюзиям. Но, как великий реалист, он отчетливо сознавал, тем не менее, что все его надежды на Николая — это надежды на «авось».

Авось по манью [Николая]  
Семействам возвратит [Сибирь] —

с тяжелым чувством, едва прикрытым насмешкой, писал он в десятой, сожженной, главе «Онегина».

Еще меньше мог думать поэт, что Николай захочет исправить свою «ошибку», в сентябре — октябре 1828 года, когда на полях «Полтавы» вычерчивались фигуры пяти смертников. Наоборот, в этот момент у Пушкина были все основания опасаться, что и его постигнет участь декабристов — не повешенных, так сосланных, — и он поедет «прямо, прямо на восток».

Ассоциации между Петром и Николаем, которые в ходе работы над «Полтавой» являлись, пожалуй, для Пушкина неизбежными, должны были при таких условиях повлечь за собой не сопоставление, а скорее противопоставление этих двух самодержцев. Петр I в поэме Пушкина осуществляет то, чего в действительности Пушкин не может дожидаться от Николая I.

Свое отношение к Петру Пушкин подчеркнул в «Полтаве» эпиграфом (даем его русский перевод): «Мощь и слава войны, изменчивые, как и их суетные поклонники — люди, перешли на сторону торжествующего царя. Б а й р о н».

В заметке 1830 года о «Полтаве» Пушкин писал по поводу эпиграфа: «В «Вестнике Европы» заметили, что заглавие поэмы ошибочно, и что вероятно не назвал я ее Мазепой, чтоб не напомнить о Байроне. Справедливо, но была тут и другая причина: эпиграф. Так и «Бахчисарайский Фонтан» в рукописи назван был Х а р е м о м, но меланхолический эпиграф (который конечно лучше всей поэмы) соблазнил меня». Любопытно, что Пушкин в связи с эпиграфом к «Полтаве», взятым у Байрона, вспомнил об эпиграфе к «Бахчисарайскому фонтану», взятом у Саади: «Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных



уже нет, другие странствуют далече». После поражения восстания 14 декабря Пушкин, как известно, стал применять это изречение Саади к декабристам.

Каков же в «Полтаве» торжествующий царь, царь-триумфатор? В чем заключается политический смысл эпиграфа? Одержавший победу Петр в поэме Пушкина прежде всего великодушен и не мстителен. В этом поэт — в «Полтаве», как и ранее в «Стансах», — видит существеннейшую черту Петра. Но в «Стансах» то, что Петр «памятью незлобен», отмечено одной, весомой строкой; в «Полтаве» она развертывается Пушкиным в целую картину:

Пирует Петр. И горд и ясен  
И славы полон взор его.  
И царский пир его прекрасен  
При кликах войска своего,  
В шатре своем он угощает  
Своих вождей, вождей чужих,  
И славных пленников ласкает,  
И за учителей своих  
Заздравный кубок подымает.

Разумеется, Пушкин, так трактуя Петра, не просто следовал за историческим материалом, а активно отбирал его для своих целей. Характерно в этом отношении, что с описанием пира Петра в «Полтаве» явно переключается «Пир Петра Первого» в стихах 1835 года, где Петр

с подданным мирится;  
Виноватому вину  
Отпуская, веселится;  
Кружку пенит с ним одну;  
И в чело его целует,  
Светел сердцем и лицом;  
И прощенье торжествует,  
Как победу над врагом.

В «Стансах», «Полтаве», «Пире Петра Первого» Пушкин на протяжении десяти лет настойчиво рисовал образ исторического деятеля, светлого сердцем и лицом, во всем противоположного своим преемникам на троне — тиранам-самодержцам.

Оставь герою сердце! Что же  
Он будет без него? Тиран...—

с горечью восклицает поэт в стихотворении 1830 года, посвященном Николаю I.

Петр в поэзии Пушкина неизменно оставался подлинным героем, героем, у которого есть сердце. В этом Пушкин, восславивший свободу в жестокий век Александра и Аракчеева, Николая и Бенкендорфа, видел особую значимость и притягательность образа Петра.

## 6

Отражая нападки «Сына Отечества» и «Вестника Европы» на «Полтаву», Пушкин разобрал и высмеял в заметке 1830 года почти все возражения, выставленные критиками против его поэмы. Он в чрезвычайно резких и определенных выражениях отстаивал историчность характеров действующих лиц «Полтавы», психологическое правдоподобие любви Марии к старому гетману, наконец, язык своего произведения. Но один упрек, обращенный к нему, поэт обошел молчанием. Мы имеем в виду упрек в композиционной неслаженности и недостаточной целостности «Полтавы», который брошен был Пушкину и анонимным критиком болгаринского «Сына Отечества», но который в особенно грубой форме был сделан Н. И. Надеждиным. «Странное дело!..— восклицал Надеждин.— В этом поэтическом создании, несущем величественное имя Полтавы, сама Полтава составляет такой неприметный уголок, что его едва и отыскать можно. Описание Полтавского сражения, вставленное в третью песнь Поэмы, столь маловажно для целого ее состава, что при совершенном уничтожении оно потеряло бы только толщина книжки».

Почему же, спрашивается, в своей отповеди Булгарину и Надеждину Пушкин не остановился на вопросе о плане своей поэмы? Косвенный, но оттого не менее выразительный ответ мы находим в пушкинской рецензии на альманах «Денница».

Рецензия эта полностью (за исключением вступительного абзаца) посвящена изложению и разбору «Обозрения русской словесности 1829 года» И. Киреевского, которое получило очень высокую оценку Пушкина. Для наших целей «Обозрение» это и отношение к нему Пушкина представляют особую ценность, так как в статье Киреевского немало говорится о «Полтаве», а из рецензии Пушкина видно, как он воспринял критические замечания Киреевского о своем произведении.

Выписываем из нее соответствующее место: «В число исторических сочинений г. Киреевский включает и поэму «Полтаву». «В самом деле,— говорит он,— из двадцати критик, вышедших на эту поэму, более половины рассуждало о том, действительно ли согласны с историей описанные в ней люди и происшествия.— Критики не могли сделать большей похвалы Пушкину». Признавая в сей поэме большую зрелость та-

ланта, он осуждает в ней недостаток единства интереса, «единственного из всех единств, коего несоблюдение не прощается законами либеральной пиитики». Этим объясняет он малый успех, который имела последняя и едва ли не лучшая из поэм А. Пушкина.

По понятным причинам эти строки сдержанны — Пушкин ограничивается лишь изложением мнения Киреевского о своей поэме, — но, нам кажется, мы не ошибемся, сказав, что в этих строках недвусмысленно выражено согласие поэта с критиком. Киреевский писал в своей статье о «Полтаве»:

«...если мы будем смотреть на Полтаву, как на зеркало дарования, то увидим, что она дает нам право на большую надежду в будущем, нежели все прежние поэмы Пушкина. Но зато, если мы будем рассматривать ее в отношении к ней самой, то найдем в ней такие несовершенства, которые хотя несколько объясняют нам, почему публика приняла ее не с таким восторгом, какой обыкновенно возбуждают в ней произведения Пушкина. Главное из сих несовершенств есть недостатки единства интереса, единственного из всех единств, которого несоблюдение не прощается законами либеральной Пиитики. Если бы поэт сначала возбудил в нас участие любви или ненависти к политическим замыслам Мазепы, тогда и Петр, и Карл, и Полтавская битва были бы для нас развязкою любопытного происшествия. Но посвятив первые две песни преимущественно истории любви Мазепы и Марии, Пушкин окончил свою повесть вместе с концом второй песни, и в отношении к главному интересу поэмы всю третью песнь можно назвать почти лишнею».

Это мнение Киреевского о «Полтаве» не только не встретило возражений со стороны Пушкина, но, напротив, было им приведено как, очевидно, правильное объяснение «малого успеха» поэмы. Признавая «недостаток единства интереса» в «Полтаве», Пушкин, однако, продолжал считать, что она «едва ли не лучшая» из его поэм. Композиционные недочеты «Полтавы» не могли, с точки зрения поэта, повлиять на оценку ее по существу. «Полтава», как ее задумал Пушкин, и не должна была стать ни поэмой о любви Марии и Мазепы, ни поэмой о борьбе Петра со своими врагами. Замысел Пушкина состоял как раз в слиянии двух этих тем, без чего неосуществимо

было образное раскрытие мучительно переживавшихся поэтом «противоречий сущности», противоречия частной жизни и истории.

В художественные намерения Пушкина входило выявление двух правд: правды Петра и правды Марии<sup>1</sup>, — их соотношением в «Полтаве» и определяется главная мысль поэмы.

С особенной отчетливостью это соотношение двух линий «Полтавы» дано в заключительной ее части, где Пушкин в восторженных выражениях описывает памятник, что воздвиг себе герой Полтавы, и где о Марии говорят скорбные и сочувственные строки, заканчивающие эпилог и вместе с ним всю поэму:

Но дочь преступница... преданья  
Об ней молчат. Ее страданья,  
Ее судьба, ее конец  
Непроницаемо тьмою  
От нас закрыты. Лишь порою  
Слепой украинский певец,  
Когда в селе перед народом  
Он песни гетмана бренчит.  
О грешной деве мимоходом  
Казачкам юным говорит.

Полной слитности обеих линий — линии истории и линии частной жизни — Пушкину в «Полтаве» достичь не удалось. Эта задача была разрешена им лишь впоследствии в «петербургской повести» «Медный всадник», в которой, как и в «Полтаве», одним из центральных героев является величайший деятель русской истории, «мошный властелин судьбы» — Петр.

\* \* \*

«Полтава» — одно из основных произведений Пушкина, важнейшее звено в развитии его творчества.

Как показывает анализ, возбуждениям личного порядка в подготовке и созревании замысла «Полтавы» должно быть отведено заметное место. Напряженная работа Пушкина-художника над этой поэмой неразрывно связана с глубокими душевными переживаниями поэта, с его горькими раздумьями над своей будущностью, с его постоянными опасениями за свою свободу, а подчас даже и жизнь.

Но вместе с тем — что мы также стремились выше показать — тягостные эти переживания и раздумья теснейшим образом сочетались у Пушкина с острым осозна-

<sup>1</sup> Ибо Мария, как писал Велинский, в своей любви «как женщина, велика».

нием того, что все испытываемое им в личном плане обусловлено его верностью своему призванию певца, лира которого

не изменилась до конца!

Вопрос о несовместимости с политическим режимом тогдашней России свободы личной и свободы творческой не был для Пушкина ни в какой мере абстрактным, отвлеченным вопросом; он ставился перед Пушкиным или, вернее сказать, навязывался Пушкину всей его биографией, всем его жизненным опытом. Вопрос этот непосредственно и больно его затрагивал, и он упорно и страстно искал для себя выхода из того положения, в каком он оказывался из-за «неправого гонения» правительства и его агентов.

Однако — и это в первую очередь следует подчеркнуть — при всей исключительной обостренности личных своих переживаний Пушкин был далек от того, чтобы рассматривать свою судьбу только с личной точки зрения. Он всегда старался осмыслить закономерность происходящего с ним и видел в своей индивидуальной драме одно из частных проявлений общих за-

конов «жесточкого века». В этом, между прочим, сказалась с огромной силой реалистичность пушкинского мироощущения и миропонимания.

Пушкин был, бесспорно, в высшей степени объективным художником. Но он отнюдь не принадлежал к тому типу художников, которые, уходя в мир объективных образов, пытаются забыть при этом о своих субъективных побуждениях, отвлекаясь от того, что их лично волнует и тревожит. В «Полтаве» — поскольку о ней именно идет у нас речь — нельзя не считаться с личной заинтересованностью поэта, явно ощущаемой в том, как он разрабатывает свой исторический сюжет.

Это не значит, конечно, что в «Полтаве» нужно искать прямых «применений» к событиям 1828 года или эпохи Николая I вообще, — их там нет. Но для того, чтобы поэма могла возникнуть, «рок завистливый» должен был вновь угрожать «бедою» Пушкину и Пушкин должен был вновь с мучительным чувством перебирать свои отношения к декабристам, Александру I, Николаю I, к «ареопагу остервенелому» «сих палачей самодержавных».



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**О. Михайлов.** Мастерство молодого прозаика.— **Ю. Капусто.** Талант и жизнь.— **А. Турнов.** Во вкусе Трифона Камчадала.— **Л. Эйлин.** Мао Цзэ-дун о литературе и искусстве.— **Г. Бялый.** **А. Дементьев.** Архипов полемизирует.— **В. Шкловский.** О пользе личных библиотек и о пользе собирания книг в первых изданиях в частности.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**А. Середа.** Навеки вместе.— **В. Пирогов.** На пороге нашего завтра.— Кандидат исторических наук **Л. Зак.** Герои одесского подполья.— **Д. Владимировский,** **Н. Финнелштейн.** Книга могла быть лучше.

## Литература и искусство

### Мастерство молодого прозаика

**М**олодой владимирский прозаик Сергей Никитин черпает материал для своих рассказов преимущественно из одного источника — из жизни современной средне-русской деревни. Его герои — плотники, пастухи, бригадиры, рыбаки, сторожа и даже сельский участковый милиционер — могли бы повторить ему слова крестьян из «Анны Снегиной»: «Ты — свойский, мужицкий, наш». Иными словами, то, о чем пишет С. Никитин, не только знакомо, но и по-родному близко ему.

В рассказах С. Никитина, объединенных в сборнике «В бессонную ночь», немалую роль играет природа, ее особенное, отдельное от человека бытие. «По звонкой пленке молодого льда на пруду ветер мел сухие листья. Пруд, как чаша, собиравшая в себя дары осени, постепенно пополнялся золотым лиственным тленом, и вскоре ветер начал выхлестывать его через край, мотовски разбрасывая по опаленной первыми заморозками траве. Утром к пруду подошла лиса. Она была из породы огневок, и, когда солнце холодным лучом скользнуло по ее спине, эту рыжеватую-красную вспышку заметили с голы березы сороки, тревожной трескотней предупредившие об опасности всех, кому она могла угрожать. Лиса

хотела пить. Из-под ее лапы короткой судорогой пробежал от берега к берегу поющий звон, лед прогнулся, но не лопнул. И тогда она начала лизать его. Сороки не мешали ей. Они не имели памяти и, забыв про опасность, о которой сами предупреждали, слетали с березы на землю клевать бруснику» («Крах»).

Но центральное место в рассказах С. Никитина занимает не тщательно выписанная, застигнутая «врасплох» природа. Передача словами почти неразложимого смешения лесных и полевых запахов, фиксация почти неуловимых цветовых превращений — ведь в действительности лес лишь изредка бывает только зеленым, а небо только голубым — все это подчинено главной художественной задаче: изображению сегодняшнего человека, его забот и трудностей, его радостей и переживаний, будней колхозного села.

На первый взгляд это утверждение кажется слишком категоричным. Ведь в сборнике С. Никитина ни разу не встретишь «чистой» производственной коллизии. Превращение отсталой бригады в передовую, борьба за урожайность, изгнание колхозниками самодура-председателя, внедрение новых злаков — эти привычные и важные для колхозных бытописателей проблемы просто не отражены в рассказах. Но тогда, быть может, современность, боль-

**С. Никитин.** В бессонную ночь. Рассказы. Редактор И. Гнездилова. 208 стр. «Молодая гвардия». М. 1959.

шая жизнь, попросту прошла для С. Никитина стороной? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим один из рассказов — «Весенним утром».

Майской ранью на крыльчке правления ожидают нового председателя двое: Венька-Дикарь и колхозник Евсей Данилыч Тяпкин. «О деле Евсея Данилыча легко можно было догадаться, взглянув на его спутанную бороду, мутные глаза и водянисто-синие оплывы под ними. Конечно, сам он прямо ни за что не выдаст своего затаенного желания и будет уверять, что деньги нужны ему на «карасин», на мыло, на олифу, но всякому, кто хоть немного знал Евсея Данилыча, было без слов ясно, что мужик находится, по его собственному выражению, «на струе» и пришел просить двадцать пять рублей из колхозной кассы, чтоб опохмелиться». Когда-то Евсей Данилыч слыл первым плотником на селе, но как-то — он не заметил как — пришло в расстройство большое колхозное хозяйство, а вместе с ним и его, Тяпкина, маленькое хозяйство. Это жертва. А рядом с ним — хищник. Венька руководит «дикой» бригадой. «Вот уже три года в ближних и дальних колхозах эта бригада рядилась строить коровники, телятники, хранилища, рвала за это жирные куски наличными, но работала, надо признаться, на совесть».

Встреча с председателем Коркиным оборачивается неожиданностью и для Тяпкина и для Веньки. Коркин наотрез отказывается давать тысячный куш Венькиным «дикарям» и предлагает Евсею Данилычу колхозными силами строить телятник. Мало того, потрясенный Тяпкин узнает, что правление решило выдать на трудодни денежный аванс, и немедленно отправляется за реальным подтверждением — получать свои сто шестьдесят семь рублей. «К дому он подходил с лицом торжественным и лукавым. Сейчас он доставит себе маленькое удовольствие — покуражится, прикажет вздуть самовар, заставит чисто прибрать стол, откажется пить из надтреснутой чашки, а потом, когда жена будет доведена до предельного градуса и приготовится запустить в него какой-нибудь твердостью, вдруг обьявит, что его хотят поставить бригадиром строительной бригады, и как бы в подтверждение этого бухнет на стол полторы сотенных...»

Писателя, как видим, интересует душевное движение Евсея Данилыча, преодоление им той психологической депрессии, в

какой находился плотник в застойные годы. С. Никитин прослеживает этот процесс, не изменяя правдоподобию (так, не забыто, что Тяпкин из полученной суммы семнадцать рублей «тщательно упрятал за подкладку шапки, а остальные положил в карман»). Молодого прозаика занимает не то, как добился трудовых успехов справный бригадир строительной артели, а как опустившийся, разочаровавшийся в трудодне человек вдруг оказывается на пути к тому, чтобы стать справным бригадиром.

Так через «оттаивание» героев отражаются большие и благотворные преобразования в колхозной жизни. Амнистированный хулиган, сирота Сашка Раздольнов, вернувшийся «после отбытия» в родной Токовец, полюбил Верку, дочь крутого и еще более желающего казаться крутым бригадира Андрея Фомича («Запах сена»). Сашка, этот сильный и ладный в прошлом парень, оказывается братом по несчастью другого сельского озорника — Матвея Морозова, героя повести С. Антонова «Дело было в Пенькове».

«В селе ему было скучно. Осенними вечерами темнота рано опускалась на ошетилившиеся бурой стерней поля; в скирдах соломы шуршал бесприютный ветер; на еду светловшую полоску заката телили черные стаи голок. Парни, укрывшись от ветра в срубе, резались в очко или ходили цепочкой за гармонью. Навстречу им такой же цепочкой шли с песнями девушки. Обе стороны делали сначала вид, что не замечают друг друга, потом, будто невзначай, соединялись и вместе опять шли за гармонью. Это так и называлось «ходить за гармонью» и повторялось ежевечерне который уж год! Сашка тоже ходил и думал: «В армию бы скорей...» В престольный праздник рождества богородицы он первый раз в жизни напился...»

И тоска, неприкаянность Сашки, не желавшего, «как все», коротать за гармонью осенние вечера, и найденный выход нерастраченными силами в пьяной драке, и зарешеченное окно вагона — нескладность этой судьбы заставляет читателя призадуматься. Но ненадолго. С. Никитин спешит убедить, что время морозовых и раздольных, «лишних людей» в деревне, как и время Веньки-Дикаря, проходит. Участковый Анчуткин, сам пострадавший от Сашки («Я тебе воротник порвал и за ухо укусил», — напоминает тот ему), предлагает председателю: «Ты уж, Григорий Ива-

нович, через свое самолюбие перешагни. Сходи сам к Сашке Раздольнову... Это, знаешь, как-то того... когда сам председатель придет и на работу попросит. Сашка, он сразу на вершок вырастет».

В никитинских рассказах нельзя выделить начала конфликтное и идиллическое. Безмятежное состояние таит в себе скрытые противоречия (так оборачивается актом о браконьерстве шутка молодого председателя сельсовета Вани Воеводина над своекорыстным печником Жилиным в рассказе «Пошугили»). Драматическое положение, напротив, завершается полным благополучием. У разлученного с Веркой Сашки Раздольнова, твердо решившего «костыши повыдергать» Андрею Фомичу («Запах сена»), враз изменяется все: ночью прибегает к нему Верка, а утром он заступает на колхозную работу — пасти жеребят.

Позиции автора определены, симпатии недвусмысленны: он утверждает неизбежность краха жизненных устоев стяжателя-бирюка («Крахи»); противопоставляет мнимой красоте мешанки Орловой красоту подлинную — незаметную красоту души агронома Александры Сергеевны Воркуевой («Бубенчик»); в мытарствах каменщика Миколы Федчука по США и Канаде обнажает изнанку «заморского» образа жизни («Костер на ветру»). С. Никитину доступны все регистры авторского отношения к героям, но он предоставляет право последнего суда читателю, ничего ему не навязывая. Оценка выкристаллизовывается из всего художественного контекста.

Каждый рассказ С. Никитина — это цельный художественный организм, со своими красками и ароматами: «Удивительная осень стояла тогда. В одну ночь вдруг растаял крупитчатый снег, запахло как от разломленного арбуза, и влажный ветер с юга принес бархатистое осеннее тепло» («Костер на ветру»); «Когда, наконец, тронулись степные овраги и ветер дохнул запахом

снеговой воды, когда мутная, глинистая река до краев налила оросительные лиманы и закричали над ними стаи пролетных гусей, Никона охватила нетерпеливая тревога» («В бессонную ночь»); «Каждая пора отмечена своим запахом. Душно пахнет амбарной пылью во время жатвы; пряным духом смородинового листа и укропа тянет по селу, когда хозяйки солят огурцы; тонкий аромат осени — аромат антоновки — стоит в садах в пору их спелости; и точно так же свой неповторимый запах имеет сенокос. Сухой ромашкой, поповником, мятой, мышиным горошком, клевером — всем букетом разнотравья пахнут тогда волосы и кофточки девушек, ладони косцов, телеги, вилы, грабли, и кажется, что сам воздух от земли до облаков полон лекарственно-дурманными испарениями скошенных трав» («Запах сена»). И рассказы эти точно полевой букет, с любовью собранный художником.

На этом рецензенту надлежало бы, пожалуй, поставить точку. У С. Никитина есть как будто все: знание жизни, незаурядное мастерство прозаика, чувство слова и ритма, верная нацеленность. Все это, повторяю, у С. Никитина есть, но подчас что-то и настораживает. Это «что-то» — традиционность форм, которые с немалым искусством использует прозаик. Однако после Тургенева, Чехова, Бунина, Пришвина трудно писать о природе, повторяя «медные» стволы сосен, или воссоздавать лунную ночь, отмечая «блестевшее старое ведро».

Сборник рассказов С. Никитина «В бессонную ночь» — зрелое свидетельство накопления молодым прозаиком прочных, «почвенных» впечатлений и литературного мастерства. Впереди — упорная работа над дальнейшим выявлением собственного, индивидуального стиля, шире — неповторимого и современного художественного видения мира.

**О. МИХАЙЛОВ.**

★

## Талант и жизнь

Автора этого сборника нет в живых. Дожив до пятидесяти двух лет, он все же не успел увидеть написанное им собранным в книгу. Наверно, бессмысленно и даже кощунственно говорить в этом случае,

**Николай Горбунов. Минуты жизни. Редантор Э. Мороз. 178 стр. «Советский писатель». М. 1959.**

что автор сделал меньше, чем мог, что он не сумел или не успел найти себя. Но именно такой горький, печальный след оставляет в душе посмертная книжка Николая Горбунова, снова и снова заставляющая думать о том, какое значение имеет уклад жизни писателя, решающий в судьбе его, пожалуй, не меньше, чем решает талант.

В этом сборнике есть один прекрасный рассказ — из тех рассказов, которые, будучи прочтены, запоминаются на всю жизнь. В нем всего три страницы.

В рассказе почти ничего не происходит. Скромная, простенькая двадцатидевятилетняя Женя, живущая с мамой и думающая о том, что больной матери нужно купить полкило винограду, а ей самой давно пора бы сменить шляпку, едет на службу. Случайно она сталкивается в метро с взглядом человека, который смотрит на нее с интересом. Короткие минуты, что она сидит против него, — это действительно минуты подлинной жизни: целая жизнь прожита за эти мгновения. Но вот поезд метро остановился на нужной станции. Женя поднялась, направилась к двери, преодолев застенчивость, стыд и позвав за собой взглядом этого человека, которому — она это знала уже — она нужна, женой которого она уже чувствовала себя. Почему это стыдно, а не стыдно «красить губы, выщипывать брови, обманывать бюстгальтером и перманентной завивкой»?

Он заколебался, взглянув на часы, потом решительно поднялся, пошел за нею, но не успел пробраться к выходу сквозь толпу. Дверь вагона закрылась, поезд ушел, и Женя снова осталась одна — со своим одиночеством, со своей потребностью и готовностью отдать кому-то себя, со своим неумением отыскать в океане жизни того, кого ей нужно найти.

Но дело не в самом сюжете; дело в том, как раскрыл писатель эти минуты, пережитые девушкой. Пересказать это невозможно. Писатель, обнаруживший такое искусство перевоплощения, писатель, умеющий с таким тактом и естественностью раскрыть «тайное тайных» чужой души, умеющий увидеть высокое, достойное, человеческое там, где другой, быть может, увидел бы только жалкое и смешное, должен был написать еще много чудесных рассказов.

Однако рассказов, равноценных этому, в сборнике больше нет.

В сборнике есть прекрасная повесть «Трое» — из тех повестей, где каждая реплика, каждая подробность — из жизни, где нет ничего надуманного. В ней всего три с небольшим листа.

Здесь автор обнаружил другое истинно писательское качество: умение видеть и слышать.

Трое парней, выбитых из колеи безработицей двадцать пятого года, ходят по жиз-

ни в поисках работы и хлеба. Один из них — бывший моряк, списанный с парохода за политический диспут с английским боцманом, во время которого иностранец потерял пару зубов; другой — бывший заключенный, стрелочник, мирно спавший на своем посту в то время, как произошла катастрофа; третий, любитель философии и литературы, — бывший библиотекарь, бывший табельщик, бывший конторщик, всюду попадавший под сокращение штатов. Мутные волны нэпа швыряют парней от одной темной возможности к другой, они то раскрывают перед голодными ребятами, уставшими от жизни без крова и без матраца, перспективу жениться на горе подушек, на куче денег, на крепком доме в придачу с горячей женой; то сталкивают их с убийцами, с картежниками, разгрызающими в карты человеческую жизнь, с белогвардейским отребьем, с торгашами, продающими все, вплоть до «хороших девушек», наконец — просто с ворами.

Ни одна из этих предложенных им возможностей не устраивает ребят; в них есть нечто такое, что мешает им бросить якорь в крепком доме с горой подушек и кучей денег или надолго задержаться на воровском промысле.

Но автор не чистюля и не ханжа, он ни на минуту не упускает из виду сложной реальности нэпа.

Свое решение больше не воровать бензин из казенных цистерн ребята формулируют так: «— Шабаш! — махнул рукою Свободин. — Больше не будем. Ведь это же воровство. Мы государство обкрадываем. Нехорошо! Некультурно! Пора и за честную работу взяться. Например, контрабанда — это удивительно чистое, благородное дело!»

Теплая авторская ирония все время сопутствует похождениям и злоключениям этих трюх парней. То ведь и смешно, то ведь и горько, что эти голодные бродяги, мыкающиеся по нэпу, — по существу настоящие советские ребята; во всяком случае, им предназначено быть такими, а быть такими они не могут пока.

Поэтому так иронично звучит в приложении к их немудреному бродяжному быту новая терминология, вырабатывавшаяся уже за годы Советской власти.

«Они приобрели целую буханку белого хлеба, полкило сала, построили чудовищной величины бутерброды и в сжатые сроки ликвидировали их».

«На коллегияльных началах были закуплены солдатский котелок и три ложки».

Автор позволяет себе иронизировать над самым важным и дорогим потому, что это ирония над самим собой; автор позволяет себе это потому, что знает: сегодняшняя слабость станет завтрашней силой, советское начало и в этих парнях и в путаной стихии нэпа все равно победит.

И в конце концов ребята находят действительно «благородное, чистое дело», они становятся настоящими советскими рабочими, и не просто рабочими: они уже борются за торжество советских норм, вступаая в борьбу не только с буржуазными нравами, но и с демагогией, пытающейся действовать и говорить непременно от имени народа и никак не меньше того.

Теперь-то ребята крепко бросили якорь, отсюда, из дальневосточного города, куда они махнули с Кубани и где они снова стали людьми, они никуда не уйдут. Кончилась бродяжная жизнь.

Это написано так естественно, просто, все с той же зоркостью глаза, все с тем же вкусом к деталям, к конкретному, с неизменным юмором, без тени риторике — не поверить этой победе нельзя.

В сборнике есть еще несколько славных рассказов, хотя ни один из них ни по глубине проникновения в человеческое сердце, ни по зоркости художественного видения не равен двум этим работам.

В рассказе «Одна минута» автор показывает, какого напряжения стоил молодому машинисту его первый самостоятельный рейс, а пассажиры даже не удивились, что дачный поезд прибыл в город без опозданий. Сколько незаметного для нас героизма кроется в самой обыденной жизни, которую мы принимаем как должное! Сколько усилий или зрелого мастерства (а за ним, где-то в прошлом, те же усилия) требуется для того только, чтобы обычная, давно уже как будто налаженная людьми жизнь шла всего лишь не хуже, чем всегда!

Очень любопытен рассказ «Границы возможностей». Один ответственный работник за деловой беседой задержался в гостинице в номере у товарища, приехавшего в Москву из Киева решать финансовые вопросы большого строительства. Уже глубокая ночь, а москвичу еще нужно ехать на дачу — полтора часа от Москвы, а там еще шагать лесом и пустырем. Казалось бы, проще всего — переночевать у товарища, благо в номере вторая постель. Но ни

дежурная по этажу, ни дежурная по секции, ни главный дежурный, ни директор гостиницы, ни даже знакомый (!) начальник милиции не могут разрешить этот вопрос: можно ли москвичу, да еще без паспорта при себе, уснуть в эту ночь у приглашающего его товарища в гостинице, предназначенной для приезжих.

Зато горничная Маша, маленькая девушка с наивными глазами и носом пуговкой, очень просто решает проблему. Она взбивает подушки на обеих постелях, отворачивает края простынь и одеял и говорит спокойно: «Можете ложиться!» А когда благодарные товарищи обещают ей получить разрешение от самого министра, она прерывает их: «Не надо!.. Я разрешаю».

Пустячок как будто, а сколько в нем смысла! Простой пересказ в данном случае красноречивее любого анализа — все в этом рассказе само говорит за себя.

«Доклад», «На море», «Переполах», «Встреча», «Молодость» — это тоже рассказы о простых, незаметных людях, об их будничной жизни, о том, какие возможности для самого высокого и самого низкого таит в себе обычная, каждодневная жизнь. В силу своей конкретности все эти рассказы очень во времени, хотя прямой публицистичности в них как будто бы нет.

Итого — восемь рассказов и небольшая повесть. Как обидно мало для таланта, который раскрылся в рассказе «Минуты жизни».

Остальные семь рассказов сборника, говоря объективно, слабы и интересны лишь в той мере, в какой дают возможность думать о судьбе Николая Горбунова.

Направленность этих рассказов не вызывает протеста, напротив, но они лишены той теплой конкретности, без которой нет живой картины жизни.

Эти рассказы объединяет одна черта: все они — из жизни «литераторов», по преимуществу научных работников и педагогов.

Горбунов сам большую часть своей жизни отдал изучению литературы. Он много учился, был преподавателем литературы в школе и в вузе, немолодым уже написал диссертацию и получил ученую степень и лишь в сорок пять лет разрешил себе самому писать и печататься. У него было слишком серьезное отношение к писательскому труду, чтобы приступить к нему без такой основательной подготовки.



Верен или не верен такой путь в литературу?

Что делать, как строить жизнь, если почувствовал с юности, что литература — твое призвание?

Прежде чем самому осмелиться взять перо, — сесть за книги и годы, себя самого, всю свою жизнь отдать изучению движения литературы сквозь поколения и века? Ведь это и есть как будто изучение человеческого сердца в его становлении. Что может быть интереснее для того, кто действительно хочет заниматься литературой? И что может лучше воспитывать вкус, ту жесткую требовательность к себе, без которой немудрено стать художником?

Или, напротив, бежать от книг, от веков, от всего, что уже сделано, от всего, что свершилось, в сегодняшнюю живую жизнь, не оглянувшись ни в самой себе, ни тем более в слове, окунуться в ее конкретность, в ее горячую плоть, напитать себя ею, слышать, чувствовать только ее, когда останешься наедине с чистым листом бумаги?

В каждом пути своя правда и своя ограниченность. Кто установит тут нужную меру, кому дано в должной степени сочетать и то и другое, когда и для того и для другого мало одной жизни?

Конечно, глубокое изучение образцов мировой литературы оттачивало безупречный вкус, но вряд ли оно давало ту пищу, необходимую Горбунову как писателю, которую могла дать ему одна только жизнь.

А та жизнь, которой жил Горбунов, несмотря на ее высокое напряжение и чистоту, несмотря на ее трудовой и даже подвижнический характер, не была в достаточной мере питательна для его писательского таланта.

Все-таки не случайно то, что наиболее слабые рассказы сборника — рассказы из жизни научных работников и преподавате-

лей литературы, то есть из той жизни, которая его окружала.

То ли дело в том, что жизнь человека, посвятившего себя изучению литературы, в силу ряда своих особенностей не является особо благодарным объектом художественного изображения, то ли она не оказалась объектом, соответствующим дарованию Горбунова, но так или иначе круг нужных ему непосредственных, конкретных жизненных впечатлений был значительно сужен тем, что он выбрал своей профессией специальное изучение литературы, а не другую профессию.

Может быть, я ошибаюсь и дело совсем в другом. Но когда трудолюбивый талантливый человек, проживший совсем не такую уж короткую жизнь, успевает сделать так мало (конечно, по сравнению со своим талантом), хочется доискаться, в чем же причина, — не для него уже — для тех, кому еще жить, и ошибаться, и, пробираясь сквозь дебри ошибок, искать себя и так, быть может, и не найти...

А если говорить о самом Горбунове, отбросив эти размышления и этот подсчет удач и неудач, для него лично уже не имеющий смысла, то нужно сказать, что одного только короткого рассказа «Минуты жизни» и одной небольшой повести «Трое» достаточно для того, чтобы имя его стало замечено читателем.

Николай Горбунов был настоящим человеком — отзывчивым, чутким, добрым, суровым к себе, недовольным собой, вечно ищущим, не знающим, что такое покой, — это обнаруживает каждая его строчка — и удачная и неудачная. Быть вполне человеком — не главный ли это талант, само существование которого уже есть его реализация? И не это ли самое важное, когда подводятся итоги жизненного пути?

Ю. КАПУСТО.

★

## Во вкусе Трифона Камчадала

Декорации изображают рудник Солнечный. «Здесь, на площадках, — утверждает писатель Михаил Колесников, — возникали все конфликты, складывались взаимоотношения. Все остальное время после сдачи смены было лишь передышкой».

М. Колесников. Рудник Солнечный. Повесть. 220 стр. Редактор И. Гнездилова. «Молодая гвардия». М. 1959.

(Противников производственного романа просят не пугаться!)

Действующие лица повести «Рудник Солнечный»:

Рассказчик — некогда уехавший в Москву в надежде стать писателем, а ныне, как блудный сын, опять вернувшийся на рудник экскаваторщиком.

Катя — женщина, беззаветно любившая

его в юности, ныне главный инженер карьера. «В ней есть что-то бесконечно притягательное...»

Дементьев — ее бывший муж, а ныне противник, отстаивающий функциональную структуру управления в противоположность линейной. «Что-то дремучее, звериное теплилось в глубине зрачков» его.

Настя — в юности тоже любила рассказчика, теперь жена другого, но... «Медведь — он и есть медведь... Чувства в нем, ледащем, человеческого нет. Его если не растормошишь, то и не вспомнит». «Было нечто дразняще-призывное в ее певучем голосе...»

Ульяна Никифоровна — жена начальника рудника, инженер, а главное — «стройная белокурая женщина», «ослепительно красивая». «...В этой женщине есть что-то неотразимо-привлекательное».

Лиля Огнивцева — певица, с которой рассказчик жил в Москве. У нее «маленькие белые руки с ярко окрашенными ногтями», «тонкое выхоленное лицо, изящно выгнутая ослепительно-белая пластичная шея», «черная жакетка, подчеркивающая бюст», и т. д.

Трифон Камчадал — столичный писатель, написавший всего одну книгу и сорок раз ее переиздавший. Приезжает на рудник вторгаться в жизнь, но ничего не понимает ни в людях, ни в технике, ни в науке. Скучает, пьет коньяк, изрекает прописные истины об искусстве и охаивает производственный роман.

Экскаваторщики и прочие производственники, по своему скромному убеждению, «в герои романа не годятся». «Все заняты, а после работы еле языками ворочают», — сообщает Камчадал. «...Приходишь после работы еле-еле душа в теле», — поддакивает рассказчик. «Намотаешься за день, похлабаешь щей без интереса — и «боксовать! Один Юрка тщательно следит за внешностью: у него и щетка и сапожный крем, зубы каждое утро чистит...» Естественно, что сердобольный автор этих героев подолгу на сцене не держит. Да и предназначена она в повести совсем не для этого!

...Итак, рассказчик вернулся на рудник и вновь встретил Катю — «такую близкую и такую бесконечно далекую»:

«Неизвестно почему, меня неприятно взволновала новость, что Дементьев — муж Кати... И хотя в самом факте не было

ничего необычного (почему бы Кате не быть замужем?), я сщушал непонятную горечь».

«Все, что, казалось бы, навсегда умерло, с необычайной ясностью воскресло, и я вновь был во власти прошлого».

Находясь в этом состоянии, рассказчик зашел к Насте, которая жалуется ему, что ее красота в глуши гибнет.

«Она подошла ко мне возбужденная, тяжело дышащая, и не помню, как это случилось, но я вдруг почувствовал, как ее руки обвили мою шею, а губы жадно припали к моим губам». Пропустим несколько волнующих подробностей и успокоим читателя, что, хотя в рассказчике и «проснулась почти звериная тоска по женской ласке», он «опомнился» и мужественно «решил не ходить больше» к Насте, «во всяком случае в отсутствие Киприяна».

Однако она подстерегла беднягу в лесу. «Настя прерывисто дышала, высоко вздымались ее груди, выпирающие из-под желтого сарафана... Слова она произносила вкрадчиво, почти шепотом, все наступала и наступала на меня. Нет, она не шутила и пришла сюда с определенной целью».

Тяжело пришлось рассказчику, ибо его снова «обдало жаром», а «красивая, бесстыдная» Настя разнообразила свою наступательную тактику: «сжала горячими ладонями мое лицо и впиалась губами в мои губы». Еле он устоял!

Тьма соблазнов на этом руднике Солнечном! Взять хотя бы Ульяну Никифоровну:

«Некогда у меня к этой женщине было чисто сыновнее чувство, а теперь я взглянул на нее совсем другими глазами. Она, по-видимому, уловила это и улыбнулась снисходительно».

На свой манер терзала рассказчика и Катя:

«Было что-то вкрадчивое в ее голосе, поощряющее».

«...Думалось, уже все между нами сказано и до полного счастья всего лишь один шаг, даже меньше. Но когда я попытался сделать этот шаг, она осторожно погладила меня по щеке и просяще прошептала:

— Не надо, дорогой. Только не сейчас...»

Расстроенная своим поражением в борьбе с Дементьевым, Катя вроде бы склоняется ответить взаимностью на любовь рассказчика («жадно раскрылись ее гу-

бы навстречу моим губам...»)), но затем мирится с мужем. А в те дни, когда рассказчик, «нося в душе ад», совершил серьезную аварию, Катя вдруг сама позвала его ночью на Кондуй-озеро («что-то тревожно-незнакомое было в ее голосе»).

«Это была наша ночь... та единственная ночь, которая не похожа на все остальные, что бывают потом...»

«Казалось, счастью не будет конца. ...Но странное дело: с той памятной ночи Катя как-то переменилась ко мне. Между нами установилась дружба...»

А тем временем — новый сюрприз! Столичная певица явилась на рудник: «После твоего отъезда я многое переосмыслила... Я обещаю любить тебя так, как не любила никогда».

Поняв же, что рассказчик для нее безвозвратно потерял, она дала в клубе концерт:

«И никто во всем многолюдном зале, торжественно молчаливом, не подозревал, что этот концерт не для всех собравшихся, а для одного-единственного, ничем, по сути, не примечательного человека. И этим человеком был я».

А Катя? Катя вернулась к Дементьеву. «Какое жестокое коварство!» — подумал герой и отправился к ее подруге Ульяне Никифоровне, которая и дала ему исчерпывающее объяснение:

«— Катя любила вас и любит... Дело в том, что Дементьева она любит больше, чем вас...»

— Ну а почему же тогда...» — ловко намекнул герой на «ту памятную ночь».

«— Я вас понимаю. Вы забываете, что

она тоже всего-навсего человек. У нее в жилах течет кровь, а не поток электронов. Но то была не слабость, нет. Она знала, что скоро потеряет вас, но она все же любила вас. В каждой женщине есть скрытый где-то глубоко кусочек романтики... Она просталась с вами. Ведь вы знаете друга друга с детства, уже тогда она любила вас и страдала по вас. И вот вы вернулись — ее девичьи грезы... Не знаю, понимаете ли вы меня?»

Рассказчик понял все как нельзя лучше: «Значит, Катя тогда дала мне прощальный концерт!.. Два прощальных концерта за такой маленький промежуток времени — не слишком ли много для одного человека?»

Да почти все это Трифон Камчадал — он бы умер от черной зависти и обиды. Ведь он когда-то сокрушался: «Один и тот же производственный процесс. Об этом трудно писать интересно... Если выйдет скучно, можно будет разбавить любовной историей...»

Михаил Колесников недаром пишет о терзаниях своего собрата по перу свысока: автор повести «Рудник Солнечный» далеко опередил робкие идейки Камчадала, ибо в его книге производственный процесс и взаимоотношения и конфликты, с ним связанные, играют роль того самого топора, из которого солдат суп варил.

Создать псевдопроизводственный роман вполне во вкусе Трифона Камчадала да этого же Трифона Камчадала в нем и обругать — до этого, в самом деле, надо было додуматься!

А. ТУРКОВ.

★

## Мао Цзэ-дун о литературе и искусстве

Одним из величайших достижений культурной революции, поднятой в Китае антифеодальным и антиимпериалистическим «движением 4 мая» 1919 года, явилось рождение новой китайской литературы. Произведения Лу Синя принесли в китайскую литературу новую форму и новое содержание. Они звали к борьбе с угнетателями, в них главным героем был многострадальный китайский народ. С той поры ки-

тайская литература, преодолевая сопротивление старой феодальной и империалистической культуры, пошла по пути постепенного овладения методом социалистического реализма. В ней нашли свое отражение процессы революционного развития китайского общества. Эти процессы, общественные и литературные, могут быть прослежены в решениях Коммунистической партии Китая, в выступлениях Мао Цзэ-дуна и других партийных руководителей по вопросам литературы и искусства.

В декабре минувшего года Институт литературы Китайской Академии наук выпустил сборник «Мао Цзэ-дун о литературе

Мао Цзэ-дун лунь вэньи (Мао Цзэ-дун о литературе и искусстве). Институт литературы Китайской Академии наук. 104 стр. Издательство «Жэньминь вэньсюе». Пекин. 1958.

и искусстве». Чтение этой книги открывает перед нами картину развития китайской литературы и искусства, дает возможность увидеть последовательность и благотворность марксистско-ленинской партийной политики в области теории и практики искусства.

То, что в ранних работах Мао Цзэ-дуна было представлено как задачи будущего, мечты, за осуществление которых надо бороться, после победы народной революции претворено в жизнь. А теоретические положения, высказанные много лет назад, живы и до настоящего времени, и, мало того, теперь, когда культурой охвачены уже самые широкие слои населения, они приобрели особенно актуальный характер.

«Недалеко то время,— писал Мао Цзэ-дун в марте 1927 года в «Докладе об обследовании крестьянского движения в провинции Хунань»,— когда повсюду в провинции возникнут десятки тысяч сельских школ». В январе нынешнего года, проезжая по дорогам Хунани, я видел множество крестьянских детей; с тетрадями и книгами в руках они шли в школу и из школы. В провинции Хунань в Шаошане, на родине Мао Цзэ-дуна, тридцать шесть одних только начальных школ, в которых учится около девяти тысяч детей. Они уже приобщились к той культуре, которую создавали их предки и которая была захвачена цепкими руками феодалов и империалистов.

В работах, помещенных в сборнике, Мао Цзэ-дун дает оценку «движению 4 мая» как движению за новую культуру, явившемуся «одной из форм проявления антиимпериалистической и антифеодальной буржуазно-демократической революции в Китае». Лу Синя он называет знаменосцем новой армии культуры, которая поднялась с «движением 4 мая». Данный Мао Цзэ-дуном глубокий анализ личности, творчества и общественного значения писателя, порвавшего рабские пути и призвавшего народ к свободе, не только указал верное направление исследователям китайской литературы, но и позволил увидеть будущее китайской литературы, определенное -этим великим началом.

Центральное место в сборнике занимают выступления Мао Цзэ-дуна на совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани в мае 1942 года. В этих выступлениях (в основу их положена работа В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература») разобраны во-

просы теории и практики искусства, не раз поднимавшиеся партией, вопросы, на которых Мао Цзэ-дун останавливался и в своих предшествующих трудах, также нашедших место в сборнике. В Яньани Мао Цзэ-дун подверг резкой критике тех литераторов, которые мешали развитию литературы, пренебрегали национальной формой, игнорировали национальное наследие, делали упор на так называемые «теневые» стороны революционной действительности.

Жизнь подтвердила и правоту партии и непреходящую действенность яньаньских выступлений в продолжающейся идеологической борьбе, когда в 1957 году антипартийная группа литераторов, и в их числе уже не впервые Дин Лин, попыталась выступить против партийного руководства литературой и искусством.

На совещании в Яньани Мао Цзэ-дун развивал мысль В. И. Ленина о том, что литература и искусство должны служить «миллионам и десяткам миллионов трудящихся». Исходя из решения двух главных вопросов — вопроса о необходимости служить народным массам и вопроса о том, как им служить,— Мао Цзэ-дун говорит об особенностях литературы и искусства и о месте их в революционной борьбе китайского народа. Цель Коммунистической партии, по словам Мао Цзэ-дуна, заключается в том, чтобы «превратить литературу и искусство в составную часть общего механизма революции, в могучее средство сплочения и воспитания народа, в могучее оружие, которым мы будем разить врага вплоть до его уничтожения, в средство помощи народу в его единодушной борьбе с врагом». Коммунистическая партия призвала художественную интеллигенцию «надолго и безоговорочно, всей душой и всеми помыслами уйти в рабочие, крестьянские и солдатские массы, в самое горнило борьбы, к единственному, широчайшему и богатейшему источнику творчества, для того чтобы наблюдать, познавать, изучать и анализировать людей, общество, народные массы, все живые формы жизни и борьбы, весь исходный материал для литературно-художественного творчества».

Сила мыслей, которые высказываются в трудах, собранных в этой книге, заключается в том, что они не продиктованы моментом, а являются выводом из марксистско-ленинской теории, соединенной с практикой китайской революции. Вопросы непосредственной связи писателя с широ-

кими массами, углубления писателя в жизнь актуальны и после победы революции: китайские писатели работают на заводах и в деревнях, руководят на местах партийной работой, и произведения последних лет отражают ту жизнь, активными участниками и творцами которой авторы являются.

Выступая в Яньани, Мао Цзэ-дун сказал: «Мы стоим за социалистический реализм». Этими словами был высказан взгляд партии на тот метод, который должен быть основным в развитии новой китайской литературы. Кого же должна воспевать и кого должна обличать литература социалистического реализма? Литература должна утверждать новое, растущее, бороться против старого, реакционного, отмирающего. «Одно из двух, либо ты буржуазный писатель или художник, и тогда ты прославляешь не пролетариат, а буржуазию, либо ты пролетарский писатель или художник, и тогда ты прославляешь не буржуазию, а пролетариат и весь трудовой народ». Об этом же партия в лице Мао Цзэ-дуна напомнила писателям в 1951 году, когда в печати появились статьи, восхвалявшие враждебную народу деятельность «просветителя» девятнадцатого века, знаменитого китайского нищего У Сюня. Для того чтобы распознать врага, художник должен учиться марксизму-ленинизму, науке, без знания которой нельзя быть революционером и нельзя понять взаимоотношения людей и классов в обществе, — это не раз подчеркивается в постановлениях партии и в рабстах Мао Цзэ-дуна.

В яньаньском выступлении Мао Цзэ-дун останавливается на национальной форме художественного произведения, приводя решения происходившего в 1938 году VI пленума ЦК КПК. В этих решениях говорится о необходимости создания «свежего, живого китайского стиля», проникнутого национальным духом. Против национального наследия и национальной формы выступал в свое время контрреволюционер Ху Фын, отрицали национальное наследие и правые в 1957 году.

Яньаньское совещание по вопросам литературы и искусства было, по словам видного китайского критика Чжоу Яна, следующей за «движением 4 мая», еще более великой, еще более глубокой литературной революцией. Но значение яньаньского совещания даже не ограничивается этим. Идеи его действительны и поныне, потому что на этом совещании был дан марксистский анализ содержания искусства и указаны задачи искусства в его практическом применении, в его служении трудовому народу.

Служение народу — такова главная цель искусства, такова главная мысль всех тех статей, которые включены в сборник и при чтении которых мы можем проследить путь развития китайской литературы и искусства от «движения 4 мая» и до 1957 года, когда в феврале появилась работа Мао Цзэ-дуна «О правильном разрешении вопроса о противоречиях внутри народа». Сборник завершает отрывок из этого произведения, касающийся лозунга «ста цветов». Мао Цзэ-дун устанавливает те политические критерии, которые прежде всего определяют полезность художественного произведения для народного государства, для построения социализма. Вспомним при этом то, что говорилось на яньаньском совещании по поводу критерия художественного произведения, по поводу необходимости «единства революционного политического содержания и по возможности совершенной художественной формы», и увидим на одном этом примере цельность и последовательность политики Коммунистической партии Китая в области литературы и искусства.

Собранные воедино высказывания Мао Цзэ-дуна о литературе и искусстве, основанные на китайской действительности, имеют большое научное значение. Их отличает глубина и ясность мысли. Вооруженные марксистско-ленинской теорией, воодушевленные великой идеей служения народу, китайские социалистические литература и искусство поднимаются к новым высотам.

Л. ЭЙДЛИН.

## Архипов полемизирует

## I

В первом номере журнала «Русская литература» за 1958 год была помещена статья В. Архипова «К творческой истории романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», которая сразу же всеми, кто о ней писал, была оценена как рецидив вульгарного социологизма. И не мудрено. Там были такие утверждения: «Тургенев, как бы это горько ни звучало, выковал для борьбы с демократами оружие, сильнее которого либералы не придумали, и оно поступило на постоянное вооружение либерализма. Стоит, хотя бы бегло, просмотреть сборник «Вехи», чтобы убедиться в этом». Там было «установлено», что Катков объединил и сплотил для борьбы с демократами «все силы старой России от либерала Тургенева до мракобеса Юркевича». И чтобы уже никаких сомнений на этот счет не оставалось, В. Архипов добавил с суровой непреклонностью: «И это ему удалось». Вряд ли стоит перечислять другие аналогичные положения В. Архипова. Доказать их ему не удалось.

Статья В. Архипова была подвергнута справедливой критике в ряде журналов и газет: «Вопросы литературы», «Подъем», «Литература в школе», «Литературная газета» и других. Даже журнал «Русская литература», поместивший статью В. Архипова, опубликовал в № 2 за нынешний год работу Г. Фридендера «К спорам об «Отцах и детях», в которой решительно отвергнуты многие основные положения В. Архипова. На этом можно бы поставить точку и считать вопрос исчерпанным.

Но нет. В том же номере «Русской литературы», где помещена статья Г. Фридендера, напечатан и ответ В. Архипова его оппонентам под громким названием «Против теории «единого потока». По отношению к Тургеневу В. Архипов заметно смягчился. В своих прежних оценках и суждениях он видит одно «серьезное упущение», которому посвящает даже целый абзац. Что же «упустил» Архипов? Он упустил из виду, оказывается, что «либерал»—это еще далеко не Тургенев, и сказать о Тургеневе «либерал»—значит сказать о нем очень мало, а при известных обстоятельствах и ничего не сказать или даже сказать прямую неправду». Но ведь

это как раз и говорил В. Архипов, в этом и был пафос его статьи. И это была «прямая неправда».

Не будем сетовать на В. Архипова за то, что свои грубейшие ошибки он деликатно называет «серьезным упущением». Упущение так упущение—от слова не станется. Было бы это упущение исправлено.

Значит, опять-таки можно было бы здесь поставить точку и считать вопрос исчерпанным. Но нет. У В. Архипова получается так, что, сказав «прямую неправду», он все-таки прав, а его противники, которые об этой его «прямой неправде» писали, виновны и не заслуживают никакого снисхождения: все они «субъективисты» и сторонники теории «единого потока». Прав один В. Архипов: он видит либерализм общественно-политических взглядов Тургенева, он понимает, что либеральные взгляды Тургенева породили разногласия между ним и революционными демократами, что эти взгляды сказались и в художественных произведениях Тургенева, в том числе и в «Отцах и детях». Но кто и когда это отрицал? Сам В. Архипов приводит выдержки на эту тему из моих статей, негодую при этом, как это я, писавший подобные строки, мог возражать на страницах «Нового мира» (1958, № 8) против тех нестерпимых вульгарностей, которые составляли самую суть и главное содержание его статьи. О либеральных взглядах Тургенева, о его спорах с революционными демократами мне доводилось говорить не раз до рецензии на статью В. Архипова, да и в самой этой рецензии, чего В. Архипов благоразумно «не заметил». Но никто из советских литературоведов, писавших о Тургеневе, не причислял Тургенева к «силам старой России» и не включал в один «поток» с Катковым и Юркевичем, никто не утверждал, что веховцы в своей клевете на революцию 1905 года и на революцию вообще повторяли по существу один из главных тезисов романа «Отцы и дети». Что же общего между теми выдержками из моих работ, которые приводит Архипов, и его «открытиями» в статье «К творческой истории...»? Всякому непредубежденному читателю ясно, что ничего общего здесь нет. Зачем же нужно В. Архипову делать такие противоестественные сближения? Затем, что таковы его полемические приемы. Об этих приемах

стоит поговорить — именно о приемах, а не о взглядах, о которых все, что нужно, было уже сказано в связи с его первой статьей. Во второй же статье вся суть в приемах полемики, на них только эта статья и держится. Раз уж от главных тезисов автору пришлось отказаться, а спорить все-таки хочется, то ему, естественно, ничего не остается, как блистать полемическими красотами. К ним и обратимся.

Вот пример. Противники Архипова, положим, спорят с таким его тезисом: «Творческая история политического романа «Отцы и дети» есть прежде всего история политическая. Она отражает судьбы русского либерализма в годы революционной ситуации, когда либералы заключили союз с реакционерами против революционных демократов». Видеть в творческой истории «Отцов и детей» прежде всего отражение союза либералов с реакционерами — это такое вопиющее огрубление вопроса, что здесь и спорить, в сущности, не о чем. На это, говоря словами Тургенева, можно только указать и пройти мимо. Теперь уже это понял наконец и В. Архипов. Но поразить противников ему все-таки хочется. Как же поступить? А вот как. В. Архипов делает вид, что его оппоненты оспаривают первую часть его формулы (о том, что творческая история политического романа есть история политическая), хотя всякому ясно, что эта фраза ничего, кроме невинной тавтологии, в себе не заключает и что не об этом идет речь. Более того, он даже приведет цитаты из работ своего противника, показывающие, «что творческая история политического романа есть история политическая», и гордо примет позу победителя. Еще бы! Он разом убил двух зайцев: и своего противника «уличил» в непоследовательности и себя изобразил невинно обиженным агнцем. И все это при помощи одной только простейшей манипуляции.

Это прием номер один. Другой прием столь же привлекателен по своей простоте и непосредственности. Архипов напишет что-нибудь несообразное, ему укажут на эту несообразность. Тогда в другой статье он заявит, что ничего подобного не говорил. Вот характерный пример. В своей статье «К творческой истории...» В. Архипов писал о неискренности Тургенева в переписке по поводу «Отцов и детей». В. Архипову указали на неосновательность подобных предположений. Он

возмутился. В новой статье В. Архипов заявляет, что ничего такого не писал, Г. Бялый представляет все наоборот, должна же «соблюдаться этика спора» и т. д. Вот именно, должна! Посмотрим, в чем же заключается архиповская этика спора. Раскрываем статью В. Архипова «К творческой истории...» на стр. 160 и читаем о переписке Тургенева с Герценом: «В ответном письме Тургенева было более дипломатии, чем искренности (разрядка моя.— Г. Б.), и совсем не было разговора по существу герценовских замечаний». Кажется, ясно? Выходит, что Тургенев был обвинен в неискренности и «дипломатии». Но это, как мы видели, насколько не помешало В. Архипову сказать во второй статье: нет, я этого не писал. Что же тут мудреного? Стоит только применить полемический прием номер два — и все в порядке! Но уж если дело дошло до таких приемов, то об «этике спора» лучше было бы помолчать.

Полемических приемов такого же сорта в статье В. Архипова множество. Я указываю только на те, что имеют отношение к моей статье, да и то ограничиваюсь лишь избранными образцами. Такими же приемами ведется полемика с П. Пустовойтом, Г. Куницыным и другими товарищами. Шумихой фраз и мнимых аргументов В. Архипов пытается создать впечатление своей правоты в любом случае.

При этом полемическое перо В. Архипова щедро рассыпает шедевры юмора, иронии, сарказма: «Нам представляется, что П. Г. Пустовойт чуть-чуть подраспустил своих лягушечек»; «увеличилось производство мебели, и редакция журнала «Новый мир» может в распоряжение своих авторов предоставить по два стула, если не по целому гарнитуру», и т. д. в том же духе. Но хватит об этом...

Познакомившись с полемическими приемами В. Архипова, с его юмором, с его «этикой спора», коснемся его «логики».

Говоря, как и все писавшие о В. Архипове, о недопустимости принимать на веру слова веховцев о Тургеневе как о своем предшественнике, я напомнил В. Архипову статьи В. И. Ленина о Герцене и Л. Толстом, в которых дан суровый отпор попыткам либералов использовать в своих интересах идейные ошибки и слабости этих великих писателей. «Беспрецедентный случай ссылки на Ленина», — восклицает возмущенный В. Архипов. В чем же воз-

мутительность этой ссылки? У кого хватит терпения, пусть прочтает длинные, путанные и бьющие мимо цели рассуждения В. Архипова. Я приведу только один образчик, особенно ярко характеризующий архиповскую «логику». «И прежде всего нужно сказать: Ленин объективно установил, что ни Толстой, ни Герцен либералам не принадлежат...» Совершенно справедливо. Именно поэтому их и надо было ограждать от либеральных притязаний. Но ведь сам В. Архипов в этой же статье возвестил: «Тургенев как целое либералам не принадлежит». Значит... Но здесь уже должна была бы вступить в свои права логика, а с ней В. Архипов явно не в ладах. Далее В. Архипов заявляет, что тот, кто не хочет принимать на веру слова веховцев о Тургеневе, «обязан доказать, что веховцы «на деле» не сочувствуют критике Тургенева в адрес революционеров». Почему же непременно обязан? Веховцы сочувствовали либеральным ошибкам Герцена, веховцы сочувствовали толстовскому неприятию революционных методов борьбы, сочувствовали они, разумеется, и «критике Тургенева в адрес...» Но они не сочувствовали революционности Герцена, крестьянскому демократизму Л. Толстого, в творчестве же Тургенева они не сочувствовали хотя бы тому, что «Тургенев, даже когда он в силу ряда причин боролся с революционными демократами, отдавал им полную дань своего уважения», как сказал об этом тот же В. Архипов.

Все это показывает, что не в статье В. Архипова следует искать этику и логику. Интерес этой статьи не в логике, а в психологии. В психологии человека, делающего хорошую мину при плохой игре. А игра была очень плохая. Оказалось, однако, что безнаказанно играть великим именем Тургенева нельзя никому, в том числе и В. Архипову. В этом положительное значение полемики, вызванной выступлением В. Архипова против Тургенева. Только в этом, а вовсе не в том, в чем видит ее, например, Г. Фридендер. Он пишет: «Положительное значение спора об «Отцах и детях», вызванного выступлением В. Архипова, мы видим в том, что этот спор указывает на необходимость углубленной теоретической разработки такой области эстетики и истории литературы, где работа ведется у нас пока еще сравнительно слабо». Но разрабатывать теоретические вопросы в связи с вы-

ступлением В. Архипова — это занятие вряд ли особенно плодотворное. Ведь и сам Г. Фридендер в полемике с В. Архиповым вынужден был оставаться на почве общеизвестных истин, уже давно установленных советским литературоведением. Да иначе и быть не могло, раз ему, как и другим противникам В. Архипова, пришлось выступать в значительной степени против таких выводов и положений, дальнейшее развитие которых, по словам Г. Фридендера, было бы «чудовищной нелепостью». А поспорить с авторами работ об «Отцах и детях» по тем или иным теоретическим или историко-литературным вопросам было бы целесообразнее вне связи со статьями В. Архипова.

Испытываешь даже некоторую неловкость, участвуя в таком споре, где больше всего приходится говорить о натяжках и манипуляциях. Но проделывать эту поистине неблагодарную работу все-таки нужно — из опасения, как бы развязность, апломб, наставительный тон и прочие качества статей В. Архипова не произвели впечатления на иных чересчур доверчивых читателей. Представим себе только, что какой-нибудь начинающий педагог, прельстившись маркой солидного журнала, издаваемого Институтом русской литературы Академии наук, вздумает преподавать «Отцов и детей» по В. Архипову. Это было бы нечто страшное, пострашнее даже того сна в летнюю ночь, который приснился В. Архипову, о чем он и поспешил рассказать на страницах академического журнала (стр. 103). Там же он рассказал и о нанесенной ему обиде: его, В. Архипова, сравнили с Геростратом. Обида оказалась настолько чувствительной, что, воскликнув: «Ге-рррр-о-страт!!!» (так и напечатано!), В. Архипов в сердцах тотчас же отнес этого злосчастного Герострата почему-то к области мифологии. И опять-таки на страницах академического журнала. Между тем обижаться не было оснований. Конечно, сравнение с Геростратом не заключает в себе похвалы, но все-таки в нем есть оттенок возвышенности. В данном случае, быть может, уместнее было бы вспомнить не Герострата, а того чеховского героя, который, захотев прославиться во что бы то ни стало, решил попасть в хронику происшествий. «И это ему удалось».

**Г. БЯЛЫЙ.**



## 2

«Крепко достаётся» от В. Архипова не только Г. Бялому, но и мне. Однако не в этом суть дела. Надо отдать статье В. Архипова «Против теории «единого потока» должное.

Что, например, говорится в этой статье об И. С. Тургеневе и его творчестве, о романе «Отцы и дети»? Тургенев охарактеризован здесь как «замечательный русский писатель», о его творчестве сказано, что оно является «общенациональным достоянием», а о его романах — что они открыли «новый этап в развитии русской литературы». Что же касается романа «Отцы и дети», то центральный герой этого произведения Базаров стал, по мнению Архипова, «знаменательной вехой в создании образа демократа». В нем, утверждает исследователь, много подлинно прекрасного, порожденного русским демократическим движением, что «покоряет, чарует, влечет» и делает его «близким и нашему времени».

Такую характеристику И. С. Тургенева, его творчества и романа «Отцы и дети» можно только приветствовать. Тем более, что незадолго до этого в статье «К творческой истории романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» В. Архипов изображал И. С. Тургенева в качестве писателя, который вместе с Катковым и Юркевичем принадлежал к «силам старой России» и явился предшественником веховцев. В романе же «Отцы и дети» В. Архипов видел один из антинигилистических романов — оружие, которое Тургенев выковал либералам для борьбы с демократами и сильнее которого либералы не придумали.

Теперь В. Архипов «уточнил» свое отношение к Тургеневу и роману «Отцы и дети». И хоть он заглушает свои признания шумом и барабанным боем, читатели, несомненно, услышат и одобряют их.

Самое положительное отношение вызывает и последовательно развернутая В. Архиповым критика теории «единого потока». Теория эта так же чужда и враждебна марксистско-ленинскому литературоведению, как и вульгарный социологизм. Пережитки теории «единого потока», как и пережитки вульгарной социологии, до сих пор дают себя чувствовать в нашем литературоведении. С ними необходимо бороться. В. Архипов безусловно прав, когда подчеркивает связь литературного процесса с классово-борьбой, утверждает за-

висимость художественного творчества от политической позиции писателя и значение мировоззрения художника для его творчества. Напрасно только он преувеличивает беды нашего литературоведения («Но кто же сейчас вспоминает о борьбе классов при изучении литературы?») и как бы присваивает себе монопольное право на марксистско-ленинское понимание теории и истории литературы.

Больше того. Сдается, что критика теории «единого потока» может оказаться весьма полезной и для самого В. Архипова. На самом деле, если бы в научной работе стиралась различия между Тургеневым и деятелями «Современника», — мы справедливо увидели бы в этом проявление теории «единого потока». Но ведь и объединение Тургенева с Катковым, Юркевичем тоже не образец научного подхода к литературе и попахивает теорией «единого потока». Нельзя не видеть существенной разницы между романом Тургенева «Отцы и дети» и романом Чернышевского «Что делать?», но недопустимо относить «Отцов и детей» и к серии реакционных антинигилистических романов, печатавшихся Катковым в «Русском вестнике». Очевидно, что в некоторых случаях методология «единого потока» прекрасно уживается с вульгарной социологией. Вот почему критика В. Архиповым теории «единого потока» может принести пользу и ему самому.

Привлекает внимание в статье «Против теории «единого потока» энергично подчеркнутое В. Архиповым стремление вести полемику с соблюдением этики и правил научного спора: в достойном тоне, доказательно, ничего не имея в виду, кроме «стыскания кратчайшего пути к истине», и т. д. К сожалению, то, что вышло из-под пера В. Архипова, во многом противоречит его намерению.

В напечатанной выше заметке Г. Бялого убедительно показано, что В. Архипову отнюдь не чужды и полемические приемы, не имеющие ничего общего с правилами научного спора. Позволю себе обратить внимание читателей и самого В. Архипова, например, на такой казус. В статье В. Архипова говорится: «...Г. Бялый, П. Пустовойт, Г. Куницын, А. Дементьев, замалчивая высказывания Чернышевского об «Отцах и детях», под видом критики ошибок Антоновича критикуя революционно-демократическую линию «Современника», всячески оправдывая и обеляя либерализм, позво-

ляют себе ссылаться на Ленина! Это случает беспрецедентный».

Случай действительно беспрецедентный, но только совсем в другом отношении. Что В. Архипов усмотрел всякие «замалчивания», «под видом», «обелая» у Г. Бялого, П. Пустовойта, Г. Куницына, можно, пожалуй, не удивляться. («Все имеет свои причины и основания», — как замечает В. Архипов.) Эти товарищи посвятили статье В. Архипова «К творческой истории...» и вопросу о Тургеневе и его романе «Отцы и дети» специальные выступления, и при известной неразборчивости в средствах и некоторой доле воображения можно приписать им не только осуждение линии «Современника» и оправдание либерализма, но и любые иные тяжкие провинности. Но как ухитряется В. Архипов найти у меня критику ошибок Антоновича со всеми вытекающими отсюда последствиями — просто уму непостижимо. Дело в том, что я, в сущности, не писал о статье В. Архипова «К творческой истории романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», а лишь в нескольких строчках неодобрительно упомянул о ней («Новый мир», 1958, № 11, стр. 233). И, конечно, распространяться по этому поводу о «замалчивании», «обелении» и т. п. можно, только позабыв о своих декларациях насчет «этики спора». Правда, я был редактором журнала «Вопросы литературы» в то время, когда там печаталась статья П. Пустовойта «В погоне за сенсацией», посвященная критике взглядов В. Архипова на роман «Отцы

и дети». Но почему в этом случае В. Архипову не проявить «последовательности» и не обвинить в критике революционно-демократической линии и обелении либерализма редакторов газеты «Литература и жизнь», журналов «Подъем», «Новый мир» и других изданий, в которых тоже были помещены отрицательные отклики на его печально известную статью «К творческой истории...»?

Вообще верно ли, что В. Архипов, как он уверяет, занят в своей статье исключительно отысканием «кратчайшего пути к истине»? Сомнительно. Создается впечатление, что его больше интересуют способы наклеивания политических ярлыков на своих оппонентов. На самом деле, бездоказательные обвинения в обелении и «реабилитации либерализма», в критике революционно-демократической линии («под видом...»), в «попытках» отказаться от марксизма — все это еще не самые многозначительные из обвинений, предъявленных В. Архиповым своим критикам. Г. Куницыну, например, он предлагает ответить на такой вопрос: «...позволительно спросить: на какой точке зрения стоит в оценке либералов Г. Куницын — на ленинской или плехановской?» И подобную манеру «дискуссии» В. Архипов выдает за научный спор! Не вернее ли назвать ее как-нибудь иначе? И не пора ли В. Архипову отказаться от подобных приемов «отыскания истины» и на деле перейти к более плодотворной манере научного и литературного спора?

А. ДЕМЕНТЬЕВ.

★

## О пользе личных библиотек и о пользе собирания книг в первых изданиях в частности

Работать с книгой, не пользуясь государственными библиотеками, невозможно. Там ты не ограничен случайностью нахождения нужного тебе произведения.

Приучаясь пользоваться справочниками, приучаясь идти от книги к книге, приучаясь пользоваться научными журналами, в которых мысль дается в ее рождении, — привыкаешь мыслить самостоятельно.

Надо также приучаться обновлять и по-

полнять материал, с которым работаешь, никогда не останавливаясь на уже достигнутом.

Один великий французский живописец говорил, что если у тебя есть мастерства на миллион, купи еще на два су.

Это вновь приобретенное достояние обновляет то, что ты знал прежде.

Поэтому лестницы государственных библиотек священны, и те, кто ходят по этим ступеням, не разочаровываются.

Но книгу надо иметь и дома.

Библиотечную книгу читаешь в определенные часы; потом она от тебя уходит; ее нельзя размечать.

Ник. Смирнов-Сокольский. Расказы о книгах. Редактор В. Ф. Ишутин. 568 стр. Всесоюзная книжная палата. М. 1959.

Своя книга остается дома, обогащается от чтения к чтению; в ней можно сделать отметку, к ней можно возвратиться.

Проходят годы, изменяется жизнь; ты возвращаешься к старой книге по-новому, примеряешь свой рост к ней, и оказывается иногда, что время тебя вырастило.

Очень важны книги, оставшиеся после работы. Они важны в своей совокупности, по неожиданности своей группировки.

К ним надо возвращаться для того, чтобы проверять себя так, как художник возвращается к старым своим рисункам.

Иногда чистишь свою библиотеку, выбрасываешь из нее что-то, но как часто книга, от которой отказался, потом оказывается нужной.

Надо накапливать книги, знакомясь с человеческим опытом,— пускай они лежат вокруг твоей мысли, становясь твоими — кольцо за кольцом, так, как растет дерево, пускай они поднимаются со дна, как коралловые острова.

Если от книг становится тесно и некуда поставить кровать, то лучше заменить кровать раскладушкой.

Я собирал книги, собрал хорошую библиотеку по старой русской прозе. Она сейчас не у меня — она стала частью библиотеки Союза писателей.

Я скучаю по ней, потому что она заперта в шкафах и я слышал, что ее теперь редко читают.

Между тем стихотворение, роман исследователю и писателю надо прочесть там, где они были в первый раз напечатаны. Работа творца не совместна, но она обща, она делается им вместе с его временем, и Пушкина, Толстого, Блока, Маяковского надо проверять и в журналах, в которых они были напечатаны, надо увидеть их в хоре времени.

Поэтому самая маленькая библиотека, оставшаяся у человека, драгоценна, поэтому никакие сборники — «русская новелла», или «русский фельетон», или «русская поэзия» — не заменят до конца чтения первого издания.

Не надо все читать по первоисточнику, но возвращаться к первоисточнику, проверить себя на нем, — необходимо.

Кроме того, книга сама по себе художественное произведение. Нужно уметь ее видеть, нужно уметь воспроизводить чудо старой книги — чудо человеческого труда.

Мы, например, пользуемся в современ-

ной книге черным набором и белым полем; издатели первых веков книгопечатания, используя шрифты примечаний, создавали страницу книги из черного набора и более ослабленного черного цвета примечаний, у которых кегль меньше и очко набора тоньше. Так создавалась разнообразная книжная графика, обогащенная заставками, тесно связанными с набором.

Не нужно думать, что все это интересно только для гурманов. Русская лубочная книжка, массовая книга, набранная, например, в XVIII веке в типографии Решетникова, по набору заголовков, виньеток была художественна.

Народ любит и понимает книгу.

Создавать массовую книгу можно, только зная весь опыт книгопечатания.

Мы иногда делаем нарядную книгу, пользуясь опытом конца XIX века: тогда художественная книга — так же, как это часто происходит и сейчас на Западе, — была книгой малотиражной.

Поэтому для нее не берегли бумагу, а в массовой книге бумага — драгоценность.

Древние «Эльзевиры», «Альдины», книги с изображением якорей и дельфинов как марок издательства, были книгами, напечатанными на дорогой бумаге; но мы можем и сейчас частично пользоваться их опытом в массовой книге.

Частные собрания книг для нас драгоценность, потому что они сохраняют книгу. Книга должна иметь друга, иначе она растеривается, зачитывается.

У нас есть сейчас несколько замечательных книжных собраний. Одно из этих собраний принадлежит Ивану Никаноровичу Розанову; оно составлено в результате работы двух поколений и содержит в себе главным образом книги по русской поэзии с сохранением первоначальных обложек. Большинство книг — с автографами.

Превосходное собрание русской поэзии двадцатого века осталось после советского критика Анатолия Тарасенкова.

К сожалению, вначале собиратель иногда не сохранял печатную обложку. Между тем печатная обложка является определенным художественным памятником; кроме того, на ней часто сохраняются выходные данные, отсутствующие на титульном листе, и упоминаются другие издания.

Книгу надо сохранять в целости.

Очень хороша библиотека В. Г. Лидина. Она состоит из ряда редкостей; ее недэ-

статком я считаю несомкнутость собрания — так сказать, его раритетность.

Николай Смирнов-Сокольский издал книгу «Рассказы о книгах». Это большой том, тщательно изданный Всесоюзной книжной палатой.

Собрание Смирнова-Сокольского создается много десятилетий. Оно состоит из целого ряда отделов. Почти исчерпывающе представлены в нем альманахи, превосходно собраны издания петровского времени, собрано много, так сказать, уличных книг, которых почти никто не собирает, а между тем они тоже интересны.

Собрание сомкнутое. В нем хорошо представлены старые журналы, библиографии, иллюстрированная книга. Оно переросло масштаб частного собрания, заполнило большую квартиру, само по себе представляет интерес для научного описания.

Такая библиотека могла бы лечь в основу нового государственного собрания книг.

Такая библиотека не должна распасться. Значение книги «Рассказы о книгах» в том, что она привлекает к книгособираанию внимание людей, которые раньше книги не собирали. Отдельные рассказы, вошедшие в эту книгу, проходили через газеты и тоже читались очень хорошо. Библиография неожиданно становится предметом для массового издания.

Рассказы интересны, но несколько разбросанны, вероятно потому, что библиотека неисчерпаема. Приятно, что в книге рассказано много историй о книгах как будто бы не редких и не знаменитых. Книга, внимательно дочитанная, поставленная в ряд с другими, почти никогда не разочаровывает.

В самом конце книги Смирнов-Сокольский рассказывает об издателе журнала «Сатирический вестник» Николае Страхове. Николай Страхов издал, кроме «Сатирического вестника», сатирическую книжку «Переписка моды» (1791) и «Карманную книжку для приезжающих на зиму в Москву старичков и старушек, невест и женихов, молодых и устарелых девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и проч.». Эта книга, несмотря на свое безобидное название, — книга антикрепостническая и чрезвычайно любопытная. Я не согласен с Ник. Смирновым-Сокольским, что книга того же автора «Мои петербургские сумерки» (1810) показывает упадок

писателя. Смирнов-Сокольский пишет: «Самодержавие сломило волю и дух сатирика, и в книгах этих слышатся лишь септиментальные жалобы на обиды, помещены нравоучительные и религиозные рассуждения, горестные заметки, тенденциозные и неумные».

Книга эта у меня была: это крохотный томик, отпечатанный синей краской. Книжка смиренная и безобидная, но в ней, например, помещен рассказ о том, как дворовый, ставший пугачевским офицером, спас дворянина, который когда-то за него заступился. В заметке нет ни слова в осуждение пугачевщины, но зато есть точные и нигде в других местах не находимые сведения: например, что медный табельный знак заводского рабочего — тот знак, что вешался рабочим при входе на завод, — служба как бы рабочим документом, был пропуском в пугачевской армии. Рассказ называется «Благодарность».

Во всяком случае то, что написано Смирновым-Сокольским об Н. Страхове, интересно, ново и показывает пользу дочитывания книг. Но исчерпать книгу, конечно, невозможно.

Сборник Смирнова-Сокольского хорошо иллюстрирован, снабжен обстоятельной библиографией, но не имеет указателя.

У нас боятся указателей, а между прочим, именно в таких сборных книгах, которые потом могут служить и справочником, указатель необходим.

Мало в книге точных описаний книг, не показана их внешность, их обложки, характер иллюстраций. Между тем Смирдин, о котором пишет Смирнов-Сокольский, — это создатель нового типа книги, и об этом надо бы написать. Книга всегда интересна в целом.

Например, «Мнемозина» (полужурнал, полуальманах, издававшийся Одоевским и Кюхельбекером) была своеобразно проиллюстрирована. Тема одной из иллюстраций: человек, не узнающий себя в зеркале. Эта тема и подпись под ней стали источником эпиграфа к «Ревизору» Гоголя.

Я понимаю, что собиратель побоялся упреков в хвастовстве, не захотел любоваться своими редкостями, но напрасно: в этих делах скромность не украшает.

Напечатана книга Смирнова-Сокольского хорошо, но черная краска на иллюстрациях кажется серо-ватой: для иллюстрации взята слишком крупная сетка.

Цветные иллюстрации даны нарядно, но на моем экземпляре есть некоторое несовпадение досок на портрете Пушкина и Крылова.

Как ни трудно этого добиваться, но библиографические издания должны быть образцами для издательств.

Суперобложка и переплет очень хороши. Замечательно не только собрать изумительную по своей полноте библиотеку, но и, прочтя ее, передать другим в своем рассказе свежесть впечатления.

**В. ШКЛОВСКИЙ.**

★

## Политика и наука

### Навеки вместе

В октябре этого года народы всего мира отмечают знаменательную дату — десятилетие со дня образования Китайской Народной Республики. В эти дни закономерным является повышенный интерес советских людей ко всему, что имеет отношение к нашему великому соседу. И очень хорошо сделало Издательство социально-экономической литературы, выпустив в свет книгу Д. Лаппо и А. Мельчина.

В этой книге собран и обобщен большой фактический материал, раскрывающий одну из самых ярких страниц братской дружбы советского и китайского народов. Здесь рассказывается о подвигах китайских добровольцев на фронтах гражданской войны, в рядах дальневосточных партизан, о помощи китайского народа в освобождении Советского Дальнего Востока от интервентов.

Истоки этой дружбы уходят далеко в глубь веков. Отношения между народами соседних стран — СССР и Китая — были всегда теплыми и взаимно уважительными.

Волнующая история Китая, своеобразие жизни его народа, древнее и яркое искусство привлекали многих русских писателей. Лев Толстой, Чехов, Горький мечтали о поездке в эту страну. В 1900 году Горький писал Чехову: «Поедемте в Китай? Как-то раз, в Ялте, вы сказали, что поехали бы. Поедемте. Мне ужасно хочется попасть туда...»

Первая русская революция 1905—1907 годов оказала огромное влияние на развитие событий в Китае. В 1911 году в стране началась революция, возглавляемая партией, созданной Сунь Ят-сеном. «Символом крепнущей дружбы русского и китай-

ского народов,— говорится в книге,— было опубликование в 17-м номере большевистской газеты «Невская Звезда» статьи вождя Коммунистической партии России В. И. Ленина «Демократия и народничество в Китае» и статьи первого президента Китайской республики великого революционера Сунь Ят-сена «Социальное значение Китайской революции». Эту статью Ленин назвал платформой китайской демократии. «Перед нами,— писал Владимир Ильич,— действительно великая идеология действительно великого народа, который умеет не только оплакивать свое вековое рабство, не только мечтать о свободе и равенстве, но и бороться с вековыми угнетателями Китая».

С величайшим энтузиазмом встретил китайский народ Октябрьскую социалистическую революцию. Советское государство открыло новую эпоху во взаимоотношениях между Россией и Китаем, заявив об аннулировании неравноправных договоров и соглашений, направленных на порабощение китайского народа. Один из основателей Коммунистической партии Китая Ли Да-чжао писал: «Революция в России предвещает новые великие события. Хотя большевизм создан русскими, однако его дух есть дух всеобщего пробуждения в сердцах человечества XX столетия».

В незабываемые октябрьские дни 1917 года плечом к плечу с рабочими и крестьянами России шли в бой с капитализмом многие китайцы. Вместе с русскими братьями они штурмовали Зимний дворец в Петрограде, громили белогвардейцев, засевших в Москве в Кремле, боролись за власть Советов в Сибири, на Дальнем Востоке и в других районах нашей Родины.

Китайцы, проживавшие в России, активно включились в общественно-политическую жизнь Советской страны. В Москве, Петрограде, Перми, Екатеринбурге, Влади-

**Д. Лаппо, А. Мельчин. Страницы великой дружбы. Участие китайских добровольцев на фронтах гражданской войны в Советской России (1918—1922). Редактор И. Бачило. 188 стр. Соцэпгиз. М. 1959.**

востоке и в других городах возникали китайские организации трудящихся. В конце 1918 года в Петрограде был создан Союз китайских рабочих в России, объединивший пятьдесят тысяч китайских трудящихся. Союз обратился ко всем рабочим-китайцам с воззванием, в котором говорилось: «Китайские рабочие в России волею судьбы оказались ныне среди авангарда мировой революции. Они должны помнить, что судьба революции Китая тесно связана с судьбой русской рабочей революции. Только в тесном единении с русским рабочим классом возможна победа революции в угнетенном Китае. Да здравствует солидарность русского и китайского пролетариата!»

С неослабевающим интересом читаются страницы книги, посвященные героическим подвигам китайских добровольцев в годы гражданской войны. В последнее время в нашей печати появилось немало материалов, посвященных этой теме; читатель «Нового мира» знаком с работой Г. Новогрудского и А. Дунаевского «Пау Ти-сан и его товарищи» (опубликованной в №№ 4 и 5 с. г.). Надо отдать должное авторам рецензируемой книги — они сумели привлечь много малоизвестных архивных документов.

Верные пролетарской дружбе и солидарности, китайские трудящиеся протянули руку помощи советскому народу в защите завоеваний Великого Октября, создавали отряды добровольцев. Одним из первых китайских подразделений Красной Армии на юге был батальон, вошедший в состав советских войск, которыми командовал И. Э. Якир. Бойцы этого батальона бесстрашно сражались против врагов Советской власти. Впоследствии Якир вспоминал о воинах китайцах: «Китаец — он стоек, он ничего не боится. Брат родной погибнет в бою, а он и глазом не моргнет: подойдет, глаза ему прикроет, и все тут. Опять возле него сядет, в фуражке — патроны и будет спокойно патрон за патроном выпускать. Если он понимает, что против него враг... то плохо этому врагу. Китаец будет драться до последнего».

Доблестно сражалась в составе 9-й стрелковой дивизии Южного фронта 18-я рота, сформированная из китайцев — горняков Донбасса. Славный боевой путь прошел китайский отряд коммуниста Ли Чана,

сражавшийся в составе легендарной Чапаевской дивизии.

Во Владикавказе при участии С. М. Кирова из китайцев был сформирован 1-й Владикавказский отряд, отстаивавший власть Советов на Тереке, Волге и в Средней Азии. Вручая китайским бойцам Красное Знамя, Киров заявил: «Борясь за торжество революции в России, вы боретесь за свободу угнетенного Китая. Придет время, когда русские рабочие протянут свою братскую руку китайскому народу, который сбросит угнетателей со своих богатырских плеч». В своем ответном слове командир отряда Пау Ти-сан сказал: «Революционная Россия стала нашей второй Родиной. Мы клянемся быть ее верными бойцами, солдатами революции».

В воспоминаниях Лю Фу, участника ожесточенных боев под Пермью, читаем: «Я никогда не забуду, как мы сражались у реки Камы и в горах Урала. В те дни, когда стояли крепкие морозы и не хватало продовольствия, наши дорогие русские братья делились с нами хлебом, который оказался у них в котомке, надевали на нас шинели, снятые с себя. Мы крепко держались вместе и громили колчаковцев».

Огромную роль в сближении двух великих народов сыграла декларация Советского правительства от 25 июля 1919 года «К китайскому народу и правительствам Южного и Северного Китая». В этом историческом документе подчеркивалось, что Красная Армия идет на Восток не для насилия, не для завоевания. «Мы несем,— говорилось в декларации,— освобождение народам от ига иностранного штыка, от ига иностранного золота, которые душат поработанные народы Востока и в числе их в первую очередь китайский народ. Мы несем помощь не только нашим трудящимся классам, но и китайскому народу...»

В рецензируемой книге хорошо показано, как трудовой народ Китая предпринимал все возможное для оказания помощи партизанам в борьбе против интервентов и белогвардейцев. Характеризуя успешные действия китайских патриотов в партизанском движении в течение 1919 года, Дальневосточный партийный комитет в информации ЦК РКП(б) и Совнаркому писал о том, что китайцы и корейцы оказывали большую помощь своими фанзами, разбросанными повсюду, а также едой и табаком. «Особенно нужно отметить,— говорится в информации,— единодушие китайцев. За

все время боев в области мы не знаем ни одного случая предательства со стороны китайцев или отказа в гостеприимстве».

Идеи пролетарского интернационализма сказались и в дальнейших отношениях двух великих стран. Советский народ оказывал поддержку китайскому народу в его борьбе с империалистами и феодальными силами внутри страны.

В связи с усилением иностранной интервенции в Китае у нас было создано в 1924 году общество «Руки прочь от Китая».

В тридцатых годах японские империалисты начали открытую интервенцию против Китая. Советский народ на весь мир резко осудил японскую агрессию. Мужественная борьба трудящихся Китая нашла горячее сочувствие и поддержку всех советских людей. Многие советские бойцы и командиры отправились добровольцами защищать свободу и независимость китайского народа.

Имена советских героев известны всему Китаю. В книге рассказывается о том, что в городе Ухани сооружен памятник погибшим советским летчикам. Надгробная надпись, составленная из золотых

иероглифов, навеки запечатлела их бесмертные подвиги: «В 1938 г., когда китайский народ подвергался жестокой агрессии со стороны японского фашизма, Советский Союз, проявив дух бескорыстия, послал в Китай своих лучших сыновей — добровольческий отряд советских летчиков, чтобы оказать помощь китайскому народу в великой справедливой борьбе».

Многолетняя борьба китайского народа под руководством Коммунистической партии во главе с Мао Цзэ-дуном против чужеземных захватчиков и чанкайшистской реакции завершилась замечательной победой. 1 октября 1949 года была образована Китайская Народная Республика. И уже на следующий день — 2 октября — были установлены дипломатические отношения СССР и КНР.

В заключение авторы книги рассказывают о строительстве нового Китая, об исторических достижениях братского китайского народа. «Напрягая все силы, стремясь вперед, строить социализм по принципу больше, быстрее, лучше, экономнее!» — таков лозунг трудящихся Китая.

**А. СЕРЕДА.**

★

## На пороге нашего завтра

«Будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести». Эти вдохновенные слова замечательного русского человека, писателя и революционера Н. Г. Чернышевского с особой силой звучат в наши дни, когда советский народ вплотную приступил к претворению в жизнь вековой мечты человечества.

Большое значение приобретает сейчас теоретическая разработка практических проблем коммунистического строительства. В своих решениях XXI съезд партии подчеркнул необходимость глубокого изучения закономерностей перехода к коммунизму. Выполнению этого указания партии содействует книга ученого-экономиста и статистика академика С. Г. Струмилина «На путях построения коммунизма».

На основе интересных подсчетов автор знакомит читателя с тем, как за годы Со-

ветской власти в результате бурных темпов роста нашего народного хозяйства уменьшается разрыв между уровнем производства СССР и США. Если валовая продукция промышленности царской России по отношению к продукции США составляла всего лишь 10,8 процента, то в 1957 году эта цифра для СССР достигла уже 71,8 процента. По отдельным видам промышленной продукции картина еще более разительна.

Автор обращает внимание читателей на такой важнейший обобщающий экономический показатель, как перевозка грузов на железнодорожном и водном транспорте. Вот две характерные цифры: в 1950 году уровень СССР по перевозкам по отношению к США составлял 66 процентов, а в 1955 году американский уровень был уже превзойден, причем на значительную величину — на 14 процентов, или на 170 с лишним миллионов тонн.

В книге разбиваются реакционные теории «затухающих темпов». Автор подчеркивает, что практические результаты вы-

**С. Г. Струминин. На путях построения коммунизма. Редактор В. Бударина. 104 стр. Соцэпгиз. М. 1959.**

полнения всех предыдущих пятилетних планов намного опережали ранее запланированные цифры. Социалистическая система хозяйства, растущая активность народных масс, руководимых Коммунистической партией, образование мирового социалистического лагеря — вот на чем основана уверенность советских людей в том, что основная экономическая задача СССР — догнать и перегнать главные капиталистические страны по производству продукции в целом и на душу населения — будет успешно выполнена в кратчайшие сроки.

Очень ценным является то, что в книге приводятся не только расчеты в обоснование тех или иных выводов, но и вполне доступным языком излагается методика этих расчетов, что делает теоретическую часть рассуждений более убедительной.

Говоря об основной экономической задаче СССР, академик С. Г. Струмилин указывает, что она является главной лишь на определенном отрезке времени, так как подчинена основной цели нашего народа — построению коммунизма. «Выиграв экономическое соревнование с США, — говорится в докладе Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС, — мы завершим только первый этап коммунистического строительства. Достигнутый на этом этапе уровень экономического развития для нас вовсе не конечная станция, а лишь разъезд, на котором мы сможем нагнать самую развитую капиталистическую страну, оставить ее на этом разъезде, а сами двигаться вперед».

По мере нашего движения вперед происходит постепенное сближение общенародной и кооперативно-колхозной форм социалистической собственности. Анализ этой важной проблемы коммунистического строительства уделено в книге видное место. Особое значение для развития сельского хозяйства нашей страны имели последние пять лет, когда партия организовывала народные массы на борьбу за ликвидацию отставания сельскохозяйственного производства, за дальнейшее развитие колхозного строя. Эти величайшие мероприятия, особенно реорганизация машинно-тракторных станций, поставили по-новому всю проблему дальнейших судеб колхозного строя и указали практические пути к сближению двух форм социалистической собственности. Решающее значение в этом отношении имеют рост производительных сил деревни, технический прогресс. За семилетие колхозы получают тракторов, ком-

байнов и других машин в полтора-два раза больше того количества, которое имеется у них в настоящее время.

Характерная черта нынешнего этапа колхозного строительства, указывает С. Г. Струмилин, состоит в том, что большее внимание уделяется экономическим показателям сельского хозяйства, в частности повышению производительности труда, снижению себестоимости продукции.

Укрепление материального благосостояния колхозов, укрепление товарности колхозного хозяйства и расширение товарообмена между городом и деревней не только не противоречат социализму, как думают некоторые экономисты, но, наоборот, всемерно способствуют социалистическому развитию страны, ведут к коммунизму. Только через всемерное укрепление обеих форм социалистической собственности, подчеркивает автор, мы создаем предпосылки будущей единой коммунистической собственности.

Автор выдвигает предложение о создании областных, зональных, республиканских объединений колхозов и организации Союза колхозов СССР, подобно Центросоюзу. Проведение подобного мероприятия, по мнению академика С. Г. Струмилина, содействовало бы укреплению и расширению межколхозных связей, открывало бы широкие возможности для создания межколхозных страховых фондов союзного значения, позволило бы выравнивать в порядке коллективной взаимопомощи (при сохранении дифференциальной рентабельности колхозов) природно-экономические условия хозяйства в различных районах страны.

«На путях к источникам изобилия» — так называется раздел книги, в котором освещается еще одна важная проблема коммунистического строительства — распределение материальных благ.

Величайшие достижения советской промышленности, и в первую очередь тяжелой, успехи нашего сельского хозяйства, крупные мероприятия партии по дальнейшему подъему материального и культурного уровня жизни народа обеспечили реальные предпосылки более быстрого создания изобилия материальных благ.

Обеспечение полного изобилия, указывает автор, расчленяется по времени по меньшей мере на два последовательных этапа. На первом этапе решается задача обеспечения «полного достатка в пределах



разумных требований науки о здоровье и фактических достижений населения соревнующихся с нами стран». На втором — обеспечение «кисобилия в полном смысле этого понятия слова».

В книге приводятся интересные таблицы, в которых сопоставляется потребление основных продуктов питания в СССР и США. Из этих данных видно, что у нас душевое потребление зерновых, картофеля, сахара (собственного производства), рыбопродуктов в 1956 году в два-три раза превысило американские нормы потребления. Мы отстаем в продуктах животноводства, но не за горами то время, когда по этим показателям будет превзойден уровень США. На этот счет в книге также приведены убедительные подсчеты.

На конкретных фактах автор доказывает, что уже в ближайшие годы наша страна по производству и потреблению продуктов питания, одежды, обуви, по обеспечению населения жильем выйдет на первое место в мире. И, как говорится в резолюции XXI съезда КПСС: «Это будет всемирно-историческая победа социализма в мирном соревновании с капитализмом».

Академик С. Г. Струмилин напоминает положения классиков марксизма-ленинизма, которые никогда не рассматривали коммунизм как одно лишь насыщение материальных потребностей людей. «Гораздо больше,— говорится в книге,— привлекает всех нас в строительстве коммунизма его задача обеспечить всем членам общества возможность всестороннего развития физических и духовных способностей».

Переход от социалистического к коммунистическому принципу распределения, то есть от платности к бесплатности общественных благ,— это постепенный процесс, определяемый ростом производительных сил и совершенствованием социалистических производственных отношений. Этот процесс уже начался и идет в советском обществе. Экономисты, отмечает С. Г. Струмилин, не раз гадали, с каких именно конкретных благ следует начать внедрение бесплатного распределения по потребностям, не замечая, что, в сущности говоря, выбор уже сделан. Классифицируя потребности по их настоятельности, человек всегда, естественно, начинает с продуктов питания, одежды, жилья, удовлетворяя

свои культурные нужды за счет излишков, остающихся после удовлетворения потребности в элементарных средствах существования. Именно поэтому социалистическое общество взяло на себя заботу о культурных потребностях человека и, финансируя их за свой счет, сделало их первоочередными. Автор показывает рост затрат на социально-культурные мероприятия в СССР. В 1928 году на эти цели расходовалось около 2 миллиардов рублей, или 15 процентов бюджета; в 1953 году — 212 миллиардов рублей, или 33 процента бюджета. В 1965 году эти расходы составят 360 миллиардов рублей.

По мере роста материально-технической базы коммунизма все большее число потребностей человека будет удовлетворяться по коммунистическому принципу — от каждого по способностям, каждому по потребностям. «С момента,— пишет С. Г. Струмилин,— когда доля вне рыночного распределения средств существования уже превзойдет рыночный их оборот и коммунистический принцип бесплатного распределения станет господствующим, мы тем самым как будто уже переступим через порог коммунизма».

Этот раздел книги — «Коммунистический принцип распределения» — представляет особый интерес для читателя как наименее освещенный в нашей литературе.

Книга, разумеется, не исчерпывает всех теоретических проблем построения коммунизма, ряд положений автора дается в порядке постановки вопроса, с некоторыми выводами автора согласиться трудно. Кроме того, написанная накануне XXI съезда на основе опубликованных тезисов, эта работа не смогла учесть те новые теоретические положения, которые получили разработку в докладе Н. С. Хрущева и резолюциях съезда.

Выход в свет новой работы старейшего советского ученого-экономиста, посвященной важнейшим теоретическим проблемам коммунизма, является большим событием в нашей экономической литературе. Написанная острым, живым и доступным языком, содержащая интересные фактические данные и глубокие теоретические выводы, книга «На путях построения коммунизма» окажет большую помощь пропагандистам, преподавателям, широким кругам советских читателей.

**В. ПИРОГОВ.**

## Герои одесского подполья

«Арестованные ехали молча. Каждый думал свою невеселую думу. У всех была одна мысль: хоть бы не расстреляли «при попытке к бегству», а доставили в тюрьму. Товарищи наверняка вырвут. Может, попытаться бежать сейчас? Безнадежно, охрана слишком велика!.. Возле кладбища автомобили затормозили. Тогда всем стало ясно, что надежды на спасение нет, расстрел неминуем. Ночь была темная, и Стойко Ратков решил на отчаянный шаг. Обладая недюжинной силой, он изо всех сил ударил ехавшего сзади конвойного, оттолкнул его в сторону и выпрыгнул из автомобиля. По нему стреляли, но пригодился фронтовой опыт. Ратков резко метнулся в сторону, пули его не настигли. На рассвете он добрался на одну из явок областкома и, потрясенный случившимся, рассказал о ночной трагедии».

Перед читателем книги «Иностранная коллегия» как бы оживает страница большевистского подполья Одессы в 1919 году. Автор книги В. Коновалов сообщает много новых и интересных данных об истории Иностранной коллегии — международной агитационно-пропагандистской группы, созданной при подпольном Одесском обкоме большевистской партии в 1918—1919 годах во время интервенции Антанты на юге Украины и в Крыму.

Автору при собирании материалов для книги пришлось проделать серьезную исследовательскую работу, во время которой он сталкивался со множеством трудно-разрешимых загадок. Выявление документов подполья эпохи гражданской войны — дело чрезвычайно сложное: многие из них были уничтожены или не сохранились, иные погибли в годы фашистской оккупации. Некоторые документы оказались зашифрованными. Исследователю пришлось использовать все возможности, которыми располагает историческая наука: свидетельства архивных документов местных и центральных хранилищ, сообщения печати, воспоминания участников событий.

На помощь В. Коновалову пришла Одесская научная библиотека имени А. М. Горького, которая уже несколько лет проводит важную работу по соби-

ранию различных материалов, касающихся истории и революционных традиций Одессы. Со многими ныне здравствующими интернационалистами и бывшими подпольщиками установлена живая связь, ведется переписка.

Кроме работника Иностранной коллегии Стойко Раткова, сражавшегося в партизанском отряде во время второй мировой войны с гитлеровскими захватчиками в Югославии, библиотека разыскала Адольфа Шипека, который в январе 1918 года командовал чешским отрядом в боях против гайдамаков и белогвардейцев. В румынских газетах «Лунта» и «Комунистул» и в сборнике «Воспоминания о Великом Октябре», изданном в Бухаресте, был почерпнут материал о боевой деятельности в Одессе видного участника революционного движения в Румынии М. Бужора, одного из редакторов французской газеты «Le communiste» в Одессе А. Залике и других.

С библиотекой связаны старые большевики, бывшие участники большевистского подполья: И. Южный, Г. Ларский, С. Трайтилович, Р. Лучанская. Они сообщили множество деталей, неочень важных для историков. Именно эти свидетельства очевидцев, включенные в книгу В. Коновалова, делают ее особенно интересной. Мы находим в ней живой и яркий рассказ не только о событиях, но и о людях. Это герои подполья, его славные организаторы, вдохновенные борцы за коммунизм: душа одесского подполья И. Ф. Смирнов, работавший под именем «Николай» (Ласточкин), отважный борец за дело интернационализма Софья Соколовская («Елена»), мужественные большевики-пропагандисты Михаил Штиливер («Мишель»), Яков Елин («Жак»), Исаак Дубинский, Александр Винницкий и многие другие.

Большое впечатление производит рассказ о методах устной и печатной агитации, проводившейся большевиками среди интервентов, о полной риске работе подпольной типографии, о распространении газет и листовок в тылу врага.

Ряд разделов книги дает представление о работе отдельных национальных групп Иностранной коллегии: польской, румынской, сербской, греческой, хотя эти сведения нуждаются в дополнительных дан-

**В. Коновалов. Иностранная коллегия. Редактор А. Котляр. 188 стр. Одесское областное издательство. 1958.**

ных и уточнениях. Живой интерес вызывает рассказ о француженке Жанне Лябурб, польке Гелене Гжеляк, сербе Стойко Раткове, болгарине Василе Анастасове, грузине Мартине Лоладзе и других славных интернационалистах—борцах за мир и солидарность трудящихся. Их бесстрашная деятельность полна настоящей революционной романтики.

Автор показывает и скромных боевых помощников Иностранной коллегии, чья беззаветная преданность партии обеспечила успех работы. Это рабочий Михаил Трех, электрик Иван Чуб, дочь народного учителя юная Лида Петренко, старый большевик А. В. Трофимов, руководитель разведки обкома партии И. Горенюк («Южный»), и медик-подпольщик Калистрат Саджая. Очень ценным представляется то, что автор пытается расшифровать некоторые партийные клички подпольных борцов, сообщить имена ранее не известных героев. Рассказав о расстреле многих выдающихся работников Иностранной коллегии по доносу предателя, В. Коновалов на фактическом материале доказывает, что работа коллегии не прекратилась, что партия направила новых товарищей на место погибших.

В рецензируемую книгу органически врывается современность, сегодняшний день. Очень интересны рассказы французских коммунистов, участников восстания в 1919 году,—Марселя Тондо и Франсуа Бассе, которые недавно были гостями Одессы. Автор рассказывает о теплой встрече трудящихся города с председателем Постоянного комитета Национального собрания Демократической Республики Вьетнам Тон Дык Тхангом, который сорок лет назад поднял красное знамя на французском крейсере «Вальдек Руссо». На одной из фотографий, приведенных в книге, запечатлен волнующий эпизод: французские товарищи, члены профсоюзной делегации города Марселя, возлагают венки на могилу Жанны Лябурб.

Хорошей книге В. Коновалова свойственны, к сожалению, и некоторые недостатки. Это прежде всего полное отсутствие упоминаний о борьбе французского народа против интервенции и революционном движении во Франции в те годы. Между тем следовало отметить органическое взаимодействие: лозунги протеста против интервенции в России, раздававшиеся во Франции, оказывали глубокое

влияние на солдат и матросов, которые становились по возвращении на родину оплотом революционного движения в своей стране. Изучение французской печати того времени, смелых выступлений Марселя Кашена, Анри Барбюса и других поборников мира и дружбы с советским народом существенно дополнило бы книгу.

Недостаточно раскрыта и связь Иностранной коллегии Одесского обкома не только с ЦК партии, ЦК КП(б) Украины, но и подчас даже с одесским подпольем.

Автору следовало глубже показать борьбу большевиков против многоликой буржуазной прессы, ежедневно отравлявшей сознание французских солдат и матросов ядом антисоветской клеветы. Интервенты и белогвардейцы в Одессе издавали наполненные ложью газеты «France», «L'Indépendant», «La Gazette d'Odessa». К иностранным солдатам обращались и официальные издания их стран. За души солдат, за их сознание большевики вели горячую борьбу с буржуазной печатью, обладавшей неограниченными материальными ресурсами. Но все же большевистские газеты и листовки победили в этой борьбе. Победили своей правдой.

Не все выдающиеся борцы одесского подполья, принимавшие участие в работе среди иностранных войск, показаны в книге В. Коновалова. В ней почему-то не нашлось места для легендарного героя гражданской войны Анатолия Железнякова. Между тем о его деятельности среди французских матросов и солдат (он скрывался под именем Анатолия Эдуардовича Викторс) имеются свидетельства в ряде архивных документов и воспоминаний.

Серьезной проверки требуют факты, приведенные автором о Григории Ивановиче Котовском. Не подкрепленные документами, они напоминают многие легенды, сложившиеся об этом отважном революционере.

Автор повторяет некоторые неточности в биографии Жанны Лябурб (она родилась в 1877 году в семье французского крестьянина).

Неверным представляется и «зачисление» в Иностранную коллегию Жака Садуля. Офицер французской военной миссии, перешедший на сторону Советской власти, он был активным работником французской коммунистической группы в Москве, автором ряда листовок и статей в газете «La III Internationale», но при-

езжал в Киев и Одессу лишь после изгнания интервентов, в апреле—мае 1919 года. Членом Иностранной коллегии Одесского обкома Садуль никогда не состоял.

В книге допущены досадные ошибки: на странице 66 извращена дата ленинской телеграммы и неверно цитируется источник. На странице 55 вместо портрета Якова Елина приведена фотография его брата — подпольщика Владимира Елина.

Следует также отметить, что в погоне за занимательностью автор подчас перегружает изложение ненужными, третьестепенными деталями. В книге имеются и стилистические погрешности. Например, один из деятелей контрреволюции «широко вещал» (стр. 9), другой «делал мину всемогущества» (стр. 20); французское командование «хотело строить свою интервенцию руками русских офицеров» (стр. 23), соглашатели «повскакивали с мест» (стр. 27) и так далее. Издательству следовало более тщательно редактировать рукопись.

В целом книга заслуживает хорошей оценки. Она имеет большое воспитательное значение, проникнута высоким духом патриотизма, гордостью за людей, беззаветно преданных революции и отдавших за нее жизнь. Можно поздравить Одесское областное издательство с выпуском интересной и полезной работы — результатом тщательного изучения исторических документов.

В связи с выходом этой книги хочется упомянуть о поэме Ивана Рядченко «На

улице Жанны—весна» (журнал «Октябрь», 1959, № 3), посвященной героине одесского подполья Жанне Лябурб. Несомненно, овеянные революционной романтикой образы героических борцов против интервенции вдохновляли и еще долго будут вдохновлять писателей и художников. Однако думается, что при создании художественных произведений надо сохранять верность исторической правде. Поэт И. Рядченко изобразил Ж. Лябурб — сорокадвухлетнюю женщину, организатора и секретаря французской коммунистической группы в Москве, активного участника революции 1905 и 1917 годов, первую французенку большевичку — юной девушкой, видимо «в целях конспирации» поющей песенки в одесских кабаках. Автор — и редакция — допустили даже ошибку в написании фамилии героини. Столь явное пренебрежение к истории, искажение фактов не могут быть оправданы «поэтическим домислом». Образ Жанны дорог советским людям и всем французским трудящимся. Он и сегодня призывает к миру и дружбе между народами Советского Союза и Франции. Недаром еще в 1919 году В. И. Ленин говорил: «Мы знаем, что имя французенки, тов. Жанны Лябурб, которая поехала работать в коммунистическом духе среди французских рабочих и солдат и была расстреляна в Одессе, — это имя стало известно всему французскому пролетариату и стало лозунгом борьбы...»

*Кандидат исторических наук*  
Л. ЗАК.

★

## Книга могла быть лучше

Среди городов Урала центральное место занимает Свердловск. Его дореволюционное прошлое своеобразно, а настоящее — величественно и прекрасно.

О Екатеринбурге-Свердловске написано немало статей и книг. И все же, пожалуй, еще не было работы, в которой обобщались бы результаты исследований по частным вопросам истории города. С этой точки зрения недавно вышедшая книга «Очерки истории Свердловска» вызывает определенный интерес.

Авторский коллектив — научные работ-

ники Уральского государственного университета при участии ряда экономистов, партийных работников и журналистов Свердловска — попытался в этой книге подвести итог своей работы по истории города. Диапазон «Очерков» довольно внушительный — от двадцатых годов XVIII века до конца пятой пятилетки. Книга снабжена перечнем важнейших дат истории Свердловска, библиографическим и именным указателями.

По замыслу авторов, «Очерки» должны быть научно-популярными, они не претендуют на фундаментальное исследование истории города. Что ж, и это неплохо, особенно если учесть, что монографий о горо-

**Очерки истории Свердловска.**  
Редактор Ю. Гетлинг. 396 стр. Свердловское книжное издательство. 1958.

дах у нас не так уж много, а любознательный читатель проявляет немалый интерес к этой литературе.

И вот, проникнувшись чувством признательности к инициаторам этого издания, раскрываем книгу. Прочитана первая страница, вторая... Нет, не того мы ожидали от университетских работников. Конечно, допустить неточность, ошибиться могут порой и специалисты своего дела. Но, как говорится, везде должна быть мера.

Неточности в рецензируемой книге начинаются уже со страниц введения. Зачем, например, утверждать, что в дореволюционной литературе не было книги о Екатеринбурге, написанной на основе первоисточников. А работы видного историка Н. К. Чупина? Благодаря обстоятельному и добросовестному изучению предмета, привлечению многочисленных первоисточников эти труды не теряют своей ценности и в наши дни.

Надо отдать справедливость, редколлегии предупредила о том, что не все очерки равноценны. Но от этого акта вежливости читателю не легче. Некоторые очерки написаны настолько сухо, таким тяжелым языком, что отнести их к числу популярных — значит взять грех на душу. И это бы еще полбеды, — хуже, когда автор, игнорируя достижения в изучении исторического прошлого города, публикует текст, не представляющий собой серьезной научной ценности.

Особенно страдают этим первые главы книги, написанные доцентом Горловским. Вопреки исторической правде он неверно указывает время основания Екатеринбурга — 1721 год, не считаясь с тем вполне доказанным научной литературой и последней дискуссией фактом, что возникновение Екатеринбурга относится к 1723 году.

Тщетно читатель стал бы искать в этих главах изложения интересной и богатой фактами истории Екатеринбургского завода. Автор ограничивается в основном материалами, касающимися строительства завода, и ничего не говорит о Екатеринбургской казенной механической фабрике, о возникших позднее на ее базе Екатеринбургских главных железнодорожных мастерских, сыгравших немаловажную роль в развитии железнодорожного транспорта и истории революционного движения на Урале. Зато излишне много уделено внимания вопросам юридически-административного

характера, в ущерб более полному и яркому показу роли народных масс.

Получилось так, что в книге наиболее удачны те главы, которые повествуют о Екатеринбурге в период промышленного капитализма и империализма. К сожалению, слабее главы о советском периоде. Странно, что Я. Петров, рисуя развитие народного образования в Свердловске, «забыл» даже упомянуть о рабфаках, институтах повышения квалификации ИТР и хозяйственников. В библиографию почему-то не включена книга А. И. Деменева, И. С. Добровольского «Высшее образование на Урале», изданная в 1958 году. Пуатано написана глава о Екатеринбурге в годы военной интервенции и гражданской войны. Сухо и скучно сказано о героях, беззаветно сражавшихся за власть Советов. Нет хотя бы приблизительной картины хода боевых действий под Екатеринбургом в 1918—1919 годах.

Большим упущением является то, что в «Очерках» жизнь Екатеринбурга-Свердловска показана в основном какой-то самостийной. Надо было значительно шире обрисовать административные, производственные и культурные связи города с другими центрами Урала и страны.

Следовало бы, по нашему мнению, предоставить читателю возможность заглянуть «в глубину веков», узнать геологическое и археологическое прошлое той территории, на которой возник и раскинулся красавец Свердловск, по данным переписи населения ныне занимающий десятое место среди городов СССР.

Иллюстративный материал книги в ряде случаев дает неверное представление об историческом и современном облике столицы Урала. Так, например, гравюра Леспинасса, изображающая город в середине XVIII века, помещена с надписью «Вид Екатеринбурга первой четверти XIX века». Вместо фотографии здания Оперного театра, построенного в 1912 году, дается ничего не говорящий снимок строительства этого театра. Непонятно, по каким причинам некоторые реально существующие в городе здания представлены лишь их проектами.

Пробрались дефекты и в «тылы» книги. Так, в хронологии важнейших дат истории Свердловска нет, например, сведений относительно объявления Екатеринбурга уездным городом Пермской губернии, о закрытии Монетного двора. Неверно указана

дата постройки Горнозаводской железной дороги (1876 вместо 1878), ничего не сказано о том, когда был создан Екатеринбургский комитет РСДРП(б), обойдены молчанием даты проведения в городе партийных конференций.

Мы вовсе не хотим создать такое впечатление, будто «Очерки истории Свердловска» — труд, которому не стоило бы появляться на белый свет. Знакомство с книгой отнюдь не бесполезно. Содержательны статьи Н. Алферова, К. Боголюбова, В. Кривоногова, Б. Павловского, Б. Крупаткина и ряда других авторов, посвященные развитию культуры, искусства, литературы, науки

Екатеринбурга-Свердловска. Отраден тот факт, что в научный оборот введено немало новых архивных материалов, использованы не известные ранее факты. Прочитав книгу, можно почерпнуть много интересных сведений.

И все же «Очерки» могли быть значительно лучше, если бы авторы проявили больше тщательности и усердия в своей работе, если бы редколлегия и редактор издательства Ю. Гетлинг отнеслись более строго к отбору помещенных в «Очерках» статей.

**Д. ВЛАДИМИРСКИЙ,  
Н. ФИНКЕЛЬШТЕЙН.**

г. Свердловск.



## КОРОТКО О КНИГАХ



**П. Е. ДОРОШЕНКО.** *Сельское хозяйство СССР в 1959—1965 годах.* Сельхозгиз. М. 1959. 176 стр. Цена 4 р. 35 к.

Книга П. Дорошенко подробно рассказывает о достижениях сельского хозяйства СССР за минувшее пятилетие и о темпах развития его важнейших отраслей, предусмотренных семилетним планом по стране в целом и по отдельным союзным республикам.

В главе «Зерновое хозяйство — основа сельскохозяйственного производства» приводятся выразительные цифры, характеризующие запланированный в семилетке рост валового сбора зерна за годы 1953—1958—1965: пять, восемь с половиной, десять-одиннадцать миллиардов пудов! Отдельные главы трактуют вопросы производства технических культур, картофеля, овощей и фруктов, продуктов животноводства.

Большое место отведено проблеме механизации и электрификации сельского хозяйства. В конце книги автор рассматривает одну из главных задач семилетнего плана — дальнейшее совершенствование социалистических производственных отношений, сближение двух форм социалистической собственности — колхозной и общенародной.

**Т. ЛИЛЬИН.** *Их славит Родина.* Госполитиздат. М. 1959. 176 стр. Цена 2 р.

О самоотверженности, боевой доблести, горячей любви к Родине советских женщин — участниц Великой Отечественной войны рассказывают документальные очерки Т. Лильина.

Разведчица-комсомолка Клава Милорадова и медицинская сестра Марфа Андреева, летчица Маша Толстова и снайпер Лия Магдагулова, инженер танковых войск Людмила Калинина, партизанский врач Вера Павлова-Давыдова и многие другие — все они «наравне с мужчинами месили грязь весенних и осенних дорог, мокли под дождем и снегом в окопах, воевали на земле, на воде и в воздухе, проникали в тыл врага, выносили с поля боя раненых, спасали им жизнь в медсанбатах и на операционных столах полевых госпиталей», своими областными делами заслужив благодарность народа.

Автору удалось представить в этой книге три женских поколения, боровшихся против врагов Родины. Одна из этих жен-

щин участвовала еще в русско-японской войне, шестидесяти пяти лет от роду встретила войну против немецкого фашизма в строю морских медиков. Другая в дни Октябрьского переворота была уже коммунисткой, участвовала в гражданской войне, стала партизанкой в тяжелые дни Отечественной войны. И, наконец, на войну пришло поколение женщин, родившихся после Октябрьской революции. «Они принесли с собой, — говорится в книге, — как священную эстафету, воспринятую от славных женщин-большевиков, преданность и самоотверженное служение народу».

**ГЛАЗАМИ ДРУЗЕЙ.** Сборник. Составители В. В. Устинов и О. К. Кирик. Лениздат. 1959. 360 стр. Цена 8 р. 80 к.

В предисловии к этой книге В. Саянов писал: «Немного выходит на свете книг, которые читаешь с таким увлечением, как эту. Одно перечисление ее участников волнует сердце, рождает заманчивые ассоциации, будит многое в памяти».

Со страниц книги звучат голоса людей, чьи имена навечно вошли в историю человеческой культуры, чьи зоркие глаза сразу же сумели разглядеть рождение нового мира, созданного народными массами России, которыми руководил Ленин. Слова правды о Советском Союзе, произнесенные в различных странах великими мыслителями и художниками слова, противостояли потоку лжи и клеветы и находили путь к сердцам миллионов простых людей.

Материалы, представленные в сборнике, охватывают сорок лет и включают высказывания свыше пятидесяти ученых и писателей — представителей двадцати трех стран, расположенных на различных континентах земного шара.

Книгу открывают строки «первого летописца Октября» Джона Рида. Затем помещен привет Ромена Роллана «свободной и несущей свободу» России. Анатоль Франс, Анри Барбюс, Стефан Цвейг, Рабиндранат Тагор, Бернард Шоу, Теодор Драйзер — все они и многие другие, чьи мысли и слова формировали общественное мнение людей доброй воли различных стран, выступили в защиту Советской страны от посягательств империалистов.

Заключают сборник слова и рисунки широко популярного у нас датского ху-

дожника-карикатуриста Херлуфа Бидструпа — непреклонного борца за мир и социализм: «В Дании говорят, что деревья не вырастают до неба. Эта поговорка ныне устарела, как все обветшалые общественные формы, которые еще стараются сохранить в западном мире. Маленькое растение, которое 40 лет назад было посажено трудовым народом в Советском Союзе... буквально выросло до неба. Это дерево — социализм — теперь столь велико, что его могут видеть народы всего мира».

**А. Г. ЯКОВЛЕВ. Решение национального вопроса в Китайской Народной Республике. Издательство восточной литературы. М. 1959. 112 стр. Цена 3 р.**

Одним из актуальнейших и сложнейших вопросов, которые сразу же встали перед молодой Китайской республикой, был национальный вопрос. Дело в том, что в Китае, подавляющее большинство населения которого составляют китайцы, имеется свыше пятидесяти народностей и этнических групп. Они насчитывают примерно тридцать пять миллионов человек. Монография А. Г. Яковлева знакомит с их жизнью до революции, с их хозяйством и общественным строем, с межнациональными противоречиями, а также с национальной дискриминацией в старом Китае.

Автор подробно пишет о том новом, что внесла в жизнь малых народов революция, рассказывает о национальной программе КПК. Читатель убеждается в том, насколько своеобразна и многолика национальная проблема в Китае, знакомится с политической районной автономией, проводимой КПК. Одна из глав посвящена конституции Китайской республики, обеспечивающей полное равноправие всех граждан великой страны.

Книга снабжена картой национальных районов Китайской Народной Республики.

**ОЧЕРКИ ИСТОРИИ КИТАЯ. Перевод с китайского. Издательство восточной литературы. М. 1959. 580 стр. Цена 24 р.**

Книга написана группой преподавателей Народного университета, возглавленной профессором Шан Юэ.

«Очерки истории Китая» рассказывают о важнейших событиях и исторических процессах в Китае за четыре тысячелетия — от древнейших времен до начала открытого вторжения в страну капиталистических держав в сороковых годах прошлого века.

В предисловии А. Филиппов пишет: «Издание этой книги призвано восполнить до некоторой степени пробел в имеющейся на русском языке литературе о Китае». Авторам в значительной мере удалось показать историю Китая в развитии, ярко и отчетливо охарактеризовать то особое, что отличает один этап истории от другого.

В книге широко освещается развитие экономики, в частности сельского хозяйства, ремесел, торговли. Читатель получит представление о китайской культуре, познакомится с ее виднейшими деятелями. Мно-

го места отведено в «Очерках» рассказу об освободительных войнах, которые приходилось вести китайскому народу в борьбе за свою независимость, а также о крестьянских восстаниях.

**И. КОМЗИН. Это и есть счастье. «Молодая гвардия». 1959. 284 стр. Цена 5 р. 65 к.**

Будучи начальником крупнейшего строительства нашего времени — Куйбышевской гидроэлектростанции, — И. Комзин вел дневник, делал различные записи, которые легли в основу книги. Книга эта читается с неослабевающим интересом, волнует читателя и заставляет думать. Перед читателем раскрываются не только эпизоды грандиозной стройки, стройки, которая явилась «школой жизни и борьбы» (одна из глав так и называется), но предстают живые люди, наши современники, со своими думами, своим трудом, своими судьбами и характерами. Весь материал книги убеждает, что «счастье-то как раз в том, чтобы прийти в степь, на пустынное поле, обосноваться в походном лагере... а потом увидеть, как твоими руками и руками твоих друзей создан на радость тысячам и десяткам тысяч советских людей новый прекрасный город...»

В труде, в созидании, в жизни на пользу людям и нашел свое «нелегкое, но зато настоящее счастье коммуниста» автор этой книги Иван Васильевич Комзин.

**М. В. ВОДОПЬЯНОВ, Г. К. ГРИГОРЬЕВ. Повесть о ледовом комиссаре. Географгиз. М. 1959. 200 стр. Цена 5 р. 10 к.**

Удивительно многогранной и плодотворной была жизнь академика О. Ю. Шмидта, выдающегося ученого-исследователя, крупного общественного деятеля. В первые годы Советской власти он — член коллегии Наркомпрода и Наркомфина, заведует Госиздатом, ведет большую научную работу в области математики и геофизики. О. Ю. Шмидт был одним из создателей и главным редактором Большой Советской Энциклопедии, руководил научными учреждениями, читал лекции в Московском университете. В последние годы, уже будучи тяжело больным, он разрабатывал новую теорию происхождения Земли.

Из книги читатель многое узнает о Шмидте — полярнике, «ледовом комиссаре», с именем которого связаны незабываемые страницы покорения Арктики, освоения Северного морского пути.

**Г. А. ТИХОВ. Шестьдесят лет у телескопа. Детгиз. М. 1959. 160 стр. Цена 4 р. 20 к.**

Книга эта — рассказ выдающегося ученого о своем жизненном пути, о труде исследователя-астронома.

В конце 1945 года мир впервые услышал слово «астроботаника». Оно было произнесено на заседании президиума Казахского филиала Академии наук СССР Г. А. Тиховым в его докладе, подводящем итоги многолетних наблюдений Марса. Так родилось название новой науки, создатель которой доказывает, что на Марсе есть жизнь.



Рассказывая молодым читателям о сути этой гипотезы, о том, как он пришел к своим выводам, ученый излагает и точки зрения противников новой теории.

Заканчивая свой рассказ, автор говорит: «Нет сомнения, что в самом недалеком будущем жители нашей планеты смогут по телевизору увидеть поверхность Луны и Марса. Можно будет, вероятно, организовать и изучение Венеры».

**СЕРГЕЙ СНЕГОВ. Солнце не заходит. Повести и рассказы. Калининградское книжное издательство. 1959. 282 стр. Цена 8 р. 25 к.**

Читателям «Нового мира» автор этой книги знаком по повести «Взрыв», опубликованной в прошлом году в нашем журнале.

Повесть эта вошла в аннотируемый сборник, но не она дала ему название. Автор озаглавил книгу «Солнце не заходит», подчеркнув тем самым свою особую приверженность к темам, связанным с жизнью Заполярья.

Вторая повесть — «Учительница» — рассказывает о первых трудных шагах самостоятельной работы Оли Журавской, поехавшей после окончания института учить детей кочевого народа нганасан, туда, где вечные льды и, если смотреть на карту, «полярный круг терялся где-то на юге».

Созидательный творческий труд, крепкая дружба помогают героям рассказов «Наши на Большой Земле», «Решение парторгруппы», «Отрывок», «Куда Макар телят не гоняет», «Происшествие на Боганире» преодолевать трудные условия Крайнего Севера, бороться с грозной природой Заполярья. Недаром один из этих героев говорит: «Да, сложная штука жизнь. Хорошая штука жизнь».

**АЛИМ КЕШОКОВ. Стихотворения и поэма. Перевод с кабардинского. Гослитиздат. 1959. 303 стр. Цена 4 р. 75 к.**

В автобиографической заметке «Несколько слов о самом себе», которой открывается сборник стихов Алима Кешокова, поэт пишет: «Тот, кто стал поэтом, похож на воина. Он должен быть всегда в строю и всегда в бою вести огонь. Поэтому, какие бы иные дела меня ни отвлекали, я нахожу время, чтобы писать стихи».

Алим Кешоков пишет о природе и людях родной Кабарды, о тех изменениях, которые произошли там, о преобразованиях в деревне, о турбинах, поднявшихся у речных стремнин, о дружбе кабардинского народа с народами нашей страны.

«Маринкино яблоко» — так называется раздел сборника, посвященный детям.

Поэма «Земля молодости», рассказывает о той борьбе, которую вел в прошлом кабардинский народ за лучшее будущее.

**Н. КАЛИТИН. Слово и мысль. О поэтическом мастерстве В. Маяковского. «Советский писатель». М. 1959. 216 стр. Цена 5 р. 50 к.**

В многочисленной литературе о Маяковском вопрос об особенностях его поэтики

все еще остается одним из наименее разработанных. В книге Н. Калинина эти особенности рассматриваются на материале крупнейших произведений поэта. Глава «Голосует сердце» посвящена жанровым и композиционным особенностям поэмы «Владимир Ильич Ленин»; своеобразие языка и стиля поэмы «Хорошо!» исследуется в главе «Слово и мысль»; в главе «Разящее слово» анализируется язык драматургии Маяковского. Автор подробно и во многом по-новому говорит о взаимоотношении эпоса и лирики в поэзии Маяковского, подчеркивая, что мы имеем здесь дело не столько с «существованием», сколько с «взаимопонижением» этих поэтических рядов, с особым характером, новым качеством лиро-эпоса Маяковского». В книге рассматривается также проблема лирического героя поэзии Маяковского. Интересно решает автор вопросы своеобразия сатиры Маяковского, взаимосвязи критического и утверждающего начал в его творчестве.

**Б. САРНОВ. Л. Пантелеев. Критико-биографический очерк. Детгиз. М. 1959. 127 стр. Цена 1 р. 70 к.**

Книга Б. Сарнова посвящена советскому писателю Л. Пантелееву. В ней рассказывается о жизненном пути Пантелеева и анализируется его творчество. обстоятельно разобрав первое произведение Пантелеева («Республика ШКИД»), написанное им в соавторстве с Г. Белых, критик подробно останавливается на наиболее значительных книгах писателя: повестях «Часы», «Пакет», «Ленька Пантелеев», рассказе «Честное слово». Творчество Пантелеева Б. Сарнов исследует в тесной связи с развитием советской детской литературы.

Он анализирует художественную манеру писателя, которую отличает реалистическая точность письма, недюжинная языковая культура. Это художник, говорит критик, большой внутренней честности, предельно выскательный, предельно требовательный к себе.

**МАРИЯ ДЖАКОББЕ. Дневник молодой учительницы. Перевод с итальянского. «Молодая гвардия». М. 1959. 140 стр. Цена 3 р. 55 к.**

«Дневник молодой учительницы» трижды издавался в Италии и был отмечен премией Виареджо. Это рассказ о крестьянских детишках Сардинии. Мария Джакоббе несколько лет работает в сельских школах родного ей острова. С горечью и душевной болью пишет она о жизни своих маленьких питомцев. Они спят на полу, едят сухомытку, почти не видят молока, не знают ни игрушек, ни сказок. Сурова жизнь сардинских крестьян, сурово и их отношение к детям. «Едва только мальчики выходят из грудного возраста, едва только начинают самостоятельно ходить, как с ними уже обращаются как со взрослыми. С этого времени они не имеют больше права на ласку. Теперь они должны самостоятельно защищаться в неизбежных стычках со сверстниками и бычь

на равной ноге с приятелями отца. За любую провинность их жестоко наказывают».

Просто, безыскусственно делится своими наблюдениями молодая писательница. Она не осуждает и не презирает, подобно некоторым интеллигентам-белоручкам, «грубых» и невежественных сардинских бедняков. Она делает все, что в ее скромных силах, чтобы скрасить жизнь их ребяташкам. Она любит этих детей и становится советчиком и другом их родителей. «Их проблемы — это мои проблемы потому, что они — мой народ».

**АРКАДИЙ ФИДЛЕР. Горячее селение Амбинанитело. Сокращенный перевод с польского. «Молодая гвардия». М. 1959. 216 стр. Цена 5 р. 25 к.**

Селение с таким экзотическим названием — одно из крупнейших в долине реки, носящей не менее экзотическое название Антанамбалана. Долина эта занимает крошечное место в северо-восточном уголке острова Мадагаскар.

Здесь в 1937—1938 годах побывал известный польский писатель и путешественник Аркадий Фидлер, чтобы, как писал он, найти «две вещи: редких насекомых и следы Беневского». Маурицы Беневский в 1774 году высадился в глубине бухты Антдижала и построил крепость Луисберг. Он пытался создать государство мальгашей — основных племен, населявших Мадагаскар, — но был сражен пулей французских карателей, стремившихся воспрепятствовать этому.

В итоге путешествия Фидлера родилась эта умная и яркая книга. Автор с большой теплотой описывает невыносимо трудную жизнь мальгашей, поднимающихся на борьбу против колониального режима. Читателю запомнятся образы борцов за лучшее будущее Мадагаскара — учителя Рамасо и других.

**ЭЛЛИС М. ЗАХАРИАС. Секретные миссии. Записки офицера разведки. Перевод с английского. Воениздат. М. 1959. 472 стр. Цена 13 р.**

Записки отставного контр-адмирала флота США Эллиса М. Захариаса, в прошлом видного разведчика, приподнимают край завесы, за которой действуют противники мира на земле.

Хотя Захариас остается верным слугой американского империализма, ему нельзя отказать в известной самостоятельности суждений. Долгие годы он прослужил в Японии и, в противовес большинству американских авторов, решительно восстает против мифа о «неполноценности» и «подражательности» японской культуры.

Интерес книги «Секретные миссии», написанной на хорошем литературном уровне, повышается тем обстоятельством, что автор — специалист по психологической войне. Из его мемуаров внимательный читатель узнает и о некоторых завуалированных приемах работы американских и иных пропагандистов «холодной войны».



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТЗДАТ

**Воспоминания о II съезде РСДРП.** 160 стр. Цена 2 р.

**Г. Н. Голиков.** Очерк истории Великой Октябрьской социалистической революции. 436 стр. Цена 7 р. 60 к.

**Ю. Мархлевский.** За что и как бороться? 84 стр. Цена 1 р.

**З. Мирский.** Румыния наших дней. 112 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Ю. Моралевич.** Великое семилетие. Книга для чтения о семилетнем плане. 240 стр. Цена 3 р.

**Г. В. Плеханов.** Основные вопросы марксизма. 104 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Г. В. Плеханов.** Социализм и политическая борьба.—Еще раз социализм и политическая борьба. 128 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Правда о религии.** Сборник. Аббат Жан Мелье. Епископ В. М. Браун. Доктор богословия Ф. Шахерль. Доктор теологии А. Тонди. Митрополит Н. Ф. Платонов. 424 стр. Цена 7 р.

**Советский фельетон.** 528 стр. Цена 10 р.

**Съезд 1957 года Коммунистической партии Германии.** 136 стр. Цена 3 р. 75 к.

**Морис Торез.** Новые данные об обнищании трудящихся Франции. 88 стр. Цена 1 р.

**Юрий Чернов.** Они обороняли Моонзунд. 88 стр. Цена 1 р.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Н. Адамян.** Девушка из министерства. Повесть. 303 стр. Цена 5 р. 35 к.

**А. Аджиев.** У нас в горах. Стихи. Перевод с кумыкского. 115 стр. Цена 2 р. 5 к.

**А. Анисимова.** Бабушкины янтари. Сказки. 177 стр. Цена 3 р. 25 к.

**Н. Брыкин.** Искушение. Роман. 502 стр. Цена 8 р. 95 к.

**Б. Вадецкий.** Простой смертный. Глинка. Акын Терези. Романы. 785 стр. Цена 16 р. 20 к.

**И. Варавва.** Кубанское лето. Стихи. 114 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Б. Галин.** Крепкая завязь. Очерки. 314 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Л. Гримайло.** Великий следопыт. Повесть. Перевод с украинского. 380 стр. Цена 6 р. 75 к.

**М. Гус.** Искусство и демократия. 180 стр. Цена 3 р. 80 к.

**Н. Дадимов.** Над Неманом. Роман. Перевод с белорусского. 218 стр. Цена 6 р.

**К. Джумалиев.** Борьба в степи. Поэма. Перевод с казахского. 132 стр. Цена 2 р. 80 к.

**Ц. Жимбиев.** Весенняя степь. Стихи. Перевод с бурятского. 101 стр. Цена 2 р.

**К. Зелинский.** На рубеже двух эпох. 340 стр. Цена 8 р. 10 к.

**Г. Калининский.** Олень с голубых озер. Рассказы. 257 стр. Цена 3 р.

**В. Кожевников.** Любимые товарищи. Рассказы. 659 стр. Цена 11 р. 65 к.

**П. Колесник.** На фронте есть перемены. Роман. Перевод с украинского. 241 стр. Цена 4 р. 45 к.

**Э. Крустэн.** Гнездо под стрехой. Новеллы. Перевод с эстонского. 308 стр. Цена 5 р. 10 к.

**Мастерство перевода.** Сборник статей. 510 стр. Цена 12 р. 50 к.

**А. Мацкин.** Образы времени. 407 стр. Цена 9 р. 55 к.

**М. Никитин.** Белый свет. Рассказы и очерки. 259 стр. Цена 4 р. 70 к.

**Н. Панов.** Колокола громкого боя. Роман. 147 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Д. Петров (Бирюк).** Сыны степей донских. Роман. 388 стр. Цена 6 р. 80 к.

**А. Пришелец.** Зерно. Стихи. 233 стр. Цена 2 р. 55 к.

**С. Рустам.** Желание сердца. Стихи и поэмы. Перевод с азербайджанского. 73 стр. Цена 3 р. 90 к.

**М. Рыльский.** Литература и народ. Сборник статей. 316 стр. Цена 7 р. 70 к.

**А. Саксе.** Искры в ночи. Роман. Перевод с латышского. 460 стр. Цена 8 р. 35 к.

**М. Слонимский.** Ровесники века. Повесть. 183 стр. Цена 4 р. 20 к.

**С. Чиковани.** Тени платанов. Стихи. Перевод с грузинского. 70 стр. Цена 1 р.

**А. Шогенуков.** Восхождение. Стихи. Перевод с кабардинского. 143 стр. Цена 2 р. 50 к.

### ГОСЛИТЗДАТ

**Бенгальская поэзия.** Перевод с бенгальского. 240 стр. Цена 5 р. 85 к.

**Николай Дементьев.** Стихотворения. 112 стр. Цена 2 р. 90 к.

**В. Жданов.** Н. В. Гоголь. Очерк жизни и творчества. 164 стр. Цена 3 р. 50 к.

**Антонин Залотоцкий.** Избранные произведения в двух томах. Перевод с чешского. Том первый. 480 стр. Цена 11 р. 15 к.

**Илья Ильф, Евгений Петров.** Тоня. Рассказ. 72 стр. Цена 12 р. 50 к.

Джек Линдсей. Люди сорок восьмого года. Перевод с английского. 511 стр. Цена 9 р. 60 к.

Эффенди Капиев. Избранное. 664 стр. Цена 11 р. 40 к.

Дм. Кедрин. Стихотворения и поэмы. 232 стр. Цена 4 р. 25 к.

Ольга Кобылянская. Земля. Повесть. Перевод с украинского. 304 стр. Цена 4 р. 75 к.

Поэты Далмации эпохи Возрождения XV—XVI веков. Перевод с латинского, сербо-хорватского и итальянского. 272 стр. Цена 5 р. 10 к.

Фернандо де Рохас. Селестина. Трагикомедия о Калисто и Мелибее. Перевод с испанского. 531 стр. Цена 5 р. 30 к.

А. Роскин. А. П. Чехов. Статьи и очерки. 431 стр. Цена 11 р.

Сказание о царстве Казанском. 527 стр. Цена 28 р. 85 к.

Современная персидская поэзия. Переводы с персидского. 360 стр. Цена 6 р. 85 к.

С. Н. Терпигоров (С. Атава). Потревоженные тени 632 стр. Цена 9 р. 85 к.

А. Хватов. Александр Малышкин. Очерк жизни и творчества. 223 стр. Цена 6 р. 75 к.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М. Алпатов. Александр Иванов. 272 стр. Цена 6 р. 40 к.

Б. Анашенков. Сестренка. Рассказы. 119 стр. Цена 1 р. 75 к.

А. Бабинец. Товарищ в борьбе. 200 стр. Цена 3 р. 80 к.

Я. Гашек. Бравый солдат Швейк в плену. Повесть и рассказы. 415 стр. Цена 7 р. 50 к.

Добрый почин. Сборник. 320 стр. Цена 6 р. 20 к.

В. Дрозденко. Рождение подвига. 288 стр. Цена 4 р. 55 к.

Вадим Иванов. Совет весна. Стихи. 79 стр. Цена 2 р. 30 к.

А. Мильчаков. Первое десятилетие. 256 стр. Цена 5 р. 15 к.

Мы — молодая гвардия. Сборник. 288 стр. Цена 6 р. 20 к.

Б. Попов. В подарок малышам. 94 стр. Цена 3 р. 15 к.

Б. Рамазанов. Фиалки на скалах. Стихи. Перевод с лакского. 80 стр. Цена 3 р. 10 к.

А. Рапохин. Нашей дружбе расти. 152 стр. Цена 1 р. 35 к.

В. Рублев. Семья. Повесть. 367 стр. Цена 6 р. 90 к.

Б. Ржонский. Никола Тесла. 224 стр. Цена 5 р. 10 к.

С. Сергеев-Ценский. Искать, всегда искать! 520 стр. Цена 12 р. 65 к.

Е. Суворина. У горы Митридат. 112 стр. Цена 1 р. 65 к.

М. Яновская. Сеченов. 382 стр. Цена 7 р. 60 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Л. О. Алькаева. Очерки по истории турецкой литературы 1908—1939 гг. 220 стр. Цена 8 р. 65 к.

А. А. Берлин, С. М. Баркан. Полимеры в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. 93 стр. Цена 1 р. 30 к.

Вопросы физико-химии почв и методы исследования. 155 стр. Цена 6 р. 50 к.

Д. Ф. Марков. Болгарская поэзия первой четверти XX века. 288 стр. Цена 12 р. 85 к.

XI Генеральная Ассамблея Международного геодезического и геофизического союза 327 стр. Цена 19 р. 40 к.

Б. Г. Кузнецов. Принцип относительности в античной, классической и квантовой физике. 232 стр. Цена 5 р. 50 к.

П. С. Кузнецов. Очерки исторической морфологии русского языка. 275 стр. Цена 15 р. 75 к.

И. И. Скворцов-Степанов. Избранные атеистические произведения. 568 стр. Цена 20 р. 30 к.

Скульптура и живопись древнего Пянджикента. 267 стр. Цена 25 р. 40 к.

Советский ежегодник международного права 1958. 263 стр. Цена 33 р. 45 к.

Ю. И. Соловьев, Н. А. Фигуровский. Сванте Аррениус. 1859—1959. 179 стр. Цена 3 р. 90 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

Роберт Альт. Прогрессивный характер педагогики Коменского. Перевод с немецкого. 150 стр. Цена 7 р. 50 к.

Вопросы методики обучения русскому языку в начальной школе. 264 стр. Цена 4 р. 40 к.

П. А. Знаменский, Л. Н. Никерова. Механика и машиноведение в средней школе. 240 стр. Цена 6 р. 5 к.

Режим дня детей и подростков. 116 стр. Цена 2 р. 80 к.

#### ГЕОГРАФИЗ

И. П. Герасимов. Очерки по физической географии зарубежных стран. 350 стр. Цена 13 р. 35 к.

М. Главса. Спящий пробуждается. 132 стр. Цена 2 р. 20 к.

Ю. К. Ефремов. Остров вечного лета. 160 стр. Цена 2 р. 70 к.

Э. и В. Мурзаевы. Словарь местных географических терминов. 302 стр. Цена 6 р. 50 к.

Л. М. Старокадомский. Пять плаваний в Северном Ледовитом океане. 294 стр. Цена 7 р. 65 к.

Сун Цзинь-чжи. Экономическая география как наука 94 стр. Цена 2 р. 25 к.

Ф. А. Тринич. Восточный Пакистан. 224 стр. Цена 7 р. 95 к.

---

---

## ОТ РЕДАКЦИИ

### *„Новый мир“ в 1960 году*

Подписчикам «Нового мира» на 1959 год остается получить две последние книжки журнала. Готовя их к печати, редакция одновременно озабочена тем, что «Новый мир» сможет предложить читателю в 1960 году.

Истекший год нашего журнала не был богат крупными произведениями прозы, посвященными сегодняшней действительности, изображению людей семилетки, их труду и быту, думам и настроениям. Это существенный недостаток, так как главный интерес читателей всякого журнала, естественно, относится в первую очередь к роману или повести на современную тему. Можно, конечно, сказать, что «организовать» романы, повести, поэмы редакция не может, подобно тому как она может это сделать в отношении очерка, литературной или научной статьи, рецензии. Можно даже утверждать, что редакция не видит значительных произведений современной тематики, которые были бы «упущены».

Нельзя не учитывать того, что 1959 год, год XXI съезда КПСС, а также Третьего съезда писателей СССР, в жизни советской литературы является годом особым. Приветствие ЦК КПСС Третьему съезду писателей, речь Н. С. Хрущева на съезде, общий тон и характер обсуждения съездом насущных вопросов литературного дела резко повысили требовательность в отношении идейно-художественного качества литературы и заставили литераторов о многом серьезно подумать, многое пересмотреть и переоценить в своей практике.

Но от этих разъяснений недостаток не перестает быть недостатком в глазах строгого и нелицеприятного судьи журнала — его читателей, а также критики и литературной общественности.

Слов нет, такие вещи, как, например, появившиеся в этом году в журнале «Рейд на Сан и Вислу» **П. Вершигоры** или «Пядь земли» **Г. Бакланова**, возвращающие нас к образам и картинам Великой Отечественной войны, могут иметь для читателя живой и глубокий интерес. Это же можно сказать и о талантливых произведениях, обращенных к материалу еще более отдаленных во времени периодов, как, скажем, «Поход за Невскую заставу» **Ольги Берггольц**. Каждая страница истории нашей революции, борьбы за социализм и коммунизм составляет непреходящую ценность, способную вновь и вновь привлекать к себе творческую мысль художника и вызывать неподдельный интерес читателя. Все это так. Но редакция отдает себе ясный отчет в том, что все эти произведения, сами по себе имеющие несомненное право на место в журнале, как и вообще в литературе, не могут заменить собой произведений, пафос которых составлял бы нынешний созидательный день строителей коммунизма.

Правда, конец года, по нашему мнению, вносит заметные поправки и в этом смысле. Мы имеем в виду закончившуюся в девятой книжке журнала повесть **Нины Ивантер** «Снова август», напечатанную в настоящей книжке повесть молодого читинского писателя **В. Липатова** «Капитан

«Смелого» — о сибирских речниках — и подготовленную к печати повесть **С. Георгиевской** «Тарасик» — о молодой советской семье.

В ходе журнального года редакция в меру своих возможностей стремилась восполнить недостаточность освещения современной темы в крупных произведениях художественной литературы широким предоставлением страниц журнала более «оперативному» жанру — литературно-публицистическому очерку, способному поспевать, как говорится, по горячим следам событий и фактов современности. Мы полагаем, что внимание читателя могли с пользой занять опубликованные в 1959 году очерки **А. Марьямова** «Идем на Восток» — о людях Крайнего Севера, их делах, мечтах и свершениях; **А. Злобина** «На великой магистрали» и «Встречи на Ангаре» — о народнохозяйственных проблемах и перспективах Восточной Сибири, ученых и инженерах сибиряках; **Леонида Иванова** «Когда сеять?» — об одном из существенных вопросов колхозного производства на нынешнем этапе; **Эм. Казакевича** «Столица Черной металлургии» — о сегодняшнем Магнитогорске; **И. Осипова** «Вторая молодость Баку»; **Б. Агапова** «Поездка в Брюссель»; **А. Анфиногенова** «На двух полюсах» и, может быть, некоторые другие.

Но и в отношении этого жанра редакция не склонна понимать значение современной темы в ограничительно-хронологическом смысле. Она с готовностью будет и впредь предоставлять место таким очеркам мемуарно-автобиографического жанра, как, например, «Черные сухари» **Е. Драбкиной**, где живость изложения и достоверность свидетельства из первых уст о незабываемых делах и днях нашей Великой революции обладают большой притягательной силой. К этому же ряду можно отнести публиковавшиеся в «Новом мире» «Невыдуманные рассказы» Адмирала Флота СССР **И. С. Исакова**, представляющие собой главы книги воспоминаний, над которой работает автор.

Очерку как жанру, издавна развитому в отечественной литературе, давшему в ней под пером Тургенева, Успенского, Короленко, Горького и многих современных советских писателей свои классические образцы, редакция вообще уделяет особое внимание. Огромные возможности и блестящие перспективы этого рода литературного оружия еще впереди. Нельзя не учитывать того, что осуществление грандиозной программы коммунистического строительства, разработанной XXI партсъездом, выдвигает небывалое многообразие сложнейших вопросов технического прогресса в промышленности и сельском хозяйстве, проблем культурного строительства, «освоить» которые в литературе в первую очередь под силу именно очерку. Конечно, непременными условиями успеха такого очерка является его *дельность*, как любил выражаться Белинский, настоящее знание предмета, идейная глубина и выразительность изложения.

Редакция сознательно предпочитает произведения этого жанра с их мобильностью, жизненной, исторической достоверностью, познавательной ценностью «типовым» поделкам ремесленно-поверхностной, по заданному шаблону скроенной и сшитой беллетристики, хотя и снабженной внешними приметами «актуальности». Но что касается произведений беллетристического жанра в лучшем смысле, актуальных и современных не по заглавию, а по самому существу, призванных с особой силой захватить внимание и возбудить острейший интерес читателя, то можно лишь повторить то, что сказано выше о главном недостатке журнала в 1959 году.

В 1960 году редакция «Нового мира» по состоянию своего портфеля и предварительной договоренности с авторским активом имеет в виду представить читателю богатый и разнообразный материал.

Назовем некоторые из крупных произведений прозы, намеченных к опубликованию в журнале в 1960 году, не распределяя их заранее по

степени «актуальности». Пусть читателя не смущает то обстоятельство, что среди названных здесь вещей он найдет некоторые из объявленных редакцией в проспекте на 1959 год, но не опубликованных. Мы не считали возможным оказывать давление на авторов, взыскательная работа которых потребовала дополнительного времени. Редакция надеется опубликованием этих произведений в 1960 году вознаградить несколько затяннувшееся ожидание читателя.

В первой половине 1960 года у нас будет напечатан новый роман **Константина Федины** «Костер», являющийся заключительной частью трилогии, первую и вторую части которой составляют романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето». Наряду с героями, известными читателю по первым двум книгам, здесь выступают новые персонажи, в частности представители нового поколения — дети Извекова, Рагозина, Пастухова. Роман начинается событиями, относящимися к первому периоду Великой Отечественной войны, но ретроспективно освещает и предшествующие годы, лежащие между второй и этой, третьей частью трилогии. В то же время «Костер» представляет вполне самостоятельное сюжетное целое.

**Верой Пановой** обещана редакции современная повесть о людях большого города, главным образом молодежи, о различных человеческих судьбах.

**Вл. Фоменко** (Ростов) заканчивает предназначенный для нашего журнала роман «Жизнь», над которым он работал несколько лет, на материале большой гидростройки на Юге.

**Эм. Казакевич** даст журналу роман «Новые времена», показывающий людей советского общества начиная с периода первой пятилетки. Место действия — металлургический комбинат на востоке страны.

**Ф. Таурин** (Иркутск) представит редакции роман, примыкающий по времени и месту действия к его «Ангаре», написанный на материале строительства одной из больших сибирских гидроэлектростанций.

В начале года мы опубликуем роман **Натальи Давыдовой** «Светлана» — об инженерно-технической интеллигенции, первую крупную вещь молодой писательницы.

Над новыми произведениями, посвященными различным сторонам современной действительности, работают для «Нового мира» **Г. Бакланов, А. Бек, С. Залыгин, Л. Кабо, А. Крон** и другие.

**А. Марьямов** готовит вторую книгу очерков «Идем на Восток», посвященную, как и первая, делам и дням людей Крайнего Севера, а также Сибири.

**С. Маршак** закончил для «Нового мира» автобиографическую повесть «Начало жизни», в которой изображаются детство, школьные годы и ранняя литературная юность автора, встречи его с М. Горьким, В. Стасовым, Ф. Шаляпиным и другими деятелями литературы и искусства, принимавшими участие в судьбе молодого поэта.

Произведения повествовательно-мемуарного жанра, как и в 1959 году, займут заметное место в журнале. Будет опубликован новый цикл «Невыдуманных рассказов» **И. С. Исакова**, продолжение историко-революционных очерков **Е. Я. Драпкиной**, воспоминания о годах революции и гражданской войны, написанные **Б. А. Энгельгардтом**, бывшим генерал-лейтенантом царской армии, вернувшимся в тридцатых годах на Родину, а также другие материалы.

С каждым годом новые писательские имена и новые значительные произведения появляются в братских национальных литературах Советского Союза. Одному специальному журналу — «Дружба народов» — не отразить всей этой многообразной картины. Переводы лучших произведений национальных литератур, так же как в прошлые годы, будут публиковаться на страницах «Нового мира».

В отделе художественной прозы журнала будут помещены по крайней мере два больших произведения зарубежной беллетристики, а также переводные новеллы.

Несколько слов о поэзии — роде литературы, в отношении которого наименее применимы принципы «планирования» и «обеспечения» журнала на целый год вперед. Мы будем печатать лучшие стихи, циклы стихов, поэмы и лучшие новые переводы с языков народов Союза и языков иностранных, принадлежащие перу издавна известных читателю наших поэтов, а также молодых, недавно выявившихся или дебютировавших на страницах «Нового мира», таких, как **Владимир Сергеев** (Магадан), **Римма Казакова** (Хабаровск), **Борис Шумилов** (Горьковская область), и тех, кого мы еще не знаем по именам, но в чей приход верим неукоснительно.

Обширный отдел критики и библиографии журнала будет по-прежнему, но — как мы надеемся — с большей последовательностью придерживаться принципа рассматривать произведения литературы с позиций жизни, с точки зрения верности их действительности, оценивать не по заглавиям и не по «номинальному» содержанию, а по их подлинной идейно-художественной ценности, невзирая на лица. Наряду с критиками старшего поколения журнал, как и прежде, будет охотно предоставлять место молодым авторам, обладающим свежестью взгляда, решимостью суждений, с горячей энергией овладевающим необходимой идейно-теоретической подготовкой. В их числе можно назвать уже знакомых читателям «Нового мира» молодых критиков: **И. Виноградова, М. Злобину, В. Лакшина, О. Михайлова, А. Синявского, И. Соловьеву, А. Туркова**. Систематически будут печататься обзоры журналов — литературно-художественных, научно-популярных, общественно-политических.

Наряду с жизнью литературы мы будем полнее и чаще обращаться к жизни искусства, освещая на страницах журнала вопросы театра, кино, музыки, изобразительных искусств.

Журнал будет со всей непримиримостью давать отпор всяким попыткам международного ревизионизма и его отечественных модификаций вносить свой тлетворный дух в идейные и художественные понятия и представления наших современников. Сплочение всех жизнеспособных литературных сил, активизация их в деле борьбы за выполнение решений и предначертаний Коммунистической партии — так понимает редакция основную и главную задачу литературной критики сегодня.

Наиболее запущенным разделом журнала в истекающем году является «Дневник писателя», где в иные годы печатались интересные и содержательные статьи и заметки поэтов и прозаиков, делившихся своими наблюдениями и думами о писательском мастерстве, своим опытом и своими планами и соображениями на будущее. Редакция имеет возможность в 1960 году возобновить этот отдел и обеспечить его появление в журнале не менее как в пяти-шести книжках. Мы намерены напечатать «Дневники» **К. Ваншенкина, Е. Дороша, В. Инбер, М. Исаковского, М. Лифшица, В. Некрасова, В. Овечкина, Л. Первомайского, И. Соколова-Микитова, И. Эренбурга** и других.

Ту же запущенность необходимо ликвидировать и в отношении раздела «Трибуна читателя». Он также должен появляться в журнале чаще и регулярнее, тем более, что нет недостатка в письмах читателей, нередко весьма содержательных и ценных.

Редакция «Нового мира» всегда считала, что в титульном обозначении журнала: «литературно-художественный и общественно-политический» — вторая половина не является только формальным придатком первой, и широко открывала свои двери авторам — ученым и специалистам, общественным деятелям и литераторам, выступающим по вопро-



сам науки и политики. Здесь были у редакции как достижения, так и упущения и недостатки. Особой трудностью в этом деле, как показывает многолетний опыт, является форма подачи этого материала. Хочется привести слова, сказанные по тому же предмету более ста лет назад редактором-издателем «Современника» Н. А. Некрасовым: «Редакция... никогда не разделяла и не будет разделять того схоластического образа мыслей, по которому всякое стремление сблизить теорию с жизнью и дать ученой мысли изящную литературную форму считается унижением для науки, посягательством на права ее и достоинства».

Эпоха невиданного по темпам и уровню развития науки и техники в нашей стране не может не породить огромной и блистательной литературы, популяризирующей их достижения и перспективы среди широких кругов читателей. Свои задачи в этом направлении редакция будет выполнять, опираясь на большой и разнообразный круг авторского актива ученых и специалистов с литературными данными, с одной стороны, и литераторов с серьезной научно-теоретической осведомленностью — с другой.

Мы намерены периодически помещать обзоры, знакомящие читателей с важнейшими событиями текущей научной жизни. Кроме того, нам обещаны видными советскими учеными статьи по различным отраслям знания. Редакция возлагает особые надежды на наших очеркистов, разрабатывающих научно-техническую проблематику, таких, как **Б. Агапов, Д. Данин, И. Зыков, Н. Михайлов, О. Писаржевский** и другие.

В шестидесятом году редакция намерена больше помещать в литературной части журнала материалов сатирико-юмористических, хотя и раньше редакция охотно печатала то, что по литературным достоинствам заслуживало опубликования. Но нельзя не отметить, что давно уже на наших страницах не появлялось заметных произведений таких вполне правомочных и нужных жанров, как литературный фельетон, эпиграмма, пародия, шуточное послание и т. п. Мы не предприняем, обязательно ли весь этот материал сосредоточить в одном «закутке» в конце книжки журнала под рубрикой «Сатира и юмор» или, может быть, выгоднее такому материалу быть размещенным в общелитературных отделах журнала. Веселый рассказ или сатирическая повесть в разделе прозы или остроумная и даже едкая рецензия в отделе библиографии отнюдь не могут испортить общего журнального «ансамбля».

Редакция с готовностью примет всякую, хотя бы и суровую, но дельную критику со стороны читателей и писателей в отношении нашей работы, точности выполнения наших планов и обещаний.

Мы надеемся в 1960 году оправдать ожидания наших читателей и литературной общественности.

---

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

---

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

---

Сдано в набор 19/VIII-59 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 18/IX-59 г.  
А 08037. Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Зак. № 1630.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

**ОТКРЫТА ПОДПИСКА**

*на журнал*

# **ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ**

*на 1960 год*

Журнал помещает статьи по теории и истории литературы, уделяет большое внимание актуальным проблемам современного литературного развития, публикует обзоры советской литературы годовые и по жанрам, обзрения литературно-художественных и теоретических журналов, рецензии на новые книги по критике и литературоведению.

В «ВОПРОСАХ ЛИТЕРАТУРЫ» систематически печатаются материалы о литературном мастерстве, выступления советских писателей об их творческом опыте, жизненном пути, архивные материалы, дневники, записные книжки мастеров слова, их воспоминания, переписка с читателями.

Читайте в 1960 году в «ВОПРОСАХ ЛИТЕРАТУРЫ»:

**А. Луначарский.** Неизвестные статьи.

**С. Есенин.** Неопубликованные стихи и письма.

**Д. Гулиа.** Страницы моей жизни.

Статьи и заметки **Николая Погодина, Михаила Исаковского, Ираклия Абашидзе, Федора Панферова, Габита Мусрепова, Виктора Шкловского, Бориса Полевого.**

Воспоминания **Корнея Чуковского, Павла Антокольского. Григория Санникова, Бориса Агапова.**

В журнале введены новые отделы:

**ДИСКУССИИ НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕМЫ**

**ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ И РЕПЛИКИ**

**ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА**

**ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ**

С первого номера 1960 года в журнале вводится специальный раздел, предназначенный для молодых литераторов и всех, кто интересуется художественной литературой, вопросами мастерства, —

### «ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА».

В 1960 году в «ВОПРОСАХ ЛИТЕРАТУРЫ» будут опубликованы обзоры советской прозы, поэзии, драматургии и очерка за 1959 год, обзоры ряда центральных и местных журналов, материалы дискуссии о современной поэзии. В числе других будут напечатаны статьи критиков и литературоведов:

**И. Анисимов.** Проблемы современного гуманизма. Всемирная литература и социалистическая революция.

**А. Аникст.** Новое в изучении Шекспира.

**В. Виноградов.** Неизвестные фельетоны и рассказы Достоевского.

**В. Жирмунский.** Новейшие работы по стиховедению.

**В. Ермилов.** Очерки о творчестве Л. Н. Толстого.

**А. Елистратова.** Английский романтизм.

**А. Егоров и М. Овсянников.** Ленинская теория отражения и вопросы эстетики.

**К. Зелинский.** Литературные картины 30-х годов.

**Б. Мейлах.** О психологии художественного творчества.

**А. Нинов.** Горький и Бунин.

**Вп. Орлов.** Заметки о современной поэзии.

**М. Сойфер.** Как создавалась «Поднятая целина».

**Л. Тимофеев.** О речи повествователя.

**М. Храпченко.** Творческий метод и индивидуальный стиль писателя.

Подписка на журнал «Вопросы литературы» принимается городскими и районными отделениями связи и отделами «Союзпечати».

Подписная цена на год — 72 рубля, на полгода — 36 рублей, на 3 месяца — 18 рублей.

Ввиду того, что в розничную продажу журнал поступает в ограниченном количестве,

*ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ!*

Цена 7 руб.